

Иван Алексеевич Бунин
Том 4. Темные аллеи. Переводы

Серия: Собрание сочинений Бунина в четырех томах – 4



Москва, "Правда", 1988;

Аннотация

Четвертый том Собрания сочинений состоит из цикла рассказов "Темные аллеи" и произведений Генри Лонгфелло, Джорджа Гордона Байрона, А. Теннисона и Адама Мицкевича, переведенных И.А. Буниным.

Иван Алексеевич Бунин
Собрание сочинений в четырех томах
Том 4. Темные аллеи. Переводы

Темные аллеи

Часть первая

Темные аллеи

В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темнолицый, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.

Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.

– Налево, ваше превосходительство, – грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.

В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами – разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.

Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове – седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:

– Эй, кто там!

Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.

– Добро пожаловать, ваше превосходительство, – сказала она. – Покушать изволите или самовар прикажете?

Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:

– Самовар. Хозяйка тут или служишь?

– Хозяйка, ваше превосходительство.

– Сама, значит, держишь?

– Так точно. Сама.

– Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?

– Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.

– Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.

Женщина все время пытливно смотрела на него, слегка щурясь.

– И чистоту люблю, – ответила она. – Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.

– Надежда! Ты? – сказал он торопливо.

– Я, Николай Алексеевич, – ответила она.

– Боже мой, боже мой, – сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. – Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?

– Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?

– Вроде этого... Боже мой, как странно!

– Что странно, сударь?

– Но все, все... Как ты не понимаешь!

Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:

– Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?

– Мне господа вскоре после вас вольную дали.

– А где жила потом?

– Долго рассказывать, сударь.

– Замужем, говоришь, не была?

– Нет, не была.

– Почему? При такой красоте, которую ты имела?

– Не могла я этого сделать.

– Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?

– Что ж тут объяснять. Небожь, помните, как я вас любила.

Он покраснел до слез и, нахмурился, опять зашагал.

– Все проходит, мой друг, – забормотал он. – Любовь, молодость – все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? "Как о воде протекшей будешь вспоминать".

– Что кому бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело.

Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:

– Ведь не могла же ты любить меня весь век!

– Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь укорять, а ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили, – сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня – помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие "темные аллеи", – прибавила она с недоброй улыбкой.

– Ах, как хороша ты была! – сказал он, качая головой. – Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?

– Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.

– А! Все проходит. Все забывается.

– Все проходит, да не все забывается.

– Уходи, – сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. – Уходи, пожалуйста.

И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:

– Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.

Она подошла к двери и приостановилась:

– Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну, да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.

– Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, – ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. – Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Изви-

ни, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, – жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, – пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.

Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.

– Прикажи подавать...

Когда поехали дальше, он хмуро думал: "Да, как прелестна была! Волшебна прекрасна!" Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. "Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?"

К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцей, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:

– А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?

– Давно, Клим.

– Баба – ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.

– Это ничего не значит.

– Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя – пеняй на себя.

– Да, да, пеняй на себя... Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду...

Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:

"Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! "Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи..." Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоянной горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?"

И, закрывая глаза, качал головой.

20 октября 1938

Кавказ

Приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно, затворником – от свидания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни всего три раза и каждый раз входила поспешно, со словами:

– Я только на одну минуту...

Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины, голос у нее срывался, и то, как она, бросив куда попало зонтик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом.

– Мне кажется, – говорила она, – что он что-то подозревает, что он даже знает что-то, – может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу... Я думаю, что он на все способен при его жестоком, самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал: "Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!" Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и, чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня, так внушила я ему, что умру, если не увижу юга, моря, но, ради бога, будьте терпеливы!

План наш был дерзок: уехать в одном и том же поезде на кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте три-четыре недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи, – молодой, одинокий, – на всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов, у холодных серых волн... И она бледнела, когда я говорил: "А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях, у тропического моря..." В осуществление нашего плана мы не верили до последней минуты – слишком великим счастьем казалось нам это.

В Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется, было грязно, сумрачно, улицы мокро и черно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу верхами извозчичьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал, все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по плат-

форме я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто.

В маленьком купе первого класса, которое я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше. Я немедленно опустил оконную занавеску и, как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом чуть приоткрыл занавеску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взад и вперед сновавшей с вещами вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее – их все не было. Ударил второй звонок – я похолодел от страха: опоздала или он в последнюю минуту вдруг не пустил ее! Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана. Рядом был вагон второго класса – я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него вместе с нею, оглянулся, – хорошо ли устроил ее носильщик, – и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее... Третий звонок оглушил меня, тронувшийся поезд поверг в оцепенение... Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно, на всех парах... Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул десятирублевую бумажку...

Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая, отцепляя от волос шляпку.

– Я совсем не могла обедать, – сказала она. – Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. И ужасно хочу пить. Дай мне нарзану, – сказала она, в первый раз говоря мне «ты». – Я убеждена, что он поедет вслед за мною. Я дала ему два адреса, Геленджик и Гагры. Ну вот, он и будет дня через три-четыре в Геленджике... Но Бог с ним, лучше смерть, чем эти муки...

Утром, когда я вышел в коридор, в нем было солнечно, душно, из уборных пахло мылом, одеколоном и всем, чем пахнет людный вагон утром. За мутными от пыли и нагретыми окнами шла ровная выжженная степь, видны были пыльные широкие дороги, арбы, влекомые волами, мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в палисадниках... Дальше пошел безграничный простор нагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо, подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте...

Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется.

Потом мы спустились вдоль берега к югу.

Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернели кипарисы...

Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили часов в семь, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман, за дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор... Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов, – по утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев, – плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с закутанными во что-то черное головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной закутанности.

Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака – все жаренная на шкаре рыба, белое вино, орехи и фрукты – в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы света.

Когда жар спадал и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте.

На закате часто громоздились за морем удивительные облака; они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала: еще две, три недели – и опять Москва!

Ночи были теплы и непроглядны, в черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как будто все одной и той же бесконечной песни.

Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально смотрела поздняя луна!

Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, твкали чекалки... Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая их, – они всегда сбегаются в такие ночи к жилью, – мы открыли окно и смотрели на них сверху, а они стояли под блестящим ливнем и твкали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них.

Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи, он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.

12 ноября 1937

Баллада

Под большие зимние праздники был всегда, как баня, натоплен деревенский дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых все были раскрыты напролет, – от прихожей до диванной, находившейся в самом конце дома, – и блистала в красных углах восковыми свечами и лампадами перед иконами.

Под эти праздники в доме всюду мыли гладкие дубовые полы, от топки скоро сохнувшие, а потом застилали их чистыми попонами, в наилучшем порядке расставляли по своим местам сдвинутые на время работы мебели, а в углах, перед золочеными и серебряными окладами икон, зажигали лампады и свечи, все же прочие огни тушили. К этому часу уже темно синела зимняя ночь за окнами и все расходились по своим спальным горницам. В доме водворялась тогда полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой, как нельзя более подходящий ночному священному виду икон, озаренных скорбно и умирительно.

Зимой гостила иногда в усадьбе странница Машенька, седенькая, сухенькая и дробная, как девочка. И вот только она одна во всем доме не спала в такие ночи: придя после ужина из людской в прихожую и сняв с своих маленьких ног в шерстяных чулках валенки, она бесшумно обходила по мягким попонам все эти жаркие, таинственно освещенные комнаты, всюду становилась на колени, крестилась, кланялась перед иконами, а там опять шла в прихожую, садилась на черный ларь, спокон веку стоявший в ней, и вполголоса читала молитвы, псалмы или же просто говорила сама с собой. Так и узнал я однажды про этого "божьего зверя, господня волка": услышал, как молилась ему Машенька.

Мне не спалось, я вышел поздней ночью в зал, чтобы пройти в диванную и взять там что-нибудь почитать из книжных шкапов. Машенька не слыхала меня. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей. Я приостановясь, прислушался. Она наизусть читала псалмы.

– Услышь, господи, молитву мою и внемли воплю моему, – говорила она без всякого выражения. – Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец на земле, как и все отцы мои...

Скажите богу: как страшен ты в делах твоих!

Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится... На аспиде и василиска наступишь, попрешь льва и дракона...

На последних словах она тихо, но твердо повысила голос, произнесла их убежденно: попрешь льва и дракона. Потом помолчала и, медленно вздохнув, сказала так, точно разговаривала

с кем-то:

– Ибо его все звери в лесу и скот на тысяче гор...

Я заглянул в прихожую: она сидела на ларе, ровно спустив с него маленькие ноги в шерстяных чулках и крестом держа руки на груди. Она смотрела перед собой, не видя меня. Потом подняла глаза к потолку и раздельно промолвила:

– И ты, божий зверь, господень волк, моли за нас царицу небесную.

Я подошел и негромко сказал:

– Машенька, не бойся, это я.

Она уронила руки, встала, низко поклонилась:

– Здравствуйте, сударь. Нет-с, я не боюсь. Чего ж мне бояться теперь? Это в младости глупа была, всего боялась. Темнозрачный бес смущал.

– Сядь, пожалуйста, – сказал я.

– Никак нет, – ответила она. – Я постою-с.

Я положил руку на ее костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сесть и сел с ней рядом.

– Сиди, а то я уйду. Скажи, кому это ты молилась? Разве есть такой святой – господний волк?

Она опять хотела встать. Я опять удержал ее:

– Ах какая ты! А еще говоришь, что не боишься ничего! Я тебя спрашиваю: правда, что есть такой святой?

Она подумала. Потом серьезно ответила:

– Стало быть, есть, сударь. Есть же зверь Тигр-Ефрат. Раз в церкви написан, стало быть, есть. Я сама его видела-с.

– Как видела? Где? Когда?

– Давно, сударь, в незапамятный срок. А где – и сказать не умею: помню одно – мы туда трое суток ехали. Было там село Крутые Горы. Я и сама дальняя, – может, изволили слышать: рязанская, – а тот край еще ниже будет, в Задонщине, и уж какая там местность грубая, тому и слова не найдешь. Там-то и была заглазная деревня наших князей, ихнего дедушки любимая, – целая, может, тысяча глиняных изб по голым буграм-косогорам, а на самой высокой горе, на венце ее, над рекой Каменной, господский дом, тоже голый весь, трехъярусный, и церковь желтая, колонная, а в той церкви этот самый божий волк: посередь, стало быть, плита чугунная над могилой князя, им зарезанного, а на правом столпе – он сам, этот волк, во весь свой рост и склад написанный: сидит в серой шубе на густом хвосту и весь тянется вверх, упирается передними лапами в землю – так и зарит в глаза: ожерелок седой, остистый, толстый, голова большая, остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, кровавые, округ же головы золотое сияние, как у святых и угодников. Страшно даже вспомнить такое диво дивное! До того живой сидит глядит, будто вот-вот на тебя кинется!

– Поймай, Машенька, – сказал я, – я ничего не понимаю, зачем же и кто этого страшного волка в церкви написал? Говоришь – он зарезал князя: так почему ж он святой и зачем ему быть надо княжеской могилой? И как ты попала туда, в это ужасное село? Расскажи все толком.

И Машенька стала рассказывать:

– Попала я, сударь, туда по той причине, что была тогда крепостной девушкой, при доме наших князей прислуживала. Была я сирота, родитель мой, баяли, какой-то прохожий был, – беглый, скорее всего, – незаконно обольстил мою матушку, да и скрылся бог весть куда, а матушка, родивши меня, вскорости скончалась. Ну и пожалели меня господа, взяли с двора в дом, как только сравнялось мне тринадцать лет и приставили на побегушки к молодой барыне, и я так чем-то полюбилась ей, что она меня ни на час не отпускала от своей милости. Вот она-то и взяла меня с собой в войяж, как задумал молодой князь съездить с ней в свое дедовское наследие, в эту самую заглазную деревню, в Крутые Горы. Была та вотчина в давнем запустении, в безлюдии, – так и стоял дом забитый, заброшенный с самой смерти дедушки, – ну и захотели наши молодые господа проведать ее. А какой страшной смертью помер дедушка, о том всем нам было ведомо по преданию.

В зале что-то слегка треснуло и потом упало, чуть стукнуло. Машенька скинула ноги с ларя и побежала в зал: там уже пахло гарью от упавшей свечи. Она замяла еще чадивший свечной фитиль, затоптала затлевший ворс попоны и, вскочив на стул, опять зажгла свечу от прочих горев-

ших свечей, воткнутых в серебряные лунки под иконой, и приладила ее в ту, из которой она выпала: перевернула ярким пламенем вниз, покапала в лунку потекшим, как горячий мед, воском, потом вставила, ловко сняла тонкими пальцами нагар с других свечей и опять соскочила на пол.

– Ишь как весело затеплилось, – сказала она, крестясь и глядя на ожившее золото свечных огоньков. – И какой дух-то церковный пошел!

Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, лик образа древне глядел из-за них в пустом кружке серебряного оклада. В верхние, чистые стекла окон, густо обмерзших снизу серым инеем, чернела ночь и близко белели отягощенные снежными пластинами лапы ветвей в палисаднике. Машенька посмотрела на них, еще раз перекрестилась и вошла опять в прихожую.

– Почивать вам пора, сударь, – сказала она, садясь на ларь и сдерживая зевоту, прикрывая рот своей сухой ручкой. – Ночь-то уж грозная стала.

– Почему грозная?

– А потому, что потаенная, когда лишь алектор, петух, по-нашему, да еще ночной вран, сова, может не спать. Тут сам господь землю слушает, самые главные звезды начинают играть, проруби мерзнут по морям и рекам.

– А что ж ты сама не спишь по ночам?

– И я, сударь, сколько надобно сплю. Старому человеку много ли сна полагается? Как птице на ветке.

– Ну, ложись, только доскажи мне про этого волка.

– Да ведь это дело темное, давнее, сударь, – может, баллада одна.

– Как ты сказала?

– Баллада, сударь. Так-то все наши господа говорили, любили эти баллады читать. Я, бывало, слушаю – мороз по голове идет:

Воет сыр-бор за горою,
Метет в белом поле,
Стала вьюга-непогода,
Запала дорога...

До чего хорошо, господи!

– Чем хорошо, Машенька?

– Тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко.

– В старину, Машенька, все жутко было.

– Как сказать, сударь? Может, и правда, что жутко, да теперь-то все мило кажется. Ведь когда это было? Уж так-то давно, – все царства-государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сровнялись с землей. Вот и это дело, – на дворне его слово в слово сказывали, а правда ли? Дело это будто еще при великой царице было и будто оттого князь в Крутых Горах сидел, что она на него за что-то разгневалась, заточила его вдаль от себя, и он очень лют сделался – пуще всего на казнь рабов своих и на любовный блуд. Очень еще в силе был, а касательно наружности отлично красив и будто бы не было ни на дворне у него, ни по деревням его ни одной девушки, какую бы он к себе, в свою сераль, на первую ночь не требовал. Ну вот и впал он в самый страшный грех: польстился даже на новобрачную сына своего родного. Тот в Петербурге в царской военной службе был, а когда нашел себе суженую, получил от родителя разрешение на брак и женился, то, стало быть, приехал с новобрачной к нему на поклон, в эти самые Крутые Горы. А он и прельстился на нее. Про любовь, сударь, недаром поется:

Жар любви во всяком царстве,
Любится земной весь круг...

И какой же может быть грех, если хоть и старый человек мыслит о любимой, вздыхает о ней? Да ведь тут-то дело совсем иное было, тут вроде как родная дочь была, а он на блуд простирал алчные свои намерения.

– Ну и что же?

– А то, сударь, что, заметивши такой родительский умысел, решил молодой князь тайком бежать. Подговорил конюхов, подарил их всячески, приказал к полночи запрячь тройку порезвей,

вышел, крадучись, как только заснул старый князь, из родного дома, вывел молодую жену – и был таков. Только старый князь и не думал спать: он еще с вечера все узнал от своих наушников и немедля в погоню пошел. Ночь, мороз несказанный, аж кольцо округ месяца лежит, снегов в степи выше роста человеческого, а ему все нипочем: летит, весь увешанный саблями и пистолетами, верхом на коне, рядом со своим любимым доезжачим, и уж видит впереди тройку с сыном. Кричит, как орел: стой, стрелять буду! А там не слушают, гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрелять в лошадей и убил на скаку сперва одну пристяжную, правую, потом другую, левую, и уж хотел коренника свалить, да глянул вбок и видит: несется на него по снегам, под месяцем, великий, небывалый волк, с глазами, как огонь, красными и с сияньем округ головы! Князь давай палить и в него, а он даже глазом не моргнул: вихрем нанесся на князя, прынул к нему на грудь – и в единый миг пересек ему кадык клыком.

– Ах, какие страсти, Машенька, – сказал я. – Истинно баллада!

– Грех, не смейтесь, сударь, – ответила она. – У бога всего много.

– Не спорю, Машенька. Только странно все-таки, что написали этого волка как раз возле могилы князя, зарезанного им.

– Его написали, сударь, по собственному желанию князя: его домой еще живого привезли, и он успел перед смертью покаяться и причастие принять, а в последний свой миг приказал написать того волка в церкви над своей могилой: в назидание, стало быть, всему потомству княжескому. Кто ж его мог по тем временам послушаться? Да и церковь-то была его домашняя, им самим строенная.

3 февраля 1938

Степа

Перед вечером, по дороге в Чернь, молодого купца Красильщикова захватил ливень с грозой.

Он, в чуйке с поднятым воротом и глубоко надвинутым картузе, с которого текло струями, шибко ехал на беговых дрожках, сидя верхом возле самого щитка, крепко упершись ногами в высоких сапогах в переднюю ось, дергая мокрыми, застывшими руками мокрые, скользкие ременные вожжи, торопя и без того резвую лошадь; слева от него, возле переднего колеса, крутившегося в целом фонтане жидкой грязи, ровно бежал, длинно высунув язык, коричневый пойнтер.

Сперва Красильщиков гнал по черноземной колее вдоль шоссе, потом, когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задрезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба уже давно не было видно за этим потоком, пахнущим огуречной свежестью и фосфором; перед глазами то и дело, точно знамение конца мира, ослепляющим рубиновым огнем извилисто жгла сверху вниз по великой стене туч резкая, ветвистая молния, а над головой с треском летел шипящий хвост, разрывавшийся вслед затем необыкновенными по своей сокрушающей силе ударами. Лошадь каждый раз вся дергалась от них вперед, прижимая уши, собака шла уже скоком... Красильщиков рос и учился в Москве, кончил там университет, но, когда приезжал летом в свою тульскую усадьбу, похожую на богатую дачу, любил чувствовать себя помещиком-купцом, вышедшим из мужиков, пил лафит и курил из золотого портсигара, а носил смазные сапоги, косоворотку и поддевку, гордился своей русской статью, и теперь, в ливне и грохоте, чувствуя, как у него холодно льет с козырька и носа, полон был энергичного удовольствия деревенской жизни. В это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он, из-за связи с одной известной актрисой, промучился в Москве до самого июля, до отъезда ее в Кисловодск: безделье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта в развороченных улицах, завтраки в Троицком низке с актерами Малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сидение в кофейне Трамблэ, вечером ожидание ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина... Летние московские вечера бесконечны, темнеет только к одиннадцати, и вот ждешь, ждешь – ее все нет. Потом наконец звонок – и она, во всей своей летней нарядности, и ее задыхающийся голос: "Прости, пожалуйста, весь день пластом лежала от головной боли, совсем завяла твоя чайная роза, так спешила, что лихача взяла, голодна ужасно..."

Когда ливень и сотрясающиеся перекаты грома стали стихать, отходить и кругом стало

проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоянный двор старика-вдовца, мещанина Пронина. До города оставалось еще двадцать верст, – надо переодеть, подумал Красильщиков, лошадь вся в мыле и еще неизвестно, что будет опять, ишь какая чернота в ту сторону и все еще загорается... На переезде к постоянному двору он на рысях свернул и осадил возле деревянного крыльца.

– Дед! – громко крикнул он. – Принимай гостя!

Но окна в бревенчатом доме под железной ржавой крышей были темны, на крик никто не отозвался. Красильщиков замотал на щиток вожжи, поднялся на крыльцо вслед за вскочившей туда грязной и мокрой собакой, – вид у нее был бешеный, глаза блестели ярко и бессмысленно, – сдвинул с потного лба картуз, снял отяжелевшую от воды чуйку, кинул ее на перила крыльца и, оставшись в одной поддевке с ременным поясом в серебряном наборе, вытер пестрое от грязных брызг лицо и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в сенцы была отворена, но чувствовалось, что дом пуст. Верно, скотину убирают, подумал он и, разогнувшись, посмотрел в поле: не ехать ли дальше? Вечерний воздух был неподвижен и сыр, с разных сторон бодро били вдаль перепела в отягченных влагой хлебах, дождь перестал, но надвигалась ночь, небо и земля угрюмо темнели, за шоссе, за низкой чернильной грядой леса, еще гуще и мрачней чернела туча, широко и зловеще вспыхивало красное пламя – и Красильщиков шагнул в сенцы, нашарил в темноте дверь в горницу. Но горница была темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы на стене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворил другую, в избу: опять никого, одни мухи сонно и недовольно загудели в жаркой темноте на потолке.

– Как подошли! – вслух сказал он – и тотчас услышал скорый и певучий, полудетский голос соскользнувшей в темноте с нар Степы, дочери хозяина:

– Это вы, Василь Ликсеич? А я тут одна, стряпуха поругалась с палашей и ушла домой, а папаша взяли работника и уехали по делу в город, вряд ли и вернутся нынче... Напугалась грозы до смерти, а тут, слышу, кто-й-то подъехал, еще пуще испугалась... Здравствуйте, извините меня, пожалуйста...

Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза и смуглое личико:

– Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город, да, вишь, что делается, заехал переждать... А ты, значит, думала, разбойники подъехали?

Спичка стала догорать, но еще видно было это смущенно улыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под желтеньким ситцевым платьем... Она была чуть не вдвое меньше его ростом и казалась совсем девочкой.

– Я сейчас лампу зажгу, – поспешно заговорила она, смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинулась к лампочке над столом. – Вас сам Бог послал, что бы я тут делала одна, – певуче говорила она, поднявшись на цыпочки и неловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки, из ее жестяного кружка, стекло.

Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюся и изогнувшуюся фигурку.

– погоди, не надо, – вдруг сказал он, бросая спичку, и взял ее за талию. – Постой, повернись-ка на минутку ко мне...

Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки и повернулась. Он притянул ее к себе, – она не вырывалась, только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямо и твердо заглянул сквозь сумрак в глаза ей и засмеялся:

– Еще пуще испугалась?

– Василь Ликсеич... – пробормотала она умоляюще и потянулась из его рук.

– погоди. Разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегда рада, когда я заезжаю.

– Лучше вас на свете нету, – выговорила она тихо и горячо.

– Ну вот видишь...

Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнули ниже.

– Василь Ликсеич... за-ради Христа... Вы забыли, ваша лошадь так и осталась под крыльцом... папаша заедут... Ах, не надо!

Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор, поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокрой накошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся, глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркую темноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые, далекие зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнув голову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга и внезапности того, что случилось. Он

поцеловал ее мокрую, соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себе на плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смиренно, молча, он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ее волосы, щекотавшие ему подбородок... Потом она сразу заснула. Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался: "А папаша в город уехали..." Вот тебе и уехали! Скверно, он все сразу поймет – такой сухенький и быстрый старичок в серенькой поддевочке, борода белоснежная, а густые брови еще совсем черные, взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян, без умолку, а все видит насквозь...

Он без сна слезал до того часа, когда темнота избы стала слабо светлеть посередине, между потолком и полом. Повернув голову, он видел зеленовато белеющий за окнами восток и уже различал в сумраке угла над столом большой образ угодника в церковном облачении, его поднятую благословляющую руку и непреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее: лежит, все так же свернувшись, поджав ноги, все забыла во сне! Милая и жалкая девчонка...

Когда в небе стало совсем светло и петух на разные голоса стал орать за стеной, он сделал движение подняться. Она вскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, со спутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающими глазами.

– Степа, – сказал он осторожно. – Мне пора.

– Уж едете? – прошептала она бессмысленно.

И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудь руками:

– Куда ж вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что ж мне теперь делать?

– Степа, я опять скоро приеду...

– Да ведь папаша будут дома, – как же я вас увижу! Я бы в лес за шоссе пришла, да как же мне отлучиться из дому?

Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широко разбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертном отчаянии: "Ах!"

Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке, в картузе, с кнутом в руке, спиной к окнам, к густому блеску только что показавшегося солнца, а она стояла на нарах на коленях и, рыдая, по-детски и некрасиво раскрывая рот, отрывисто выговаривала:

– Василь Ликсеич... за-ради Христа... за-ради самого царя небесного, возьмите меня за-муж! Я вам самой последней рабой буду! У порога вашего буду спать – возьмите! Я бы и так к вам ушла, да кто ж меня так пустит! Василь Ликсеич...

– Замолчи, – строго сказал Красильщиков. – На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе. Слышала?

Она села на ноги, сразу оборвав рыдания, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза:

– Правда?

– Конечно, правда.

– Мне на Крещение уж шестнадцатый пошел, – поспешно сказала она.

– Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно...

Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже в Кисловодске.

5 октября 1938

Муза

Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи, – у меня всегда была страсть к ней, – и, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве: брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается: длинные волосы, крупными сальными кудрями закинутае назад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмаках грязно-серые гетры, – я их особенно ненавидел, – небрежность в обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазами на работу ученика и это как бы про себя:

– Занятно, занятно... Несомненные успехи...

Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах «Столица». Днем работал у художника и дома, вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и ракам с пивом... Неприятно и скучно я жил! Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его «арти-

стически» запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, эта сумрачная «Столица»... В памяти осталось: непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят, звонят по Арбату конки, вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане... Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование, – был я тогда далеко не беден.

Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и в отворенные форточки двойных рам несло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, не по-зимнему цокали по мостовой подковы и как будто музыкальнее звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: кто там? – но ответа не последовало. Я подождал, опять крикнул – опять молчание, потом новый стук. Я встал, отворил: у порога стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботиках, смотрит в упор, глаза цвета желудя, на длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега; смотрит и говорит:

– Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не имеете против?

Довольно удивленный, я ответил, конечно, любезностью:

– Очень польщен, милости прошу. Только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны: ничего интересного во мне, кажется, нет.

– Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня перед дверью, – сказала она, все так же прямо смотря на меня. – Польщены, так принимайте.

И, войдя, стала, как дома, снимать перед моим серо-серебристым, местами почерневшим зеркалом шляпку, поправлять ржавые волосы, скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала:

– Снимите с меня ботинки и дайте из пальто носовой платок.

Я подал платок, она утерлась и протянула мне ноги.

– Я вас видела вчера на концерте Шора, – безразлично сказала она.

Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения, – что за странная гостья! – я покорно снял один за другим ботинки. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах, волновало соединение ее мужественности со всем тем женственно-молодым, что было в ее лице, в прямых глазах, в крупной и красивой руке, – во всем, что оглянул и почувствовал я, стаскивая ботинки из-под ее платья, под которым округло и полновесно лежали ее колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и удлиненные ступни в открытых лаковых туфлях.

Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня и кто она, где и с кем живет. Она ответила.

– От кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела на концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском бульваре.

Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я, опять не зная, что сказать, спросил:

– Чаю хотите?

– Хочу, – сказала она. – И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок рает, – тут, на Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива.

– А кажется такой спокойной.

– Мало ли что кажется...

Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки, ложечки...

А съевши яблоко и выпив чашку чаю, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя:

– Теперь сядьте ко мне.

Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала – старательно, долго.

– Ну вот, – сказала она как будто облегченно. – Больше пока ничего нельзя. Послезавтра.

В номере было уже совсем темно, – только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенные... Я как во сне слышал однообразный звон конок, цоканье копыт...

– Я хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге», – сказала она. – Никогда там не была и

вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь.

– Любовь?

– А как же это иначе называется?

Ученье свое я, конечно, вскоре бросил, она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили, как молодожены, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции... В мае я переселился, по ее желанию, в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи, и она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого – дачи под Москвой: никогда еще не жил дачником, без всякого дела, в усадьбе, столь не похожей на наши степные усадьбы, и в таком климате.

Все время дожди, кругом сосновые леса. То и дело в яркой синеве над ними скопляются белые облака, высоко перекачивается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар... Все мокро, жирно, зеркально... В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малы, как жилища под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громадным черным зеркалом, наполовину затянут был зеленой ряской... Я жил на окраине парка, в лесу. Бревенчатая дача моя была не совсем достроена, – неконопаченные стены, нестроганные полы, печи без заслонок, мебели почти никакой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли бархатом плесени.

Темнело по вечерам только к полуночи: стоит и стоит полусвет запада по неподвижным, тихим лесам. В лунные ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным, заколдованным. И по тому спокойствию, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уже больше не будет. Но вот я засыпал, проводив ее на станцию, – и вдруг слышал: на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма и в отвес падающие молнии... Утром на лиловой земле в сырых аллеях пестрели тени и ослепительные пятна солнца, цокали птички, называемые мухоловками, хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило, находили облака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно, на моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна сквозь листву, хрустально-золотая сетка низкого солнца. Тут я шел на станцию встречать ее. Подходил поезд, вываливались на платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса, показывалась в толпе она, с сеткой, обремененной пакетами закусок, фруктами, бутылкой мадеры... Мы дружно пообедали глаз на глаз. Перед ее поздним отъездом бродили по парку. Она становилась сомнамбулична, шла, клоня голову на мое плечо. Черный пруд, вековые деревья, уходящие в звездное небо... Заколдованно-светлая ночь, бесконечно-безмолвная, с бесконечно-длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озера.

В июне она уехала со мной в мою деревню, – не венчаясь, стала жить со мной, как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела не скучая, в будничных заботах, за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, одинокий, бедный помещик, живший от нас верстах в двух, щуплый, рыженький, несмелый, недалекий – и недурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки или же он играл с ней в четыре руки на рояли.

Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один.

– А где барыня, Дуня? Гулять ушла?

– Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака.

– Оделись и ушли, – сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька.

"Верно, к Завистовскому пошла, – подумал я, – верно, скоро придет вместе с ним – уже семь часов..." И я пошел и прилег в кабинете и внезапно заснул – весь день мерз в дороге. И так же внезапно очнулся через час – с ясной и дикой мыслью: "Да ведь она бросила меня! Наняла на деревне мужика и уехала на станцию, в Москву, – от нее все станется! Но, может быть, вернулась?" Прошел по дому – нет, не вернулась. Стыдно прислуги...

Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по

большой дороге к Завистовскому, думая: "Как нарочно, и он не пришел нынче, а у меня еще целая страшная ночь впереди! Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть!" Иду, скрипя по наезженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля под низкой, бедной луной... Свернул с большой дороги, пошел к усадьбе Завистовского: аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю, потом въезд во двор, слева старый, нищий дом, в доме темно... Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь в клоаках обивки, – в прихожей краснеет открытая прогоревшая печка, тепло и темнота... Но темно и в зале.

– Викентий Викентич!

И он бесшумно, в валенках, появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно.

– Ах, это вы... Входите, входите, пожалуйста... А я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня...

Я вошел и сел на бугристый диван.

– Представьте себе. Муза куда-то исчезла...

Он промолчал. Потом почти неслышным голосом:

– Да, да, я вас понимаю...

– То есть, что вы понимаете?

И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на плечах, вышла из спальни, прилежавшей к кабинету, Муза.

– Вы с ружьем, – сказала она. – Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня.

И села на другой диван, напротив.

Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой, – все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна, – хотел крикнуть: "Я не могу жить без тебя, за одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!"

– Дело ясно и кончено, – сказала она. – Сцены бесполезны.

– Вы чудовищно жестоки, – с трудом выговорил я.

– Дай мне папиросу, – сказала она Завистовскому.

Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек...

– Вы со мной говорите уже на «вы», – задыхаясь, сказал я, – вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты».

– Почему? – спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросу.

Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, пошел вон.

17 октября 1938

Поздний час

Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.

И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.

Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, – гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, – так молчалив он был, – хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовеет мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под

ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее и красное – русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою – я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные полотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила Архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного говора отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, холстинкового платья – и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку...

За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой.

В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо и просторно, спокойно и печально – печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно, осторожно трепетали листвою от ровного тока слабого июльского ветра, который тянул откуда-то с полей, ласково дул на меня. Я шел – большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом; широкие улицы лежали в тени – только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным глянец переливались черные стекла; а я шел в тени, ступал по пятнистому тротуару, – он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам. Она в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого?

Цель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним путем. Но я оттого свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И, дойдя до нее, опять подивился: и тут все осталось таким, как полвека назад; каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе – все так же казенно, скучно, как было когда-то, при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать в себе грусть, жалость воспоминаний – и не мог: да, входил в эти ворога сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, потом худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками; но разве это я?

Старая улица показалась мне только немного уже, чем казалась прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны запыленные купеческие дома, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти серединой улицы, в полном месячном свете... И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет яблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепла, что наслаждением было идти в одной косоворотке, подпоясанной кавказским ремешком... Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?

Я все-таки не решился дойти до вашего дома. И он, верно, не изменился, но тем страшнее увидеть его. Какие-то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат – все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли; и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, начинал жизнь; давно ли начинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все началось, протекло и завершилось на моих глазах, – так быстро и на моих глазах! И я сел на тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена: просто убранные темные волосы, ясный взгляд, легкий загар юного лица, легкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела... Это было начало нашей любви, время еще ничем не омраченного счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости...

Есть нечто совсем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, вас стережет Божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, запуская колотушкой

плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком проскользнул в него: тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору и за сараем в глубине двора вошел в пестрый сумрак сада, где слабо белело вдаль, на скамье под яблонями, твое платье, и, быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз.

И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно, – лег где-нибудь на скамье и задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, я видел, как высоко и безгрешно сияет над двором месяц и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, видел заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из-за какого-то другого сада одинокую зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившую. Но и двор и звезду я видел только мельком – одно было в мире: легкий сумрак и лучистое мерцание твоих глаз в сумраке.

А потом ты проводила меня до калитки, и я сказал:

– Если есть будущая жизнь и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле.

Я вышел на середину светлой улицы и пошел на свое подворье. Обернувшись, видел, что все еще белеет в калитке.

Теперь, поднявшись с тумбы, я пошел назад тем же путем, каким пришел. Нет, у меня была, кроме Старой улицы, и другая цель, в которой мне было страшно признаться себе, но исполнение которой, я знал, было неминуемо. И я пошел – взглянуть и уйти уже навсегда.

Дорога была опять знакома. Все прямо, потом влево, по базару, а с базара – по Монастырской – к выезду из города.

Базар как бы другой город в городе. Очень пахучие ряды. В Обжорном ряду, под навесами над длинными столами и скамьями, сумрачно. В Скобяном висит на цепи над серединой прохода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В Мучном по утрам всегда бегали, клевали по мостовой целой стаей голуби. Идешь в гимназию – сколько их! И все толстые, с радужными зобами – клюют и бегут, женственно, щепотко виляясь, покачиваясь, однообразно подергивая головками, будто не замечая тебя: взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупные темные крысы, гадкие и страшные.

Монастырская улица – пролет в поля и дорога: одним из города домой, в деревню, другим – в город мертвых. В Париже двое суток выделяется дом номер такой-то на такой-то улице из всех прочих домов чумной бутафорией подъезда, его траурного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столика лист бумаги в траурной кайме – на нем расписываются в знак сочувствия вежливые посетители; потом, в некий последний срок, останавливается у подъезда огромная, с траурным балдахинном, колесница, дерево которой черносмолисто, как чумной гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватými черными султанами – перьями страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых пополах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах сидит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутафорский гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ухмыляющийся на эти торжественные слова! "Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis".¹ – Тут все другое. Дует с полей по Монастырской ветерок, и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пестрым венчиком на лбу, над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и ее.

На выезде, слева от шоссе, монастырь времен Алексея Михайловича, крепостные, всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы собора. Дальше, совсем в поле, очень пространный квадрат других стен, но невысоких: в них заключена целая роща, разбитая пересекающимися долгими проспектами, по сторонам которых, под старыми вязами, липами и березами, все усеяно разнообразными крестами и памятниками. Тут ворота были

¹ Дай им вечный покой. Господи, и да светит им вечный свет (лат.).

раскрыты настежь, и я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я несмело снял шляпу и вошел. Как поздно и как немо! Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых, крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу – светлые и темные пятна, все пестрившие под деревьями, спали. В дали рощи, из-за кладбищенской церкви, вдруг что-то мелькнуло и с бешеной быстротой, темным клубком понеслось на меня – я, вне себя, ша-рахнулся в сторону, вся голова у меня сразу оледенела и стянулась, сердце рванулось и замерло... Что это было? Пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, неся его в себе, как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо идти, я шел все прямо по проспекту – и в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился: передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная.

19 октября 1938

Часть вторая

Руся

В одиннадцатом часу вечера скорый поезд Москва – Севастополь остановился на маленькой станции за Подольском, где ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поезде, к опущенному окну вагона первого класса, подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей руке, и дама спросила:

– Послушайте, почему мы стоим?

Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.

На станции было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западе, за станцией, за чернеющими лесистыми полями, все еще мертвенно светила долгая летняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишине слышен был откуда-то равномерный и как будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

– Однажды я жил в этой местности на каникулах, – сказал он. – Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в пяти отсюда. Скучная местность. Мелкий лес, сороки, комары и стрекозы. Вида нигде никакого. В усадьбе любоваться горизонтом можно было только с мезонина, Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный, – хозяева были люди обедневшие, – за домом некоторое подобие сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбежная плоскодонка возле топкого берега.

– И, конечно, скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту.

– Да, все, как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по ночам, и выходило даже поэтично. На западе небо всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там, на горизонте, вот как сейчас, все что-то тлеет и тлеет... Весло нашлось только одно и то вроде лопаты, и я греб им, как дикарь, – то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкого леса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвет. И везде невообразимая тишина – только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам, – оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно.

Зашумел наконец встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну золотую полосу освещенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купе, осветил его и стал готовить постели,

– Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мне о ней. Какая она была?

– Худая, высокая. Носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чунки на босу ногу, плетенные из какой-то разноцветной шерсти.

– Тоже, значит, в русском стиле?

– Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница, училась в Строгановском училище живописи. Да она и сама была живо-

писна, даже иконописна. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови... Волосы сухие и жесткие слегка курчавились. Все это, при желтом сарафане и белых кисейных рукавах сорочки, выделялось очень красиво. Лодыжки и начало ступни в чуньках – все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.

– Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.

– Возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.

– А отец?

– Тоже молчаливый и сухой, высокий; отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, которого я репетировал.

Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

– А как ее звали?

– Руся.

– Это что же за имя?

– Очень простое – Маруся.

– Ну и что же, ты был очень влюблен в нее?

– Конечно, казалось, что ужасно,

– А она?

Он помолчал и сухо ответил:

– Вероятно, и ей так казалось. Но пойдем спать. Я ужасно устал за день.

– Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чем и как ваш роман кончился.

– Да ничем. Уехал, и делу конец.

– Почему же ты не женился на ней?

– Очевидно, предчувствовал, что встречу тебя.

– Нет, серьезно?

– Ну, потому, что я застрелился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тесноте купе, разделись и с дорожной отрадой легли под свежее глянцевиное полотно простынь и на такие же подушки, все скользившие с приподнятого изголовья.

Сине-лиловый глазок над дверью тихо глядел в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето...

На теле у нее тоже было много маленьких темных родинок – эта особенность была прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долговому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни – подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на балкон дверями, в потемневшем доме все спали после обеда – и как страшно испугал его и ее какой-то черный с металлически-зеленым отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили с дивана, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснела и отвечала насмешливым бормотанием; за столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу:

– Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и крошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит.

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству – весь дом был на ней. Обедали в час, и после обеда она уходила к себе в мезонин или, если не было дождя, в сад, где стоял под березой ее мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, где он после обеда сидел с книгой в косом камышовом кресле, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопределенной усмешкой:

- Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать?
- Историю французской революции.
- Ах, бог мой! Я и не знала, что у нас в доме оказался революционер!
- А что ж вы свою живопись забросили?
- Вот-вот и совсем заброшу. Убедилась в своей бездарности.
- А вы покажите мне что-нибудь из ваших писаний.
- А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?
- Вы страшно самолюбивы.
- Есть тот грех...

Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг решительно сказала:

– Кажется, дождливый период наших тропических мест кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырявым дном, но мы с Петей все дыры забили кугой...

День был жаркий, парило, прибрежные травы, испещренные желтыми цветочками куриной слепоты, были душно нагреты влажным теплом, и над ними низко вились несметные бледно-зеленые мотыльки.

Он усвоил себе ее постоянный насмешливый тон и, подходя к лодке, сказал:

– Наконец-то вы снизошли до меня!

– Наконец-то вы собрались с мыслями ответить мне! – бойко ответила она и прыгнула на нос лодки, распулав лягушек, со всех сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колен, топая ногами:

– Уж! Уж!

Он мельком увидел блестящую смуглость ее голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшегося по дну лодки ужа и, поддев его, далеко отбросил в воду.

Она была бледна какой-то индусской бледностью, родинки на ее лице стали темней, чернота волос и глаз как будто еще чернее. Она облегченно передохнула:

– Ох, какая гадость. Недаром слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!

Впервые заговорила она с ним просто, и впервые взглянули они друг другу в глаза прямо.

– Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!

Она совсем пришла в себя, улыбнулась и, перебежав с носа на корму, весело села. В своем испуге она поразила его красотой, сейчас он с нежностью подумал: да, она совсем еще девчонка! Но, сделав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку, и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гуще подводных трав на зеленые щетки куги и цветущие кувшинки, все впереди покрывавшие сплошным слоем своей толстой, круглой листвы, вывел ее на воду и сел на лавочку посередине, гребя направо и налево.

– Правда, хорошо? – крикнула она.

– Очень! – ответил он, снимая картуз, и обернулся к ней: – Будьте добры кинуть возле себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все-таки протекает и полно пьавок.

Она положила картуз к себе на колени.

– Да не беспокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

– Нет, я его буду беречь!

У него опять нежно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестящую среди куги и кувшинок воду.

К лицу и рукам липли комары, кругом все слепило теплым серебром: парной воздух, зыбкий солнечный свет, курчавая белизна облаков, мягко сиявших в небе и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок; везде было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мешало той бездонной глубине, в которую уходило отраженное небо с облаками. Вдруг она опять взвизгнула – и лодка повалилась на бок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав стебель кувшинки, так рванула его к себе, что завалилась вместе с лодкой – он едва успел вскочить и поймать ее подмышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что делает, поцеловал в хохочущие губы. Она быстро обняла его за шею и неловко поцеловала в щеку...

С тех пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его после обеда в сад и

спросила:

– Ты меня любишь?

Он горячо ответил, помня вчерашние поцелуи в лодке:

– С первого дня нашей встречи!

– И я, – сказала она. – Нет, сначала ненавидела – мне казалось, что ты совсем не замечаешь меня. Но, слава богу, все это уже прошлое. Нынче вечером, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнее – мама за каждым шагом моим следит, ревнива до безумия.

Ночью она пришла на берег с пледом на руке. От радости он встретил ее растерянно, только спросил:

– А плед зачем?

– Какой глупый. Нам же будет холодно. Ну, скорей садись и гребь к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подплыли к лесу на той стороне, она сказала:

– Ну вот. Теперь иди ко мне. Где плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я озябла, и садись. Вот так... Нет, погоди, вчера мы целовались как-то бестолково, теперь я сначала сама поцелую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... везде...

Под сарафаном у нее была только сорочка. Она нежно, едва касаясь, целовала его в края губ. Он, с помутившейся головой, кинул ее на корму. Она иступленно обняла его...

Полежав в изнеможении, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости и еще не утихшей боли сказала:

– Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она разделась, забелела в сумраке всем своим долгим телом и стала обвязывать голову косой, подняв руки, показывая темные мышки и поднявшиеся груди, не стыдясь своей наготы и темного мыска под животом. Обвязав, быстро поцеловала его, вскочила на ноги, плашмя упала в воду, закинула голову назад и шумно заколотила ногами.

Потом он, спеша, помог ей одеться и закутаться в плед. В сумраке сказочно были видны ее черные глаза и черные волосы, обвязанные косой. Он больше не смел касаться ее, только целовал ее руки и молчал от нестерпимого счастья. Все казалось, что кто-то есть в темноте прибрежного леса, молча тлеющего кое-где светляками, – стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:

– Постой, что это?

– Не бойся, это, верно, лягушка выползает на берег. Или еж в лесу...

– А если козерог?

– Какой козерог?

– Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лесу какой-то козерог, стоит и смотрит...

Мне так хорошо, мне хочется болтать страшные глупости!

И он опять прижимал к губам ее руки, иногда как что-то священное целовал холодную грудь. Каким совсем новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкого леса зеленоватый полусвет, слабо отражавшийся в плоско белеющей воде вдали, резко, сельдереем, пахли росистые прибрежные растения, таинственно, просительно ныли невидимые комары – и летали, летали с тихим треском над лодкой и дальше, над этой по-ночному светящейся водой, страшные, бессонные стрекозы. И все где-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через неделю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то после обеда они сидели в гостиной и, касаясь головами, смотрели картинки в старых номерах «Нивы».

– Ты меня еще не разлюбила? – тихо спрашивал он, делая вид, что внимательно смотрит.

– Глупый. Ужасно глупый! – шептала она.

Вдруг послышались мягко бегущие шаги – и на пороге встала в черном шелковом истрепанном халате и истертых сафьяновых туфлях ее полоумная мать. Черные глаза ее трагически сверкали. Она вбежала, как на сцену, и крикнула:

– Я все поняла! Я чувствовала, я следила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукаве, оглушительно выстрелила из старинного пистолета, которым Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он, в дыму, бросился к ней, схватил ее

цепкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь рассекла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бегут на крик и выстрел, стала кричать с пеной на сизых губах еще театральнее:

– Только через мой труп перешагнет она к тебе! Если сбежит с тобой, в тот же день повешусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!

Она прошептала:

– Вы, вы, мама...

Он очнулся, открыл глаза – все так же неуклонно, загадочно, могильно смотрел на него из черной темноты сине-лиловый глазок над дверью, и все с той же неуклонно рвущейся вперед быстротой несся, пружиня, качаясь, вагон. Уже далеко, далеко остался тот печальный полустанок. И уж целых двадцать лет тому назад было все это – перелески, сороки, болота, кувшинки, ужи, журавли... Да, ведь были еще журавли – как же он забыл о них! Все было странно в то удивительное лето, странна и пара каких-то журавлей, откуда-то прилетавших от времени до времени на побережье болота, и то, что они только ее одну подпускали к себе и, выгибая тонкие, длинные шеи с очень строгим, но благосклонным любопытством смотрели на нее сверху, когда она, мягко и легко разбежавшись к ним в своих разноцветных чуньках, вдруг садилась перед ними на корточки, распутивши на влажной и теплой зелени побережья свой желтый сарафан, и с детским задором заглядывала в их прекрасные и грозные черные зрачки, узко схваченные кольцом темно-серого райка. Он смотрел на нее и на них издали, в бинокль, и четко видел их маленькие блестящие головки, – даже их костяные ноздри, скважины крепких, больших клювов, которыми они с одного удара убивали ужей. Кургузые туловища их с пушистыми пучками хвостов были туго покрыты стальным опереньем, чешуйчатые трости ног не в меру длинны и тонки – у одного совсем черные, у другого зеленоватые. Иногда они оба целыми часами стояли на одной ноге в непонятной неподвижности, иногда ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромные крылья; а не то важно прогуливались, выступали медленно, мерно, поднимали лапы, в комок сжимая три их пальца, а ставили разлато, раздвигая пальцы, как хищные когти, и все время качали головками... Впрочем, когда она подбегала к ним, он уже ни о чем не думал и ничего не видел – видел только ее распутившийся сарафан, смертной истомой содрогаюсь при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках на нем. А в тот последний их день, в то последнее их сидение рядом в гостиной на диване, над томом старой «Нивы», она тоже держала в руках его картуз, прижимала его к груди, как тогда, в лодке, и говорила, блестя ему в глаза радостными черно-зеркальными глазами:

– А я так люблю тебя теперь, что мне нет ничего милее даже вот этого запаха внутри картуза, запаха твоей головы и твоего гадкого одеколona!

За Курском, в вагоне-ресторане, когда после завтрака он пил кофе с коньяком, жена сказала ему:

– Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную девицу с костлявыми ступнями?

– Грущу, грущу, – ответил он, неприятно усмехаясь. – Дачная девица... *Amata nobis quantum arnabitur nulla!*²

– Это по-латыни? Что это значит?

– Этого тебе не нужно знать.

– Как ты груб, – сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотреть в солнечное окно.

27 сентября 1940

Красавица

Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. Он был молчалив и скромн, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного сложения носил очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, отлично и крепко сло-

² Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет! (лат.)

жена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице – все только руками разводили: за что и почему шли за него такие?

И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме.

Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной:

– Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре.

И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, – неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна... Спит он на полу между диваном и кадкой с пальмой. Он сам стелет себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришко его.

28 сентября 1940

Дурочка

Дьяконов сын, семинарист, приехавший в село к родителям на каникулы, проснулся однажды в темную жаркую ночь от жестокого телесного возбуждения и, полежав, распалил себя еще больше воображением: днем, перед обедом, подсматривал из прибрежного лозняка над заводью речки, как приходили туда с работы девки и, сбрасывая с потных белых тел через голову рубашки, с шумом и хохотом, задирая лица, выгибая спины, кидались в горячо блестящую воду; потом, не владея собой, встал, прокрался в темноте через сенцы в кухню, где было темно и жарко, как в топленой печи, нашарил, протягивая вперед руки, нары, на которых спала кухарка, нищая, безродная девка, слывшая дурочкой, и она, от страха, даже не крикнула. Жил он с ней с тех пор все лето и прижил мальчика, который и стал расти при матери в кухне. Дьякон, дьяконица, сам батюшка и весь его дом, вся семья лавочника и урядник с женой, все знали, от кого этот мальчик, и семинарист, приезжая на каникулы, видеть не мог его от злобного стыда за свою прошлое: жил с дурочкой!

Когда он кончил курс, – "блестяще!", как всем рассказывал дьякон, – и опять приехал к родителям на лето перед поступлением в академию, они в первый же праздник назвали к чаю гостей, чтобы погордиться перед ними будущим академиком. Гости тоже говорили о его блестящей будущности, пили чай, ели разные варенья, и счастливый дьякон завел среди их оживленной беседы зашипевший и потом громко закричавший граммофон.

Все смолкли и с улыбками удовольствия стали слушать подмывающие звуки "По улице мостовой", как вдруг в комнату влетел и неловко, не в лад заплясал, затопал кухаркин мальчик, которому мать, думая всех умиливать им, сдуру шепнула: "Беги, попляши, деточка". Все растерялись от неожиданности, а дьяконов сын, побагровев, кинулся на него подобно тигру и с такой силой швырнул вон из комнаты, что мальчик кубарем покатился в прихожую.

На другой день дьякон и дьяконица, по его требованию, кухарку прогнали. Они были люди добрые и жалостливые, очень привыкли к ней, полюбили ее за ее безответность, послушание и всячески просили сына смириться. Но он остался непреклонен, и его не посмели послушаться. К вечеру кухарка, тихо плача и держа в одной руке свой узелок, а в другой ручку мальчика, ушла со двора.

Все лето после того она ходила с ним по деревням и селам, побираясь Христа ради. Она обносилась, обтрепалась, спеклась на ветру и на солнце, исхудала до костей и кожи, но была

неутомима. Она шла босая, с дерюжной сумой через плечо, подпираясь высокой палкой, и в деревнях и селах молча кланялась перед каждой избой. Мальчик шел за ней сзади, тоже с мешком через плечико в старых башмаках ее, разбитых и затвердевших, как те опорки, что валяются где-нибудь в овраге.

Он был урод. У него было большое, плоское темя в кабаньей красной шерстке, носик расплющенный, с широкими ноздрями, глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил.

28 сентября 1940

Антигона

В июне, из имения матери, студент поехал к дяде и тете, – нужно было проведать их, узнать, как они поживают, как здоровье дяди, лишившегося ног генерала. Студент отбывал эту повинность каждое лето и теперь ехал с покорным спокойствием, не спеша читал в вагоне второго класса, положив молодую круглую ляжку на отвал дивана, новую книжку Аверченки, рассеянно смотрел в окно, как опускались и подымались телеграфные столбы с белыми фарфоровыми чашечками в виде ландышей. Он похож был на молоденького офицера – только белый картуз с голубым околышем был у него студенческий, все прочее на военный образец: белый китель, зеленые рейтузы, сапоги с лакированными голенищами, портсигар с зажигательным оранжевым жгутом.

Дядя и тетя были богаты. Когда он приезжал из Москвы домой, за ним высылали на станцию тяжелый тарантас, пару рабочих лошадей и не кучера, а работника. А на станции дяди он всегда вступал на некоторое время в жизнь совсем иную, в удовольствие большого достатка, начинал чувствовать себя красивым, бодрым, манерным. Так было и теперь. Он с невольным фатовством сел в легкую коляску на резиновом ходу, запряженную резвой караковой тройкой, которой правил молодой кучер в синей поддевке-безрукавке и шелковой желтой рубашке.

Через четверть часа тройка влетела, мягко играя россыпью бубенчиков и шипя по песку вокруг цветника шинами, на круглый двор обширной усадьбы, к перрону просторного нового дома в два этажа. На перрон вышел взять вещи рослый слуга в полубачках, в красном с черными полосами жилете и штиблетах. Студент сделал ловкий и невероятно широкий прыжок из коляски: улыбаясь и раскачиваясь на ходу, на пороге вестибюля показалась тетя – широкий чесучовый балахон на большом дряблом теле, крупное обвисшее лицо, нос якорем и под коричневыми глазами желтые подпалины. Она родственно расцеловала его в щеки, он с притворной радостью припал к ее мягкой темной руке, быстро подумав: целых три дня врать вот так, а в свободное время не знать, что с собой делать! Притворно и поспешно отвечая на ее притворно-заботливые расспросы о маме, он вошел за ней в большой вестибюль, с веселой ненавистью взглянул на несколько сгорбленное чучело бурого медведя с блестящими стеклянными глазами, косолапо стоявшего во весь рост у входа на широкую лестницу в верхний этаж и услужливо державшего в когтистых передних лапах бронзовое блюдо для визитных карточек, и вдруг даже приостановился от отрадного удивления: кресло с полным, бледным, голубоглазым генералом ровно катила навстречу к нему высокая, статная красавица в сером холстинковом платье, в белом переднике и белой косынке, с большими серыми глазами, вся сияющая молодостью, крепостью, чистотой, блеском холеных рук, матовой белизной лица. Целуя руку дяди, он успел взглянуть на необыкновенную стройность ее платья, ног. Генерал пошутил:

– А вот это моя Антигона, моя добрая путеводительница, хотя я и не слеп, как Эдип, и особенно на хорошеньких женщин. Познакомьтесь, молодые люди.

Она слегка улыбнулась, только поклоном ответила на поклон студента.

Рослый слуга в полубачках и в красном жилете провел его мимо медведя вверх, по блестящей темно-желтым деревом лестнице с красным ковром посередине и по такому же коридору, ввел в большую спальню с мраморной туалетной комнатой рядом – на этот раз в какую-то другую, чем прежде, и окнами в парк, а не во двор. Но он шел, ничего не видя. В голове все еще вертелась веселая чепуха, с которой он въехал в усадьбу, – "мой дядя самых честных правил", – но стояло уже и другое: вот так женщина!

Напевая, он стал бриться, мыться и переодеваться, надел штаны со штрипками, думая:

"Бывают же такие женщины! И что можно отдать за любовь такой женщины! И как же это

при такой красоте катать стариков и старух в креслах на колесиках!"

И в голову шли нелепые мысли: вот взять и остаться тут на месяц, на два, втайне ото всех войти с ней в дружбу, в близость, вызвать ее любовь, потом сказать: будьте моей женой, я весь и навеки ваш. Мама, тетя, дядя, их изумление, когда я заявлю им о нашей любви и нашем решении соединить наши жизни, их негодование, потом уговоры, крики, слезы, проклятия, лишение наследства – все для меня ничто ради вас...

Сбегая с лестницы к тете и дяде, – их покои были внизу, – он думал:

"Какой, однако, вздор лезет мне в голову! Остаться тут под каким-нибудь предлогом, разумеется, можно... можно начать незаметно ухаживать, прикинуться безумно влюбленным... Но добьешься ли чего-нибудь? А если и добьешься, что дальше? Как развязаться с этой историей? Правда, что ли, жениться?"

С час он сидел с тетей и дядей в его огромном кабинете с огромным письменным столом, с огромной тахтой, покрытой туркестанскими тканями, с ковром на стене над ней, крест-накрест увешанным восточным оружием, с инкрустированными столиками для курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой рамке под золотой коронкой, на котором был собственноручный вольный росчерк: Александр.

– Как я рад, дядя и тетя, что я опять с вами, – сказал он под конец, думая о сестре. – И как тут чудесно у вас! Ужасно будет жаль уезжать.

– А кто ж тебя гонит? – ответил дядя. – Куда тебе спешить? Живи себе, покуда не наскучит.

– Разумеется, – сказала тетя рассеянно.

Сидя и беседуя, он непрестанно ждал: вот-вот войдет она – объявит горничная, что готов чай в столовой, и она придет катить дядю. Но чай подали в кабинет – вкатили стол с серебряным чайником на спиртовке, и тетя разливала сама. Потом он все надеялся, что она принесет какое-нибудь лекарство дяде... Но она так и не пришла.

– Ну и черт с ней, – подумал он, выходя из кабинета, вошел в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо, в двери зала, где в предвечернем свете отсвечивали в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля, потом прошел налево, в гостиную, за которой была диванная; из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветной яркому цветнику, обошел его и побрел по высокой тенистой аллее... На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще два часа.

В семь с половиной в вестибюле завыл гонг. Он первый вошел в празднично сверкающую люстрой столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар во всем белом и подкрахмаленном, худощекий лакей во фраке и белых вязаных перчатках и маленькая горничная, по-французски субтильная. Через минуту молочно-седой королевой, покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на щиколках, над тесными шелковыми туфлями, и наконец-то она. Но, подкатив дядю к столу, она тотчас, не оборачиваясь, плавно вышла, – студент успел только заметить странность ее глаз: они не моргали. Дядя покрестил грудь светло-серой генеральской тужурки мелкими крестиками, тетя и студент истово перекрестились стоя, потом именованно сели, развернули блестящие салфетки. Размытый, бледный, с причесанными мокрыми жидкими волосами, дядя особенно явно показывал свою безнадежную болезнь, но говорил и ел много и со вкусом, пожимал плечами, говоря о войне, – это было время русско-японской войны: за коим чертом мы затеяли ее! Лакей служил оскорбительно-безучастно, горничная, помогая ему, семенила изящными ножками, повар отпускал блюда с важностью истукана. Ели горячую, как огонь, налимью уху, кровавый ростбиф, молодой картофель, посыпанный укропом. Пили белое и красное вино князя Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, поддакивал с веселыми улыбками, но, как попугай, с тем вздором в голове, с которым давеча переодевался, думал: а где же обедает она, неужели с прислугой? и ждал минуты, когда она опять придет, увезет дядю и потом где-нибудь встретится с ним, и он перекинется с ней хоть несколькими словами. Но она пришла, укатила кресло и опять где-то скрылась.

Ночью осторожно и старательно пели в парке соловьи, входила в открытые окна спальни свежесть воздуха, росы и политых на клумбах цветов, холодило постельное белье голландского полотна. Студент полежал в темноте и уже решил перевернуться к стене и заснуть, но вдруг поднял голову, привстал: раздеваясь, он увидел в стене у изголовья кровати небольшую дверь, из

любопытства повернул в ней ключ и нашел за ней вторую, попробовал ее, но оказалось, что она заперта снаружи; теперь за этими дверями кто-то мягко ходил, что-то таинственно делал; и он затаил дыхание, соскользнул с кровати, отворил первую дверь, прислушался: что-то тихо зазвенело на полу за второй дверью... Он похолодел: неужели это ее комната! Он приник к замочной скважине, – ключа в ней, к счастью, не было, – увидел свет, край туалетного женского стола, потом что-то белое, вдруг вставшее и все закрывшее... Было несомненно, что это ее комната, – чья же иначе? Не поместят же тут горничную, а Марья Ильинишна, старая горничная тети, спит внизу возле тетиной спальни. И он точно заболел сразу ее ночной близостью вот тут, за стеною, и ее недоступностью. Он долго не спал, проснулся поздно и тотчас опять почувствовал, мысленно увидел, представил себе ее ночную прозрачную сорочку, босые ноги в туфлях...

"Впору нынче же уехать!" – подумал он, закуривая. Утром пили кофе каждый у себя. Он пил, сидя в широкой ночной рубашке дяди, в его шелковом халате, и с грустью бесполезности рассматривал себя, распахнув халат.

За завтраком в столовой было сумрачно и скучно. Он завтракал только с тетей, погода была плохая, – за окнами мотались от ветра деревья, над ними сгущались облака и тучи...

– Ну, милый, я тебя покидаю, – сказала тетя, вставая и крестясь. – Развлекайся, как можешь, а меня и дядю уж извини по нашим немощам, мы до чаю сидим по своим углам. Верно, дождь будет, а то бы ты мог прокатиться верхом...

Он бодро ответил:

– Не беспокойтесь, тетя, я займусь чтением...

И пошел в диванную, где все стены были в полках с книгами.

Пройдя туда по гостиной, он подумал, что, может быть, все-таки следует приказать оседлать лошадь. Но в окна были видны разнообразные дождевые облака и неприятная металлическая лазурь среди лиловатых туч над качающимися вершинами деревьев. Он вошел в уютную, пахнущую сигарным дымом диванную, где под полками с книгами кожаные диваны занимали целых три стены, посмотрел некоторые корешки чудесно переплетенных книг – и беспомощно сел, утонул в диване. Да, адова скука. Хоть бы просто так увидеть ее, поболтать с ней... узнать, какой у ней голос, какой характер, глупа ли она или, напротив, очень себе на уме, скромно ведет свою роль до какой-нибудь благоприятной поры. Вероятно, очень блюдущая себя и знающая себе цену стерва. И скорее всего глупа... Но до чего хороша! И опять ночевать рядом с ней! – Он встал, отворил стеклянную дверь на каменные ступени в парк, услышал щелканье соловьев за его шумом, но тут так понесло прохладным ветром по каким-то молодым деревьям влево, что он вскочил в комнату. Комната потемнела, ветер летел по этим деревьям, пригнув их свежую зелень, и стекла двери и окон заискрились острыми брызгами мелкого дождя.

– А им все нипочем! – громко сказал он, слушая долетающее со всех сторон из-за ветра, то отдаленное, то близкое, щелканье соловьев. И в ту же минуту услышал ровный голос:

– Добыли день.

Он взглянул и оторопел: в комнате стояла она.

– Пришла обменять книгу, – сказала она с приветливым бесстрашием. – Только и радости, что книги, – прибавила она с легкой улыбкой и подошла к полкам.

Он пробормотал:

– Добрый день. Я и не слышал, как вы вошли...

– Очень мягкие ковры, – ответила она и, обернувшись, уже длительно посмотрела на него своими неморгающими серыми глазами.

– А что вы любите читать? – спросил он, немного смелее встречая ее взгляд.

– Сейчас читаю Мопассана, Октава Мирбо...

– Ну да, это понятно. Мопассан всем женщинам нравится. У него все о любви.

– А что же может быть лучше любви?

Голос ее был скромн, глаза тихо улыбались.

– Любовь, любовь! – сказал он, вздыхая. – Бывают удивительные встречи, но... Ваше имя-отчество, сестра?

– Катерина Николаевна. А ваше?

– Зовите меня просто Павлик, – ответил он, все больше смелея.

– Вы думаете, что я вам тоже в тети гожусь?

– Дорого бы я дал иметь такую тетю! Пока я только ваш несчастный сосед.

– Неужели это несчастье?

– Я слышал вас нынче ночью. Ваша комната, оказывается, рядом с моей.

Она безразлично засмеялась:

– И я вас слышала. Нехорошо подслушивать и подсматривать.

– Как вы непозволительно красивы! – сказал он, в упор рассматривая серую пестроту ее глаз, матовую белизну лица и лоск темных волос под белой косынкой.

– Вы находите? И хотите не позволить мне быть такой?

– Да. Одни ваши руки могут с ума свести...

И он с веселой дерзостью схватил левой рукой ее правую руку. Она, стоя спиной к полкам, взглянула через его плечо в гостиную и не отняла руки, глядя на него со странной усмешкой, точно ожидая: ну, а дальше что? Он, не выпуская ее руки, крепко сжал ее, оттягивая книзу, правой рукой охватил ее поясицу. Она опять взглянула через его плечо и слегка откинула голову, как бы защищая лицо от поцелуя, но прижалась к нему выгнутой станом. Он, с трудом переводя дыхание, потянулся к ее полураскрытым губам и двинул ее к дивану. Она, нахмурясь, закачала головой, шепча: "Нет, нет, нельзя, лежа мы ничего не увидим и не услышим..." – и с потускневшими глазами медленно раздвинула ноги... Через минуту он упал лицом к ее плечу. Она еще постояла, стиснув зубы, потом тихо освободилась от него и стройно пошла по гостиной, громко и безразлично говоря под шум дождя:

– О, какой дождь! А наверху все окна открыты...

На другое утро он проснулся в ее постели – она повернулась в нагретом за ночь, сбитом постельном белье на спину, закинув голую руку за голову. Он открыл глаза и радостно встретил ее неморгающий взгляд, с обморочным головокружением почувствовал терпкий запах ее подмышки...

В дверь кто-то торопливо постучался.

– Кто там? – спокойно спросила она, не отстраняя его. – Это вы, Марья Ильинишна?

– Я, Катерина Николаевна.

– В чем дело?

– Позвольте войти, боюсь, кто-нибудь меня услышит, побежит и напугает генеральшу...

Когда он выскочил в свою комнату, она не спеша повернула ключ в замке.

– Его превосходительству что-то нехорошо, надо, думаю, пикюр сделать, – зашептала, входя, Марья Ильинишна, – слава Богу, генеральша еще спит, идите скорее...

Глаза Марьи Ильинишны уже круглились, как у змеи: говоря, она вдруг увидела возле кровати мужские туфли, – студент убежал босиком. И она тоже увидела туфли и глаза Марьи Ильинишны.

Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать: стала спокойно врать, что получила письмо от отца, – известие, что ее брат тяжело ранен в Маньчжурии, что отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе...

– Ах, как я понимаю вас! – сказала генеральша, уже все знавшая от Марьи Ильинишны. – Ну что ж делать, поезжайте. Только пошлите со станции депешу доктору Кривцову, чтобы он немедленно приехал и побыл у нас, пока мы найдем другую сестру...

Потом она постучалась к студенту и сунула ему записочку: "Все пропало, я уезжаю. Старуха увидела возле кровати ваши туфли. Не поминайте лихом".

За завтраком тетя была только немного печальна, но говорила с ним как ни в чем не бывало.

– Ты слышал? Сестра уезжает к отцу, он один, брат ее страшно ранен...

– Слышал, тетя. Вот несчастье эта война, сколько горя повсюду. А что все-таки было с дядей?

– Ах, слава Богу, ничего серьезного. Он ужасно мнителен. Сердце будто, но все это от желудка...

В три часа Антигону увезли на тройке на станцию. Он, не поднимая глаз, простился с ней на перроне, будто случайно выбежав, чтобы велеть оседлать лошадь. Он готов был кричать от отчаяния. Она помахала ему из коляски перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке.

2 октября 1940

Смарагд

Ночная синяя чернота неба в тихо плывущих облаках, везде белых, а возле высокой луны голубых. Приглядишься – не облака плывут – луна плывет, и близ нее, вместе с ней, льется золотая слеза звезды: луна плавно уходит в высоту, которой нет дна, и уносит с собой все выше и выше звезду.

Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна и, отклонив голову, смотрит вверх – голова у нее немного кружится от движения неба. Он стоит у ее колен.

– Какой это цвет? Не могу определить! А вы, Толя, можете?

– Цвет чего, Киса?

– Не зовите меня так, я уж тысячу раз говорила вам...

– Слушаю-с, Ксения Андреевна.

– Я говорю про это небо среди облаков. Какой дивный цвет! И страшный и дивный. Вот уже правда небесный, на земле таких нет. Смарагд какой-то.

– Раз он в небе, так, конечно, небесный. Только почему смарагд? И что такое смарагд? Я его в жизни никогда не видал. Вам просто это слово нравится.

– Да. Ну, я не знаю, – может, не смарагд, а яхонт... Только такой, что, верно, только в раю бывает. И когда вот так смотришь на все это, как же не верить, что есть рай, ангелы. Божий престол...

– И золотые груши на вербе...

– Какой вы испорченный. Толя. Правду говорит Марья Сергеевна, что самая дурная девушка все-таки лучше всякого молодого человека.

– Сама истина глаголет ее устами. Киса.

Платьице на ней ситцевое, рябенькое, башмаки дешевые; икры и колени полные, девичьи, круглая головка с небольшой косой вокруг нее так мило откинута назад... Он кладет руку на ее колено, другой обнимает ее за плечи и полушутя целует в приоткрытые губы. Она тихо освобождается, снимает его руку с колена.

– Что такое? Мы обиделись?

Она прижимается затылком к косяку окна, и он видит, что она, прикусив губу, удерживает слезы.

– Да в чем дело?

– Ах, оставьте меня...

– Да что случилось?

Она шепчет:

– Ничего...

И, соскочив с подоконника, убегает.

Он пожимает плечами:

– Глупа до святости!

3 октября 1940

Волки

Тьма теплой августовской ночи, еле видны тусклые звезды, кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележка с двумя молодыми седоками – мелкопоместной барышней и юношей гимназистом. Пасмурные зарницы освещают иногда пару ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами, в простой упряжи, и картуз и плечи малого в замашной рубахе на козлах, на мгновение открывают впереди поля, опустевшие после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером на деревне был шум, крик, трусливый лай и визг собак: с удивительной дерзостью, когда по избам уже ужинали, волк зарезал в одном дворе овцу и едва не унес ее – вовремя выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили ее, уже околевшую, с разорванным боком. Теперь барышня нервно хохочет, зажигает и бросает в темноту спички, весело крича:

– Волков боюсь!

Спички освещают удлиненное, грубоватое лицо юноши и ее возбужденное широкоскулое личико. Она кругло, по-малорусски, повязана красным платочком, свободный вырез красного

ситцевого платья открывает ее круглую, крепкую шею. Качаясь на бегу тележки, она жжет и бросает в темноту спички, будто не замечая, что гимназист обнимает ее и целует то в шею, то в щеку, ищет ее губы. Она отодвигает его локтем, он намерение громко и просто, имея в виду малого на козлах, говорит ей:

– Отдайте спички. Мне закурить нечем будет.

– Сейчас, сейчас! – кричит она, и опять вспыхивает спичка, потом зарница, и тьма еще гуще слепит теплой чернотой, в которой все кажется, что тележка катится назад. Наконец она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, толчком мотнув их обоих, тележка точно натывается на что-то – малый круто осаживает лошадей.

– Волки! – вскрикивает он.

В глаза бьет зарево пожара вдали направо. Тележка стоит против того леска, что открывался при зарницах. Лесок от зарева стал теперь черным и весь зыбко дрожит, как дрожит и все поле перед ним в сумрачно-красном трепете от того жадно несущегося в небе пламени, которое, не смотря на даль, полыхает с бегущими в нем тенями дыма точно в версте от тележки, разъяряется все жарче и грознее, охватывает горизонт все выше и шире, – кажется, что жар его уже доходит до лица, до рук, виден даже над чернотой земли красный переплет какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят, багрово серея, три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный, – прозрачный и яркий, как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют вбок, влево, по пашне, малый, на вожжах, валится назад, а тележка, со стуком и треском, мотаясь, бьется по взметам...

Где-то над оврагом лошади еще раз взметнулись, но она, вскочив, успела вырвать вожжи из рук ошалевшего малого. Тут она с размаху полетела в козлы и рассекла щеку об что-то железное. Так и остался на всю жизнь легкий шрам в уголке ее губ, и, когда у ней спрашивали, отчего это, она с удовольствием улыбалась:

– Дела давно минувших дней! – говорила она, вспоминая то давнее лето, августовские сухие дни и темные ночи, молотьбу на гумне, ометы новой пахучей соломы и небритого гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на ярко-мгновенные дуги падающих звезд. – Волки испугали, лошади понесли, – говорила она. – А я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их...

Те, кого она еще не раз любила в жизни, говорили, что нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную улыбку.

7 октября 1940

Визитные карточки

Было начало осени, бежал по опустевшей Волге пароход «Гончаров». Завернули ранние холода, туго и быстро дул навстречу, по серым разливам ее азиатского простора, с ее восточных, уже порыжевших берегов, студеный ветер, трепавший флаг на корме, шляпы, картузы и одежды ходивших по палубе, морщивший им лица, бивший в рукава и полы. И бесцельно и скучно провозжала пароход единственная чайка – то летела, выпукло кренясь на острых крыльях, за самой кормой, то косо смывалась вдаль, в сторону, точно не зная, что с собой делать в этой пустыне великой реки и осеннего серого неба.

И пароход был почти пуст, – только артель мужиков на нижней палубе, а по верхней ходили взад и вперед, встречаясь и расходясь, всего трое: те два из второго класса, что оба плыли куда-то в одно и то же место и были неразлучны, гуляли всегда вместе, все о чем-то деловито говоря, и были похожи друг на друга незаметностью, и пассажир первого класса, человек лет тридцати, недавно прославившийся писатель, заметный своей не то печальной, не то сердитой серьезностью и отчасти наружностью: он был высок, крепок, – даже слегка гнулся, как некоторые сильные люди, – хорошо одет и в своем роде красив: брюнет того восточного типа, что встречается в Москве среди ее старинного торгового люда; он и вышел из этого люда, хотя ничего общего с ним уже не имел.

Он одиноко ходил твердой поступью, в дорогой и прочной обуви, в черном шевиотовом пальто и клетчатой английской каскетке, шагал взад и вперед, то навстречу ветру, то под ветер, дыша этим сильным воздухом осени и Волги. Он доходил до кормы, стоял на ней, глядя на расстилавшуюся и бегущую серой зыбью сзади парохода реку и опять, резко повернувшись, шел к

носу, на ветер, нагибая голову в надувавшейся каскетке и слушая мерный стук колесных плит, с которых стеклянным холстом катилась шумящая вода. Наконец он вдруг приостановился и хмуро улыбнулся: показалась поднимавшаяся из пролета лестницы, с нижней палубы, из третьего класса, черная дешевенькая, шляпка и под ней испитое, милое лицо той, с которой он случайно познакомился вчера вечером. Он пошел к ней навстречу широкими шагами. Вся поднявшись на палубу, неловко пошла и она на него и тоже с улыбкой, подгоняемая ветром, вся косясь от ветра, придерживая худой рукой шляпку, в легком пальтишке, под которым видны были тонкие ноги.

– Как изволили почивать? – громко и мужественно сказал он на ходу.

– Отлично! – ответила она неумеренно весело. – Я всегда сплю, как сурок...

Он задержал ее руку в своей большой руке и посмотрел ей в глаза. Она с радостным усилием встретила его взгляд.

– Что ж вы так заспались, ангел мой, – сказал он фамильярно. – Добрые люди уже завтракают.

– Все мечтала! – ответила она бойко, совсем несоответственно всему своему виду.

– О чем же это?

– Мало ли о чем?

– Ой, смотрите! "Так тонут маленькие дети, купаясь летнею порой, чеченец ходит за рекой".

– Вот чеченца-то я и жду! – ответила она с той же веселой бойкостью.

– Пойдем лучше водку пить и уху есть, – сказал он, думая: ей и завтракать-то, верно, не на что.

Она кокетливо затопала ногами:

– Да, да, водки, водки! Чертов холод!

И они скорым шагом пошли в столовую первого класса, она впереди, он за нею, уже с некоторой жадностью осматривая ее.

Он вспоминал о ней ночью. Вчера, случайно заговорив с ней и познакомившись у борта парохода, подходившего в сумерки к какому-то черному высокому берегу, под которым уже рассыпаны были огни, он потом посидел с ней на палубе, на длинной лавке, идущей вдоль кают первого класса, под их окнами с белыми сквозными ставнями, но посидел мало и ночью жалел об этом. К удивлению своему, он ночью понял, что уже хотел ее. Почему? По привычке дорожного влечения к случайным и неизвестным спутницам? Теперь, сидя с ней в столовой, чокаясь рюмками под холодную зернистую икру с горячим калачом, он уже знал, почему так влечет его она, и нетерпеливо ждал доведения дела до конца. Оттого, что все это – и водка и ее развязность – было в удивительном противоречии с ней, он внутренне волновался все больше.

– Ну-с, еще по единой, и шабаш! – говорит он.

– И правда шабаш, – отвечает она в тон ему. – А замечательная водка!

Конечно, она тронула его тем, что так растерялась вчера, когда он назвал ей свое имя, поражена была неожиданным знакомством с известным писателем, – чувствовать и видеть эту растерянность было, как всегда, приятно, это всегда располагает к женщине, если она не совсем дурна и глупа, сразу создает некоторую интимность между тобой и ею, дает смелость в обращении с нею и уже как бы некоторое право на нее. Но не одно это возбуждало его: он, видимо, поразила ее и как мужчина, а она его тронула именно всей своей бедностью и простосердечностью. Он уже усвоил себе бесцеремонность с поклонницами, легкий и скорый переход от первых минут знакомства с ними к вольности обращения, якобы артистического, и эту наигранную простоту расспросов: кто вы такая? откуда? замужняя или нет? Так спрашивал он и вчера – глядел в сумрак вечера на разноцветные огни на бакенах, длинно отражавшиеся в темнеющей воде вокруг парохода на красно горевший костер на плотках, чувствовал гранях дымка оттуда, думая: "Это надо запомнить – в этом дымке тотчас чудится запах ухи", – и спрашивал:

– Можно узнать, как зовут?

Она быстро сказала свое имя-отчество.

– Возвращаетесь откуда-нибудь домой?

– Была в Свяжске у сестры, у нее внезапно умер муж, и она, понимаете, осталась в ужасном положении...

Она сперва так смущалась, что все смотрела куда-то вдаль. Потом стала отвечать смелее.

– А вы тоже замужем?

Она начала странно усмехаться:

– Замужем. И, увы, уже не первый год...

– Почему увы?

– Выскочила по глупости чересчур рано. Не успеешь оглянуться, как жизнь пройдет!

– Ну, до этого еще далеко.

– Увы, недалеко! А я еще ничего, ничего не испытала в жизни!

– Еще не поздно испытать.

И тут она вдруг с усмешкой тряхнула головой:

– И испытаю!

– А кто ваш муж? Чиновник?

Она махнула ручкой:

– Ах, очень хороший и добрый, но, к сожалению, совсем не интересный человек... Секретарь нашей земской уездной управы...

"Какая милая и несчастная!" – подумал он и вынул портсигар:

– Хотите папиросу?

– Очень!

И она неумело, но отважно закурила, быстро, по-женски затягиваясь. И в нем еще раз дрогнула жалость к ней, к ее развязности, а вместе с жалостью – нежность и сладострастное желание воспользоваться ее наивностью и запоздалой неопытностью, которая, он уже чувствовал, непременно соединится с крайней смелостью. Теперь, сидя в столовой, он с нетерпением смотрел на ее худые руки, на увядшее и оттого еще более трогательное личико, на обильные, кое-как убранные темные волосы, которыми она все встряхивала, сняв черную шляпку и скинув с плеч, с бумазейного платья серое пальтишко. Его умиляла и возбуждала та откровенность, с которой она говорила с ним вчера о своей семейной жизни, о своем немолодом возрасте, и то, что она вдруг так расхрабрилась теперь, делает и говорит как раз то, что так удивительно не идет к ней. Она слегка покраснелась от водки, даже бледные губы ее порозовели, глаза налились сонно-насмешливым блеском.

– Знаете, – сказала она вдруг, – вот мы говорили о мечтах: знаете, о чем я больше всего мечтала гимназисткой? Заказать себе визитные карточки! Мы совсем обеднели тогда, продали остатки имения и переехали в город, и мне совершенно некому было давать их, а как я мечтала! Ужасно глупо...

Он сжал зубы и крепко взял ее ручку, под тонкой кожей которой чувствовались все косточки, но она, совсем не поняв его, сама, как опытная обольстительница, поднесла ее к его губам и томно посмотрела на него.

– Пойдем ко мне...

– Пойдем... Здесь, правда, что-то душно, накурено!

И, встряхнув волосами, взяла шляпку.

Он в коридоре обнял ее. Она гордо, с негой посмотрела на него через плечо. Он с ненавистью страсти и любви чуть не укусил ее в щеку. Она, через плечо, вакхически подставила ему губы.

В полусвете каюты с опущенной на окне сквозной решеткой она тотчас же, спеша угодить ему и до конца дерзко использовать все то неожиданное счастье, которое вдруг выпало на ее долю с этим красивым, сильным и известным человеком, расстегнула и стоптала с себя упавшее на пол платье, осталась, стройная, как мальчик, в легонькой сорочке, с голыми плечами и руками и в белых панталончиках, и его мучительно пронзила невинность всего этого.

– Все снять? – шепотом спросила она, совсем, как девочка.

– Все, все, – сказал он, мрачней все более.

Она покорно и быстро переступила из всего сброшенного на пол белья, осталась вся голая, серо-сиреневая, с той особенностью женского тела, когда оно нервно зябнет, становится туго и прохладно, покрываясь гусиной кожей, в одних дешевых серых чулках с простыми подвязками, в дешевых черных туфельках, и победоносно пьяно взглянула на него, берясь за волосы и вынимая из них шпильки. Он, холодея, следил за ней. Телом она оказалась лучше, моложе, чем можно было думать. Худые ключицы и ребра выделялись в соответствии с худым лицом и тонкими голеньями. Но бедра были даже крупны. Живот с маленьким глубоким пупком был впалый, выпуклый треугольник темных красивых волос под ним соответствовал обилию темных волос на голо-

ве. Она вынула шпильки, волосы густо упали на ее худую спину в выступающих позвонках. Она наклонилась, чтобы поднять спадающие чулки, – маленькие груди с озябшими, сморщившимися коричневыми сосками повисли тощими грушками, прелестными в своей бедности. И он заставил ее испытать то крайнее бесстыдство, которое так не к лицу было ей и потому так возбуждало его жалостью, нежностью, страстью... Между планок оконной решетки, косо торчавших вверх, ничего не могло быть видно, но она с восторженным ужасом косилась на них, слышала беспечный говор и шаги проходящих по палубе под самым окном, и это еще страшнее увеличивало восторг ее развратности. О, как близко говорят и идут – и никому и в голову не приходит, что делается на шаг от них, в этой белой каюте!

Потом он ее, как мертвую, положил на койку. Сжав зубы, она лежала с закрытыми глазами и уже со скорбным успокоением на побледневшем и совсем молодом лице.

Перед вечером, когда пароход причалил там, где ей нужно было сходить, она стояла возле него тихая, с опущенными ресницами. Он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, что остается где-то в сердце на всю жизнь, и она, не оглядываясь, побежала вниз по сходням в грубую толпу на пристани.

5 октября 1940

Зойка и Валерия

Зимой Левицкий проводил все свое свободное время в московской квартире Данилевских, летом стал приезжать к ним на дачу в сосновых лесах по Казанской дороге.

Он перешел на пятый курс, ему было двадцать четыре года, но у Данилевских только сам доктор говорил ему «коллега», а все остальные звали его Жоржем и Жоржиком. По причине одиночества и влюбчивости, он постоянно привязывался к какому-нибудь знакомому дому, скоро становился в нем своим человеком, гостем изо дня в день и даже с утра до вечера, если позволяли занятия, – теперь стал он таким у Данилевских. И тут не только хозяйка, но даже дети, очень полная Зойка и ушастый Гришка, обращались с ним, как с каким-нибудь дальним и бездомным родственником. Был он с виду прост и добр, услужлив и неразговорчив, хотя с большой готовностью отзывался на всякое слово, обращенное к нему.

Пациентам Данилевского отворяла дверь пожилая женщина в больничном платье, они входили в просторную прихожую, устланную коврами и обставленную тяжелой старинной мебелью, и женщина надевала очки, с карандашом в руке строго смотрела в свой дневник и одним назначала день и час будущего приема, а других вводила в высокие двери приемной, и там они долго ждали вызова в соседний кабинет, на допрос и осмотр к молодому ассистенту в сахарно-белом халате, и только уже после этого попадали к самому Данилевскому, в его большой кабинет с высоким одром у задней стены, на который он заставлял некоторых из них влезать и ложиться в самой жалкой и неловкой от страха позе: пациентов все смущало – не только ассистент и женщина в прихожей, где с такой гробовой медлительностью, блистая, ходил из стороны в сторону медный диск маятника в старинных стоячих часах, но и весь важный порядок этой богатой, просторной квартиры, это выжидательное молчание приемной, где никто не смел сделать лишнего вдоха, и все они думали, что это какая-то совсем особенная, вечно безжизненная квартира и что сам Данилевский, высокий, плотный, грубоватый, вряд ли хоть раз в году улыбается. Но они ошибались: в той жилой части квартиры, куда вели двойные двери из прихожей направо, почти всегда было шумно от гостей, со стола в столовой не сходил самовар, бегала горничная, добавляя к столу то чашек и стаканов, то вазочек с вареньем, то сухарей и булочек, и Данилевский даже в часы приема нередко пробегал туда по прихожей на цыпочках и, пока пациенты ждали его, думая, что он страшно занят каким-нибудь тяжелобольным, сидел, пил чай, говорил про них гостям: "Хай трошки подождут, матери их черт!" Однажды, сидя так и с усмешкой поглядывая на Левицкого, на сухую худобу и некоторую гнущность его тела, на его слегка кривые ноги и впалый живот, на обтянутое тонкой кожей лицо в веснушках, ястребиные глаза и рыжие, круто вьющиеся волосы, Данилевский сказал:

– А признайтесь, коллега: ведь есть в вас какая-нибудь восточная кровь, жидовская, например, или кавказская?

Левицкий ответил со своей неизменной готовностью к ответам:

– Никак нет, Николай Григорьевич, жидовской нет. Есть польская, есть, может быть, ваша

украинская, – ведь Левицкие есть и украинцы, – слышал от деда, будто есть и турецкая, но правда ли, один аллах ведает.

И Данилевский с удовольствием расхохотался:

– Ну вот, я все-таки угадал! Так что будьте осторожны, дамы и девицы, он турок и вовсе не такой скромник, как вы думаете. Да и влюбчив он, как вам известно, по-турецки. Чей теперь черед, коллега? Кто теперь дама вашего широкого сердца?

– Дария Тадиевна, – быстро залившись тонким огнем, ответил Левицкий с простосердечной улыбкой – он часто так краснел и улыбался.

Очаровательно смутилась, так что даже ее смородинные глаза как будто на миг куда-то пропали, и сама Дария Тадиевна, миловидная, с синеватым пушком на верхней губе и вдоль щек, в черном шелковом чепчике после тифа, полулежавшая в кресле.

– Что ж, это ни для кого не секрет и вполне понятно, – сказала она, – ведь во мне тоже восточная кровь...

И Гриша сладострастно заорал: "А, попались, попались!", а Зойка выбежала в соседнюю комнату и с разбега упала спиной к отвалу дивана с раскосившимися глазами.

Действительно, зимой Левицкий был скрытно влюблен в Дарию Тадиевну, а до нее испытывал некоторые чувства и к Зойке. Ей было всего четырнадцать лет, но она уже была очень развита телесно, сзади особенно, хотя еще по-детски были нежны и круглы ее сизые голые колени под короткой шотландской юбочкой. Год тому назад ее взяли из гимназии, не учили и дома, – Данилевский нашел в ней зачатки какой-то мозговой болезни, – и она жила в беспечном безделье, никогда не скучая. Она так была со всеми ласкова, что даже облизывалась. Она была крутолоба, у нее был наивно-радостный, как будто всегда чему-то удивленный взгляд маслянистых синих глаз и всегда влажные губы. При всей полноте ее тела, в нем было грациозное кокетство движений. Красный бант, завязанный в ее орехом переливающихся волосах, делал ее особенно соблазнительной. Она свободно садилась на колени к Левицкому – как бы невинно, ребячески – и, верно, чувствовала, что втайне испытывает он, держа ее полноту, мягкость и тяжесть и отводя глаза от ее голых колен под клетчатой юбочкой. Иногда он не выдерживал, как бы шутя целовал ее в щеку, и она закрывала глаза, томно и насмешливо улыбалась. Она однажды шепотом сказала ему под страшным секретом то, что только она одна в мире знала про маму: мама влюблена в молодого доктора Титова! Маме сорок лет, но ведь она стройна, как барышня, и страшно моложава, и оба они, и мама и доктор, такие красивые и высокие ростом! Потом Левицкий стал невнимателен к ней – стала появляться в доме Дария Тадиевна. Зойка сделалась еще как будто веселее, беспечнее, но не сводила глаз ни с нее, ни с Левицкого, часто с криком кидалась целовать ее, но так ненавидела, что, когда та заболела тифом, каждый день ждала радостной вести из больницы о ее смерти. А потом она ждала ее отъезда – и лета, когда Левицкий, освободившись от занятий, начнет ездить к ним на дачу по Казанской дороге, где Данилевские жили летом уже третий год: она тайком вела некоторую охоту на него.

И вот лето пришло, и он стал приезжать каждую неделю на два, на три дня. Но тут вскоре приехала гостить племянница папы из Харькова, Валерия Остроградская, которой ни Зойка, ни Гришка никогда еще не видали. Левицкого послали рано утром в Москву встречать ее на Курском вокзале, и со станции он приехал не на велосипеде, а сидя с ней в тележке станционного извозчика, усталый, с провалившимися глазами, радостно взволнованный. Видно было, что он еще на Курском вокзале влюбился в нее, и она обращалась с ним уже повелительно, когда он вытаскивал из тележки ее вещи. Впрочем, взбежав на крыльцо навстречу маме, она тотчас забыла о нем и потом не замечала его весь день. Она показалась Зойке непонятной, – разбирая вещи в своей комнате и сидя потом на балконе за завтраком, она то очень много говорила, то неожиданно смолкала, думала что-то свое.

Но она была настоящая малороссийская красавица! И Зойка приставала к ней с неугомонной настойчивостью:

– А вы привезли с собой сафьянные сапожки и плахту? Вы наденете их? Вы позволите называть вас Валечкой?

Но и без малороссийского наряда она была очень хороша: крепкая, ладная, с густыми темными волосами, с бархатными бровями, почти сросшимися, с грозными глазами цвета черной крови, с горячим темным румянцем на загорелом лице, с ярким блеском зубов и полными вишневыми губами. Руки у нее были маленькие, но тоже крепкие, ровно загорелые, точно слегка

прокопченные. А какие плечи! И как сквозили на них под тонкой белой блузкой шелковые розовые ленточки, державшие сорочку! Юбка была довольна короткая, совсем простая, но удивительно сидела на ней. Зойка так восхищалась, что даже не ревновала Левицкого, который перестал уезжать в Москву и не отходил от Валерии, счастливый тем, что она приблизила его к себе, тоже стала называть Жоржем и то и дело что-нибудь приказывала ему. Дальше дни пошли совсем летние, жаркие, гости все чаще приезжали из Москвы, и Зойка заметила, что Левицкий получил отставку, сидит все больше возле мамы, помогает ей чистить малину, что Валерия влюбилась в доктора Титова, в которого тайно влюблена мама. С Валерией вообще что-то случилось – когда не было гостей, она перестала менять нарядные блузки, как делала прежде, иногда с утра до вечера ходила в мамином пеньюаре и вид имела брезгливый. Было страшно интересно: целовалась она с Левицким до своей влюбленности в Титова или нет? Гришка клялся, что видел, как она с Левицким шла раз перед обедом с купанья по еловой аллее, повязанная, как чалмой, полотенцем, как Левицкий тащил, спотыкаясь, ее мокрую простыню и что-то часто, часто говорил и как она приостановилась, а он вдруг схватил ее за плечо и поцеловал в губы.

– Я прижался за елью, и они не видали меня, – горячо говорил Гришка, выкатывая глаза, – а я все видел. Она была страшно красивая, только вся красная, было еще страшно жарко, и она, конечно, перекупалась, ведь она всегда по два часа сидит в воде и плавает, я это тоже подсмотрел, она голая прямо наяда, а он говорил, говорил, вот уж правда как турок...

Гришка клялся, но он любил выдумывать всякие глупости, и Зойка верила и не верила.

По субботам и воскресеньям поезда, приходившие на станцию из Москвы, даже утром были переполнены народом, праздничными гостями дачников. Иногда шел тот прелестный дождь сквозь солнце, когда зеленые вагоны, обмытые им, блестели, как новенькие, белые клубы дыма из паровоза казались особенно мягкими, а зеленые вершины сосен, стройно и часто стоявших за поездом, круглились необыкновенно высоко в ярком небе. Приезжие наперебой хватали на изрытом горячем песке за станцией извозчицьи тележки и с дачной отрадой катили по песчаным дорогам в просеках бора, под небесными лентами над ними. Наступило полное дачное счастье в бору, который без конца покрывал окрест сухую, слегка волнистую местность. Дачники, водившие московских гостей гулять, говорили, что тут недостает только медведей, декламировали "и смолой и земляникой пахнет темный бор" и аюкались, наслаждались своим летним благополучием, праздностью и вольностью одежды – косоворотками навывпуск с расшитыми подолами, длинными жгутами цветных поясов, холщовыми картузами: иного московского знакомого, какого-нибудь профессора или редактора журнала, бородатого, в очках, не сразу можно было и узнать в такой косоворотке и в таком картузе.

Среди всего этого дачного счастья Левицкий был вдвойне несчастен, чувствуя себя с утра до вечера жалким, обманутым, лишним. День и ночь он думал одно и то же: зачем, зачем так скоро и безжалостно приблизила она его к себе, сделала не то своим другом, не то рабом, потом любовником, который должен был довольствоваться редким и всегда неожиданным счастьем только поцелуев, зачем говорила ему то «ты», то «вы», и как у ней хватило жестокости так просто, так легко вдруг перестать даже замечать его в первый же день знакомства с Титовым? Он сгорал стыдом и от своего бессовестного торчания в усадьбе. Завтра же надо исчезнуть, бежать в Москву, скрыться от всех с этим позорным несчастьем обманутой дачной любви, столь явным даже для прислуги в доме! Но при этой мысли так пронзало воспоминанье о бархатистости ее вишневых губ, что отнимались руки и ноги. Если он сидел на балконе один и она случайно проходила мимо, она с неумеренной простотой говорила ему на ходу что-нибудь особенно незначительное – "а где же это тетя? вы ее не видали?" – и он спешил ответить ей в тон, готовый зарыдать от боли. Раз, проходя, она увидела у него на коленях Зойку, – какое ей было до этого дело? Но она вдруг бешено сверкнула глазами, крикнула: "Не смей, гадкая девчонка, лазить по коленям мужчин!" – и его охватил восторг: это ревность, ревность! А Зойка улучала каждую минуту, когда можно было где-нибудь в пустой комнате на бегу схватить его за шею и зашептать, блестя глазами и облизывая губы: "Миленький, миленький, миленький!" Она так ловко поймала однажды его губы своим влажным ртом, что он целый день не мог вспомнить ее без сладострастного содрогания – и ужаса: что же это такое со мной! как мне теперь глядеть в глаза Николаю Григорьевичу и Клавдии Александровне!

Двор дачи, похожий на усадьбу, был большой. Справа от въезда стояла пустая старая конюшня с сеновалом в надстройке, потом длинный флигель для прислуги, соединенный с кухней,

из-за которой глядели березы и липы, слева, на твердой, бугристой земле, просторно росли старые сосны, на лужайках между ними поднимались гигантские шаги и качели, дальше, уже у стены леса, была ровная крокетная площадка. Дом, тоже большой, стоял как раз против въезда, за ним большое пространство занимало смещение леса и сада с мрачно-величавой аллеей древних елей, шедшей посреди этого смещения от заднего балкона к купальне на пруду. И хозяева, одни или с гостями, сидели всегда на переднем балконе, вдававшемся в дом и защищенном от солнца. В то воскресное жаркое утро на этом балконе сидели только хозяйка и Левицкий. Утро, как всегда при гостях, казалось особенно праздничным, а гостей приехало много, и горничные, блестя новыми платьями, то и дело прибегали по двору из кухни в дом и из дома в кухню, где шла спешная работа к завтраку. Приехало пятеро: темноликий, желчный писатель, всегда не в меру серьезный и строгий, но страстный любитель всяких игр, коротконогий и похожий на Сократа профессор, в пятьдесят лет только что женившийся на своей двадцатилетней ученице и приехавший вместе с ней, тоненькой блондинкой, очень нарядная маленькая дама, прозванная Осой за свой рост и удобу, злость и обидчивость, и Титов, которого Данилевский прозвал наглым джентльменом. Теперь все гости, Валерия и сам Данилевский были под соснами возле леса, в их сквозной тени, – Данилевский курил в кресле сигару, дети с писателем и женой профессора носились на гигантских шагах, а профессор, Титов, Валерия и Оса бегали, стучали молотками в крокетные шары, переключались, спорили, ссорились. И Левицкий с хозяйкой слушали их. Левицкий пошел было туда – Валерия тотчас прогнала его: "Тетя одна чистит вишни, извольте идти помогать ей!" Он неловко улыбнулся, постоял, посмотрел, как она, с молотком в руках, нагибается к крокетному шару, как висит ее чесучовая юбка над тугими икрами в тонких чулках палевого шелка, как полно и тяжело натягивают ее груди прозрачную блузку, под которой сквозит загорелое тело круглых плечей, кажущееся розоватым от розовых перемычек сорочки, – и побрел на балкон. Он был особенно жалок в это утро, и хозяйка, как всегда, ровная, спокойная, ясная молодежавым лицом и взглядом чистых глаз, тоже слушая с тайной болью в сердце голоса под соснами, искоса посматривала на него.

– Теперь руки и не отмоешь, – говорила она, окровавленными пальцами запуская золоченую вилочку в вишню, – а вы, Жорж, всегда умеете как-то особенно испачкаться... Милый, отчего вы все в кителе, ведь жарко, могли бы отлично ходить в одной рубашке с поясом. И не брились десять дней...

Он знал, что впалые щеки его заросли красноватой щетиной, что он ужасно затаскал свой единственный белый китель, что студенческие штаны его лоснятся и ботинки не чищены, знал, как сутуло сидит он с своей узкой грудью и впалым животом, и отвечал, краснея:

– Правда, правда, Клавдия Александровна, я не брит, как беглый каторжник, вообще совсем опустился, бессовестно пользуясь вашей добротой, простите, Бога ради. Нынче же приведу себя в порядок, тем более, что давным-давно пора мне в Москву, я уж так загостился у вас, что всем глаза намозолил. Я твердо решил завтра же ехать. Меня один товарищ зовет к себе в Могилев, – пишет, удивительно живописный город...

И нагнулся еще ниже над столом, услышав с крокета повелительный крик Титова на Валерию:

– Нет, нет, сударыня, это не по правилам! Не умеете ножку на шар ставить, бьете по ней молотком – ваша вина. А два раза крокировать не полагается...

За завтраком ему казалось, что все сидящие за столом вселились в него, – едят, говорят, острят и хохочут в нем. После завтрака все пошли отдыхать в тени еловой аллеи, густо усыпанной скользкими хвойными иголками, горничные потащили туда ковры и подушки. Он прошел по жаркому двору к пустой конюшне, поднялся по стенной лестнице на ее полутемный чердак, где лежало старое сено, и повалился в него, стараясь что-то решить, стал пристально смотреть, лежа на животе, на муху, которая сидела на сене перед самыми его глазами и сперва быстро сучила крест-накрест передними ножками, точно умывалась, а потом как-то противоестественно, с усилием стала задирать задние. Вдруг кто-то быстро вбежал на чердак, распахнул и запахнул дверь, – и, обернувшись, он увидел в свете слухового окна Зойку. Она прыгнула к нему, утонула в сене и, задыхаясь, зашептала, тоже лежа на животе и будто испуганно глядя ему в глаза:

– Жоржик, миленький, я что-то должна вам сказать – страшно для вас интересное, замечательное!

– Что такое, Зочка? – спросил он, приподнимаясь.

– А вот увидите! Только сначала поцелуйте меня за это – непременно!

И забила ногами по суну, обнажая полные ляжки.

– Зочка, – начал он, не в силах от душевной измученности удержать в себе болезненное умиление, – Зочка, вы одна меня любите, и я вас тоже очень люблю... Но не надо, не надо...

Она пуще забила ногами:

– Надо, надо, непременно!

И упала головой ему на грудь. Он увидел под красным бантом молодой блеск ее ореховых волос, услышал их запах и прижался к ним лицом. Вдруг она тихо и пронзительно вскрикнула "ай!" и схватила себя за юбку сзади.

Он вскочил:

– Что такое?

Она, упав головой в сено, зарыдала:

– Меня что-то страшно укусило там... Посмотрите, посмотрите скорее!

И откинула юбку на спину, сдернула с своего полного тела панталончики:

– Что там? Кровь?

– Да ровно ничего нет, Зочка!

– Как нет? – крикнула она, опять зарыдав. Подуйте, подуйте, мне страшно больно!

И он, дунув, жадно поцеловал несколько раз в нежный холод широкой полноты ее зада. Она вскочила в сумасшедшем восторге, блестя глазами и слезами:

– Обманула, обманула, обманула! И вот вам за это страшный секрет: Титов дал ей отставку! Полную отставку! Мы с Гришкой все слышали в гостиной: они идут по балкону, мы сели на пол за креслами, а он ей и говорит, страшно оскорбительно: "Сударыня, я не из тех, кого можно водить за нос. И притом я вас не люблю. Полюблю, если заслужите, а пока никаких объяснений". Здорово? Так ей и надо!

И, вскочив, кинулась в дверь и вниз по лестнице.

Он посмотрел ей вслед:

– Я негодай, которого мало повесить! – сказал он громко, еще чувствуя на своих губах ее тело.

Вечером в усадьбе было тихо, наступило успокоение, чувство семейственности, – гости в шесть часов уехали... Теплые сумерки, лекарственный запах цветущих лип за кухней. Сладкий запах дыма и кушаний из кухни, где готовят ужин. И мирное счастье всего этого – сумерек, запахов – и все еще что-то обещающая мука ее присутствия, ее существования возле него... разрывающая душу мука любви к ней – и ее беспощадное равнодушие, отсутствие... Где она? Он сошел с переднего балкона, слушая мерный, с промежутками, визг и скрип качелей под соснами, прошел к ним – да, это она. Он остановился, глядя, как она широко летает вверх и вниз, все туже натягивая веревки, силясь взлететь до последней высоты, и делает вид, что не замечает его. С визгом колец жутко летит кверху, исчезает в ветвях и, как подстреленная, стремительно несется вниз, приседая и развевая подол. Вот бы поймать! Поймать и задушить, изнасиловать!

– Валерия Андреевна! Осторожнее!

Точно не слыша, наддает еще крепче...

За ужином на балконе, под горячей яркой лампой, смеялись над гостями, спорили о них. Неестественно и зло смеялась и она, жадно ела творог со сметаной, опять без единого взгляда в его сторону. Одна Зойка молчала и все косилась на него, блестя глазами, знающими что-то вместе с ним одним.

Все разошлись и легли рано, в доме не осталось ни одного огня. Всюду стало темно и мертво. Незаметно ускользнув тотчас после ужина в свою комнату, дверь которой выходила на передний балкон, он стал совать свое бельишко в свой заплечный мешок, думая: выведу потихоньку велосипед, сяду – и на станцию. Возле станции лягу где-нибудь на песок в лесу до первого утреннего поезда... Хотя нет, так нельзя. Выйдет Бог знает что, – сбежал, как мальчишка, ночью, ни с кем не простясь! Надо ждать до завтра – и уехать беспечно, как ни в чем не бывало: "До свиданья, дорогой Николай Григорьевич, до свиданья, дорогая Клавдия Александровна! Спасибо, спасибо за все! Да, да, в Могилев, удивительно, говорят, красивый город... Зочка, будьте здоровы, милая, растите и веселитесь! Гриша, дай пожать твою «честную» руку! Валерия Андреевна, всех благ, не поминайте лихом..." Нет, не поминайте лихом ни к чему, глупо и бестактно, будто какой-то намек на что-то...

Чувствуя, что нет ни малейшей надежды заснуть, он тихо спустился с балкона, решив выйти на дорогу к станции и промаять себя, прошагать версты три. Но во дворе остановился: теплый сумрак, сладкая тишина, млечная белизна неба от несметных мелких звезд... Он пошел по двору, опять остановился, поднял голову: уходящая все глубже и глубже ввысь звездность и там какая-то страшная черно-синяя темнота, провалы куда-то... и спокойствие, молчание, непонятная, великая пустыня, безжизненная и бесцельная красота мира... безмолвная, вечная религиозность ночи... и он один, лицом к лицу со всем этим, в бездне между небом и землей... Он стал внутренне, без слов молиться о какой-то небесной милости, о чьей-то жалости к себе, с горькой радостью чувствуя свое соединение с небом и уже некоторое отрешение от себя, от своего тела... Потом, стараясь удержать в себе эти чувства, посмотрел на дом: звезды отражаются расплюснутым блеском в черных стеклах окон – и в стеклах ее окна... Спит или лежит, в тупом оцепенении все одной и той же мысли о Титове! Да, вот и ее черед...

Он обошел большой, неопределенный в сумраке дом, пошел к заднему балкону, к поляне между ним и двумя страшными своей ночной высотой и чернотой рядами неподвижных елей с острыми верхушками в звездах. В темноте под елями рассыпаны неподвижные зелено-желтые огоньки светляков. И что-то смутно белеет на балконе...

Он приостановился, взглядываясь, и вдруг дрогнул от страха и неожиданности: с балкона раздался негромкий и ровный, без выражения голос:

– Что это вы бродите по ночам?

Он, в изумлении, двинулся и тотчас различил: она лежит в качалке, в старинной серебряной шали, которую все гости Данилевских накидывали на себя по вечерам, если оставались ночевать. От растерянности он тоже спросил:

– А вы почему не спите?

Она не ответила, помолчала, поднялась и неслышно сошла к нему, поправляя сползавшую шаль плечом:

– Пройдемся...

Он пошел за ней, сперва сзади, потом рядом, в темноту аллеи, будто что-то таившей в своей мрачной неподвижности. Что это? Он опять с ней, наедине, вдвоем, в этой аллее, в такой час? И опять эта шаль, всегда скользившая с ее плеч и коловшая кончики его пальцев своими шелковыми ворсинками, когда он поправлял ее на ней... Пересиливая судорогу в горле, он выговорил:

– За что, зачем вы так страшно мучите меня?

Она закачала головой:

– Не знаю. Молчи.

Он осмелел, возвысил голос:

– Да, за что и зачем? Зачем было вам...

Она поймала его висящую руку и стиснула ее:

– Молчи...

– Валя, я ничего не понимаю...

Она отбросила его руку, взглянула влево, на ель в конце аллеи, широко черневшую треугольником своей мантии:

– Помнишь это место? Тут я тебя в первый раз поцеловала. Поцелуй меня тут в последний раз...

И, быстро пройдя под ветви ели, порывисто кинула на землю шаль.

– Иди ко мне!

Тотчас вслед за последней минутой она резко и гадливо оттолкнула его и осталась лежать, как была, только опустила поднятые и раскинутые колени и уронила руки вдоль тела. Он пластом лежал рядом с ней, прильнув щекой к хвойным иглам, на которые текли его горячие слезы. В застывшей тишине ночи и лесов неподвижным ломтем дыни краснела вдали, невысоко над смутным полем, поздняя луна.

В своей комнате он взглянул запухшими от слез глазами на часы и испугался: два без двадцати минут! Торопясь и стараясь не шуметь, он свел велосипед с балкона, тихо и скоро повел его по двору. За воротами вскочил в седло и, круто согнувшись, бешено заработал ногами, прыгая по песчаным ухабам просеки, среди бегущей на него с двух сторон и сквозящей на предрасветном небе частой черноты стволов. "Опоздаю!" И он работал все горячее, вытирая потный лоб сгибом руки: курьерский из Москвы пролетел мимо станции – без остановки – в два пятна-

дцать, – ему оставалось всего несколько минут. Вдруг, в полусвете зари, еще похожем на сумерки, глянул в конце просеки темный вокзал станции. Вот оно! Он решительно вильнул по дороге влево, вдоль железнодорожного пути, вильнул вправо, на переезд, под шлагбаум, потом опять влево, между рельсами, и понесся, колотясь по шпалам, под уклон, навстречу вырвавшемуся из-под него, грохочущему и слепящему огнями паровозу.

13 октября 1940

Таня

Она служила горничной у его родственницы, мелкой помещицы Казаковой, ей шел семнадцатый год, она была невелика ростом, что особенно было заметно, когда она, мягко виляя юбкой и слегка подняв под кофточкой маленькие груди, ходила босая или, зимой, в валенках, ее простое личико было только миловидно, а серые крестьянские глаза прекрасны только молодостью. В ту далекую пору он тратил себя особенно безрассудно, жизнь вел скитальческую, имел много случайных любовных встреч и связей – и как к случайной отнесся и к связи с ней...

Она скоро примирилась с тем роковым, удивительным, что как-то вдруг случилось с ней в осеннюю ночь, несколько дней плакала, но с каждым днем все больше убеждалась, что случилось не горе, а счастье, что становится он ей все милее и дороже; в минуты близости, которые вскоре стали повторяться все чаще, уже называла его Петрушей и говорила о той ночи как об их общем заветном прошлом.

Он сперва и верил и не верил:

– Неужто правда ты не притворялась тогда, что спишь?

Но она только раскрывала глаза:

– Да разве вы не чувствовали, что я сплю, разве не знаете, как ребята и девки спят?

– Если бы я знал, что ты правда спишь, я бы тебя ни за что не тронул.

– Ну, а я ничего, ничего не чуяла, почти до самой последней минуточки! Только как это вам вздумалось прийти ко мне? Приехали и даже не взглянули на меня, только уж вечером спросили: ты, верно, недавно нанялась, тебя, кажется, Таней зовут? и потом сколько времени смотрели будто без всякого внимания. Значит, притворялись?

Он отвечал, что, конечно, притворился, но говорил неправду: все вышло и для него совсем неожиданно.

Он провел начало осени в Крыму и по пути в Москву заехал к Казаковой, прожил недели две в успокоительной простоте ее усадьбы и скудных дней начала ноября и собрался было уезжать. В тот день, на прощанье с деревней, он с утра до вечера ездил верхом с ружьем за плечами и с гончей собакой по пустым полям и голым перелескам, ничего не нашел и вернулся в усадьбу усталый и голодный, съел за ужином сковородку битков в сметане, выпил графинчик водки и несколько стаканов чаю, пока Казакова, как всегда, говорила о своем покойном муже и о своих двух сыновьях, служивших в Орле. Часов в десять дом, как всегда, был уже темен, только горела свеча в кабинете за гостиной, где он жил, приезжая. Когда он вошел в кабинет, она со свечой в руке стояла на его постели на тахте на коленях, вода горячей свечой по бревенчатой стене. Увидав его, она сунула свечу на ночной столик и, соскочив, кинулась вон.

– Что такое? – сказал он, оторопев. – Постой, что ты тут делала?

– Клопа жгла, – ответила она быстрым шепотом. – Стала опрывать вам постель, гляжу, а на стене клоп...

И со смехом убежала.

Он посмотрел ей вслед и, не раздеваясь, сняв только сапоги, прилег на стеганое одеяло на тахте, надеясь еще покурить и что-то подумать, – засыпать в десять часов было непривычно, – и тотчас заснул. На минуту очнулся, беспокоясь сквозь сон от дрожащего огня свечи, дунул на нее и опять заснул. Когда же опять открыл глаза, за двумя окнами во двор и за боковым окном в сад, полным света, стояла осенняя лунная ночь; пустая и одиноко прекрасная. Он нашел в сумраке возле тахты туфли и пошел в соседнюю с кабинетом прихожую, чтобы выйти на заднее крыльцо, – поставить ему на ночь, что нужно, забыли. Но дверь прихожей оказалась заперта на засов снаружи, и он пошел по таинственно освещенному со двора дому на парадное крыльцо. Туда выходили через главную прихожую и большие бревенчатые сенцы, этой прихожей, против высокого окна над старым рундуком, была перегородка, а за ней комната без окон, где всегда жили

горничные. Дверь в перегородке была приотворена, за ней было темно. Он зажег спичку и увидел ее спящую. Она навзничь лежала на деревянной кровати, в одной рубашке и в бумазейной юбчонке, – под рубашкой круглились ее маленькие груди, босые ноги были заголены до колен, правая рука, откинута к стене, и лицо на подушке казались мертвыми... Спичка погасла. Он постоял – и осторожно подошел к кровати...

Выходя через темные сенцы на крыльцо, он лихорадочно думал:

– Как странно, как неожиданно! И неужто она правда спала?

Он постоял на крыльце, пошел по двору... И ночь какая-то странная. Широкий, пустой, светло освещенный высокой луной двор. Напротив сарая, крытые старой окаменевшей соломой, – скотный двор, каретный сарай, конюшни. За их крышами, на северном небосклоне, медленно расходятся таинственные ночные облака – снеговые мертвые горы. Над головой только легкие белые, и высокая луна алмазно слезится в них, то и дело выходит на темно-синие прогалины, на звездные глубины неба, и будто еще ярче озаряет крыши и двор. И все вокруг как-то странно в своем ночном существовании, отрешенном от всего человеческого, бесцельно сияющее. И страную еще потому, что будто в первый раз видит он весь этот ночной, лунный осенний мир...

Он сел возле каретного сарая на подножку тарантаса, закиданного засохшей грязью. Было по-осеннему тепло, пахло осенним садом, ночь была торжественна, бесстрастна и благостна и как-то удивительно соединялась с теми чувствами, что унес он от этого неожиданного соединения с полудетским женским существом...

Она тихо зарыдала, придя в себя и будто бы только в эту минуту поняв то, что случилось. Но может быть, не будто бы, а действительно? Все тело ее поддавалось ему, как безжизненное. Он сперва шепотом побудил ее: "Послушай, не бойся..." Она не слыхала или притворялась, что не слышит. Он осторожно поцеловал ее в горячую щеку – она никак не отозвалась на поцелуй, и он подумал, что она молча дала ему согласие на все, что за этим может последовать. Он разъединил ее ноги, их нежное, горячее тепло, – она только вздохнула во сне, слабо потянулась и закинула руку за голову...

– А если притворства не было? – подумал он, вставая с подножки и взволнованно глядя на ночь. Когда она зарыдала, сладко и горестно, он с чувством не только животной благодарности за то неожиданное счастье, которое она бессознательно дала ему, но и восторга, любви стал целовать ее в шею, в грудь, все упоительно пахнущее чем-то деревенским, девичьим. И она, рыдая, вдруг ответила ему женским бессознательным порывом – крепко и тоже будто благодарно обняла и прижала к себе его голову. Кто он, она еще не понимала в полусне, но все равно – это был тот, с кем она, в некий срок, впервые должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость, обоюдная, совершилась и уже ничем в мире расторгнута быть не может, и он навеки унес ее в себе, и вот эта необыкновенная ночь принимает его в свое непостижимое светлое царство вместе с нею, с этой близостью...

Как он мог, уезжая, вспоминать ее только случайно, забывать ее милый простосердечный голосок, ее то радостные, то грустные, но всегда любящие, преданные глаза, как он мог любить других и некоторым из них придавать гораздо больше значения, чем ей!

На другой день она служила, не поднимая глаз. Казакова спросила:

– Что это ты такая, Таня?

Она покорно ответила:

– Мало ли у меня горя, барыня...

Казакова сказала ему, когда она вышла:

– Да, конечно: сирота, без матери, отец нищий, беспутный мужик...

Перед вечером, когда она ставила на крыльце самовар, он, проходя, сказал ей:

– Ты не думай, я тебя давно полюбил. Брось плакать, убиваться, этим ничему не поможешь...

Она тихо ответила, смаргивая слезы и суя в самовар пылающие щепки:

– Кабы правда полюбили, все бы легче было...

Потом она стала иногда взглядывать на него, как бы несмело спрашивать взглядом: правда?

Раз вечером, когда она вошла оправлять ему постель, он подошел к ней и обнял ее за плечо. Она с испугом взглянула на него и, вся покраснев, прошептала:

– Отойдите за-ради Господа. Того гляди старуха зайдет...

– Какая старуха?

– Да старая горничная, будто не знаете!

– Я к тебе нынче ночью приду...

Ее точно обожгло, – первое время старуха приводила ее в ужас:

– Ох, что вы, что вы! Я с ума от страха сойду!

– Ну, не надо, не бойся, не приду, – сказал он поспешно.

Она служила теперь уже по-прежнему, скоро и заботливо, опять стала вихрем носиться через двор в кухню, как носилась прежде, и порой, улучив удобную минуту, тайком бросала на него взгляды уже смущенно-радостные. И вот однажды утром, чем свет, когда он еще спал, ее отравили в город за покупками. За обедом Казакова сказала:

– Что делать, старосту с работником я отослала на мельницу, некого послать за Таней на станцию. Может, ты бы съездил?

Он, сдержав радость, ответил с притворной небрежностью:

– Что ж, охотно проедусь.

Старая горничная, подававшая на стол, нахмурилась:

– За что ж вы, сударыня, хотите девку навек осрамить? Что ж после этого начнут говорить про нее по всему селу?

– Ну, поезжай сама, – сказала Казакова. – Что ж ей, пешком, что ли, со станции идти?

Около четырех он выехал, в шарабане, на старой высокой черной кобыле и, боясь опоздать к поезду, погнал ее за селом шибко, подскакивая по маслянистой, колчеватой, подмерзшей и потом отсыревшей дороге, – последние дни были влажные, туманные, а в тот день туман был особенно густ: еще когда он ехал по селу, казалось, что наступает ночь, и в избах уже видны были дымно-красные огни, какие-то дикие за сизостью тумана. Дальше, в поле, стало совсем почти темно и от тумана уже непроглядно. Навстречу тянуло холодным ветром и мокрой мглой. Но ветер не разгонял тумана, напротив, нагонял все гуще его холодный, темно-сизый дым, душил им, его пахучей сыростью, и казалось, что за его непроглядностью нет ничего – конец мира и всего живого. Картуз, чуйка, ресницы, усы, все было в мельчайшем мокром бисере. Черная кобыла размашисто неслась вперед, шарабан, подскакивая по скользким колчам, бил ему в грудь. Он приловчился и закурил – сладкий, душистый, теплый, человеческий дым папиросы смешался с первобытным запахом тумана, поздней осени, мокрого голого поля. И все темнело, все мрачнело вокруг, вверху и внизу, – почти не стало видно смутно темнеющей длинной шеи лошади, ее настороженных ушей. И все усиливалось чувство близости к лошади – единственному живому существу в этой пустыне, в мертвой враждебности всего того, что справа и слева, впереди и сзади, всего того неведомого, что так зловеще скрыто в этой все гуще и чернее бегущей на него дымной тьме...

Когда он въехал в деревню при станции, его охватила отрада жилья, жалких огней в убогих окошечках, их ласкового уюта, а на станции все вокзальное показалось совсем иным миром, живым, бодрым, городским. И не успел он привязать лошадь, как, гремя, засверкал к вокзалу светлыми окнами поезд, обдав серным запахом каменного угля. Он побежал в вокзал с таким чувством, точно ждал молодую жену, и тотчас увидел, как вошла она, по-городскому одетая, из противоположных дверей вслед за вокзальным сторожем, тащившим два кулька покупок: вокзал был грязен, вонял керосином ламп, тускло освещавших его, а она вся сияла возбужденными глазами, юностью взволнованного необычным путешествием лица, и сторож что-то говорил ей на «вы». И она вдруг встретилась с ним взглядом и даже остановилась от растерянности: что такое, почему он тут?

– Таня, – поспешно сказал он, – здравствуй, я за тобой, некого было послать...

Был ли когда-нибудь в жизни у нее столь счастливый вечер! Он сам приехал за мной, а я из города, к наряжена и так хороша, как он и представить себе не мог, видя меня всегда только в старой юбчонке, в ситцевой бедной кофточке, у меня лицо, как у модистки, под этим шелковым белым платочком, я в новом гарусном коричневом платье под суконной жакеткой, на мне белые бумажные чулки и новые полсапожки с медными подкопками! Вся внутренне дрожа, она заговорила с ним таким тоном, каким говорят в гостях, и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками, снисходительно дивясь: "Ох, Господи, как тут склизко, как натоптали мужики!" Вся замирая от радостного страха, высоко подняла она платье над белой коленкоровой юбкой, чтобы

сесть на юбку, а не на платье, вошла в шарабан и села рядом с ним, будто равная ему, и неловко подобралась от кульков в ногах.

Он молча тронул лошадь и погнал ее в ледяную тьму ночи и тумана, мимо кое-где низко мелькавших огоньков в избах, по ухабам этой мучительной деревенской ноябрьской дороги, и она не смела слова проронить, ужасаясь его молчанию: уж не рассердился ли он на что-нибудь? Он это понимал и нарочно молчал. И вдруг, выехав за деревню и погрузившись уже в подлый мрак, перевел лошадь на шаг, взял вожжи в левую руку и сжал правой ее плечи в осыпанной холодным мокрым бисером жакетке, бормоча и смеясь:

– Таня, Танечка...

И она вся рванулась к нему, прижалась к его щеке шелковым платком, нежным пылающим лицом, полными горячих слез ресницами. Он нашел ее мокрые от радостных слез губы и, остановив лошадь, долго не мог оторваться от них. Потом, как слепой, не видя ни зги в тумане и мраке, вышел из шарабана, бросил чуйку на землю и потянул ее к себе за рукав. Все сразу поняв, она тотчас соскочила к нему и, с быстрой заботливостью подняв весь свой заветный наряд, новое платье и юбку, ощупью легла на чуйку, навеки отдавая ему не только все свое тело, теперь уже полную собственность его, но и всю свою душу.

Он опять отложил свой отъезд.

Она знала, что это ради нее, она видела, как он ласков с ней, говорит уже как с близкой, своим тайным другом в доме, и перестала бояться, трепетать, когда он подходил к ней, как трепетала первое время. Он стал спокойнее и проще в любовные минуты – она быстро приладилась к нему. Она вся изменилась с той быстротой, на какую способна молодость, сделалась равна, беззаботно-счастлива, уже легко называла его Петрушей и порой даже притворялась, будто он докучает ей своими поцелуями: "Ах, Господи, проходу мне от вас нету! Чуть завидит меня одну – сейчас ко мне!" – и это доставляло ей особенную радость: значит, он любит меня, значит, он совсем мой, если я могу говорить с ним так! И еще было счастье: высказывать ему свою ревность, свое право на него:

– Слава Богу, нету никаких работ на гумне, а то, были бы девки, я бы вам показала, как ходить к ним! – говорила она.

И прибавляла, вдруг смутившись, с трогательной попыткой улыбки:

– Ай вам мало меня одной?

Зима наступила рано. После туманов завернул морозный северный ветер, сковал маслянистые колчи дорог, окаменил землю, сжег последнюю траву в саду и на дворе. Пошли белесосвинцовые тучи, совсем обнажившийся сад шумел беспокойно, торопливо, точно убежал куда-то, ночью белая луна так и ныряла в клубках туч. Усадьба и деревня казались безнадежно бедны и грубы. Потом стал порошить снег, убеляя мерзлую грязь точно сахарной пудрой, и усадьба и видные из нее поля стали сизо-белы и просторны. На деревне кончали последнюю работу – ссыпали в погреба на зиму картошки, перебирая их, отбрасывая гнилые. Как-то он пошел пройтись по деревне, надев поддевку на лисьем меху и надвинув меховую шапку. Северный ветер трепал ему усы, жег щеки. Надо всем висело угрюмое небо, сизо-белое покато поле за речкой казалось очень близким. В деревне лежали на земле возле порогов веретья с ворохами картошек. На веретьях сидели, работая, бабы и девки, закутанные в пеньковые шали, в рваных куртках, в разбитых валенках, с посиневшими лицами и руками, – он с ужасом думал: а под подолами у них совсем голые ноги!

Когда он пришел домой, она стояла в прихожей, обтирая тряпкой кипящий самовар, чтобы нести его на стол, и тотчас сказала вполголоса:

– Это вы, верно, на деревню ходили, там девки картошки перебирают... Что ж, гуляйте, гуляйте, высматривайте себе какую получше!

И, сдерживая слезы, выскочила в сенцы. К вечеру густо, густо повалил снег, и, пробегая мимо него по залу, она взглянула на него с неудержимым детским весельем и, дразня, шепнула:

– Что, много теперь нагуляетесь? Да то ли еще будет – собаки по всему двору катаются – понесет такая кура, что и носу из дому не высунете!

"Господи, – подумал он, – как же я соберусь с духом сказать ей, что вот-вот уеду!"

И ему страстно захотелось быть как можно скорее в Москве. Мороз, метель, на площади, против Иверской, парные голубки с бормочущими бубенчиками, на Тверской высокий электрический свет фонарей в снежных вихрях... В Большом Московском блещут люстры, разливается

струнная музыка, и вот он, кинув меховое оснеженное пальто на руки швейцарам, вытирая платком мокрые от снега усы, привычно, бодро входит по красному ковру в нагретую людную залу, в говор, в запах кушаний и папирос, в суету лакеев и все покрывающие, то распутно-томные, то залихватски-бурные струнные волны...

Весь ужин он не мог поднять глаз на ее беззаботную беготню, на ее успокоившееся лицо.

Поздно вечером он надел валенки, старую енотовую шубу покойного Казакова, надвинул шапку и через заднее крыльцо вышел на вьюгу –дохнуть воздухом, посмотреть на нее. Но под навес крыльца уже нанесло целый сугроб, он споткнулся в нем и набрал целые рукава снега, дальше был сущий ад, белое несущееся бешенство. Он с трудом, утопая, обошел дом, добрался до переднего крыльца и, топая, отряхиваясь, вбежал в темные сенцы, гудевшие от бури, потом в теплую прихожую, где на рундуке горела свеча. Она выскочила из-за перегородки босая, в той же бумазейной юбчонке, всплеснула руками:

– Господи! Да откуда ж это вы!

Он сбросил на рундук шубу и шапку, осыпав его снегом, и в сумасшедшем восторге нежности схватил ее на руки. Она в таком же восторге вырвалась, схватила веник и стала обивать его белые от снега валенки и тащить их с ног:

– Господи, и там полно снегу! Вы насмерть простудитесь!

Ночью, сквозь сон, он иногда слышал: однообразно шумит с однообразным напором на дом, потом бурно налетает, сыплет стрекочущим снегом в ставни, потрясая их, – и падает, отдаляется, шумит усыпительно... Ночь кажется бесконечной и сладкой – тепло постели, тепло старого дома, одинокого в белой тьме несущегося снежного моря...

Утром показалось, что это ночной ветер со стуком распахивает ставни, бьет ими в стены – открыл глаза – нет, уже светло, и отовсюду глядит в залепленные снегом окна белая, белая белизна, нанесенная до самых подоконников, а на потолке лежит ее белый отсвет. Все еще шумит, несет, но тише и уже по-дневному. С изголовья тахты видны напротив два окна с двойными почерневшими от времени рамами в мелкую клетку, третье, влево от изголовья, белее и светлее всего. На потолке этот белый отсвет, а в углу дрожит, гудит и постукивает втягиваемая разгорающимся огнем заслонка печки – как хорошо, он спал, ничего не слышал, а Таня, Танечка, верная, любимая, растворила ставни, потом тихо вошла в валенках, вся холодная, в снегу на плечах и на голове, закутанной пеньковым платком, и, став на колени, затопила. И не успел он подумать, как она вошла, неся поднос с чаем, уже без платка. С чуть заметной улыбкой взглянула, ставя поднос на столик у изголовья, в его по-утреннему ясные, со сна точно удивленные глаза:

– Что ж вы так заспались?

– А который час?

Посмотрела на часы на столике и не сразу ответила – до сих пор не сразу разбирает, который час:

– Десять... Без десяти минут девять...

Взглянув на дверь, он потянул ее к себе за юбку. Она отклонилась, отстраняя его руку:

– Никак нельзя, все проснулись...

– Ну, на одну минуту!

– Старуха зайдет...

– Никто не зайдет – на одну минуту!

– Ах, наказание мне с вами!

Быстро вынув одну за другой ноги в шерстяных чулках из валенок, легла, озираясь на дверь... Ах, этот крестьянский запах ее головы, дыхания, яблочный холодок щеки! Он сердито зашептал:

– Опять ты целуешься со сжатыми губами! Когда я тебя отучу!

– Я не барышня... Погодите, я пониже ляжу... Ну, скорее, боюсь до смерти.

И они устали друг другу в глаза – пристально и бессмысленно, выжидательно.

– Петруша...

– Молчи. Зачем ты говоришь всегда в это время!

– Да когда ж мне и поговорить с вами, как не в это время! Я не буду больше губы сжимать... Поклянитесь, что у вас никого нету в Москве...

– Не тискай меня так за шею.

– Никто в жизни не будет так любить вас. Вот вы в меня влюбились, а я будто и сама в себя

влюбилась, не нарадуюсь на себя... А если вы меня бросите...

Выскочив с горячим лицом под навес заднего крыльца на вьюгу, она, стоя, присела на мгновение, потом кинулась навстречу белым вихрям на переднее крыльцо, утопая выше голых колен.

В прихожей пахло самоваром. Старая горничная, сидя на рундуке под высоким окном в снегу, схлебывала с блюдечка и, не отрываясь от него, покосилась:

– Куда это тебя носило? Вся в снегу вывалялась.

– Петру Николаичу чай подавала.

– Что ж ты ему в людскую, что ль, подавала? – Знаем мы твой чай!

– Ну, знаете, и на здоровье. Барыня встали?

– Хватилась! Пораньше тебя.

– И все-то вы сердитесь!

И, счастливо вздохнув, она пошла за перегородку, за своей чашкой, и чуть слышно запела там:

Уж как выйду я в сад,
Во зеленый сад,
Во зеленый сад гулять,
Свою милова встречать...

Днем, сидя в кабинете за книгой, слушая все тот же то слабеющий, то угрожающе растущий шум вокруг дома, все больше тонувшего в снегах среди со всех сторон несущейся молочной белизны, он думал: как стихнет, так уеду.

Вечером он улучил минуту сказать ей, чтобы она пришла к нему ночью попозднее, когда дом крепче всего спит, – на всю ночь, до утра. Она покачала головой, подумала и сказала: хорошо. Это было очень страшно, но тем слаще.

То же чувствовал и он. И волновала еще жалость к ней: и не знает, что это их последняя ночь!

Ночью он то засыпал, то в тревоге просыпался: решится ли прийти? Тьма дома, шум вокруг этой тьмы, трясутся ставни, в печке то и дело завывает... Вдруг он в страхе очнулся: не услышал, – услышать ее в той преступной осторожности, с которой она пробиралась в густой темноте по дому, нельзя было, – не услышал, а почувствовал, что она, невидимая, уже стоит у тахты. Он протянул руки. Она молча нырнула под одеяло к нему. Он слышал, как стучит ее сердце, чувствовал ее озябшие босые ноги и шептал самые горячие слова, какие только мог найти и выговорить.

Они долго лежали так, грудь с грудью, целуясь с такой крепостью, что больно было зубам. Она помнила, что он не велел ей сжимать рот, и, стараясь угодить ему, раскрывала его, как галчонок.

– Ты, небось, совсем не спала?

Она ответила радостным шепотом:

– Ни минуточки. Все ждала...

Нашарив на столике спички, он зажег свечу. Она в страхе ахнула:

– Петруша, что ж это вы сделали? А ну-ка старуха проснется, увидит свет...

– Черт с ней, – сказал он, глядя на ее покрасневшее личико. – Черт с ней, я хочу видеть тебя...

Взяв ее, он не спускал с нее глаз. Она прошептала:

– Я боюсь, – что это вы на меня так смотрите?

– Да то, что лучше тебя на свете нет. Эта головка с этой маленькой косой вокруг нее, как у молоденькой Венеры...

Глаза ее засияли смехом, счастьем:

– Какая это Венера?

– Да уж такая... И эта рубашонка...

– А вы купите мне миткалевую... Верно, вы правда меня очень любите?

– Нисколько не люблю. И опять ты пахнешь не то перепелом, не то сухой коноплей...

– Отчего ж вам это нравится? Вот вы говорили, что я всегда говорю в это время... а те-

перь... сами говорите...

Она начала все крепче прижимать его к себе, хотела еще что-то сказать и уже не могла...

Потом он потушил свечу и долго лежал молча, курил и думал: а все-таки надо сказать, ужасно, но надо! И чуть слышно начал:

– Танечка...

– Что? – так же таинственно спросила она.

– Ведь мне надо уезжать...

Она даже поднялась:

– Когда?

– Все-таки скоро... очень скоро... У меня есть неотложные дела...

Она упала на подушку:

– Господи!

Его какие-то дела где-то там, в какой-то Москве, внушали ей нечто вроде благоговения. Но как же все-таки расстаться с ним ради этих дел? И она замолчала, быстро и беспомощно ища в уме выхода из этого неразрешимого ужаса. Выхода не было. Хотелось крикнуть: "Возьмите меня с собой!" Но она не смела – разве это возможно?

– Не могу же я век тут жить...

Она слушала и соглашалась: да, да...

– Не могу же я взять тебя с собой... Она вдруг отчаянно выговорила:

– Почему?

Он быстро подумал: "Да, почему, почему?" И поспешно ответил:

– У меня нет дома, Таня, я всю жизнь езжу с места на место... В Москве живу в номерах...

И ни на ком никогда не женюсь...

– Отчего?

– Оттого, что уж такой я родился.

– И ни на ком никогда не женитесь?

– Ни на ком, никогда! И даю тебе честное слово, мне, ей-Богу, необходимо, очень важные и неотложные дела. К Рождеству непременно приеду!

Она припала головой к нему, полежала, капая на его руки теплыми слезами, и прошептала:

– Ну, я пойду... Скоро светать начнет... И, поднявшись, стала в темноте крестить его:

– Сохрани вас Царица Небесная, сохрани Матерь Божия!

Прибежав к себе за перегородку, она села на постель и, прижав к груди руки, слизывая с губ слезы, стала шептать под гул метели в сенцах:

– Господи батюшка! Царица Небесная! Дай, Господи, чтоб не утихало хоть еще дня два!

Через два дня он уехал, – еще проносились по двору утихающие вихри, но он не мог больше длить тайное мучение ее и свое и не сдался на уговоры Казаковой подождать хоть до завтра.

И дом и вся усадьба опустели, умерли. И представить себе Москву и его в ней, его жизнь там, его какие-то дела, не было никакой возможности.

На Рождество он не приехал. Что это были за дни! В какой муке неразрешающегося ожидания, в каком жалком притворстве перед самой собой, будто и нет никакого ожидания, шло время с утра до вечера! И все Святки она ходила в самом лучшем своем наряде – в том платье и в тех полсапожках, в которых он встретил ее тогда осенью, на вокзале, в тот незабвенный вечер.

На Крещение она почему-то жадно верила, что вот-вот покажутся из-под горы мужицкие санки, которые он наймет на станции, не прислав письма, чтобы за ним выслали лошадей, весь день не вставала с рундука в прихожей, глядя во двор до боли в глазах. Дом был пуст, – Казакова уехала в гости к соседям, старуха обедала в людской, сидела там и после обеда, наслаждаясь злословием перед кухаркой. А она даже и обедать не ходила, сказала, что живот болит...

Но вот стало вечереть. Она взглянула еще раз на пустой двор в блестящем насте и поднялась, твердо сказав себе: конец, никого мне больше не нужно, ничего не желаю я ждать! – и пошла, наряженная, гуляющим шагом по залу, по гостиной, в свете зимней, желтой зари из окон, громко и беззаботно запела – с облегчением конченной жизни:

Уж как выйду я в сад,
Во зеленый сад,
Во зеленый сад гулять,

Свою миловану встречать!

И как раз на словах о милом вошла в кабинет, увидела его пустую тахту, пустое кресло возле письменного стола, где когда-то сидел он с книгой в руках, и упала в кресло, головой на стол, рыдая и крича: "Царица Небесная, пошли мне смерть!"

Он приехал в феврале – когда она уже совсем похоронила в себе всякую надежду увидеть его хоть еще один раз в жизни.

И как будто возвратилось все прежнее.

Он был поражен, увидя ее, – так похудела и поблекла она вся, так несмелы и грустны были ее глаза. Поразила ее и она в первую минуту: и он показался ей как будто другим, постаревшим, чужим и даже неприятным – усы у него стали как будто больше, голос грубей, его смех и разговор, пока он раздевался в прихожей, были не в меру громки и неестественны, ей неловко было взглянуть ему в глаза... Но оба постарались скрыть все это друг от друга, и вскоре все пошло как будто по-прежнему.

Потом опять стало подходить страшное время – время его нового отъезда. Он поклялся ей на образ, что приедет к Святой и уже на целое лето. Она поверила; но подумала: "А летом что будет? Опять то же, что теперь?" Этого теперь ей было уже мало – нужно было или совсем, совсем прежнее, а не повторение, или нераздельная жизнь с ним, без разлук, без новых мучений, без стыда напрасных ожиданий. Но она старалась гнать от себя эту мысль, старалась представить себе все то летнее счастье, когда столько будет им свободы везде... – ночью и днем, в саду, в поле, на гумне, и он будет долго, долго возле нее...

Накануне его нового отъезда ночь была уже предвесенняя, светлая и ветреная. За домом волновался сад, и все долетал оттуда разносимый ветром злой и беспомощный, отрывистый лай собак над ямой в елках: там сидела лисица, которую поймал в капкан и принес на барский двор лесник Казаковой.

Он лежал на тахте на спине с закрытыми глазами. Она рядом с ним на боку, подложив ладонь под грустную головку. Оба молчали. Наконец она прошептала:

– Петруша, вы спите?

Он открыл глаза, посмотрел в легкий сумрак комнаты, слева озаренный золотистым светом из бокового окна:

– Нет. А что?

– А ведь вы меня больше не любите, даром погубили, – спокойно сказала она.

– Почему же даром? Не говори глупостей.

– Грех вам будет. Куда ж я теперь денусь?

– А зачем тебе куда-нибудь деваться?

– Вот вы опять, опять уедете в эту свою Москву, а что ж я одна тут буду делать!

– Да все то же, что и прежде делала. А потом – ведь я тебе твердо сказал: на Святой на целое лето приеду.

– Да, может, и приедете... Только прежде вы мне не говорили таких слов: "А зачем тебе куда-нибудь деваться?" Вы меня правда любили, говорили, что милей меня не видали. Да и такая я разве была?

Да, не такая, подумал он. Ужасно изменилась.

– Прошло мое времечко, – сказала она. – Вскочу, бывало, к вам – и боюсь до смерти и радуюсь: ну, слава Богу, старуха заснула. А теперь и ее не боюсь...

Он пожал плечами:

– Я тебя не понимаю. Дай-ка мне папиросы со столика...

Она подала. Он закурил:

– Не понимаю, что с тобой. Ты просто нездорова...

– Вот оттого-то, верно, и не мила я вам стала. А чем же я больна?

– Ты меня не понимаешь. Я говорю, что ты душевно нездорова. Потому что подумай, пожалуйста, что такое случилось, откуда ты взяла, что я тебя больше не люблю? И что ж все одно и то же твердить: бывало, бывало...

Она не ответила. Светило окно, шумел сад, долетал отрывистый лай, злой, безнадежный, плачущий... Она тихонько слезла с тахты и, прижав рукав к глазам, подергивая головой, мягко пошла в своих шерстяных чулках к дверям в гостиную. Он негромко и строго окликнул ее:

– Таня.

Она обернулась, ответила чуть слышно:

– Чего вам?

– Поди ко мне.

– Зачем?

– Говорю, поди.

Она покорно подошла, склонив голову, чтобы он не видал, что все лицо у нее в слезах.

– Ну, что вам?

– Сядь и не плачь. Поцелуй меня, – ну? Он сел, она села рядом и обняла его, тихо рыдая. "Боже мой, что же мне делать! – с отчаянием подумал он. – Опять эти теплые детские слезы на детском горячем лице... Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней! А что я могу? Увезти ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что из этого выйдет? Связать, погубить себя навеки?" И стал быстро шептать, чувствуя, как и его слезы щекочут ему нос и губы:

– Танечка, радость моя, не плачь, послушай: я приеду весной на все лето, и вот правда пойдём мы с тобой "во зеленый сад" – я слышал эту твою песенку и вовеки не забуду ее, – поедём на шарабане в лес – помнишь, как мы ехали на шарабане со станции?

– Никто меня с тобой не пустит! – горько прошептала она, мотая на его груди головой, в первый раз говоря ему «ты». – И никуда ты со мной не поедешь...

Но он уже слышал в ее голосе робкую радость, надежду.

– Поеду, поеду, Танечка! И не смей мне больше говорить «вы». И плакать не смей...

Он взял ее под ноги в шерстяных чулках и пересадил ее, легонькую, к себе на колени:

– Ну скажи: "Петруша, я тебя очень люблю!"

Она тупо повторила, икнув от слез:

– Я тебя очень люблю...

Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни.

22 октября 1940

В Париже

Когда он был в шляпе, – шел по улице или стоял в вагоне метро, – и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни. Одно время он арендовал ферму в Провансе, наслышался едких провансальских шуток и в Париже любил иногда вставлять их с усмешкой в свою всегда сжатую речь. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, – неприятно шутил, если разговор касался женщин:

– Rien n'est plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien.³

Однажды, в сырой парижский вечер поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возле улицы Пасси. При столовой было нечто вроде гастрономического магазина – он бессознательно остановился перед его широким окном, за которым были видны на подоконнике розовые бутылки конусом с рябиновкой и желтые кубастые с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с посеребрившими рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, уставленная закусками, за стойкой хозяйка с неприязненным русским лицом. В магазине было светло, и его потянуло на этот свет из темного переулка с холодной и точно солевой мостовой. Он вошел, поклонился хозяйке и прошел в еще пустую, слабо освещенную комнату, прилегавшую к магазину, где белели накрытые бумагой столики. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волоса-

³ Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину (франц.)

тыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидел безучастно-вежливо подходящую женщину лет тридцати, с черными волосами на прямой прическе и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье.

– *Bonsoir, monsieur*,⁴ – сказала она приятным голосом.

Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил:

– *Bonsoir*... Но вы ведь русская?

– Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски.

– Да разве у вас много бывает французов?

– Довольно много, и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?

– Нет, тут столько всего... Вы уж сами посоветуйте что-нибудь.

Она стала перечислять заученным тоном:

– Нынче у нас щи флотские, битки по-казацки... можно иметь отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски...

– Прекрасно. Будьте добры дать щи и битки.

Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошего дома.

– Водочки желаете?

– Охотно. Сырость на дворе ужасная.

– Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней полочки, коркуновские огурчики малосольные...

Он опять взглянул на нее: очень красив белый передник с прошивками на черном платье, красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины... полные губы не накрашены, но свежи, на голове просто свернутая черная коса, но кожа на белой руке холеная, ногти блестящие и чуть розовые, – виден маникюр...

– Что я прикажу закусить? – сказал он, улыбаясь. – Если позволите, только селедку с горячим картофелем.

– А вино какое прикажете?

– Красное. Обыкновенное, – какое у вас всегда дают к столу.

Она отметила на блокноте и переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой:

– Нет, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью. *L'eau gate le vin comme la charette le chemin et la femme – l'ame*.⁵

– Хорошего же вы мнения о нас! – безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед – на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ее черное платье... Да, вежливость и безразличие, все повадки и движения скромной и достойной служащей. Но дорогие хорошие туфли. Откуда? Есть, вероятно, пожилой, состоятельный "ami"...⁶ Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и последняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Да, из году в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного, – счастливой любовной встречи, живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу – и все напрасно...

На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов и вслух повторяла, отмечая на блокноте:

– *Cavair rouge, salade russe... Deux chachlyks*...⁷

Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому:

⁴ Добрый вечер, сударь (франц.).

⁵ Вода портят вино так же, как повозка дорогу и как женщина душу (франц.)

⁶ "Друг" (франц.).

⁷ Красной икры, винегрета... Два шашлыка... (франц.)

– Добрый вечер. Приятно, что вам у нас понравилось.

Он весело приподнялся:

– Доброго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать прикажете?

– Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?

– Николай Платоныч.

Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот:

– Нынче у нас чудный рассольник. Повар у нас замечательный, на яхте у великого князя Александра Михайловича служил.

– Прекрасно, рассольник так рассольник... А вы давно тут работаете?

– Третий месяц.

– А раньше где?

– Раньше была продавщицей в Printemps.

– Верно, из-за сокращений лишились места?

– Да, по доброй воле не ушла бы.

Он с удовольствием подумал, что, значит, дело не в «ami», – и спросил:

– Вы замужняя?

– Да.

– А муж ваш что делает?

– Работает в Югославии. Бывший участник белого движения. Вы, вероятно, тоже?

– Да, участвовал и в великой и в гражданской войне.

– Это сразу видно. И, вероятно, генерал, – сказала она, улыбаясь.

– Бывший. Теперь пишу истории этих войн по заказам разных иностранных издательств...

Как же это вы одна?

– Так вот и одна...

На третий вечер он спросил:

– Вы любите синема?

Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом:

– Иногда бывает интересно.

– Вот теперь идет в синема «Etoile» какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите пойдём посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни?

– Мерси. Я свободна по понедельникам.

– Ну вот и пойдём в понедельник. Нынче что? Суббота? Значит послезавтра. Идет?

– Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?

– Нет, еду за город, к знакомым. А почему вы спрашиваете?

– Не знаю... Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.

Он благодарно взглянул на нее и покраснел:

– И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч...

И поспешил переменить разговор:

– Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Вы где живете?

– Возле метро Motte-Picquet.

– Видите, как удобно, – прямой путь до Etoile. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в восемь с половиной.

– Мерси.

Он шутливо поклонился:

– C'est moi qui vous remercie.⁸ Уложите детей, – улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, – и приезжайте.

– Слава Богу, этого добра у меня нет, – ответила она и плавно понесла от него тарелки.

Он был и растроган и хмурился, идя домой. "Я уже привыкла к вам..." Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Le bon Dieu envoie toujours des culottes a ceux qui n'ont pas de derriere...⁹

⁸ Это я вас благодарю (франц.).

⁹ Милосердный господь всегда дает штаны тем, у кого нет зада... (франц.)

Вечером в понедельник шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснело. Надеюсь поужинать с ней на Монпарнассе, он не обедал, зашел в кафе на Chaussée de la Muette, съел сэндвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закурив, сел в такси. У входа в метро Etoile остановил шофера и вышел под дождь на тротуар – толстый, с багровыми щеками шофер доверчиво стал ждать его. Из метро несло баннным ветром, густо и черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик резко выкрикивал возле него низким утиным кряканьем названия вечерних выпусков. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу:

– Ольга Александровна...

Нарядно и модно одетая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно-подведенные глаза, дамским движением подала руку, на которой висел зонтик, подхватив другой подол длинного вечернего платья, – он обрадовался еще больше: "Вечернее платье, – значит, тоже думала, что после синема поедем куда-нибудь", – и отвернул край ее перчатки, поцеловал кисть белой руки.

– Бедный, вы долго ждали?

– Нет, я только что приехал. Идем скорей в такси...

И с давно не испытанным волнением он вошел за ней в полутемную пахнущую сырým сукном карету. На повороте карету сильно качнуло, внутренность ее на мгновение осветил фонарь, – он невольно поддержал ее за талию, почувствовал запах пудры от ее щеки, увидел ее крупные колени под вечерним черным платьем, блеск черного глаза и полные в красной помаде губы: совсем другая женщина сидела теперь возле него.

В темном зале, глядя на сияющую белизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжащие распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:

– Вы одна или с какой-нибудь подругой живете?

– Одна. В сущности, ужасно. Отельчик чистый, теплый, но, знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей... Шестой этаж, лифта, конечно, нет, на четвертом этаже красный коврик на лестнице кончается... Ночью, в дождь страшная тоска. Раскроешь окно – ни души нигде, совсем мертвый город, Бог знает где-то внизу один фонарь под дождем... А вы, конечно, холостой и тоже в отеле живете?

– У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже один. Давний парижанин. Одно время жил в Провансе, снял ферму, хотел удалиться от всех и ото всего, жить трудами рук своих – и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка, оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человек, завел кур, кроликов –дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, – очень злое и умное животное... И, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополе бросила.

– Вы шутите?

– Ничуть. История очень обыкновенная. Qui se marie par amour a bonne nuits et mauvais jours.¹⁰ А у меня даже и того и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества.

– Где же она теперь?

– Не знаю...

Она долго молчала. По экрану дурачки бегал на раскинутых ступнях в нелепо огромных разбитых башмаках и в котелке набок какой-то подражатель Чаплина.

– Да, вам, верно, очень одиноко, – сказала она.

– Да. Но что ж, надо терпеть. Patience – medecine des pauvres.¹¹

– Очень грустная medecine.

– Да, невеселая. До того, – сказал он, усмехаясь, – что я иногда даже в "Иллюстрированную Россию" заглядывал, – там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений: "Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку... Серьезная дама шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с девятилетним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином не моложе сорока лет, материально обеспеченным шоферской или

¹⁰ Кто женится по любви, тот имеет хорошие ночи и скверные дни (франц.)

¹¹ Терпенье – медицина бедных (франц.).

какой-либо другой работой, любящим семейный уют. Интеллигентность не обязательна..." Вполне ее понимаю – не обязательна.

– Но разве у вас нет друзей, знакомых?

– Друзей нет. А знакомства плохая утеха.

– Кто же ваше хозяйство ведет?

– Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам, завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит *femme de menage*.¹²

– Бедный! – сказала она, сжав его руку.

И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синева-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломленный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса, снизу, из провала дымного от папирос зала, – они сидели на балконе, – гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно-радостный хохот. Он наклонился к ней:

– Знаете что? Поедемте куда-нибудь на Монпарнас, например, тут ужасно скучно и дышать нечем...

Она кивнула головой и стала надевать перчатки.

Снова сев в полутемную карету и глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной вышине то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами с угольно-крупными ресницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом губами.

В кафе «*Courole*» начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили, пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица.

– Но скажите правду, – говорила она, шепотками снимая с кончика языка крошки табаку, – ведь были же у вас встречи за эти годы?

– Были. Но вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели... А у вас?

Она помолчала:

– Была одна очень тяжелая история... Нет, я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер в сущности... Но как вы разошлись с женой?

– Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец гречонок, чрезвычайно богатый. И в месяц, два не осталось и следа от чистой, трогательной девочки, которая просто молилась на белую армию, на всех на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в Пера, получать от него гигантские корзины цветов... "Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело, он для меня просто милый мальчик и больше ничего..." Милый мальчик! А самой двадцать лет. Нелегко было забыть ее, – прежнюю, екатеринодарскую...

Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше десяти процентов на прислугу. После этого им обоим показалось еще страннее расстаться через полчаса.

– Поедемте ко мне, – сказал он печально. – Посидим, поговорим еще...

– Да, да, – ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе.

Ночной шофер, русский, привез их в одинокий переулок, к подъезду высокого дома, возле которого в металлическом свете газового фонаря, сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь. Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил еще выпить вина.

– Нет, дорогой мой, – сказала она, – я больше не могу.

Он стал просить:

¹² Приходящая домашняя работница (франц.).

– Выпьем только по бокалу белого, у меня стоит за окном отличное пуи.

– Пейте, милый, а я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дети, вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам... И вообще, зачем нам расставаться?

Он от волнения не мог ответить, молча провел ее в спальню, осветил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем как по крыше бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.

Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного, горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальне, в большом зеркале на стене напротив, ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди.

– Нельзя сюда! – сказала она и, накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску...

Через день, оставив службу, она переехала к нему.

Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано:

– Предосторожность никогда не мешает, – говорил он. – *L'amour fail danser les anes*,¹³ и я чувствую себя так, точно мне двадцать лет. Но мало ли что может быть...

На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, – читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза...

Когда она, в трауре, возвращалась с кладбища, был милый весенний день, кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной – и о ее, конечной.

Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидала его давнюю летнюю шинель, серую, на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.

26 октября 1940

Галя Ганская

Художник и бывший моряк сидели на террасе парижского кафе. Был апрель, и художник восхищался: как прекрасен Париж весной и как очаровательны парижанки в первых весенних костюмах.

– А в мои золотые времена Париж весной был, конечно, еще прекраснее, – говорил он. – И не потому только, что я был молод, – сам Париж был совсем другой. Подумай: ни одного автомобиля. И разве так, как теперь, жил Париж!

– А мне почему-то вспомнилась одесская весна, – сказал моряк. – Ты, как одессит, еще лучше меня знаешь всю ее совершенно особенную прелесть – это смещение уже горячего солнца и морской еще зимней свежести, яркого неба и весенних морских облаков. И в такие дни весенняя женская нарядность на Дерибасовской...

Художник, раскуривая трубку, крикнул: "*Garçon, un demi!*"¹⁴ – и живо обернулся к нему:

– Извини, я тебя перебил. Представь себе – говоря о Париже, я тоже думал об Одессе. Ты совершенно прав, – одесская весна действительно нечто особенное. Только я всегда вспоминаю как-то нераздельно парижские весны и одесские, они у меня чередовались, ты ведь знаешь, как часто ездил я в те времена в Париж весной... Помнишь Галю Ганскую? Ты видел ее где-то и говорил мне, что никогда не встречал прелестней девочки. Не помнишь? Но все равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз и о ней, и о той весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. Вероятно, у каждого из нас найдется какое-нибудь особенно дорогое

¹³ Любовь заставляет даже ослов танцевать (франц.).

¹⁴ Гарсон, кружку пива! (франц.)

любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый тяжкий грех, хотя, видит Бог, все-таки невольный. Теперь это дело столь давнее, что я могу рассказать тебе его с полной откровенностью...

Я знал ее еще подростком. Росла она без матери, при отце, которого мать уже давно бросила. Был он очень состоятельный человек, а по профессии неудавшийся художник, любитель, как говорится, но такой страстный, что, кроме живописи, не интересовался ничем в мире и всю жизнь занимался только тем, что стоял за мольбертом и загромождал свой дом – у него была усадьба в Отраде – старыми и новыми картинами, скупая все, что ему нравилось, всюду, где возможно. Очень красивый был человек, дородный, высокий, с чудесной бронзовой бородой, полуполяк, полухохол, с повадками большого барина, гордый и изысканно-вежливый, внутренне очень замкнутый, но делавший вид очень открытого человека, особенно с нами: одно время все мы, молодые одесские художники, гурьбой ходили к нему каждое воскресенье года два подряд, и он всегда встречал нас с распростертыми объятиями, держался с нами, при всей разнице наших лет, совсем по-товарищески, без конца говорил о живописи, угощал на славу. Гале было тогда лет тринадцать – четырнадцать, и мы восхищались ею, конечно, только как девочкой: мила, резва, грациозна была она на редкость, личико с русыми локонами вдоль щек, как у ангела, но так кокетлива, что отец однажды сказал нам, когда она вбежала зачем-то к нему в мастерскую, что-то шепнула ему в ухо и тотчас выскочила вон:

– Ой, ой, что за девчонка растет у меня, друзья мои! Боюсь я за нее!

Потом, с грубостью молодости, мы как-то сразу и все до единого, точно сговорившись, бросили ходить к нему, что-то надоело нам в Отраде – верно, его непрерывные разговоры об искусстве и о том, что он наконец открыл еще один замечательный секрет того, как надо писать. Я как раз в ту пору провел две весны в Париже, вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дел и, возвращаясь в Одессу, ходил пошлейшим щеголем: цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, полулаковые ботинки с пуговками, удивительная тросточка, а к этому прибавь волнистые усы, тоже под Мопассана, и обращение с женщинами совершенно подлое по безответственности. И вот иду я однажды в чудесный апрельский день по Дерибасовской, перехожу Преображенскую и на углу, возле кофейни Либмана, встречаюсь вдруг с Галей. Помнишь пятиэтажный угловой дом, где была эта кофейня, – на углу Преображенской и Соборной площади, знаменитый тем, что весной, в солнечные дни, он почему-то всегда бывал унизан по карнизам скворцами и их щебетом? Мило и весело было это чрезвычайно. И вот представь себе: весна, всюду множество нарядного, беззаботного и приветливого народа, эти скворцы, сыплющие немолчным щебетом, точно каким-то солнечным дождем, – и Галя. И уже не подросток, не ангел, а удивительно хорошенькая тоненькая девушка во всем новеньком, светло-сером, весеннем. Личико под серой шляпкой наполовину закрыто пепельной вуалькой, и сквозь нее сияют аква-мариновые глаза. Ну, конечно, восклицания, расспросы и упреки: как вы все забыли папу, как давно не были у нас! Ах, да, говорю, так давно, что вы успели вырасти. Тотчас купил ей у оборванной девчонки букетик фиалок, она с быстрой благодарной улыбкой глазами тотчас, как полагается у всех женщин, сует его к лицу себе. – Хотите присядем, хотите шоколаду? – С удовольствием. – Подняла вуальку, пьет шоколад, празднично поглядывает и все спрашивает о Париже, а я все гляжу на нее. – Папа работает с утра до вечера, а вы много работаете или все парижанками увлекаетесь? – Нет, больше не увлекаюсь, работаю и написал несколько порядочных вещей. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вам можно, вы же дочь художника, и живу я в двух шагах отсюда. – Ужасно обрадовалась: – Конечно, можно! И потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кроме папиной! – Опустила вуальку, схватила зонтик, я беру ее под руку, она на ходу попадает мне в ногу и смеется. – Галя, – говорю, – ведь мне можно называть вас Галей? – Быстро и серьезно отвечает: вам можно. – Галя, что с вами сделалось? – А что? – Вы и всегда были прелестны, а теперь прелестны просто на удивление! – Опять попадает в ногу и говорит не то шутя, не то серьезно: – Это еще что, то ли будет! – Ты помнишь темную, узкую лестницу на мою вышку со двора? Тут она вдруг притихла, идет, шурша нижней шелковой юбочкой, и все оглядывается. В мастерскую вошла даже с некоторым благоговением, начала шепотом: ка-ак у вас тут хорошо, таинственно, какой страшно большой диван! и сколько картин вы написали, и все Париж... И стала ходить от картины к картине с тихим восхищением, заставляя себя быть даже не в меру неторопливой, внимательной. Насмотрелась, вздохнула: да, сколько прекрасных

вещей вы создали! – Хотите рюмочку портвейна и печений? – Не знаю... – Я взял у ней зонтик, бросил его на диван, взял ее ручку в лайковой белой перчатке: можно поцеловать? – Но я же в перчатке... – Расстегнул перчатку, поцеловал начало маленькой ладони. Опустила вуальку, без выражения смотрит сквозь нее аквамариновыми глазами, тихо говорит: ну, мне пора. – Нет, говорю, сперва посидим немного, я вас еще не рассмотрел хорошенько. Сел и посадил ее к себе на колени, – знаешь эту восхитительную женскую тяжесть даже легоньких? Она как-то загадочно спрашивает: я вам нравлюсь? Посмотрел я на нее на всю, посмотрел на фиалки, которые она приколотла к своей новенькой жакетке, и даже засмеялся от умиления: а вам, говорю, вот эти фиалки нравятся? – Я не понимаю. – Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же, как эти фиалки. – Опустив глаза, смеется: – У нас в гимназии такие сравнения барышень с разными цветами называли писарскими. – Пусть так, но как же иначе сказать? – Не знаю... – И слегка болтает висящими нарядными ножками, детские губки полуоткрыты, поблескивают... Поднял вуальку, отклонил головку, поцеловал – еще немного отклонила. Пошел по скользкому шелковому зеленоватому чулку вверх, до застежки на нем, до резинки, отстегнул ее, поцеловал теплое розовое тело начала бедра, потом опять в полуоткрытый ротик – стала чуть-чуть кусать мне губы...

Моряк с усмешкой покачал головой:

– *Vieux satyre!*¹⁵

– Не говори глупостей, – сказал художник. – Мне все это очень больно вспоминать.

– Ну, хорошо, рассказывай дальше.

– Дальше было то, что я не видал ее целый год. Однажды, тоже весной, пошел наконец в Отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорел от стыда, как поросенок мы его бросили. Очень постарел, в бороде серебрится, но все та же одушевленность в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мне свои новые работы – летят над какими-то голубыми дюнами огромные золотые лебеди – старается, бедняк, не отстать от века. Я вру напропалую: чудесно, чудесно, большой шаг вперед вы сделали! Крепитесь, но сияет, как мальчик. – Ну, очень рад, очень рад, а теперь завтракать! – А где дочка? – Уехала в город. Вы ее не узнаете! Не девочка, а уже девушка и, главное, совсем, совсем другая: выросла, вытянулась, як та тополя! – Вот не повезло, думаю, я и пошел-то к старику только потому, что ужасно захотелось видеть ее, и вот, как нарочно, она в городе. Позавтракал, расцеловал мягкую, душистую бороду, наобещал быть непременно в следующее воскресенье, вышел – а навстречу мне она. Радостно остановилась: вы? какими судьбами? были у папы? ах, как я рада! – А я еще больше, говорю, папа мне сказал, что вас теперь и узнать нельзя, уже не тополек, а целый тополь, – так оно и есть. – И действительно так: даже как будто и не барышня, а молоденькая женщина. Улыбается и вертит на плече раскрытым зонтиком. Зонтик белый, кружевной, платье и большая шляпа тоже белые, кружевные, волосы сбоку шляпки с прелестнейшим рыжим оттенком, в глазах уже нет прежней наивности, личико удлинилось... – Да, я ростом даже немножко выше вас. – Я только качаю головой: правда, правда... Пройдемся, говорю, к морю. – Пройдемся. – Пошли между садами переулком, вижу, все время чувствует, что, говоря, что попало, я не свожу с нее глаз. Идет, стройно поводя плечами, зонтик закрыла, левой рукой держит кружевную юбку. Вышли на обрыв – подуло свежим ветром. Сады уже одеваются, млеют под солнцем, а море точно северное, низкое, ледяное, заворачивает крутой зеленой волной, все в барашках, вдали тонет в сизой мути, одним словом, Понт Эвксинский. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждем, она, очевидно, думает то же, что и я, – как она сидела у меня на коленях год тому назад. Я взял ее за талию и так сильно прижал всю к себе, что она выгнулась, ловлю губы – старается высвободиться, вертит головой, уклоняется и вдруг сдается, дает мне их. И все это молча – ни я, ни она ни звука. Потом вдруг вырвалась и, поправляя шляпку, просто и убежденно говорит:

– Ах, какой вы негодяй. Какой негодяй. Повернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла по переулку.

– Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нет? – спросил моряк.

– До конца не было. Целовались ужасно, ну и все прочее, но тогда меня жалость взяла: вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась, и вижу, что уже не владеет собой совсем по-детски – и страшно и ужасно хочется этого страшного. Сделал вид, что обиделся: ну не надо, не надо, не

¹⁵ Старый сатир! (франц.)

хотите, так не надо... Стал нежно целовать ручки, успокоилась...

– Но как же после этого ты целый год не видал ее?

– А черт его знает как. Боялся, что второй раз не пожалею.

– Плохой же ты был Мопассан.

– Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видал я ее еще с полгода. Прошло лето, стали все возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на даче – эта бессарабская осень нечто божественное по спокойствию однообразных жарких дней, по ясности воздуха, до красоте ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей. Вернулся с дачи и я, иду раз опять мимо Либмана – и, представь себе, опять навстречу она. Подходит ко мне как ни в чем не бывало и начинает хохотать, очаровательно кривя рот: "Вот роковое место, опять Либман!"

– Что это вы такая веселая? Страшно рад вас видеть, но что с вами?

– Не знаю. После моря все время ног под собой не чувю от удовольствия бегать по городу. Загорела и еще вытянулась – правда?

Смотрю – правда, и, главное, такая веселость и свобода в разговоре, в смехе и во всем обращении, точно замуж вышла. И вдруг говорит:

– У вас еще есть портвейн и печенья?

– Есть.

– Я опять хочу посмотреть вашу мастерскую. Можно?

– Господи Боже мой! Еще бы!

– Ну, так идем. И быстро, быстро!

На лестнице я ее поймал, она опять выгнулась, опять замотала головой, но без большого сопротивления. Я довел ее до мастерской, целуя в закинутае лицо. В мастерской таинственно зашептала:

– Но послушайте, ведь это же безумие... Я с ума сошла...

А сама уже сдернула соломенную шляпку и бросила ее в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку и заколоты черепаховым стоячим гребнем, на лбу подвитая челка, лицо в легком ровном загаре, глаза глядят бессмысленно-радостно... Я стал как попало раздевать ее, она поспешно стала помогать мне. Я в одну минуту скинул с нее шелковую белую блузку, и у меня, понимаешь, просто потемнело в глазах при виде ее розоватого тела с загаром на блестящих плечах и млечности приподнятых корсетом груди с алыми торчащими сосками, потом от того, как она быстро выдернула из упавших юбок одна за другой стройные ножки в золотистых туфельках, в ажурных кремовых чулках, в этих, знаешь, батистовых широких панталонах с разрезом в шагу, как носили в то время. Когда я зверски кинул ее на подушки дивана, глаза у ней почернели и еще больше расширились, губы горячечно раскрылись, – как сейчас все это вижу, страстна она была необыкновенно... Но оставим это. Вот что случилось недели через две, в течение которых она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбегает она однажды ко мне утром и прямо с порога:

– Ты, говорят, на днях в Италию уезжаешь?

– Да. Так что ж с того?

– Почему же ты не сказал мне об этом ни слова? Хотел тайком уехать?

– Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать.

– При папе? Почему не мне наедине? Нет, ты никуда не поедешь!

Я по-дурацки вспыхнул:

– Нет, поеду.

– Нет, не поедешь.

– А я тебе говорю, что поеду.

– Это твое последнее слово?

– Последнее. Но пойми, что я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя...

– Я вам не Галя. Я вас теперь поняла – все, все поняла! И если бы вы сейчас стали клясться мне, что вы никуда и никогда вовеки не поедете, мне теперь все равно. Дело уже не в том!

И, распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и зачатила каблучками вниз по лестнице. Я хотел кинуться за ней, но удержался: нет, пусть придет в себя, вечером отправлюсь в Отраду, скажу, что не хочу огорчать ее, в Италию не еду, и мы помиримся. Но часов в пять вдруг входит ко мне с дикими глазами художник Синани:

– Ты знаешь – у Ганского дочь отравилась! Насмерть! Чем-то, черт его знает, редким, молниеносным, стащила что-то у отца – помнишь, этот старый идиот показывал нам целый шкапчик с ядами, воображая себя Леонардо да Винчи. Вот сумасшедший народ эти проклятые поляки и польки! Что с ней вдруг случилось – непостижимо!

– Я хотел застрелиться, – тихо сказал художник, помолчав и набивая трубку. – Чуть с ума не сошел...

28 октября 1940

Генрих

В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах лихач Касаткин мчал Глебова на высоких, узких санках вниз по Тверской в Лоскутную гостиницу – заезжали к Елисееву за фруктами и вином. Над Москвой было еще светло, зеленело к западу чистое и прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен, но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело и неподвижно и нежно сияли огни только что зажженных фонарей.

У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебов приказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за ним через час:

– Отвезешь меня на Брестский.

– Слушаю-с, – ответил Касаткин. – За границу, значит, отправляетесь.

– За границу.

Круто поворачивая высокого старого рысака, скребя подрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой:

– Охота пуще неволи!

Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифт и пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик Вася, вежливо стоявший в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх, – вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое, привычное. "И правда, зачем я еду?" Он посмотрел на себя в зеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней на красивых усах, хорошо и легко одет... в Ницце теперь чудесно, Генрих отличный товарищ... а главное, всегда кажется, что где-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудь встреча... остановишься где-нибудь в пути, – кто тут жил перед тобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые в ночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе и пива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских и итальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане в снегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку... Потом ночь, Италия... Утром, по дороге вдоль моря к Ницце, то пролеты в грохочущей и дымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жарком солнце, как сплав драгоценных камней, заливчике... И он быстро пошел по коврам теплых коридоров Лоскутной.

В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светила вечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Все было прибрано, чемоданы готовы. И опять стало немного грустно – жаль покидать привычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, и Ли...

Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешно спрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диван за круглым столом и тотчас услышал скорый стук в дверь. Не успел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная и нежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всей свежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личика и ярких зеленых глаз.

– Едешь?

– Еду, Надюша...

Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку.

– Знаешь, я, слава Богу, ночью заболела... Ах, как бы я хотела проводить тебя на вокзал!

Почему ты мне не позволяешь?

– Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, меня будут провожать совсем незнакомые тебе люди, ты будешь чувствовать себя лишней, одинокой...

– А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизнь отдала!

– А я? Но ты же знаешь, что это невозможно...

Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, и почувствовал на своей щеке ее слезы.

– Надюша, что же это?

Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:

– Нет, нет, я не буду... Я не хочу по-женски стеснять тебя, ты поэт, тебе необходима свобода.

– Ты у меня умница, – сказал он, умиляясь ее серьезностью и ее детским профилем – чистотой, нежностью и горячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ, вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах. – Ты у меня не такая, как другие женщины, ты сама поэтесса.

Она топнула в пол:

– Не смей мне говорить о других женщинах!

И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом и дыханием:

– На минутку... Нынче еще можно...

Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком, он тотчас увидел Ли: тонкая, длинная, в прямой черно-маслянистой каракулевой шубке и черном бархатном большом берете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щек черные букли, держа руки в большой каракулевой муфте, она зло смотрела на него своими страшными в своем великолепии черными глазами.

– Все-таки уезжаешь, негодяй, – безразлично сказала она, беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серыми ботиками вслед за носильщиком. – погоди, пожалеешь, другой такой не наживешь, останешься со своей дурочкой поэтессой.

– Эта дурочка еще совсем ребенок, Ли, – как тебе не грех думать Бог знает что.

– Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть это Бог знает что, я тебя серной кислотой оболую.

Из-под готового поезда, сверху освещенного матовыми электрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнувший каучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватой деревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под красным ковром, в пестром блеске стен, обитых тисненой кожей, и толстых, зернистых дверных стекол, была уже заграница. Проводник-поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым красным абажуром.

– Какой ты счастливый! – сказала Ли. – Тут у тебя даже собственный нужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудь стерва-спутница?

И она подергала дверь в соседнее купе:

– Нет, тут заперто. Ну, счастлив твой Бог! Целуй меня скорей, сейчас будет третий звонок...

Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки и шепча:

– Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!

За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые в своей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни. Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодное стекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника, соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и, смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, с греческой прической рыже-лимонных волос, с тонкими, как у англичанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами.

– Ну что, попрощался? Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой.

– Начинаешь ревновать, Генрих?

– Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала ее полной отставки.

– Вот в том-то и дело, что опасна, попробуй-ка сразу отставить такую! А потом, ведь пере-

ношу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним.

– Нет, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что я еду прежде всего затем, чтобы развязаться с ним.

– Могла бы сделать это письменно. И отлично могла бы ехать прямо со мной.

Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцами волосы, мягко касаясь их, положив нога на ногу в серых замшевых туфлях с серебряными пряжками:

– Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметь возможность продолжать работать у него. Он человек расчетливый и пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, как я, снабжать его журнал всеми театральными, литературными, художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будет переводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынче пятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ницце восемнадцатого, а я не позднее двадцатого, двадцать первого. И довольно об этом, мы ведь с тобой прежде всего хорошие друзья и товарищи.

– Товарищи... – сказал он, радостно глядя на ее тонкое лицо в алых прозрачных пятнах на щеках. – Конечно, лучшего товарища, чем ты, Генрих, у меня никогда не будет. Только с тобой одной мне всегда легко, свободно, можно говорить обо всем действительно как с другом, но, знаешь, какая беда? Я все больше влюбляюсь в тебя.

– А где ты был вчера вечером?

– Вечером? Дома.

– А с кем? Ну да Бог с тобой. А ночью тебя видели в «Стрельне», ты был в какой-то большой компании в отдельном кабинете, с цыганами. Вот это уже дурной тон – Степы, Груши, их роковые очи...

– А венские пропойцы, вроде Пшибышевского?

– Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части. Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?

– Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша...

– Ну, ну, опиши мне ее.

– Нет, вы положительно становитесь ревнивы, Елена Генриховна. Что ж тут описывать, не видала ты, что ли, цыганок? Очень худа и даже не хороша – плоские дегтярные волосы, довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки, лошадиные ключицы в каком-то желтом крупном ожерелье, плоский живот... это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длинным шелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь – как подберет на руки шаль из тяжелого старого шелка и пойдет под бубны мелькать из-под подола маленькими башмачками, мотая длинными серебряными серьгами, – просто несчастье! Но идем обедать.

Она встала, легонько усмехнувшись:

– Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тем, что Бог дает. Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнатки!

– И одна совсем лишняя...

Она накинула на волосы вязаный оренбургский платок, он надел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечным туннелям вагонов, переходя железные лязгающие мостики в холодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках между вагонами.

Он вернулся один, – сидел в ресторане, курил, – она ушла вперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купе счастье совсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла и простыни, вынула его ночное белье, поставила на столик вино, положила плетенную из дранок коробку с грушами и стояла, держа шпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полные груди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке и на босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талия у нее была тонкая, бедра полновесные, щиколки легкие, точеные. Он долго целовал ее стоя, потом они сели на постель и стали пить рейнское вино, опять целуясь холодными от вина губами.

– А Ли? – сказала она. – А Маша?

Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливой грустью:

– Ах, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, эту темноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станции – и вас, вас, "жены человеческие, сеть прельщения человеком"! Эта «сеть» нечто поистине неизъяснимое, Божественное и дьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меня упрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: "Сочинитель имеет такое же полное право

быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена представлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном".

– А у Ли, – спросила Генрих, – груди, конечно, острые, маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истеричек.

– Да.

– Она глупа?

– Нет... Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна, разумна, проста, легка и весела, все схватывает с первого слова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой, запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением и тупостью идиота, как глухонемой... Но ты мне надоела с Ли.

– Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.

– И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напиши этому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратном пути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции в Ницце. И поедem, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь в Италию...

– А почему не в Ниццу?

– Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное – поедem вместе!

– Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты же уверял меня, что возненавидел Италию.

– Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующих болванов. "Я люблю во Флоренции только треченто..." А сам родился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всю жизнь. Треченто, кватроченто... И я возненавидел всех этих Фра Анжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче и сухоликого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке... Ну, если не в Италию, то поедem куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще в горы, какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих в небе пестрых от снега гранитных дьяволов... Представь себе только: острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутые крыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под ним быстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колокольцев тесно, тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин с альпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьими рогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы... словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чуждая всему миру горная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высоко глядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора, как исполинский мертвый ангел... А какие там девки, Генрих! Тугие, краснощекие, в черных корсажах, в красных шерстяных чулках...

– Ох, уж мне эти поэты! – сказала она с ласковым зевком. – И опять девки, девки... Нет, в деревушке холодно, милый. И никаких девок я больше не желаю...

В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал, дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем, у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторной коляски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовские усы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.

На рассвете, подняв штору, он увидел бледную от жидкого снега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики. Тотчас после того остановились и довольно долго стояли на большой станции, где, после России, все казалось очень мало, – вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей, – и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат с винтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткой мышино-голубой шинели шел, переходя пути, от паровозного депо; по деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатый человек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха и зеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрих проснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и лег в ее тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо и заплакала.

– Генрих, что ты? – сказал он.

– Не знаю, милый, – ответила она тихо. – Я на рассвете часто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя... Через несколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафе ждать своего австрийца... А вечером опять кафе и венгерский оркестр, эти режущие душу скрипки...

– Да, да, и пронзительные цимбалы... Вот я и говорю: пошли австрияка к черту и поедem дальше.

– Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись с ним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, в последний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли, как говорится, отношения – ночью, на улице, под газовым фонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть была у него в лице! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое, фисташковое... Но, главное, как я могу теперь, после тебя, после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими...

– Слушай, правда?

Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что у него перехватывало дыхание.

– Генрих, я не узнаю тебя.

– И я себя. Но иди, иди ко мне.

– Погоди...

– Нет, нет, сию минуту!

– Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь из Вены?

– Нынче вечером, нынче же вечером!

Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по ковру шпоры пограничников.

И был венский вокзал, и запах газа, кофе и пива, и уехала Генрих, нарядная, грустно улыбающаяся, на нервной, деликатной европейской кляче, в открытом ландо с красноносым извозчиком в пелерине и лакированном цилиндре на высоких козлах, снявшим с этой клячи одеяльце и загукавшим и захлопавшим длинным бичом, когда она задергала своими аристократическими, длинными, разбитыми ногами и косо побежала с своим коротко обрезанным хвостом вслед за желтым трамваем. Был Земмеринг и вся заграничная праздничность горного полдня, левое жаркое окно в вагоне-ресторане, букетик цветов, аполлинарис и красное вино «Феслау» на ослепительно-белом столике возле окна и ослепительно-белый полуденный блеск снеговых вершин, восстававших в своем торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда, извивавшегося по обрывам над узкой бездной, где холодно синела зимняя, еще утренняя тень. Был морозный, первозданно-непорочный, чистый, мертвенно алевший и синевший к ночи вечер на каком-то перевале, тонувшем со всеми своими зелеными елями в великом обилии свежих пухлых снегов. Потом была долгая стоянка в темной теснине, возле итальянской границы, среди черного Дантова ада гор, и какой-то воспаленно-красный, дымящийся огонь при входе в закопченную пасть туннеля. Потом – все уже совсем другое, ни на что прежнее не похожее: старый, облезло-розовый итальянский вокзал и петушиная гордость и петушиные перья на касках коротконогих вокзальных солдатиков, и вместо буфета на вокзале – одинокий мальчишка, лениво кативший мимо поезда тележку, на которой были только апельсины и фиаски. А дальше уже вольный, все ускоряющийся бег поезда вниз, вниз и все мягче, все теплее бьющий из темноты в открытые окна ветер Ломбардской равнины, усеянной вдали ласковыми огнями милой Италии. И перед вечером следующего, совсем летнего дня – вокзал Ниццы, сезонное многолюдство на его платформах...

В синие сумерки, когда до самого Антибского мыса, пепельным призраком таявшего на западе, протянулись изогнутой алмазной цепью несчетные береговые огни, он стоял в одном фраке на балконе своей комнаты в отеле на набережной, думал о том, что в Москве теперь двадцать градусов морозу, и ждал, что сейчас постучат к нему в дверь и подадут телеграмму от Генриха. Обедая в столовой отеля, под сверкающими люстрами, в тесноте фраков и вечерних женских платьев, опять ждал, что вот-вот мальчик в голубой форменной курточке до пояса и в белых вязаных перчатках почтительно поднесет ему на подносе телеграмму; рассеянно ел жидкий суп с кореньями, пил красное бордо и ждал; пил кофе, курил в вестибюле и опять ждал, все больше волнуясь и удивляясь: что это со мною, с самой ранней молодости не испытывал ничего подобного! Но телеграммы все не было. Блестя, мелькая, скользили вверх и вниз лифты, бегали взад и вперед мальчишки, разнося папиросы, сигары и вечерние газеты, ударил с эстрады струнный оркестр – телеграммы все не было, а был уже одиннадцатый час, а поезд из Вены должен был привезти ее в двенадцать. Он выпил за кофе пять рюмок коньяку и, утомленный, брезгливый, поехал в лифте к себе, злобно глядя на мальчика в форме: "Ах, какая каналья вырастет из этого хитрого, услужливого, уже насквозь развращенного мальчишки! И кто это выдумывает всем этим мальчишкам какие-то дурацкие шапочки и курточки, то голубые, то коричневые, с погончиками, кантиками!"

Не было телеграммы и утром. Он позвонил, молоденький лакеи во фраке, итальянский кра-

савчик с газельими глазами, принес ему кофе: "Pas de lettres, monsieur, pas de telegrammes".¹⁶ Он постоял в пижаме возле открытой на балкон двери, щурясь от солнца и пляшущего золотыми иглами моря, глядя на набережную, на густую толпу гуляющих, слушая доносящееся снизу, из-под балкона, итальянское пение, изнемогающее от счастья, и с наслаждением думал:

"Ну и черт с ней. Все понятно".

Он поехал в Монте-Карло, долго играл, проиграл двести франков, поехал назад, чтобы убить время, на извозчике – ехал чуть не три часа: топ-топ, топ-топ, уи! и крутой выстрел бича в воздухе... Портье радостно осклабился:

– Pas de telegrammes, monsieur!

Он тупо одевался к обеду, думая все одно и то же.

"Если бы сейчас вдруг постучали в дверь и она вдруг вошла, спеша, волнуясь, на ходу объясняя, почему она не телеграфировала, почему не приехала вчера, я бы, кажется, умер от счастья! Я сказал бы ей, что никогда в жизни, никого на свете так не любил, как ее, что Бог многое простит мне за такую любовь, простит даже Надю, – возьми меня всего, всего, Генрих! Да, а Генрих обедает сейчас со своим австрияком. Ух, какое это было бы упоение – дать ей самую зверскую пощечину и проломить ему голову бутылкой шампанского, которое они распивают сейчас вместе!"

После обеда он ходил в густой толпе по улицам, в теплом воздухе, в сладкой вони копеечных итальянских сигар, выходил на набережную, к смоляной черноте моря, глядел на драгоценное ожерелье его черного изгиба, печально пропадающего вдаль направо, заходил в бары и все пил, то коньяк, то джин, то виски. Возвратясь в отель, он, белый как мел, в белом галстуке, в белом жилете, в цилиндре, важно и небрежно подошел к портье, бормоча мертвеющими губами:

– Pas de telegrammes?

И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью:

– Pas de telegrammes, monsieur!

Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фрак, – упал навзничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами.

На третий день он крепко заснул после завтрака и, проснувшись, вдруг взглянул на все свое жалкое и постыдное поведение трезво и твердо. Он потребовал к себе в комнату чаю и стал убирать из гардероба вещи в чемоданы, стараясь больше не думать о ней и не жалеть о своей бессмысленной, испорченной поездке. Перед вечером спустился в вестибюль, заказал приготовить счет, спокойным шагом пошел к Куку и взял билет в Москву через Венецию в вечернем поезде: пробуду в Венеции день и в три ночи прямым путем, без остановок, домой, в Лоскутную... Какой он, этот австрияк? По портретам и по рассказам Генриха, рослый, жилистый, с мрачным и решительным – конечно, наигранным, – взглядом косо-склоненного из-под широкополой шляпы лица... Но что о нем думать! И мало ли что будет еще в жизни! Завтра Венеция. Опять пение и гитары уличных певцов на набережной под отелем, – выделяется резкий и безучастный голос черной простоволосой женщины, с шалью на плечах, вторящей разливающемуся коротконогому, кажущемуся с высоты карликом, тенору в шляпе нищего... старичок в лохмотьях, помогающий входить в гондолу – прошлый год помогал входить с огнеглазой сицилианкой в хрустальных качающихся серьгах, с желтой кистью цветущей мимозы в волосах цвета маслины... запах гниющей воды канала, погребально лакированная внутри гондола с зубчатой, хищной секирой на носу, ее покачивание и высоко стоящий на корме молодой гребец с тонкой, перепоясанной красным шарфом талией, однообразно подающийся вперед, налегая на длинное весло, классически отставивши левую ногу назад...

Вечерело, вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с опаловым глянецом, над ним зло и жалостно надрывались чайки, чуя на завтра непогоду, дымчато-сизый запад за Антибским мысом был мутен, в нем стоял и мерк диск маленького солнца, апельсина-королька. Он долго глядел на него, подавленный ровной безнадежной тоской, потом очнулся и бодро пошел к своему отелю. "Journaux etrangers!"¹⁷ – крикнул бежавший навстречу газет-

¹⁶ Нет писем, сударь, нет телеграмм (франц.)

¹⁷ Иностранные газеты! (франц.)

чик и на бегу сунул ему "Новое время". Он сел на скамью и при гаснущем свете зари стал рассеянно развертывать и просматривать еще свежие страницы газеты. И вдруг вскочил, оглушенный и ослепленный как бы взрывом магния:

"Вена. 17 декабря. Сегодня, в ресторане «Franzengring» известный австрийский писатель Артур Шпиглер убил выстрелом из револьвера русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новеллистов, работавшую под псевдонимом "Генрих"".

10 ноября 1940

Натали

I

В то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом, краснел при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились: "Шел бы ты, Мещерский, в монахи!" В то лето я уже не краснел бы. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть, как все, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики и, в силу этого решения да и желания показать свой голубой околыш, стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони...

Я приехал поздно, и в доме встретила меня только Соня. Когда я выскочил из тарантаса и вбежал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой со своей обычной насмешливостью:

– Ах, вечно и всюду опаздывающий молодой человек!

– Ну, уж на этот раз никак не по своей вине, – ответил я. – Опоздал не молодой человек, а поезд.

– Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания и наконец махнули на тебя рукой. Папа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, очевидно оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком. Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась, одна я оказалась терпелива и верна тебе. Ну, раздевайся и пойдем ужинать.

Я ответил, любуясь ее синими глазами и поднятой, открытой до плеча рукой:

– Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно – ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет!

Она засмеялась:

– Почти ничего. Но и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики... Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в негаа, интересного нахала. И это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба.

– Да кто это Натали? – спросил я, входя за ней в освещенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой летней ночи окнами.

– Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица, не то что я. Представь себе: прелестная головка, так называемые «золотые» волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черные солнца, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего.

– Чего прочего? – спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора.

– А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться – советую тебе залезть в кусты, тогда уви-

дишь чего. И сложена, как молоденькая нимфа...

На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыру и бутылка красного крымского вина.

– Не прогневайся, больше ничего нет, – сказала она, садясь и наливая вина мне и себе. – И водки нет. Ну, дай юг, чокнемся хоть вином.

– А что именно дай бог?

– Найти мне поскорей такого жениха, что пошел бы к нам "во двор". Ведь мне уже двадцать первый год, а выйти куда-нибудь замуж на сторону я никак не могу: с кем же останется папа?

– Ну, дай бог!

И мы чокнулись, и, медленно выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала глядеть на меня, на то, как я работаю вилок, стала как бы про себя говорить:

– Да, ты ничего себе, похож на грузина и довольно красив, прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень изменился, стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают.

– Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде...

И я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного боком ко мне, под лампой блестел ровный загар ее руки, сияли сине-лиловые усмежающиеся глаза и красновато отливали каштаном густые и мягкие волосы, заплетенные на ночь в большую косу; ворот распахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею и начало полнеющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара: на левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос.

– Ну, а что папа?

Она, продолжая глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро:

– Папа, слава богу, молодцом. По-прежнему прям, тверд, постукивает костылем, взбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христа... Только еще больше прежнего и еще настойчивее трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с кем не соглашается, – сказала она и засмеялась.

– Хочешь папиросу?

Я закурил, хотя еще не курил тогда, она опять налила мне себе и посмотрела в темноту за открытым окном:

– Да, пока все слава богу. И прекрасное лето, – ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я правда очень тебе рада. Послала за тобой еще в шесть часов, боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись, и что ты опаздываешь, что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился, с такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, то такое удовольствие – сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда, и наконец слышать, что едут, погромыхивают бубенчики, подкатывает к крыльцу...

Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей, тоже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал:

– Вот ты говоришь Натали... Никакая Натали с тобой не сравнится... Кстати, кто она, – откуда?

– Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищей. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего... Очень трогательная девочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа... Эти Станкевичи недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского, и Натали говорит, что он что-то частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом – богат, подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей.

– Так, – сказал я. – Но вернемся к делу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?

– Натали нашему роману все-таки не помешает, – ответила она. – Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать.

– Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя.

– Да, но ведь это была обычная влюбленность в кузину и притом уж слишком подколотная, ты тогда только смешон и скучен был. Но бог с тобой, прощаю тебе твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мне завтра рано вставать по хозяйству.

И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин, – такой счастливой удаче своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых, – я долго и жадно целовал и прижимал ее к притолоке, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с пунцовым лицом, она погрозила мне пальцем и тихо сказала:

– Только смотри теперь: завтра, при всех, не смей пожирать меня "страстными взорами"! Избавь бог, если заметит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Да и не хочу, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива, не суди, пожалуйста, по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказа, сразу станешь противен мне...

Я разделся и упал в постель с головокружением, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками.

Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование, что, когда я вошел в свою комнату и юркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу, так близко, что я даже при свете спички ясно увидел ее мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку, потом с гладким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней.

II

В первый раз я видел Натали да другой день утром только мельком: она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула, – была еще не причесана и в одной легкой распашонке из чего-то оранжевого, – и, сверкнув этим оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Я был ту минуту в столовой один, только что кончил пить кофе, – улан кончил раньше и ушел, – и, встав из-за стола, случайно обернулся...

Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда нуждался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада, крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во все чистое, – особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шелка, – покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронеже, вышел в коридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вместе спальню улана. Зная, что он встает летом часов в пять, постучался. Никто не ответил, и я отворил дверь, заглянул и с удовольствием убедился неизменности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столетний серебристый тополь: налево вся стена в дубовых книжных шкалах, между ними в одном месте высятся часы красного дерева с медным диском неподвижного маятника, в другом стоит целая куча трубок с бисерными чубуками, а над ними висит барометр, в третьем вдвинуто бюро дедовских времен с порыжевшим сукном откинутой доски орехового дерева, а на сукне клеши, молотки, гвозди, медная подзорная труба, на стене возле двери, над стопудовым деревянным диваном, целая галерея выцветших портретов в овальных рамках; под окном письменный стол, глубокое кресло – то и другое тоже огромных размеров; правее, над широчайшей дубовой кроватью картина во всю стену: почерневший лаковый фон, на нем еле видные клубы смугло-дымчатых облаков и зеленовато-голубых поэтических деревьев, а на переднем плане блещет точно окаменевшим яичным белком голая дородная красавица, чуть не в натуральную величину, стоящая вполупорот к зрителю гордым лицом и всеми выпуклостями полновесной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлиненными расставленными пальцами одной руки сосок груди, а другой низ живота в жирных складках. Оглянув все это, я услышал сзади себя сильный голос улана, с костылем подходившего ко мне из прихожей:

– Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валяетесь по кроватям до

трех дубов.

Я поцеловал его широкую сухую руку и спросил:

– Каких дубов, дядя?

– Так мужики говорят, – ответил он, мотая седым коком и оглядывая меня желтыми глазами, еще зоркими и умными. – Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой на подушке, говорят мужики. Ну, пойдем пить кофе...

"Чудесный старик, чудесный дом", – думал я, входя за ним в столовую, в открытые окна которой глядела зелень брэнного сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая, улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая в стакане широким пальцем тонкое и длинное, витое стебло круглой золотой старинной ложечки, я ел ломоть за ломтем черный хлеб с маслом и все подливал себе из горячего серебряного кофейника; улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о соседях-помещиках, на все лады браня и высмеивая их, я притворялся, что слушаю, глядел на его усы, баки, на крупные волосы на конце носа, а сам так ждал Натали и Соню, что не сиделось на месте: что это за Натали и как мы встретимся с Соней после вчерашнего? Чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спальнях ее и Натали, обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни... Может, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей, – отчего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговорят, засмеются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячего кофейника, – молодой утренний аппетит, молодое утреннее возбуждение, блеск выпавшихся глаз, легкий налет пудры на как будто еще помолодевших после сна щеках и этот смех за каждым словом, не совсем естественный и тем более очаровательный... А перед завтраком они пойдут по саду к реке, будут раздеваться в купальне, освещаемые по голому телу сверху синевого неба, а снизу отблеском прозрачной воды... Воображение всегда было живо у меня, я мысленно видел, как Соня и Натали станут, держась за перила лесенки в купальню, неловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зеленого бархата слизи, нарощей на них, как Соня, откинув назад густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями – и, вся странно видная в воде голубовато-лиловым телом, косо разведет в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка...

– Ну, до обеда, ты ведь помнишь: обед в двенадцать, – отрицательно качая головой, сказал улан и встал со своим выбритым подбородком, в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокий, старчески твердый, в просторном чесучовом костюме и тупоносых башмаках, с костылем в широкой руке, покрытой гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтоб выйти через соседнюю комнату на балкон, она и вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищением. Я вышел на балкон изумленный: в самом деле, красавица! – и долго стоял так, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовую, но когда наконец услышал их в столовой с балкона, вдруг сбежал в сад, – охватил какой-то страх не то перед обеими, с одной из которых я имел уже пленительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тем мгновенным, чем она полчаса тому назад ослепила меня в своей быстроте. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в речной низменности, наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную при свете ее волос:

– Мы уже виделись!

Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную баллюстраду, с летним удовольствием чувствуя, как горячо печет нам раскрытые головы, и Натали стояла возле меня, а Соня, обняв ее и будто рассеянно глядя куда-то, с усмешкой напевала: "Средь шумного бала, случайно..." Потом выпрямилась:

– Ну, купаться! В первую очередь мы, потом пойдешь ты...

Натали побежала за простынями, а она задержалась и шепнула мне:

– Изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо.

И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что да, уже не надо, а она, покосясь на дверь, тихо прибавила:

– Приду к тебе после обеда...

Когда они вернулись, пошел в купальню я – сперва по длинной березовой аллее, потом среди разных старых деревьев побережья, где тепло пахло речной водой и орали на древесных верхушках грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Соне, что я буду купаться в той же воде, в которой только что купались они...

После обеда среди всего того счастливого, бесцельного, привольного и спокойного, что глядело из сала в открытые окна, – небо, зелень, солнце, – после долгого обеда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я втайне замирал от присутствия Натали и от ожидания того часа, когда затихнет весь дом на послеобеденное время и Соня (вышедшая к обеду с темно-красной бархатистой розой в волосах) тайком прибежит ко мне, чтобы продолжить вчерашнее уже не наспех и не как-нибудь, я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диване, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное, послеполуденное пение птиц в саду, из которого шел в ставни сладкий от цветов и трав воздух, и безвыходно думал: как же мне теперь жить в этой двойственности – в тайных свиданиях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, с которым я давеча глядел на ее тонкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады? Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюаре с оборками и похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она в холстинковой юбочке и вышитой малороссийской сорочке, под которыми угадывалось все юное совершенство ее сложения, казалась чуть не подростком. В том-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами, с какими целовал вчера Соню! В легком и широком рукаве сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ее тонкая рука, к сухо-золотистой коже которой прилегали рыжеватые волоски, – я глядел и думал: что испытал бы я, если бы посмел коснуться их губами! И, чувствуя мой взгляд, она вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспешно опустил глаза, увидав ее ноги сквозь просвечивающий на солнце подол юбки и тонкие, крепкие, породистые щиколотки в сером прозрачном чулке...

Соня, с розой в волосах, быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула: "Как, ты спал?" Я вскочил – что ты, что ты, мог ли я спать! – схватил ее руки. "Запри дверь на ключ..." Я кинулся к двери, она села на диван, закрывая глаза, – "Ну, иди ко мне", – и мы сразу потеряли всякий стыд и рассудок. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты, и она, во всей прелести своего жаркого тела, позволила целовать себя уже всюду – только целовать – и все сумрачней закрывала глаза, все больше разгоралась лицом, и опять, уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила:

– А что до Натали, то повторяю: берегись перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно думать!

Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ее темно-красный бархат стал вялым и лиловым.

III

Жизнь моя пошла внешне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке изнурительно-страстных свиданий с ней по ночам, – она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал, – и все мучительнее и восторженнее следя тайком за Натали, за каждым ее движением. Все шло обычным летним порядком: встречи утром, купанье перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад, – они что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тенистой полянке под дубами, недалеко от дома, вправо от балкона; в пятом часу чай на другой тенистой поляне, влево, вечером прогулки или крокет на широком дворе перед домом, – я с Натали против Сони или Соня с Натали против меня, – в сумерки ужин в столовой... После ужина улан уходил спать, а мы еще долго сидели в темноте на

балконе, мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила: "Ну, спать!" – и, простясь с ними, я шел к себе, с холодеющими руками ждал того заветного часа, когда весь дом станет тише и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бегут карманные часы у моего изголовья под нагоревшей свечой, и все дивился, ужасался: за что так наказал меня Бог, за что дал сразу две любви, такие разные и такие страстные, такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущения их потом весь день, и все это рядом с Натали! Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем наедине говорила мне:

– Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали не достаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натали тоже, а нянька, конечно, уже уверена в нашем романе и небось наушничает папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный «Обрыв», уводи ее иногда гулять по вечерам... Это ужасно, я ведь замечаю, как идиотски ты пялишь на нее глаза, временами чувствую к тебе ненависть, готова, как какая-нибудь Одарка, вцепиться при всех тебе в волосы, да что же мне делать?

Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливее, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала ноты, полулежа на диване:

– А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.

Она резко взглянула на меня:

– Как это?

– Мой кузен, Алексей Николаич Мещерский...

Она не дала мне договорить:

– Ах, вот что! Ваш кузен, этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, картавящий великан с красным сочным ртом... И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?

Я испугался:

– Натали, Натали, за что вы так строги ко мне! Даже пошутить нельзя! Ну простите меня, – сказал я, беря ее руку.

Она не отняла руки и сказала:

– Я до сих пор не понимаю... не знаю вас... Но довольно об этом...

Чтобы не видеть ее томительно влекущих к себе теннисных белых башмачков, вкось подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тускнел воздух, все шире и ближе шел по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождевым ветром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то беспричинное, на все согласное счастье, что я крикнул:

– Натали, на минутку!

Она подошла к порогу:

– Что?

– Вздохните – какой ветер! Какой радостью могло бы быть все!

Она помолчала.

– Да.

– Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имеете против меня?

Она гордо пожала плечом:

– Что и почему я могу иметь против вас?

Вечером, лежа в темноте в плетеных креслах на балконе, мы все трое молчали, – звезды только кое-где мелькали в темных облаках, слабо тянуло со стороны реки вялым ветром, там дремотно журчали лягушки.

– К дождю, спать хочется, – сказала Соня, подавляя зевок. – Нянька сказала, родился молодой месяц и теперь с неделю будет «обмываться». – И, помолчав, добавила: – Натали, что вы думаете о первой любви?

Натали откликнулась из темноты:

– Я в одном убеждена: в страшном различии первой любви юноши и девушки.

Соня подумала:

– Ну, и девушки бывают разные... И решительно встала:

– Нет, спать, спать!

– А я еще подремлю тут, мне ночь нравится, – сказала Натали.

Я прошептал, слушая удаляющиеся шаги Сони:

– Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами!

Она ответила:

– Да, да, мы нехорошо говорили...

На другой день мы встретились как будто спокойно. Ночью шел тихий дождь, но утром погода разгулялась, после обеда стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня делала какие-то хозяйственные подсчеты в кабинете улана, мы сидели в березовой аллее и пытались продолжать чтение вслух «Обрыва». Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой, я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилегавшие к ней выше кисти и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и читал все оживленнее, не понимая ни слова. Наконец сказал:

– Ну теперь почитайте вы...

Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее грудей, отложила шитье и, опять наклонись, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки, на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку ее голоса. В разных местах предвечернего сада вскрикивали на лету иволги, против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллее среди берез, красновато-серый дятел...

– Натали, какой удивительный цвет волос у вас! А коса немного темнее, цвета спелой кукурузы...

Она продолжала читать.

– Натали, дятел, посмотрите!

Она взглянула вверх:

– Да, да, я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела... Не мешайте читать.

Я помолчал, потом снова:

– Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков.

– Что, где?

Я указал ей на скамью между нами, на засохший птичий известковый помет:

– Правда?

И взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья:

– Натали, Натали!

Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила:

– Но вы же любите Соню!

Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью отсекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:

– Это неправда?

– Неправда, неправда! Я ее очень люблю, но как сестру, ведь мы знаем друг друга с детства!

IV

На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду.

– Соня, что с Натали? – спросил улан, и Соня ответила, нехорошо засмеявшись:

– Лежит все утро в распашонке, нечесаная, по лицу видно, что ревела, принесли ей кофе – не допила... Что такое? "Голова болит". Уж не влюбилась ли!

– Очень просто, – сказал улан бодро, с одобрительным намеком глянув на меня, но отрицая головой.

Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на

тали, тифельки черные, на высоких каблучках, – я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал "Исторический вестник", несколько книг которого дал мне улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущенной приветливостью:

– Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.

– Как? То вы, то она?

– У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок...

– До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах! – сказал я. И вдруг спросил, краснея: – Вы вчера мне поверили?

Она тоже покраснела – тонко и ало – и отвернулась:

– Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам... и что, в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Но идем...

К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мне:

– Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.

– Неужто даже не заглянешь нынче ко мне?

– Ты глуп!

Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видеть по ночам у себя Сони!

С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали – я никогда еще не видал ее такой деловитой, видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик-повар и Христя, хохлушка-горничная, приносили и подавали вовремя, не раздражая улана, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала, и я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя, и я упивался все крепнувшей мечтой: не навек же я связан с Соней, не век же мне – да и Натали – гостить тут, через неделю-другую я все равно должен буду уехать – и тогда конец моим мучениям... найду предлог поехать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой... Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ее любовь и руку, будет, конечно, очень больно, – разве только с одной страстью целую я Соню, разве я не люблю и ее? – но что же делать, этого, рано или поздно, все равно не избежишь... И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то, я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее – терпеть, терпеть до поры до времени. Я страдал, скучал, – как нарочно, дня три шел дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше, в доме было сумрачно, на потолке и на лампе в столовой спали мухи, – но крепился, по часам сидел иногда в кабинете улана, слушая его всякие рассказы...

Соня начала выходить сперва в халатике, на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали:

– Посиди возле меня, Витик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное... Месяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; распогодилось и как сладко пахнет цветами...

Я, втайне раздражаясь, отвечал:

– Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.

Она била меня по руке:

– Не смей возражать больно!

Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе и Христя понесла со стола самовар в поварскую:

– Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем по-

правилась, а вы без нее скучаете.

– Я скучаю только без вас, – ответил я. – Когда вас нет...

Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась:

– Но мы же условились не ссориться больше... Послушайте лучше вот что: вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказания насчет месяца, слава Богу, не сбылись, ночь будет прекрасная...

– Соне меня жаль, а вам? Нисколько?

– Страшно жаль, – ответила она и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду. – Но, слава Богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать...

При словах "а вечером я посижу с вами" сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нет! это просто только ласковое слово! Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролежавший между усадьбой и хохлацкой деревней немного выше ее, на степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля, там только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром и уже светил в небе молодой месяц, не суливший ничего доброго: блестела одна половина его, но как прозрачная паутина видна была и другая, а все вместе напоминало желудь.

За ужином – ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко, – я сказал улану:

– Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.

– Почему, мой друг?

– Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас...

– Это почему?

Натали тоже вскинула на меня глаза:

– Вы собираетесь уезжать?

Я притворно засмеялся:

– Не могу же я...

Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:

– Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.

– Я не имею никаких прав на Виталия Петровича, – сказала Натали.

Я жалобно воскликнул:

– Дядя, запретите Натали называть меня так! Улан хлопнул ладонью по столу:

– Запрещаю. И довольно болтать о твоём отъезде. Вот насчет дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.

– В поле было уже слишком чисто, ясно, – сказал я. – И месяц очень чист наполовину и похож на желудь, и дуло с юга. И вот, видите, уже находят облака...

Улан повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет:

– Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс...

В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, в унынии думая: все это вздор, если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные... Молодой месяц, тоже чистый, без паутины, играл все выше и ярче в горах все больше скоплавшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-бледное, все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то: Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:

– Вы еще не спите?

– Но вы же мне сказали...

– Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать.

Я пошел за ней, она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, в пестроту, в пятна света и тени.

Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:

– Как волшебным блеском вдали березы. Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине...

Она остановилась, в упор мне чернея в сумраке глазами:

– Вы правда уезжаете?

– Да, пора.

– Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.

– Натали, можно мне приехать представиться вашим, когда вы вернетесь домой?

Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая, правую.

– Натали...

– Да, да, я вас люблю, – сказала она поспешно и невыразительно и пошла назад к дому. Я лунатически пошел за ней.

– Уезжайте завтра же, – сказала она на ходу, не оборачиваясь. – Я вернусь домой через несколько дней.

V

Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и неожиданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже потонули в темноте от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом затворил одно за другим окна, ловя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по темным коридорам в столовую: мне, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стекла, но я все-таки побежал и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты – я увидел это при том зелено-голубом озарении, в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное, сразу раскрывавшееся всюду, точно быстрые глаза, и делавшее огромными и видимыми до последнего переплета все оконные рамы, а затем тотчас же затоплявшее густым мраком, на секунду оставлявшее в ослепшем зрении след чего-то жестяного, красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шепот:

– Где ты был? Мне страшно, зажги скорей огонь...

Я чиркнул спичкой и увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу.

– Или нет, нет, не надо, – поспешно сказала она, – иди скорей ко мне, обними меня, я боюсь...

Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала:

– Ну поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем, я целую неделю не была с тобой!

И с силой откинула меня и себя на подушки дивана. В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке, со свечой в руке. Она сразу увидела нас, но все-таки бессознательно крикнула:

– Соня, где ты? Я страшно боюсь...

И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней.

VI

Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его Благодатном при пустой церкви – и мы и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым.

В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил Святки дома, в деревне, и при-

ехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в город, пока извозчицы сани несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи, студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился, – во всяком случае, привык к тому состоянию душевно больного человека, которым втайне был, и внешне жил, как все.

Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с ее хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза, в новеньком мундире и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли, верно, за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. И я наконец пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, – и вдруг подался назад: из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, дороден, весь черен блестящими черными волосами и фракком и легок той легкостью, которой удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял... В двери залы наискось против меня, еще совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах, – хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись – откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу – *Gaudeamus igitur!*¹⁸ – остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью:

– Ой, но вы и так страшно бледный! Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками, в надежде, что у меня разорвется сердце...

И прошло еще полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привез ее телеграмму из Благодатного: "Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара". Отец перекрестился и сказал:

– Царство небесное. Какой ужас. Прости меня, Боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Ведь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль – вдова в такие годы, с ребенком на руках... Никогда ее не видал, – он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне, – но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за полтора верста, конечно, не можем, надо ехать тебе...

Отказаться было нельзя, – в силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал: я ее увижу! Предлог для встречи был страшный, но законный.

Мы послали ответную телеграмму, и на другой день, майской вечерней зарею, лошади из

¹⁸ Будем веселиться! (лат.)

Благодатного в полчаса доставили меня со станции в усадьбу. Подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидел, что по западной стене дома, обращенной к еще светлому закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли: за ними лежал он и была она! Во дворе, густо заросшем молодой травой, погромыхивали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, – и приезжие и дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свежесть и новизна всего – полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльце, у настезь раскрытых в сени дверей, стоймя прислонена была к стене большая желтая глазетовая крышка гроба. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью – как вступить в этот дом, вновь увидеть ее лицом к лицу после трех лет разлуки и уже вдовой, матерью! И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свечными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавием в передний угол, озаренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трех высоких церковных свечей, – вошел под возгласы и пение священнослужителей, с каждением и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видеть желтой парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть ее. Кто-то подал мне зажженную свечу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью, и с тупой покорностью слушая эти возгласы и бряцание кадила, исподлобья видя плывущий к потолку торжественно и приторно пахнущий дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидел ее, – впереди всех, в трауре, со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос, – и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свечами и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, ресниц и глаз, при виде меня опустившихся, низко, низко поклонился, целуя ее руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я ночевал еще гимназистом, приезжая в Благодатное, – там была спальня Мещерского на жаркие летние ночи. Она ответила, не поднимая глаз:

– Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.

Утром, после отпевания и погребения, я немедленно уехал. Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза.

VII

Я кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери... Теперь она, вместе с Иваном Лукичом, нашим бывшим дворовым, седым до зелени стариком с большими лопатками, служила мне. Вид она имела еще полудетский – маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвета сажи, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная тонкой кожей, что отец когда-то говорил: "Вот, верно, такая была Агарь". Мила она была мне бесконечно, я любил носить ее на руках, целуя; я думал: "Вот и все, что осталось мне в жизни!" И она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила, – маленького, черненького мальчишка, – и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила:

– Нет, мне этого не нужно, мне только стыдно будет перед всеми, какая же я барыня! А вам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите. Вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, – сказала она, глядя на ребенка, который на руках у нее сосал грудь. – Поезжайте, поживите в свое удовольствие, только одно помните: если влюби-

тес в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вместе с ним.

Я посмотрел на нее – ей не верить было невозможно. И поник головой: да, а мне ведь всего двадцать шесть лет... Влюбиться, жениться – этого я и представить себе не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конченной жизни.

Ранней весной я уехал за границу и провел там месяца четыре. Возвращаясь в конце июня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревне, а на зиму опять куда-нибудь уеду. По дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил: вот опять я дома, а зачем? Вспомнил Натали – и подумал: да, та любовь "до гроба", которую насмешливо предрекала мне Соня, существует; только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу... И, сидя на вокзале в Туле в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму: "Еду из Москвы мимо вас, буду на вашей станции в девять вечера, позвольте заехать, узнать, как вы поживаете".

Она встретила меня на крыльце, – сзади нее светила лампой горничная, – и с полуулыбкой протянула мне обе руки:

– Я страшно рада!

– Как это ни странно, вы еще немного выросли, – сказал я, целуя и чувствуя их уже с мучением. И взглянул на нее на всю при свете лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком после дождя воздухе, кружились мелкие розовые бабочки: черные глаза смотрели теперь тверже, увереннее, вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платье из зеленой чесучи.

– Да, я все еще расту, – ответила она, грустно улыбаясь.

В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, графинчик с водкой, бутылку лафита. Она взялась за чайник:

– Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте... Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?

– Возвращаюсь из Парижа.

– Вот как! И долго там пробыли? Ах, если б я могла поехать куда-нибудь! Но ведь моей девочке всего четвертый год... Вы, говорят, усердно хозяйствуете?

Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволения курить.

– Ах, пожалуйста! Я закурил и сказал:

– Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной, не обращайтесь на меня особого внимания, я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости – ведь все, что было, былшем поросло и прошло без возврата. Вы не можете; не видеть, что я опять ослеплен вами, но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение – оно теперь бескорыстно и спокойно...

Она склонила голову и ресницы, – к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть, – и лицо ее стало медленно розоветь.

– Это совершенно точно, – сказал я, бледнея, но крепнувшим голосом, сам себя уверяя, что говорю правду. – Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал. И потом, я уже достаточно наказан за эту вину – всей своей гибелью.

– Гибелью?

– А разве не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?

Она помолчала.

– Я видела вас на балу и Воронеже... Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна! Хотя разве бывает несчастная любовь? – сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. – Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? Но расскажите мне о себе, неужели вы навсегда поселились в деревне? Я с усилием спросил:

– Значит, вы тогда меня еще любили?

– Да.

Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.

– Это правда, что я слышала... что у вас есть любовь, ребенок?

– Это не любовь, – сказал я. – Страшная жалость, нежность, но и только.

– Расскажите мне все.

И я рассказал все – вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне "поехать, пожить в свое удовольствие". И кончил так:

– Теперь вы видите, что я всячески погиб...

– Полноте! – сказала она, думая что-то свое. – У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя.

– Не в браке дело, – сказал я. – Бог мой! Мне жениться!

Она в раздумье посмотрела на меня:

– Да, да. И как странно. Ваше предсказание сбылось – мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь?

И положила руку на руку мне:

– Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильоне приготовлена...

Я покорно поцеловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сел у раскрытого окна, в кресле возле постели, стал курить, думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заехал, понадеялся на свое спокойствие, на свои силы... Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь – еще теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пели вдаль, в разных местах села, первые петухи. Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды, за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стеклянно, в тени же пестро и таинственно... И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестящем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно...

Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили – она, лежа на постели, я, стоя на коленях возле и держа ее руку:

– В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было.

– Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее...

– Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зеленую чесучу и на твои колени под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней.

– Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы?

– Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышишь. И ты правду сказала: нет несчастной любви. Ах, эта твоя оранжевая распашонка и вся ты, еще почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе! Потом твоя рука в рукаве малороссийской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: "Натали, Натали!"

– Да, да.

– А потом ты на балу – такая высокая и такая страшная в своей уже женской красоте, – как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и гибели! Потом ты со свечой в руке, твой траур и твоя непорочность в нем. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица.

– И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко – разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?

В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах.

4 апреля 1941

В одной знакомой улице

Осенней парижской ночью шел по бульвару в сумраке от густой, свежей зелени, под которой металлически блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо и думал:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном...

– Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва, Пресня, глухие снежные улицы, деревянный мещанский домишко – и я, студент, какой-то тот я, в существование которого теперь уже не верится...

Там огонек таинственный
До полночи светил...

– И там светил. И мела метель, и ветер сдувал с деревянной крыши снег, дымом развеивал его, и светилося вверху, в мезонине, за красной ситцевой занавеской...

Ах, что за чудо девушка,
В заветный час ночной,
Меня встречала в доме том
С распущенной косой...

– И это было. Дочь какого-то дьячка в Серпухове, бросившая там свою нищую семью, уехавшая в Москву на курсы... И вот я поднимался на деревянное крылечко, занесенное снегом, дергал кольцо шуршащей проволоки, проведенной в сенцы, в сенцах жестью дребезжал звонок – и за дверью слышались быстро сбегавшие с крутой деревянной лестницы шаги, дверь отворялась – и на нее, на ее шаль и белую кофточку несло ветром, метелью... Я кидался целовать ее, обнимая от ветра, и мы бежали вверх, в морозном холоде и в темноте лестницы, в ее тоже холодную комнатку, скучно освещенную керосиновой лампочкой... Красная занавеска на окне, столик под ним с этой лампочкой, у стены железная кровать. Я бросал куда попало шинель, картуз и брал ее к себе на колени, сев на кровать, чувствуя сквозь юбочку ее тело, ее косточки... Распущенной косы не было, была заплетенная, довольно бедная русая, было простонародное лицо, прозрачное от голода, глаза тоже прозрачные, крестьянские, губы той нежности, что бывают у слабых девушекек...

Как не по-детски пламенно
Прильнув к устам моим,
Она, дрожа, шептала мне:
"Послушай, убежим!"

– Убежим! Куда, зачем, от кого? Как прелестна эта горячая, детская глупость: "Убежим!" У нас «убежим» не было. Были эти слабые, сладчайшие в мире губы, были от избытка счастья выступавшие на глаза горячие слезы, тяжкое томление юных тел, от которого мы клонили на плечо друг другу головы, и губы ее уже горели, как в жару, когда я расстегивал ее кофточку, целовал млечную девичью грудь с твердевшим недозрелой земляникой острием... Придя в себя, она вскакивала, зажигала спиртовку, подогревала жидкий чай, и мы запивали им белый хлеб с сыром в красной шкурке, без конца говоря о нашем будущем, чувствуя, как несет из-под занавески зимой, свежим холодом, слушая, как сыплет в окно снегом... "В одной знакомой улице я помню старый дом..." Что еще помню! Помню, как веной провожал ее на Курском вокзале, как мы спешили по платформе с ее ивовой корзинкой и свертком красного одеяла в ремнях, бежали вдоль длинного поезда, уже готового к отходу, заглядывали в переполненные народом зеленые ваго-

ны... Помню, как наконец она взобралась в сенцы одного из них и мы говорили, прощались и целовали друг другу руки, как я обещал ей приехать через две недели в Серпухов... Больше ничего не помню. Ничего больше и не было.

25 мая 1944

Речной трактир

В «Праге» сверкали люстры, играл среди обеденного шума и говора струнный португальский оркестр, не было ни одного свободного места. Я постоял, оглядываясь, и уже хотел уходить, как увидел знакомого военного доктора, который тотчас пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь, на гремящий трамваями Арбат. Пообедали вместе, порядочно выпив водки и кахетинского, разговаривая о недавно созванной Государственной думе, спросили кофе. Доктор вынул старый серебряный портсигар, предложил мне свою асмоловскую «пушку» и, закуривая, сказал:

– Да, все Дума да Дума... Не выпить ли нам коньяку? Грустно что-то.

Я принял это в шутку, человек он был характера спокойного и суховатого (крепкий и сильный сложением, к которому очень шла военная форма, жестко рыжий, с серебром на висках), но он серьезно прибавил:

– От весны, должно быть, грустно. К старости, да еще холостой, мечтательной, становишься вообще гораздо чувствительнее, чем в молодости. Слышите, как пахнет тополем, как звонко гремят трамваи? Кстати, закроем-ка окно, неуютно, – сказал он, вставая. – Иван Степаныч, шустовского...

Пока старый половой Иван Степаныч ходил за шустовским, он рассеянно молчал. Когда подали и налили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал, хлебнув коньяку и из горячей чашечки:

– Тут еще вот что – некоторые воспоминания. Перед вами заходил сюда поэт Брюсов с какой-то худенькой, маленькой девицей, похожей на бедную курсисточку, что-то четко, резко и гневно выкрикивал своим картавым, в нос лающим голосом метрдотелю, подбежавшему к нему, видимо, с извинениями за отсутствие свободных мест, – место, должно быть, было заказано по телефону, но не оставлено, – потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете, но и я с ним немного знаком, встречаюсь в кружках, интересующихся старыми русскими иконами, – я ими тоже интересуюсь и уже давно, с волжских городов, где служил когда-то несколько лет. Кроме того, и слышан о нем достаточно, о его романах, между прочим, так что испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклоннице и жертве. Трогательна была она ужасно, растерянно и восторженно глядела то на этот, верно, совсем непривычный ей ресторанный блеск, то на него, пока он скандировал свой лай, демонически играя черными глазами и ресницами. Вот это-то и навело меня на воспоминания. Расскажу вам одно из них, вызванное именно им, благо оркестр уходит и можно посидеть спокойно...

Он уже покраснел от водки, от кахетинского, от коньяку, как всегда краснеют рыжие от вина, но налил еще по рюмке.

– Я вспомнил, – начал он, – как лет двадцать тому назад шел однажды по улицам одного приволжского города некий довольно молодой военный врач, то есть, попросту говоря, я самый. Шел по пустыкам, чтобы бросить какое-то письмо в почтовый ящик, с тем беззаботным благополучием в душе, что иногда испытывает человек без всякой причины в хорошую погоду. А тут как раз погода была прекрасная, тихий, сухой, солнечный вечер начала сентября, когда на тротуарах так приятно шуршат под ногами опавшие листья. И вот, что-то думая, случайно поднимаю я глаза и вижу: идет впереди меня скорым шагом очень стройная, изящная девушка в сером костюме, в серенькой, красиво изогнутой шляпке, с серым зонтиком в руке, обтянутой оливковой лайковой перчаткой. Вижу и чувствую, что что-то мне в ней ужасно нравится, а кроме того, кажется несколько странным: почему и куда так спешит? Удивляться, казалось бы, нечему – мало ли бывает у людей спешных дел. Но все-таки это почему-то интригует меня. Бессознательно прибавляю шаг и себе, почти нагоняю ее – и, оказывается, не напрасно. Впереди, на углу, старая низкая церковь, и я вижу, что она направляется прямо к ней, хотя день будничный и такой час, когда никакой службы по церквам еще нет. Там она взбегаёт на паперть, с трудом отворяет тяжелую дверь, а я опять за ней и, войдя, останавливаюсь у порога. В церкви пусто, и она, не видя

меня, скорым и легким шагом идет к амвону, крестится и гибко опускается на колени, закидывает голову, прижимает руки к груди, уронив зонтик на пол, и смотрит на алтарь тем, как видно по всему, настойчиво молящим взглядом, каким люди просят Божьей помощи в большом горе или в горячем желании чего-нибудь. В узкое с железной решеткой окно слева от меня светит желтоватый вечерний свет, спокойный и будто тоже старинный, задумчивый, а впереди, в сводчатой и приземистой глубине церкви, уже сумрачно, только мерцает золото кованных с чудесной древней грубостью риз на образах алтарной стены, и она, на коленях, не сводит с них глаз. Тонкая талия, лира зада, каблучки уткнувшейся носками в пол легкой, изящной обуви... Потом несколько раз прижимает платочек к глазам, быстро берет с полу зонтик, точно решившись на что-то, гибко встает, бежит к выходу, внезапно видит мое лицо – и меня просто поражает своей красотой ужаснейший испуг, вдруг мелькнувший в ее блестящих слезами глазах...

В соседней зале потухла люстра, – ресторан уже опустел, – и доктор взглянул на часы.

– Нет, еще не поздно, – сказал он. – Всего десять. Вы никуда не спешите? Ну так посидим еще немного, я доскажу вам эту довольно странную историю. Странно было в ней прежде всего то, что в тот же вечер, то есть, вернее, поздно вечером, я опять встретил ее. Мне вдруг вздумалось поехать в летний трактир на Волге, где я был всего два-три раза за все лето да и то только затем, чтобы посидеть на речном воздухе после жаркого дня в городе. Почему я поехал именно в этот уже свежий вечер, Бог ведает: словно руководило мною что-то. Можно, конечно, сказать, что вышла простая случайность: поехал человек от нечего делать, и нет ничего удивительного в новой случайной встрече. Разумеется, все это вполне справедливо. Но почему же вышло и другое, то есть то, что я встретил ее черт знает где и что вдруг оправдались какие-то смутные догадки и предчувствия, испытанные мной, когда я в первый раз увидел ее, и ту сосредоточенность, какую-то тайную тревожную цель, с которой она шла в церковь и там так напряженно и молча, то есть чем-то самым главным, самым подлинным, что есть в нас, молила о чем-то Бога? Приехав и совсем забыв о ней, я долго и скучно сидел один в этом речном кабаке, очень дорогом, кстати сказать, известном своими купеческими ночными кутежами, нередко тысячными, и без всякого вкуса глотал от времени до времени жигулевское пиво, вспоминая Рейн и швейцарские озера, на которых был летом в прошлом году, и думая о том, как вульгарны все провинциальные русские места загородных развлечений, в частности и приволжские. Вы бывали в приволжских городах и в подобных трактирах на воде, на сваях?

Я ответил, что Волгу знаю мало, на поплавах там не бывал, но легко представляю себе их.

– Ну, конечно, – сказал он. – Русская провинция везде довольно одинакова. Одно только там ни на что не похоже – сама Волга. С ранней весны и до зимы она всегда и всюду необыкновенна, во всякую погоду, и что днем, что ночью. Ночью сидишь, например, в таком трактире, смотришь в окна, из которых состоят три его стены, а когда в летнюю ночь они все открыты на воздух, смотришь прямо в темноту, в черноту ночи, и как-то особенно чувствуешь все это дикое величие водных пространств за ними: видишь тысячи рассыпанных разноцветных огней, слышишь плеск идущих мимо плотов, переключку мужицких голосов на них или на баржах, на белянах, предостерегающие друг друга крики, разнотонную музыку то гулких, то низких пароводных гудков и сливающиеся с ними терции каких-нибудь шибко бегущих речных паровичков, вспоминаешь все эти разбойничьи и татарские слова – Балахна, Васильсурск, Чебоксары, Жигули, Батраки, Хвалынский – и страшные орды грузчиков на их пристанях, потом всю несравненную красоту старых волжских церквей – и только головой качаешь: до чего в самом деле ни с чем не сравнима эта самая наша Русь! А посмотришь вокруг – что это, собственно, такое, этот трактир? Свайная постройка, бревенчатый сарай с окнами в топорных рамах, уставленный столами под белыми, но нечистыми скатертями с тяжелыми дешевыми приборами, где в солонках соль перемешана с перцем и салфетки пахнут серым мылом, дощатый помост, то есть балаганная эстрада для балалаечников, гармонистов и арфянок, освещенная по задней стене керосиновыми лампочками с ослепительными жестяными рефлекторами, желтоволосые половые, хозяин из мужиков с толстыми волосами, с медвежьими глазками – и как соединить все это с тем, что тут то и дело выпивается за ночь на тысячу рублей мумму и редерсру! Все это, знаете, тоже Русь... Но не надоел ли я вам?

– Помилуйте! – сказал я,

– Ну так позвольте кончить. Я все это клоню к тому, в каком похабном месте вдруг опять встретил я ее во всей ее чистой, благородной прелести и с каким спутником! К полночи трактир

стал оживать и наполняться: зажгли под потолком огромную и страшно жаркую лампу, лампы по стенам, лампочки на стене за помостом, вышел целый полк половых, повалила толпа гостей: конечно, купеческие сынки, чиновники, подрядчики, пароходные капитаны, труппа актеров, гастролировавших в городе... половые, развратно изгибаясь, забегали с подносами, в компаниях за столами пошел галдеж, хохот, поплыл табачный дым, на помост вышли и в два ряда сели по его бокам балалаечники в оперно-крестьянских рубашках, в чистеньких онучах и новеньких лаптях, за ними вышел и фронтом стал хор нарумяненных и набеленных блядчонок, одинаково заложивших руки за спину и резкими голосами, с ничего не выражающими лицами подхвативших под зазвеневшие балалайки жалостную, протяжную песню про какого-то несчастного «воина», будто бы вернувшегося из долгого турецкого плена: "Ивво рад-нии-и ни узнали-и, спроси-и-ли воин-а, кто ты-ты..." Потом вышел с огромной гармоньей в руках какой-то "знаменитый Иван Грачев", сел на стул у самого края помоста и тряхнул густыми, хамски разобранными на прямой ряд белобрысыми волосами: морда полотера, желтая косоворотка, расшитая по высокому вороту и подолу красным шелком, жгут красного пояса с длинно висящими махрами, новые сапоги с лакированными голенищами... Тряхнул волосами, уложил на поднятое колено гармонию-трехрядку в черных с золотом мехах, устремил оловянные глаза куда-то вверх, сделал заливчатский перебор на ладах – и зарычал, запел ими, ломая, извивая и растягивая меха толстой змеей, перебирая по ладам с удивительнейшими выкрутасами, да все громче, решительнее и разнообразнее, потом вскинул морду, закрыл глаза и залился женским голосом: "Я вечор в лужках гуляла, грусть хотела разогнать..." Вот в эту-то самую минуту и увидел я ее, и, конечно, не одну: как раз в то время встал, чтобы позвать полового в заплатить за пиво, да и так и ахнул: отворилась снаружи дверь за помостом, и появилась она, в каком-то картузике цвета хаки, в непромокаемом пальто того же цвета с поясом, – правда, хороша она была во всем этом удивительно, похожа на высокого мальчика, – а за нею, держа ее за локоть, некто небольшого роста, в поддевке и в дворянском картузе, темноликий и уже морщинистый, с черными беспокойными глазами. И, понимаете, я, что называется, света Божьего невзвидел! Я узнал в нем одного моего знакомого, промотавшегося помещика, пьяницу, развратника, бывшего гусарского поручика, выгнанного из полка, и, ничего не соображая, не думая, кинулся вперед между столами так стремительно, что настиг его и ее почти при входе, – Иван Грачев еще кричал: "Я цветочек там искала, чтобы милому послать..." Когда я подбежал к ним, он, взглянув на меня, успел весело крикнуть: "А, доктор, здравствуйте", в то время как она побледнела до гробовой синевы, но я оттолкнул его и бешено зашептал ей: "Вы, в этом кабаке! В полночь, с развратным пьяницей, шулером, известным всему уезду и городу!" Я схватил ее за руку, грозя изувечить его, если она сию же минуту не выйдет со мной отсюда вон. Он оцепенел – что ж он мог, зная, что я могу вот этими руками подковы ломать! Она повернулась и, наклонив голову, пошла к выходу. Я догнал ее под первым фонарем на булыжной набережной, взял под руку, – она не подняла головы, не освободила руку. За вторым фонарем, возле скамьи, она остановилась и, уткнувшись в меня, задрожала от слез. Я посадил ее на скамью, одной рукой держа ее мокрую от слез, милую, тонкую девичью руку, другой обнимая за плечо. Она несвязно выговаривала: "Нет, неправда, неправда, он хороший... он несчастный, но он добрый, великодушный, беззаботный..." Я молчал, – возражать было бесполезно. Потом кликнул проезжавшего мимо извозчика. Она стихла, и мы в молчании поднялись в город. На площади она тихо сказала: "Теперь пустите меня, я дойду пешком, я не хочу, чтобы вы знали, где я живу", – и, вдруг поцеловав мне руку, соскочила и, не оглядываясь, неловко пошла вкось по площади... Больше я никогда не видел ее и так и не знаю до сих пор, кто она, что она...

Когда мы расплатились, оделись внизу и вышли, доктор дошел со мной до угла Арбата, и мы приостановились, чтобы проститься. Было пусто и тихо – до нового оживления к полночи, до разъезда из театров и ужинов по ресторанам, в городе и за городом. Небо было черно, чисто блестя фонари под молодой, нарядной зеленью на Пречистенском бульваре, мягко пахло весенним дождем, помочившим мостовые, пока мы сидели в «Праге».

– А знаете, – сказал доктор, поглядев кругом, – я жалел потом, что, так сказать, спас ее. Были со мной и другие случаи в этом роде... А зачем, позвольте спросить, я вмешивался! Не все ли равно, чем и как счастлив человек! Последствия? Да ведь все равно они всегда существуют: ведь ото всего остаются в душе жестокие следы, то есть воспоминания, которые особенно жестоки, мучительны, если вспоминается что-нибудь счастливое... Ну, до свидания, очень рад был встретиться с вами...

27 октября 1943

Кума

Дачи в сосновых лесах под Москвой. Мелкое озеро, купальни возле топких берегов.

Одна из самых дорогих дач недалеко от озера: дом в шведском стиле, прекрасные старые сосны и яркие цветники перед обширной террасой.

Хозяйка весь день в легком нарядном матинэ с кружевами, сияющая тридцатилетней купеческой красотой и спокойным довольством летней жизни. Муж уезжает в контору в Москву в девять утра, возвращается в шесть вечера, сильный, усталый, голодный, и тотчас идет купаться перед обедом, с облегчением раздевается в нагретой за день купальне и пахнет здоровым потом, крепким простонародным телом...

Вечер в конце июня. Со стола на террасе еще не убран самовар. Хозяйка чистит на варенье ягоды. Друг мужа, приехавший на дачу в гости на несколько дней, курит и смотрит на ее обнаженные до локтей холеные круглые руки. (Знаток и собиратель древних русских икон, изящный и сухой сложением человек с небольшими подстриженными усами, с живым взглядом, одетый как для тенниса.) Смотрит и говорит:

– Кума, можно поцеловать руку? Не могу спокойно смотреть.

Руки в соку, – подставляет блестящий локоть.

Чуть коснувшись его губами, говорит с запинкой:

– Кума...

– Что, кум?

– Знаете, какая история: у одного человека сердце ушло из рук и он сказал уму: прощай!

– Как это сердце ушло из рук?

– Это из Саади, кума. Был такой персидский поэт.

– Знаю. Но что значит сердце ушло из рук?

– А это значит, что человек влюбился. Вот как я ч вас.

– Похоже, что и вы сказали уму: прощай.

– Да, кума, сказал.

Улыбается рассеянно, будто занятая только своим делом:

– С чем вас и поздравляю.

– Я серьезно.

– На здоровье.

– Это не здоровье, кума, а очень тяжелая болезнь.

– Бедный. Надо лечиться. И давно это с вами?

– Давно, кума. Знаете, с каких пор? С того дня, когда мы с вами ни с того ни с сего крестили у Савельевых, – не понимаю, какая нелегкая дернула их позвать крестить именно нас с вами... Помните, какая метель была в тот день, и как вы приехали вся в снегу, возбужденная быстрой ездой и метелью, как я сам снял с вас соболью шубку, и вы вошли в залу в скромном белом шелковом платье с жемчужным крестиком на слегка открытой груди, а потом держали ребенка на руках с завернутыми рукавчиками, стояли со мной у купели, глядя на меня с какой-то смущенной полуулыбкой... Тут-то и началось между нами что-то тайное, какая-то греховная близость, наше как бы уже родство и оттого особенное вожделение.

– Parlez pour vous...¹⁹

– А потом мы рядом сидели за завтраком, и я не понимал – то ли это от гиацинтов на столе так чудесно, молодо, свежо пахнет или от вас... Вот с тех пор я и заболел. И вылечить меня можете только вы.

Посмотрела исподлобья:

– Да, я этот день хорошо помню. А что до леченья, то жаль, что Дмитрий Николаевич нынче ночует в Москве, – он бы вам тотчас посоветовал настоящего доктора.

– А почему он ночует в Москве?

– Сказал утром, уходя на станцию, что нынче у них заседание пайщиков, перед разездом.

¹⁹ Говорите за себя... (франц.)

Все разъезжаются – кто в Кисловодск, кто за границу.

– Но он мог бы с двенадцатичасовым вернуться.

– А прощальное пьянство после заседания в «Мавритании»?

За обедом он грустно молчал, неожиданно пошутил:

– А не закатиться ли и мне в «Мавританию» с десятичасовым, вдребезги напиться там, выпить на брудершафт с метрдетелем?

Она посмотрела длительно:

– Закатиться и меня одну оставить в пустом доме? Так-то вы помните гиацинты!

И тихо, будто задумавшись, положила ладонь на его лежавшую на столе руку...

Во втором часу ночи, в одном шлафроке, он прокрался из ее спальни по темному, тихому дому, под четкий стук часов в столовой, в свою комнату, в сумраке которой светился в открытые на садовый балкон окна дальний неживой свет всю ночь не гаснущей зари и пахло ночной лесной свежестью. Блаженно повалился навзничь на постель, нашарил на ночном столике спички и портсигар, жадно закурил и закрыл глаза, вспоминая подробности своего неожиданного счастья.

Утром в окна тянуло сыростью тихого дождя, по балкону ровно стучали его капли. Он открыл глаза, с наслаждением почувствовал сладкую простоту будничной жизни, подумал: "Нынче уеду в Москву, а послезавтра в Тироль или на озеро Гарда", – и опять заснул.

Выйдя к завтраку, почтительно поцеловал ее руку и скромно сел за стол, развернул салфетку...

– Не взыщите, – сказала она, стараясь быть как можно проще, – только холодная курица и простокваша. Саша, принесите красного вина, вы опять забыли...

Потом, не поднимая глаз:

– Пожалуйста, уезжайте нынче же. Скажите Дмитрию Николаевичу, что вам тоже страшно захотелось в Кисловодск. Я приеду туда недели через две, а ею отправлю в Крым к родителям, там у них чудная дача в Мисхоре... – Спасибо, Саша. Вы простокваши не любите, – хотите сыру? Саша, принесите, пожалуйста, сыр...

– "Вы любите ли сыр, спросили раз ханжу", – сказал он, неловко смеясь. – Кума...

– Хороша кума!

Он взял через стол и сжал ее руку, тихо говоря:

– Правда приедете?

Она ответила ровным голосом, глядя на него с легкой усмешкой:

– А как ты думаешь? Обману?

– Как мне благодарить тебя!

И тотчас подумал: "А там я ее, в этих лакированных сапожках, в амазонке и в котелке, вероятно, тотчас же люто возненавижу!"

25 сентября 1943

Начало

– А я, господа, в первый раз влюбился, или, вернее, потерял невинность, лет двенадцати. Был я тогда гимназистом и ехал из города домой, в деревню, на рождественские каникулы, в один из тех теплых серых дней, что так часто бывают на Святках. Поезд шел среди сосновых лесов в глубоких снегах, я был детски счастлив и спокоен, чувствуя этот мягкий зимний день, эти снега и сосны, мечтая о лыжах, ожидавших меня дома, и совсем один сидел в жарко натопленном первом классе старинного вагона-микст, состоявшего всего из двух отделений, то есть из четырех красных бархатных диванов с высокими спинками, – от этого бархата было как будто еще жарче и душнее, – и четырех таких же бархатных диванчиков возле окон с другой стороны, с проходом между ними и диванами. Там беззаботно, мирно и одиноко провел я больше часа. Но на второй от города станции отворилась дверь из сеней вагона, отраднo запахло зимним воздухом, вошел носильщик с двумя чемоданами в чехлах и с портпледом из шотландской материи, за ним очень бледная черноглазая молодая дама в черном атласном капоре и в каракулевой шубке, а за дамой рослый барин с желтыми совиными глазами, в оленьей шапке с поднятыми наушниками, в поярковых валенках выше колен и в блестящей оленьей дохе. Я, как воспитанный мальчик, тотчас, конечно, встал и с большого дивана возле двери в сенцы пересел во второе отделение, но не на другой диван, а на диванчик возле окна, лицом к первому отделению, чтобы иметь

возможность наблюдать за вошедшими: ведь дети так же внимательны и любопытны к новым лицам, как собаки к незнакомым собакам. И вот тут-то, на этом диване и погибла моя невинность. Когда носильщик поклатил вещи в сетку над диваном, на котором я только что сидел, сказал барину, сунувшему в руку ему бумажный рубль, "счастливого пути, ваше сиятельство!" и уже на ходу поезда выбежал из вагона, дама тотчас легла навзничь на диван под сеткой, затылком на его бархатный валик, а барин неловко, не привычными ни к какому делу руками, стащил с сетки портплед на противоположный диван, выдернул из него белую подушечку и, не глядя, подал ей. Она тихо сказала: "Благодарствуй, мой друг", – и, подсунув ее под голову, закрыла глаза, он же, сбросив доху на портплед, стал у окна между диванчиками своего отделения и закурил толстую папиросу, густо распространив в духоте вагона ее ароматический запах. Он стоял во весь свой мощный рост, с торчащими вверх наушниками оленьей шапки, и, казалось, не спускал глаз с бегущих назад сосен, а я сперва не спускал глаз с него и чувствовал только одно – ужасную ненависть к нему за то, что он совершенно не заметил моего присутствия, ни разу даже не взглянул на меня, точно я и не был в вагоне, а в силу этого и за все прочее: за его барское спокойствие, за княжески-мужицкую величину, хищные круглые глаза, небрежно запущенные каштановые усы и бороду и даже за плотный и просторный коричневый костюм, за легкие бархатистые валенки, натянутые выше колен. Но не прошло и минуты, как я уже забыл о нем: я вдруг вспомнил ту мертвенную, но прекрасную бледность, которой несознательно поражен был при входе дамы, лежавшей теперь навзничь на диване против меня, перевел взгляд на нее – и уже ничего более, кроме нее, ее лица и тела, не видел до следующей станции, где мне надо было сходить. Она вздохнула и легла поудобнее, пониже, распахнула, не открывая глаз, шубку на фланелевом платье, скинула нога об ногу на пол теплые ботики с открытых замшевых ботинок, сняла с головы и уронила возле себя атласный капор, – черные волосы ее оказались, к моему великому удивлению, по-мальчишески коротко стриженными, – потом справа и слева отстегнула что-то от шелковых серых чулок, поднимая платье до голого тела между ним и чулками, и, оправив подол, задремала: гелиотроповые, но женски-молодые губы с темным пушком над ними слегка приоткрылись, бледное до прозрачной белизны лицо с очень явными на нем черными бровями и ресницами потеряло всякое выражение... Сон женщины, желанной вам, все ваше существо влекущей к себе, – вы знаете, что это такое! И вот я в первый раз в жизни увидел и почувствовал его, – до того я видел только сон сестры, матери, – и все глядел, глядел остановившимися глазами, с пересохшим ртом на эту мальчишески-женскую черную голову, на неподвижное лицо, на чистой белизне которого так дивно выделялись тонкие черные брови и черные сомкнутые ресницы, на темный пушок над полураскрытыми губами, совершенно мучительными в своей, притягательности, уже постигал и поглощал все то непередаваемое, что есть в лежащем женском теле, в полноте бедер и тонкости щиколок, и с страшной яркостью все еще видел мысленно тот ни с чем не сравнимый женский, нежный телесный цвет, который она нечаянно показала мне, что-то отстегивая от чулок под фланелевым платьем. Когда неожиданно привел меня в себя толчок остановившегося перед нашей станцией поезда, я вышел из вагона на сладкий зимний воздух, шатаюсь. За деревянным вокзалом стояли троечные сани, запряженные серой парой, гремевшей бубенцами; с енотовой шубой в руках ждал возле саней наш старый кучер, неприветливо сказавший мне:

– Мамаша приказали непременно надеть...

И я покорно влез в эту пахучую мехом и зимней свежестью дедовскую шубу с огромным уже желтым и длинноостистым воротом, утонул в мягких и просторных санях и под глухое, полное бормотанье бубенцов закачался по глубокой и беззвучной снежной дороге в сосновой просеке, закрывая глаза и все еще млея от только что пережитого, смутно и горестно-сладко думая только о нем, а не о том прежнем, милом, что ждало меня дома вместе с лыжами и волчонком, взятым на охоте в августе в логове убитой волчицы и теперь сидевшим у нас в яме в саду, из которой еще осенью, когда я приезжал домой на два дня на Покров, уже так дико и чудесно воняло зверем.

23 октября 1943

"Дубки"

Шел мне тогда, друзья мои, всего двадцать третий год, – дело, как видите, давнее, еще дней

блаженной памяти Николая Павловича, – только что произведен я был в чин гвардейского корнета, уволен зимой в том Для меня достопамятном году в двухнедельный отпуск в свою рязанскую вотчину, где, по кончине родителя, одиноко жила моя матушка, и, приехав, вскорости жестоко влюбился: заглянул однажды в давно пустовавшую дедовскую усадьбу при некоем сельце Петровском, по соседству нашей, да и стал под всякими предложениями заглядывать туда все чаще и чаще. Дика и поныне русская деревня, зимой пуше всего, а что ж было в мои времена! Таково дико было и Петровское с этой пустовавшей усадьбой на его окраине, называвшейся «Дубки», ибо при въезде в нее росло несколько дубов, в мою пору уже древних, могучих. Под теми дубами стояла старая грубая изба, за избой разрушенные временем службы, еще дальше пустыри вырубленного сада, занесенного снегами, и развалина барского дома с темными провалами окон без рам. И вот в этой-то избе под дубами и сживал я чуть не каждый день, болтая всякий будто бы хозяйственный вздор жившему в ней нашему старосте Лавру, даже низко ища его дружества и тайком бросая горестные взоры на его молчаливую жену Анфису, схожую скорее с испанкой, чем с простою русскою дворовой, бывшую чуть не вдвое моложе Лавра, рослого мужика с кирпичным лицом в темно-красной бороде, из которого легко мог бы выйти атаман шайки муромских разбойников. С утра я без разбору читал что попадет под руку, брэнчал на фортепьяно, подпевая с томлением: "Когда, душа, просилась ты погибнуть иль любить", – а пообедав, уезжал до вечера в «Дубки», невзирая на жгучие ветры и вьюги, неустанно летевшие к нам из саратовских степей. Так прошли Святки и приблизился срок моего возвращения к должности, о чем я и осведомил однажды с притворной непринужденностью Лавра и Анфису. Лавр резонно заметил на то, что служба царская, вестимо, первое всего, и тут за чем-то вышел из избы, Анфиса же, сидевшая с шитьем в руках, опустила вдруг шитье на колени, посмотрела вслед мужу своими кастильскими очами и, лишь только захлопнулась дверь за ним, стремительно-страстно блеснула ими в меня и сказала горячим шепотом:

– Барин, завтра он уедет с ночевкой в город, приезжайте ко мне скоротать вечерок на прощанье. Таилась я, а теперь скажу: горько мне будет расставаться с вами!

Я, конечно, был сражен таковым признанием и только успел головой кивнуть в знак согласия – Лавр воротился в избу.

После того я, как понимаете, не чаял в неизъяснимом нетерпении и дожить до завтрашнего вечера, не знал, что с собой делать, думая только одно: пренебрегу всем своим карьером, брошу полк, останусь навеки в деревне, соединю судьбу свою с нею по смерти Лавра – и прочее подобное... "Ведь он уже стар, – думал я, невзирая на то, что Лавру еще и пятидесяти не было, – он должен скоро умереть..." Наконец прошла ночь, – я до самого утра то трубку курил, то ром пил, нимало не пьянея, все разгораясь в своих безрассудных мечтах, – прошел и короткий зимний день, стало темнеть, а на дворе – прежестокий буран. Как тут уехать из дому, что сказать матушке? Теряюсь, не знаю, как быть, как вдруг простая мысль: да съезжу тайком, вот и вся недолга! Сказался недомоганием, не буду, мол, ужинать, пойду в постель, а как только матушка откушала и удалилась к себе, – наступила уже ранняя зимняя ночь, – с великою поспешностью оделся, побежал в избу к конюхам, приказал запретить легонькие санки и был таков. На дворе зги не видно в белой метельной тьме, но дорога лошади знакомая, пустил ее наугад, и не прошло и полчаса, как зачернели в этой тьме гудящие дубы над заветной избой, засветилось сквозь снег ее окошко. Привязал я лошадь к дубу, бросил на нее попону – и, вне себя, через сугроб, в темные сенцы! Нашарил дверь избы, шагнул за порог, а она уж наряжена, набелена, нарумянена, сидит в блеске и красном дыму лучины на лавке близ стола, уставленного по белой скатерти угощением, во все глаза ждет меня. Все маячит, дрожит в этом блеске, в дыму, но глаза и сквозь них видны – столь они широки и пристальны! Лучина в светце на припечном столбе, над лоханью с водой, трещит, слепит быстрым багровым пламенем, роняет огненные искры, шипящие в воде, на столе тарелки с орехами и мятными жамками, штоф с наливкою, два стаканчика, а она, близ стола, спиной к белому от снега окошку, сидит в шелковом лиловом сарафане, в миткалевой сорочке с распашными рукавами, в коралловом ожерелье – смоляная головка, сделавшая бы честь любой светской красавице, гладко причесана на прямой пробор, в ушах висят серебряные серьги... Увидав меня, вскочила, мигом скинула с меня оснеженную шапку, лисью поддевку, толкнула к лавке, – все как в исступлении, вопреки всем моим прежним мыслям о ее гордой неприступности, – бросилась на колени ко мне, обняла, прижимая к моему лицу свои жаркие ланиты...

– Что ж ты таилась, – говорю, – дождалась до разлуки нашей!

Отвечает отчаянно:

– Ах, что ж я могла! Сердце заходило, как ты приезжал, видела твое мучение, да я крепка, не выдавала себя! Да и где могла открыться тебе? Ведь ни минуты не была глаз на глаз с тобой, а при нем даже взглядом не откроешься, зорек, как орел, заметит что – убьет, рука не дрогнет!

И опять обнимает, жмет мою робкую руку, кладет на колени себе... Чувствую ее тело на своих ногах сквозь легкий сарафан и уж не владею собой, как вдруг она вся чутко и дико выпрямляется, вскакивает, глядя на меня глазами Пифии:

– Слышишь?

Слушаю – и ничего не слышу, кроме шума снега за стеной: что, мол, такое?

– Подъехал кто-то! Лошадь заржала! Он!

И, забежав и сев за стол, преодолевая тяжелое дыхание, громко говорит простым голосом, наливая дрожащей рукой из штофа:

– Выкушайте, сударь, наливочки. Поедете – озябнете...

Вот тут он и взошел, весь косматый от снега, в бараньем треухе и тулупе, глянул, молвил: "Здравствуйте, сударь", – усердно положил тулуп на хоры, снял, отряхнул треух и, вытирая полую полушубка мокрое лицо и бороду, не спеша заговорил:

– Ну и погодка! Добился кое-как до Больших Дворов, – нет, думаю, пропадешь, не доедешь, – въехал на заезжий двор, поставил кобылу под навес в затишье, задал корму, а сам в избу, за щи, – попал как раз в обед, – да так и просидел почесть до вечера. А потом думаю – э, была не была, поеду-ка я домой, авось Бог донесет, – не до города, не до дел в этакую страсть! Вот и доехал, слава Богу...

Мы молчим, сидим в оцепенении, в ужаснейшем замешательстве, понимаем, что он сразу понял все, она не подымает ресниц, я изредка на него взглядываю... Признаюсь, живописен он был! Велик, плечист, туго подпоясан зеленой подпояской по короткому полушубку с цветными татарскими разводами, крепко обут в казанские валенки, кирпичное лицо горит с ветру, борода блестит тающим снегом, глаза – грозным умом... Подойдя к светцу, запалил новую лучину, потом сел за стол, взял штоф толстыми пальцами, налил, выпил до дна и говорит в сторону:

– Уж и не знаю, сударь, как вы теперь доедете. А ехать вам давно пора, лошадь вашу всю снегом занесло, вся согнулась стоит... Уж не гневайтесь, что не выйду провожать – больно намаялся за день, да и жену весь день не видал, а есть у меня о чем с ней побеседовать...

Я, без слова в ответ, поднялся, оделся и вышел...

А наутро, чем свет, верховой из Петровского: ночью Лавр удавил жену своей зеленой подпояской на железном крюку в дверной притолке, а утром пошел в Петровское, заявил мужикам:

– У меня, соседи, горе. Жена удавилась – видно, с расстройства ума. Проснулся на рассвете, а она висит уж вся синяя с лица, голова на грудь свалилась. Нарядилась зачем-то, нарумянилась – и висит, малость не достает до полу... Присвидетельствуйте, православные.

Те посмотрели на него и говорят:

– Ишь ты, что с собою наделала! А что ж это у тебя, староста, вся борода клоками вырвана, все лицо сверху донизу когтями изрезано, глаз кровью течет? Вяжи его, ребята!

Был он бит плетьюми и отправлен в Сибирь, в рудники.

30 октября 1943

"Мадрид"

Поздним вечером шел в месячном свете вверх по Тверскому бульвару, а она навстречу: идет гуляющим шагом, держит руки в маленькой муфте и, поводя каракулевой шапочкой, наде той слегка набекрень, что-то напевает. Подойдя, приостановилась:

– Не хотите ли разделить компанию?

Он посмотрел: небольшая, курносенькая, немножко широкоскулая, глаза в ночном полусвете блестят, улыбка милая, несмелая, голосок в тишине, в морозном воздухе чистый...

– Отчего же нет? С удовольствием.

– А вы сколько дадите?

– Рубль за любовь, рубль на булавки.

Она подумала.

– А вы далеко живете? Недалеко, так пойду, после вас еще успею походить.

– Два шага. Тут, на Тверской, номера «Мадрид».

– А, знаю! Я там раз пять была. Меня туда один шулер водил. Еврей, а ужасно добрый.

– Я тоже добрый.

– Я так и подумала. Вы симпатичный, сразу мне понравились...

– Тогда, значит, пошли.

По дороге, все поглядывая на нес, – на редкость милая девчонка! – стал расспрашивать:

– Что ж ты это одна?

– Я не одна, мы всегда втроем выходим: я, Мур и Анеля. Мы и живем вместе. Только нынче суббота, их приказчики взяли. А меня никто за весь вечер не взял. Меня не очень берут, любят больше полных или уж чтобы как Анеля. Она хоть худая, а высокая, дерзкая. Пьет – страсть и по-цыгански умеет петь. Она и Мур мужчин терпеть не могут, влюблены друг в друга ужас как, живут как муж с женой...

– Так, так... Мур... А тебя как зовут? Только не ври, не выдумывай.

– Меня Нина.

– Вот и врешь. Скажи правду.

– Ну, вам скажу, Поля.

– Гуляешь, должно быть, недавно?

– Нет, уж давно, с самой весны. Да что все расспрашивать! Дайте лучше папиросочку. У вас, верно, очень хорошие, ишь какой на вас клош и шляпа!

– Дам, когда придем. На морозе вредно курить.

– Ну, как хотите, а мы всегда на морозе курим, и ничего. Вот Анели вредно, у ней чахотка... А отчего вы бритый? Он тоже был бритый...

– Это ты все про шулера? Однако запомнился он тебе!

– Я его до сих пор помню. У него тоже чахотка, а курит ужас как. Глаза горят, губы сухие, грудь провалилась, щеки провалились, темные...

– А кисти волосатые, страшные...

– Правда, правда! Ай вы его знаете?

– Ну вот, откуда же я могу его знать!

– Потом он в Киев уехал. Я его на Брянский вокзал ходила провожать, а он и не знал, что приду. Пришла, а поезд уж пошел. Побежала за вагонами, а он как раз из окошка высунулся, увидел меня, замахал рукой, стал кричать, что скоро опять приедет и киевского сухого варенья мне привезет.

– И не приехал?

– Нет, его, верно, поймали.

– А откуда же ты узнала, что он шулер?

– Он сам сказал. Напился портвейну, стал грустный и сказал. Я, говорит, шулер, все равно, что вор, да что же делать, волка ноги кормят... А вы, может, актер?

– Вроде этого. Ну, пришли...

За входной дверью горела над конторкой маленькая лампочка, никого не было. На доске на стене висели ключи от номеров. Когда он снял свой, она зашептала:

– Как же это вы оставляете? Обворуют!

Он посмотрел на нее, все больше веселя:

– Обворуют – в Сибирь пойдут. Но что за прелесть мордашка у тебя!

Она смутилась:

– Все смеетесь... Пойдемте за ради Бога скорей, ведь все-таки это не дозволяется водить к себе так поздно...

– Ничего, не бойся, я тебя под кровать спрячу. Сколько тебе лет? Восемнадцать?

– Чудной вы! Все знаете! Восемнадцатый.

Поднялись по крутой лестнице, по истертому коврику, повернули в узкий, слабо освещенный, очень душный коридор, он остановился, всовывая ключ в дверь, она поднялась на цыпочки и посмотрела, какой номер:

– Пятый! А он стоял в пятнадцатом в третьем этаже...

– Если ты мне про него еще хоть слово скажешь, я тебя убью.

Губы у нее сморщились довольной улыбкой, она, слегка покачиваясь, вошла в прихожую

освещенного номера, на ходу расстегивая пальтецо с каракулевым воротничком:

- А вы ушли и забыли свет погасить...
- Не беда. Где у тебя носовой платочек?
- На что вам?
- Раскраснелась, а все-таки нос озяб...

Она поняла, поспешно вынула из муфты комочек платка, утерлась. Он поцеловал ее холодную щечку и потрепал по спине. Она сняла шапочку, тряхнула волосами и стоя стала стягивать с ноги ботик. Ботик не поддавался, она, сделав усилие, чуть не упала, схватилась за его плечо и звонко засмеялась:

- Ой, чуть не полетела!

Он снял пальтецо с ее черного платья, пахнущего материей и теплым телом, легонько толкнул ее в номер, к дивану:

- Сядь и давай ногу.
- Да нет, я сама...
- Сядь, тебе говорят.

Она села и протянула правую ногу. Он встал на одно колено, ногу положил на другое, она стыдливо одернула подол на черный чулок:

- Вот какой вы, ей-Богу! Они, правда, у меня страсть тесные...
- Молчи.

И, быстро стащив ботики один за другим вместе с туфлями, откинул подол с ноги, крепко поцеловал в голое тело выше колена и встал с красным лицом:

- Ну, скорей... Не могу...

– Что не можете? – спросила она, стоя на ковре маленькими ногами в одних чулках, трогательно уменьшившись в росте.

- Совсем дурочка! Ждать не могу, – поняла?
- Раздеваться?
- Нет, одеваться!

И, отвернувшись, подошел к окну и торопливо закурил. За двойными стеклами, снизу замерзшими, бледно светили в месячном свете фонари, слышно было, как, гремя, неслись мимо, вверх по Тверской, бубенцы на «голубках»... Через минуту она окликнула его:

- Я уж лежу.

Он потушил свет и, как попало раздевшись, лег к ней под одеяло. Она, вся дрожа, прижалась к нему и зашептала с мелким, счастливым смехом:

- Только за ради Бога не дуйте мне в шею, на весь дом закричу, страсть боюсь щекотки...

С час после того она крепко спала. Лежа рядом с ней, он глядел в полутьму, смешанную с мутным светом с улицы, думая с неразрешающимся недоумением: как это может быть, что она под утро куда-то уйдет? Куда? Живет с какими-то стервами над какой-нибудь прачечной, каждый вечер выходит с ними как на службу, чтобы заработать под каким-нибудь скотом два целковых – и какая детская беспечность, простосердечная идиотичность! Я, мне кажется, тоже "на весь дом закричу", когда она завтра соберется уходить...

- Поля, – сказал он, садясь и трогая ее за голое плечо.

Она испуганно очнулась:

- Ох, батюшки! Извините, пожалуйста, совсем нечаянно заснула... Я сейчас, сейчас...
- Что сейчас?
- Сейчас встану, оденусь...
- Да нет, давай ужинать. Никуда я тебя не пушу до утра.
- Что вы, что вы! А полиция?
- Глупости. А мадера у меня ничуть не хуже портвейна твоего шулера.
- Что ж вы мне все попрекаете им?

Он внезапно зажег свет, резко ударивший ей в глаза, она сунула голову в подушку. Он сдернул с нее одеяло, стал целовать в затылок, она радостно забила ногами:

- Ой, не щекотите!

Он принес с подоконника бумажный мешочек с яблоками и бутылку крымской мадеры, взял с умывальника два стакана, сел опять на постель и сказал:

- Вот, ешь и пей. А то убью.

Она крепко надкусила яблоко и стала есть, запивая мадерой и рассудительно говоря:

– А что ж вы думаете? Может, кто и убьет. Наше дело такое. Идешь неизвестно куда, неизвестно с кем, а он либо пьяный, либо полоумный, кинется и задушит, либо зарежет... А до чего у вас теплый номер! Сидишь вся голая и все тепло. Это мадера? Вот люблю! Куда ж сравнить с портвейном, он завсегда пробкой пахнет.

– Ну, не завсегда.

– Нет, ей-Богу, пахнет, хоть два рубля за бутылку заплати, одна честь.

– Ну, давай еще налью. Давай чокнемся, выпьем и поцелуемся. До дна, до дна.

Она выпила, и так поспешно, что задохнулась, закашлялась и, смеясь, упала головой к нему на грудь. Он поднял ей голову и поцеловал в мокрые, деликатно сжатые губки.

– А меня придешь провожать на вокзал?

Она удивленно раскрыла рот:

– Вы тоже уедете? Куда? Когда?

– В Петербург. Да это еще не скоро.

– Ну, слава Богу! Я теперь только к вам буду ходить. Вы хотите?

– Хочу. Только ко мне одному. Слышишь?

– Ни за какие деньги ни к кому не пойду.

– Ну то-то же. А теперь – спать.

– Да мне нужно на минуточку...

– Вот тут, в тумбочке.

– Мне на виду стыдно. Погасите на минуточку огонь...

– И совсем погашу. Третий час...

В постели она легла ему на руку, опять вся прижавшись к нему, но уже тихо, ласково, а он стал говорить:

– Завтра мы с тобой будем вместе завтракать...

Она живо подняла голову:

– А где? Вот я раз была в «Тереме», это за Триумфальными воротами, дешево до того, прямо даром, а уж сколько дают – съесть нельзя!

– Ну, это мы посмотрим где. А потом ты пойдешь домой, чтобы твои стервы не подумали, что тебя убили, да и у меня дела есть, а к семи опять приходи ко мне, поедем обедать к Патрикеву, там тебе понравится – оркестрион, балалаечники...

– А потом в «Эльдорадо» – правда? Там сейчас идет чудная фильма «Мертвец-беглец».

– Великолепно. А теперь – спи.

– Сичас, сичас... Нет, Мур не стерва, она страсть несчастная. Я бы без нее пропала.

– Как это?

– Она папина сестра двоюродная...

– Ну?

– Папа мой был сцепщиком на товарной станции в Серпухове, ему там грудь раздавило буферами, а мама умерла, когда я была еще маленькой, я и осталась одна на всем свете и поехала к ней в Москву, а она, оказывается, давно уж не служит по номерам горничной, мне дали ее адрес в адресном столе, я приехала к ней с корзинкой на извозчике на Смоленский рынок, смотрю, а она с этой Анелей живет и вместе с ней ходит по вечерам на бульвары... Ну и оставила меня у себя, а потом уговорила тоже выходить...

– А говоришь, что ты без нее пропала бы.

– А куда ж бы я делась в Москве одна? Конечно, она меня погубила, да разве она мне зла желала! Ну да что об этом говорить. Может, Бог даст, место какое найду тоже в номерах, только уж место не брошу и уж никого к себе не подпущу, мне и чаевых будет довольно, да еще на всем готовом. Вот если бы тут, в вашем «Мадриде»! Чего бы лучше!

– Я об этом подумаю; может, и устрою тебе где-нибудь такое место.

– Я бы вам в ножки поклонилась!

– Чтоб вышла уж полная идиллия...

– Что?

– Нет, ничего, это я со сна... Спи.

– Сичас, сичас... Я что-й-то раздумалась...

26 апреля 1944

Второй кофейник

Она и натурщица его, и любовница, и хозяйка – живет с ним в его мастерской на Знаменке: желтоволосая, невысокая, но ладная, еще совсем молодая, миловидная, ласковая. Теперь он пишет ее по утрам «Купальщицей»: она, на маленьком помосте, как будто возле речки в лесу, не решаясь войти в воду, откуда должны глядеть глазастые лягушки, стоит вся голая, простонародно развитая телом, прикрывая рукой золотистые волосы внизу. Поработав с час, он отклоняется от мольберта, смотрит на полотно и так и этак, прищуриваясь, и рассеянно говорит:

– Ну, станция. Подогревай второй кофейник.

Она облегченно вздыхает и, топя босыми ногами по циновкам, бежит в угол мастерской, к газовой плитке. Он что-то соскребает с полотна тонким ножичком, плитка шумит, кисло пахнет своими зелеными рожками и душисто кофею, а она беззаботно запекает на всю мастерскую звонким голосом:

Начинала ту-учка, ту-учка золота-ая...

На груди-и утеса велика-ана...

И, повернув голову, радостно говорит:

– Это мне художник Ярцев выучил. Вы его знали?

– Знал немного. Долговязый такой?

– Он самый.

– Даровитый малый был, но дубина порядочная. Он ведь, кажется, помер?

– Помер, помер. Спился. Нет, он добрый был. Я с ним год жила, вот как с вами. Он и невинности меня лишил всего на втором сеансе. Вскочил вдруг от мольберта, бросил палитру с кистями и сбил мне с ног на ковер. Я испужалась до того, что и крикнуть не смогла. Вцепилась ему в грудь, в пинжак, да куда тебе! Глаза бешеные, веселые... Как ножом зарезал.

– Да, да, ты мне это уж рассказывала. Молодец. И ты все-таки любила его?

– Конечно, любила. Очень боялась. Надругался надо мной, выпимши, не приведи Господи. Я молчу, а он: "Катька, молчать!"

– Хорош!

– Пьяный. Кричит на всю студию: "Катька, молчать!" А я и так молчу. Потом как зальется, зальется: "Начивала тучка..." И сейчас же подхватит на иные слова: "Начивала сучка, сучка молодая" – это я-то, значит. Со смеху помрешь! И опять – трах ногой в пол: "Катька, молчать!"

– Хорош. Но постой, я забыл: ведь тебя какой-то твой дядя привез в Москву?

– Дядя, дядя. Осталась я сиротой по шашнадцатому году, а он мне и привез. Это уж к моему другому дяде в его извозничий трактир. Я там посуду мыла, белье хозяйское стирала, потом тетя вздумала в бордель меня продать. И продала бы, да Бог спас. Приехали раз под утро из «Стрельни» опохмеляться Шаляпин с Коровиным, увидели, как я тащила на стойку с Родькой-половым кипящий ведерный самовар, и давай кричать и хохотать: "С добрым утром, Катенька! Хотим, чтоб беспременно ты, а не этот сукин сын половой подавал нам!" Ведь как угадали, что меня Катей зовут! Дядя уж проснулся, вышел, зевает, насупился – она, говорит, не к этому делу приставлена, не может подавать. А Шаляпин как рявкнет: "В Сибири сгною, в кандалы закую – слушай мой приказ!" Тут дядя сразу испужался, я тоже насмерть испужалась, уперлась было, а дядя шипит: "Иди подавай, а то я потом шкуру с тебя спущу, это самый знаменитый люди во всей Москве". Я и пошла, а Коровин оглядел мне всю, дал десять рублей и велел к нему завтра притить, писать мне вздумал, дал свой адрес. Я пришла, а он уж раздумал писать и послал к доктору Голоушеву, он был страшный приятель со всеми художниками, пьяных и мертвых свидетельствовал при полиции и тоже немножко писал. Ну, он и пустил мне по рукам, не велел вворачаться в трактир, я так и осталась в одном платьишке.

– То есть как это пустил по рукам?

– А так. По мастерским. Сперва я позировала вся одетая, в желтом платочке, и все художникам, Кувшинниковой, сестре Чехова, – она, по правде сказать, совсем никуда была в нашем деле, дилитанка, – потом попала аж к самому Малявину: он мне посадил голую на ноги, на пятки, спиной к себе, с рубашкой над головой, будто я ее надеваю, и написал. Спина и зад вышли отлично, сильная лепка, только он испортил пятками и подошвами, совсем противно вывернул их под задом...

– Ну, Катька, молчать. Второй звонок. Давай кофейник.

– Ой, батюшки, заговорила! Даю, даю...

30 апреля 1944

Холодная осень

В июне того года он гостил у нас в имении – всегда считался у нас своим человеком: покойный отец его был другом и соседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в Сараеве Фердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отец вышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках в столовую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, и сказал:

– Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийский кронпринц. Это война!

На Петров день к нам съехалось много народу, – были именины отца, – и за обедом он был объявлен моим женихом. Но девятнадцатого июля Германия объявила России войну...

В сентябре он приехал к нам всего на сутки – проститься перед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончится скоро, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал наш прощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар, и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:

– Удивительно ранняя и холодная осень!

Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными словами, превеличленно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец и про осень. Я подошла к балконной двери и протерла стекло платком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках, старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек, – мы знали какой, – и это было и трогательно и жутко. Отец спросил:

– Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?

– Да, если позволите, утром, – ответил он. – Очень грустно, но я еще не совсем распорядился по дому.

Отец легонько вздохнул:

– Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам с мамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...

Мама встала и перекрестила своего будущего сына, он склонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы еще немного побыли в столовой, – я вздумала раскладывать пасьянс, – он молча ходил из угла в угол, потом спросил:

– Хочешь пройдемся немного?

На душе у меня делалось все тяжелее, я безразлично отозвалась:

– Хорошо...

Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!

Надень свою шаль и капот...

– Капота нет, – сказала я. – А как дальше?

– Не помню. Кажется, так:

Смотри – меж чернеющих сосен

Как будто пожар восстает...

– Какой пожар?

– Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняя прелесть в этих стихах. "Надень свою шаль и капот..." Времена наших дедушек и бабушек... Ах, Боже мой, Боже мой!

– Что ты?

– Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо. Я очень, очень люблю тебя...

Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад. Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанные минерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся к дому:

– Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окна дома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...

Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.

– Как блестят глаза, – сказал он. – Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразу забудешь меня?

Я подумала: "А вдруг правда убьют? и неужели я все-таки забуду его в какой-то срок – ведь все в конце концов забывается?" И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:

– Не говори так! Я не переживу твоей смерти!

Он, помолчав, медленно выговорил:

– Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.

Я горько заплакала...

Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что зашивала вечером, – в нем был золотой образок, который носили на войне ее отец и дед, – и мы все перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том оцепении, которое всегда бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная, что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...

Убили его – какое странное слово! – через месяц, в Галиции. И вот прошло с тех пор целых тридцать лет. И многое, многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной восемнадцатого года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной: "Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?" Я тоже занималась торговлей, продавала, как многие продавали тогда, солдатам в папахах и расстегнутых шинелях кое-что из оставшегося у меня, – то какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью, и вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой, прекрасной души, пожилого военного в отставке, за которого вскоре вышла замуж и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет семнадцати, тоже пробиравшимся к добровольцам, чуть не две недели, – я бабой, в лаптях, он в истертом казачьем зипуне, с отпущенной черной с проседью бородой, – и пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой, в ураган, отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию, и на пути, в море, муж мой умер в тифу. Близких у меня осталось после того на всем свете только трое: племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка, ребенок семи месяцев. Но и племянник с женой уплыли через некоторое время в Крым, к Врангелю, оставив ребенка на моих руках. Там они и пропали без вести. А я еще долго жила в Константинополе, зарабатывая на себя и на девочку очень тяжелым черным трудом. Потом, как многие, где только не скиталась я с ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца... Девочка давно выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлэн, холеными ручками с серебряными ноготками заворачивала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками; а я жила и все еще живу в Ницце чем Бог пошлет... Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году – и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!

Так и пережила я его смерть, опрометчиво сказав когда-то, что я не переживу ее. Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, – остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: где-то там он ждет меня – с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. "Ты поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне..." Я пожила, порадовалась, теперь уже скоро приду.

3 мая 1944

Пароход "Саратов"

В сумерки прошумел за окнами короткий майский дождь. Рябой денщик, пивший в кухне

при свете жестяной лампочки чай, посмотрел на часы, стучавшие на стене, встал и неловко, стараясь не скрипеть новыми сапогами, прошел в темный кабинет, подошел к оттоманке:

– Ваше благородие, десятый час...

Он испуганно открыл глаза:

– Что? Десятый? Не может быть...

Оба окна были открыты на улицу, глухую, всю в садах – в окна пахло свежестью весенней сырости и тополями. Он с той остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, почувствовал эти запахи и бодро сбросил с оттоманки ноги:

– Зажги огонь и ступай скорей за извозчиком. Найди какого порезвей...

И пошел переодеваться, мыться, облил голову холодной водой, смочил одеколоном и причесал короткие курчавые волосы, еще раз взглянул в зеркало: лицо было свежо, глаза блестели; с часу до шести он завтракал в большой офицерской компании, дома заснул тем мгновенным сном, каким засыпаешь после нескольких часов непрерывного питья, куренья, смеха и болтовни, однако чувствовал себя теперь отлично. Денщик подал в прихожей шашку, фуражку и тонкую летнюю шинель, распахнул дверь на подъезд – он легко вскочил в пролетку и несколько хрипло крикнул:

– Валяй живей! Целковый на водку!

Под густой маслянистой зеленью деревьев мелькал ясный блеск фонарей, запах мокрых тополей был и свеж и прян, лошадь неслась, высекая подковами красные искры. Все было прекрасно: и зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папиросы, которую ухитрился закурить на лету. И все сливалось в одно: в счастливое чувство готовности на все что угодно. Водка, бенедиктин, турецкое кофе? Вздор, просто весна и все отлично...

Дверь открыла маленькая, очень порочная на вид горничная на тонких качающихся каблучках. Быстро скинув шинель и отстегнув шашку, бросив фуражку на подзеркальник и немного взбив волосы, вошел, позванивая шпорами, в небольшую, тесную от излишества будуарной мебели комнату. И тотчас вошла и она, тоже покачиваясь на каблучках туфель без задка, на босу ногу с розовыми пятками, – длинная, волнистая, в узком и пестром, как серая змея, капоте с висящими, разрезанными до плеча рукавами. Длинные были и несколько раскосые глаза ее. В длинной бледной руке дымилась папироса в длинном янтарном мундштуке.

Целуя ее левую руку, он щелкнул каблучками:

– Прости, ради Бога, задержался не по своей вине...

Она посмотрела с высоты своего роста на мокрый глянец его коротких, мелко курчавых волос, на блестящие глаза, почувствовала его винный запах:

– Вина давно известная...

И села на шелковый пуф, взяв левой рукой под локоть правую, высоко держа поднятую папиросу, положив ногу на ногу и выше колена раскрыв боковой разрез капота. Он сел напротив на шелковое канапе, вытягивая из кармана брюк портсигар:

– Понимаешь, какая вышла история...

– Понимаю, понимаю...

Он быстро и ловко закурил, помахал горячей спичкой и бросил ее в пепельницу на восточном столике возле пуфа, усаживаясь поудобней и глядя с обычным неумеренным восхищением на ее голое колено в разрезе капота:

– Ну, прекрасно, не хочешь слушать, не надо... Программа нынешнего вечера: хочешь поехать в Купеческий сад? Там нынче какая-то "Японская ночь" – знаешь, эти фонарики, на эстраде гейши, "за красу я получила первый приз..."

Она покачала головой:

– Никаких программ. Я нынче сижу дома.

– Как хочешь. И это не плохо.

Она повела глазами по комнате:

– Милый мой, это наше последнее свидание.

Он весело изумился:

– То есть как это последнее?

– А так.

У него еще веселей заиграли глаза:

– Позволь, позволь, это забавно!

- Я ничуть не забавляюсь.
- Прекрасно. Но все-таки интересно знать, что сей сон значит? Яка така удруг закавыка, как говорит наш вахмистр?
- Как говорят вахмистры, меня мало интересуется. И я, по правде сказать, не совсем понимаю, чего ты веселишься.
- Веселюсь, как всегда, когда тебя вижу.
- Это очень мило, но на этот раз не совсем кстати.
- Однако, черт возьми, я все-таки ничего не понимаю! Что случилось?
- Случилось то, о чем я должна была сказать тебе уже давно. Я возвращаюсь к нему. Наш разрыв был ошибкой.
- Мамочки мои! Да ты это серьезно?
- Совершенно серьезно. Я была преступно виновата перед ним. Но он все готов простить, забыть.
- Ка-акое великодушие!
- Не паясничай. Я виделась с ним еще Великим постом...
- То есть тайком от меня и продолжая...
- Что продолжая? Понимаю, но все равно... Я виделась с ним, – и, разумеется, тайком, не желая тебе же причинить страдание, – и тогда же поняла, что никогда не переставала любить его. Он сощурил глаза, жуя мундштук папиросы:
- То есть его деньги?
- Он не богаче тебя. И что мне ваши деньги! Если б я захотела...
- Прости, так говорят только кокетки.
- А кто ж я, как не кокетка? Разве я на свои, а не на твои деньги живу?
- Он пробормотал офицерской скороговоркой:
- При любви деньги не имеют значения.
- Но ведь я люблю его!
- А я, значит, был только временной игрушкой, забавой от скуки и одним из выгодных со- держателей?
- Ты отлично знаешь, что далеко не забавой, не игрушкой. Ну да, я содержанка, и все-таки подло напоминать мне об этом.
- Легче на поворотах! Выбирайте хорошо ваши выражения, как говорят французы!
- Вам тоже советую держаться этого правила. Словом...
- Он встал, почувствовал новый прилив той готовности на все, с которой мчался на извозчике, прошелся по комнате, собираясь с мыслями, все еще не веря той нелепости, неожиданности, которая вдруг разбила все его радостные надежды на этот вечер, отшвырнул ногой желтоволо- сую куклу в красном сарафане, валявшуюся на ковре, сел опять на канапе, в упор глядя на нее.
- Я еще раз спрашиваю: это все не шутки?
- Она, закрыв глаза, помахала давно потухшей папиросой.
- Он задумался, снова закурил и опять зажевал мундштук, отдельно говоря:
- И что же, ты думаешь, что я так вот и отдам ему вот эти твои руки, ноги, что он будет це- ловать вот это колено, которое еще вчера целовал я?
- Она подняла брови:
- Я ведь все-таки не вещь, мой милый, которую можно отдавать или не отдавать. И по ка- кому праву...
- Он поспешно положил папиросу в пепельницу и, согнувшись, вынул из заднего кармана брюк скользкий, маленький, увесистый браунинг, на ладони покачал его:
- Вот мое право.
- Она покосилась, скучно усмехнулась:
- Я не любительница мелодрам.
- И бесстрастно повысила голос:
- Соня, подайте Павлу Сергеевичу шинель.
- Что-о?
- Ничего. Вы пьяны. Уходите.
- Это ваше последнее слово?
- Последнее.

И поднялась, оправляя разрез на ноге. Он шагнул к ней с радостной решительностью.

– Смотрите, как бы и впрямь не стало оно вашим последним!

– Пьяный актер, – сказала она брезгливо и, поправляя сзади волосы длинными пальцами, пошла из комнаты. Он так крепко схватил ее за обнажившееся предплечье, что она изогнулась и, быстро обернувшись с еще больше раскосившимися глазами, замахнулась на него. Он, ловко уклонившись, с едкой гримасой выстрелил.

В декабре того же года пароход Добровольного флота «Саратов» шел в Индийском океане на Владивосток. Под горячим тентом, натянутом на баке, в неподвижном зное, в горячем полусвете, в блеске зеркальных отражений от воды, сидели и лежали на палубе до пояса голые арестанты с наполовину выбритыми, страшными головами, в штанах из белой парусины, с кольцами кандалов на щиколках босых ног. Как все, до пояса гол был и он худым, коричневым от загара телом. Темнела и у него только половина головы коротко остриженными волосами, красно чернели жестким волосом давно не бритые худые щеки, лихорадочно сверкали глаза. Облокотясь на поручни, он пристально смотрел на горбами летящую глубоко внизу, вдоль высокой стены борта, густо-синюю волну и от времени до времени поплевывал туда.

16 мая 1944

Ворон

Отец мой похож был на ворона. Мне пришло это в голову, когда я был еще мальчиком: увидел однажды в «Ниве» картинку, какую-то скалу и на ней Наполеона с его белым брюшком и лосинами, в черных коротких сапожках, и вдруг засмеялся от радости, вспомнив картинки в "Полярных путешествиях" Богданова, – так похож показался мне Наполеон на пингвина, – а потом грустно подумал: а папа похож на ворона...

Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служебный пост, и это еще более испортило его; думаю, что даже в том чиновном обществе, к которому принадлежал он, не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно-жестокое в медлительных словах и поступках. Невысокий, плотный, немного сутулый, грубо-черноволосый, темный, с длинным бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон – особенно когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губернаторши, сутуло и крепко стоял возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой вороньей головой, косясь блестящими вороньими глазами на танцующих, на подходящих к киоску, да и на ту боярыню, которая с чарующей улыбкой подавала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной рукой в бриллиантах, – рослую даму в парче и кокошнике, с носом настолько розово-белым от пудры, что он казался искусственным. Был отец давно вдов, нас, детей, было у него лишь двое, – я да маленькая сестра моя Лиля, – и холодно, пусто блистала своими огромными, зеркально-чистыми комнатами наша просторная казенная квартира во втором этаже одного из казенных домов, выходивших фасадами на бульвар в тополях между собором и главной улицей. К счастью, я больше полугода жил в Москве, учился в Катковском лицее, приезжал домой лишь на святки и летние каникулы. В том году встретило меня, однако, дома нечто совсем неожиданное.

Весной того года я кончил лицей и, приехав из Москвы, просто поражен был: точно солнце засияло вдруг в нашей прежде столь мертвой квартире, – всю ее озаряло присутствие той юной, легконогой, что только что сменила няньку восьмилетней Лили, длинную, плоскую старуху, похожую на средневековую деревянную статую какой-нибудь святой. Бедная девушка, дочь одного из мелких подчиненных отца, была она в те дни бесконечно счастлива тем, что так хорошо устроилась тотчас после гимназии, а потом и моим приездом, появлением в доме сверстника. Но уж до чего была пуглива, как робела при отце за нашими чинными обедами, каждую минуту с тревогой следя за черноглазой, тоже молчаливой, но резкой не только в каждом своем движении, но даже и в молчаливости Лилей, будто постоянно ждавшей чего-то и все как-то вызывающе вертевшей своей черной головкой! Отец за обедами неузнаваемо стал: не кидал тяжких взглядов на старика Гурия, в вязаных перчатках подносившего ему кушанья, то и дело что-нибудь говорил, – медлительно, но говорил, – обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству, – "любезная Елена Николаевна", – даже пытался шутить, усмехаться. А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой, пятнисто алела тонким и нежным лицом – ли-

цом худенькой белокурой девушки в легкой белой блузке с темными от горячего юного пота подмышками, под которой едва означались маленькие груди. На меня она за обедом и глаз поднять не смела: тут я был для нее еще страшнее отца. Но чем больше старалась она не видеть меня, тем холоднее косился отец в мою сторону: не только он, но и я понимал, чувствовал, что за этим мучительным старанием не видеть меня, а слушать отца и следить за злой, непоседливой, хотя и молчаливой Лилей, скрыт был совсем иной страх, – радостный страх нашего общего счастья быть возле друг друга. По вечерам отец всегда пил чай среди своих занятий, и прежде ему подавали его большую чашку с золотыми краями на письменный стол в кабинете; теперь он пил чай с нами, в столовой, и за самоваром сидела она – Лиля в этот час уже спала. Он выходил из кабинета в длинной и широкой тужурке на красной подкладке, усаживался в свое кресло и протягивал ей свою чашку. Она наливала ее до краев, как он любил, передавала ему дрожащей рукой, наливала мне и себе и, опустив ресницы, занималась каким-нибудь рукоделием, а он не спеша говорил – нечто очень странное:

– Белокурый, любезная Елена Николаевна, идет или черное, или пунсовое... Вот бы весьма шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым, стоячим воротом а ля Мария Стюарт, унизанным мелкими брильянтами... или средневековое платье пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком... Шубка темно-синего лионского бархату и венецианский берет тоже пошли бы к вам... Все это, конечно, мечты, – говорил он, усмехаясь. – Ваш отец получает у нас всего семьдесят пять рублей месячных, а детей у него, кроме вас, еще пять человек, мал мала меньше, – значит, вам скорей всего придется всю жизнь прожить в бедности. Но и то сказать: какая же беда в мечтах? Они оживляют, дают силы, надежды. А потом, разве не бывает так, что некоторые мечты вдруг сбываются?.. Редко, разумеется, весьма редко, а сбываются... Ведь вот выиграл же недавно по выигрышному билету повар на вокзале в Курске двести тысяч, – простой повар!

Она пыталась делать вид, что принимает все это за милые шутки, заставляла себя взгляды-вать на него, улыбаться, а я, будто и не слыша ничего, раскладывал пасьянс «Наполеон». Он же пошел однажды еще дальше, – вдруг молвил, кивнув в мою сторону:

– Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает: мол, помрет в некий срок папенька и будут у него куры не клевать золота! А куры-то и впрямь не будут клевать, потому что клевать будет нечего. У папеньки, разумеется, кое-что есть, – например, именьице в тысячу десятин чернозему в Самарской губернии, – только навряд оно сынку достанется, не очень-то он папеньку своей любовью жалует, и, насколько понимаю, выйдет из него мот первой степени...

Был этот последний разговор вечером под Петров день, – очень мне памятный. Утром того дня отец уехал в собор, из собора – на завтрак к имениннику-губернатору. Он и без того никогда не завтракал в будни дома, так что и в тот день мы завтракали втроем, и под конец завтрака Лилля, когда подали вместо ее любимых хворостиков вишневый кисель, стала пронзительно кричать на Гурия, стуча кулачками по столу, сошвырнула на пол тарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотащили ее в ее комнату, – она брыкалась, кусала нам руки, – умолили ее успокоиться, наобещали жестоко наказать повара, и она стихла наконец и заснула. Сколько трепетной нежности было для нас даже в одном этом – в совместных усилиях тащить ее, то и дело касаясь рук друг друга! На дворе шумел дождь, в темнеющих комнатах сверкала иногда молния и содрогались стекла от грома.

– Это на нее так гроза подействовала, – радостно сказала она шепотом, когда мы вышли в коридор, и вдруг насторожилась:

– О, где-то пожар!

Мы пробежали в столовую, распахнули окно – мимо пас, вдоль бульвара, с грохотом неслась пожарная команда. На тополи лился быстрый ливень, – гроза уже прошла, точно он потушил ее, – в грохоте длинных несущихся дрог с медными касками стоящих на них пожарных, со шлангами и лестницами, в звоне поддужных колокольников над гривами черных битюгов, с треском подков мчавших галопом эти дроги по булыжной мостовой, нежно, бесовски игриво, предостерегающе пел рожок горниста... Потом часто, часто забил набат на колокольне Ивана Воина на Лавах... Мы рядом, близко друг к другу, стояли у окна, в которое свежо пахло водой и городской мокрой пылью, и, казалось, только смотрели и слушали с пристальным волнением. Потом мелькнули последние дроги с каким-то громадным красным баком на них, сердце у меня забилось сильнее, лоб стянуло – я взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляюще

глядя ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыла губы, подняла вздохом грудь и тоже как бы умоляюще повернула ко мне светлые, полные слез глаза, а я охватил ее плечо и впервые в жизни сомлел в нежном холоде девичьих губ... Не было после того ни единого дня без наших ежечасных, будто бы случайных встреч то в гостиной, то в зале, то в коридоре, даже в кабинете отца, приезжавшего домой только к вечеру, – этих коротких встреч и отчаянно долгих, ненасытных и уже нестерпимых в своей неразрешимости поцелуев. И отец, что-то чуя, опять перестал выходить к вечернему чаю в столовую, стал опять молчалив и угрюм. Но мы уже не обращали на него внимания, и она стала спокойнее и серьезнее за обедами.

В начале июля Лиля заболела, объевшись малиной, лежала, медленно поправляясь, в своей комнате и все рисовала цветными карандашами на больших листах бумаги, пришпиленных к доске, какие-то сказочные города, а она поневоле не отходила от ее кровати, сидела и вышивала себе малороссийскую рубашечку, – отойти было нельзя: Лиля поминутно что-нибудь требовала. А я погибал в пустом, тихом доме от непрестанного, мучительного желания видеть, целовать и прижимать к себе ее, сидел в кабинете отца, что попало беря из его библиотечных шкапов и сясь читать. Так сидел я и в тот раз, уже перед вечером. И вот вдруг послышались ее легкие и быстрые шаги. Я бросил книгу и вскочил:

– Что, заснула?

Она махнула рукой.

– Ах, нет! Ты не знаешь – она может по двое суток не спать и ей все ничего, как всем сумасшедшим! Прогнала меня искать у отца какие-то желтые и оранжевые карандаши...

И, заплакав, подошла, и уронила мне на грудь голову:

– Боже мой, когда же это кончится! Скажи же наконец ему, что ты любишь меня, что все равно ничто в мире не разлучит нас!

И, подняв мокрое от слез лицо, порывисто обняла меня, задохнулась в поцелуе. Я прижал ее всю к себе, потянул к дивану, – мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту? Но на пороге кабинета уже слышалось легкое покашливание: я взглянул через ее плечо – отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и, горбясь, удалился.

К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался Гурий: "Папаша просят вас пожаловать к ним". Я вошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не обращившись, стал говорить:

– Завтра ты на все лето уедешь в мою самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе службу. Если осмелишься послушаться, навеки лишу тебя наследства. Но мало того: завтра же попрошу губернатора немедленно выслать тебя в деревню по этапу. Теперь ступай и больше на глаза мне не показывайся. Деньги на проезд и некоторые карманные получишь завтра утром через человека. К осени напишу в деревенскую контору мою, дабы тебе выдали некоторую сумму на первое прожитие в столицах. Видеть ее до отъезда никак не надейся. Все, любезный мой. Иди.

В ту же ночь я уехал в Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товарищей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой узнал, что он, оставив службу, тоже переехал в Петербург – "с прелестной молоденькой женой", как сказали мне. И, входя однажды вечером в партер в Мариинском театре за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидел и его и ее. Они сидели в ложе возле сцены, у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он, во фраке, сутулясь, вороном, внимательно читал, прищулив один глаз, программу. Она, держась легко и стройно, в высокой прическе белокурых волос, оживленно озиралась кругом – на теплый, сверкающий люстрами, мягко шумящий, наполняющийся партер, на вечерние платья, фраки и мундиры входящих в ложи. На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик, тонкие, но уже округлившиеся руки были обнажены, род пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом...

18 мая 1944

Камарг

Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, извиваясь

всем своим цыганско-испанским телом, села у окна на одноместную скамью и, будто никого не видя, стала шелушить и грызть жареные фисташки, от времени до времени поднимая подол верхней черной юбки и запуская руку в карман нижней, заношенной белой. Вагон, полный простым народом, состоял не из купе, разделен был только скамьями, и многие, сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на нее.

Губы ее, двигавшиеся над белыми зубами, были сизы, синеватый пушок на верхней губе сгущался над углами рта. Тонкое, смугло-темное лицо, озаряемое блеском зубов, было древне-дикое. Глаза, длинные, золотисто-карие, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели как-то внутрь себя – с тусклой первобытной истомой. Из-под жесткого шелка смольных волос, разделенных на прямой пробор и вьющимися локонами падавших на низкий лоб, поблескивали вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. Выцветший голубой платок, лежавший на покатых плечах, был красиво завязан на груди. Руки, сухие, индусские, с мумийными пальцами и более светлыми ногтями, все шелушили и шелушили фисташки с обезьяньей быстротой и ловкостью. Кончив их и стряхнув шелуху с кален, она прикрыла глаза, положила нога на ногу и откинулась к спинке скамьи. Под сборчатой черной юбкой, особенно женственно выделявшей перехват ее гибкой талии, кострецы выступали твердыми бугорками плавных очертаний. Худая, голая, блестящая тонкой загорелой кожей ступня была обута в черный тряпичный чувак и переплетена разноцветными лентами, – синими и красными...

Под Арлем она вышла.

– C'est une samarguaise,²⁰ – почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой сосед, измученный ее красотой, мощный, как бык, провансалец, с черным в кровяных жилках румянцем.

23 мая 1944

Сто рупий

Я увидел ее однажды утром во дворе той гостиницы, того старинного голландского дома в кокосовых лесах на берегу океана, где я проживал в те дни. И потом видел ее там каждое утро. Она полулежала в камышовом кресле, в легкой, жаркой тени, падавшей от дома, в двух шагах от веранды. Высокий, желтолицый, мучительно-узкоглазый малаец, одетый в белую парусиновую куртку и такие же панталоны, приносил ей, шурша босыми ногами по гравии, и ставил на столик возле кресла поднос с чашкой золотого чаю, что-то почтительно говорил ей, не шевеля сухими, стянутыми в дыру губами, кланялся и удалялся; а она полулежала и медленно помахивала соломенным веером, мерно мерцая черным бархатом своих удивительных ресниц... К какому роду земных созданий можно было отнести ее?

Ее тропически крепкое маленькое тело, его кофейная нагота была открыта на груди, на плечах, на руках и на ногах до колен, а стан и бедра как-то повиты яркой зеленой тканью. Маленькие ступни с красными ногтями пальцев выглядывали между красными ремнями лакированных сандалий желтого дерева. Дегтярные волосы, высоко поднятые прической, странно не соответствовали своей грубостью нежности ее детского лица. В мочках маленьких ушей покачивались золотые дутые кольца. И неправдоподобно огромны и великолепны были черные ресницы – подобие тех райских бабочек, что так волшебным мерцают на райских индийских цветах... Красота, ум, глупость – все эти слова никак не шли к ней, как не шло все человеческое: поистине, была она как бы с какой-то другой планеты. Единственное, что шло к ней, была бессловесность. И она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом своих ресниц-бабочек, медленно помахивая веером...

Раз утром, когда во двор гостиницы вбежал рикша, на котором я обычно ездил в город, малаец встретил меня на ступеньках веранды и, поклонившись, тихо сказал по-английски:

– Сто рупий, сэр.

24 мая 1944

Месть

²⁰ Это камаргианка (франц.)

В пансионе в Каннах, куда я приехал в конце августа с намерением купаться в море и писать с натуры, эта странная женщина пила по утрам кофе и обедала за отдельным столиком с неизменно сосредоточенным, мрачным видом, точно никого и ничего не видя, а после кофе куда-то уходила почти до вечера. Я жил в пансионе уже с неделю и все еще с интересом посматривал на нее: черные густые волосы, крупная черная коса, обвивающая голову, сильное тело в красном с черными цветами платье из кретона, красивое, грубоватое лицо – и этот мрачный взгляд... Подала нам эльзаска, девочка лет пятнадцати, но с большими грудями и широким задом, очень полная удивительно нежной и свежей полнотой, на редкость глупая и милая, на каждое слово расцветающая испугом и улыбкой; и вот, встретив ее однажды в коридоре, я спросил:

– Dites, Odette, qui est cette dame?

Она, с готовностью и к испугу и к улыбке, вскинула на меня маслянисто-голубые глаза:

– Quelle dame, monsieur?

– Mais la dame brune, la-bas?

– Quelle table, monsieur?

– Numero dix.

– C'est une russe, monsieur.

– Et puis?

– Je n'en sais rien, monsieur.

– Est-elle chez vous depuis longtemps?

– Depuis trois semaines, monsieur.

– Toujours seule?

– Non, monsieur. Il y avait un monsieur...

– Jeune, sportif?

– Non, monsieur... Tres pensif, nerveux...

– Et il a disparu un jour?

– Mais oui, monsieur...²¹

"Так, так! – подумал я. – Теперь кое-что понятно. Но куда это исчезает она по утрам? Все его ищет?"

На другой день, вскоре после кофе, я, как всегда, услышал в открытое окно своей комнаты хруст гальки в садике пансиона, выглянул: она, с раскрытой, как всегда, головой, под зонтиком того же цвета, что и платье, куда-то уходила скорым шагом в красных эспадрильях. Я схватил трость, канотье и поспешил за ней. Она из нашего переулочка повернула на бульвар Карно, – я тоже повернул, надеясь, что она в своей постоянной сосредоточенности не обернется и не почувствует меня. И точно – она ни разу не обернулась до самого вокзала. Не обернулась и на вокзале, входя в купе третьеклассного вагона. Поезд шел в Тулон, я на всякий случай взял билет до Сен-Рафаэля, поднялся в соседнее купе. Ехала она, очевидно, недалеко, но куда? Я высовывался в окно в Напуле, в Тэуле... Наконец, высунувшись на минутной остановке в Трэйясе, увидел, что она идет уже к выходу со станции. Я выскочил из вагона и опять пошел за ней, держась, однако, в некотором отдалении. Тут пришлось идти долго – и по извивам шоссе вдоль обрывов над мо-

²¹ – Скажите, Одетт, кто эта дама?

– Какая дама, сударь?

– Дама брюнетка, там?

– Какой стол, сударь?

– Номер десять.

– Это русская, сударь.

– Ну, и... Я ничего не знаю о ней.

– Она у вас давно?

– Три недели, сударь,

– Всегда одна?

– Нет, сударь. Был один господин...

– Молодой, спортивного вида?

– Нет, сударь. Очень задумчивый, нервный...

– И в один прекрасный день он исчез?

– Да, сударь (франц.).

рем, и по крутым каменистым тропинкам сквозь мелкий сосновый лес, по которым она сокращала путь к берегу, к заливчикам, изрезающим берег в этой скалистой, покрытой лесом и пустынной местности, этот скат прибрежных гор. Близился полдень, было жарко, воздух неподвижен и густ от запаха горячей хвои, нигде ни души, ни звука, – только пилили, скрежетали цикады, – открытое к югу море сверкало, прыгало крупными серебряными звездами... Наконец она сбежала по тропинке к зеленому заливчику между сангвиновыми утесами, бросила зонтик на песок, быстро разулась, – была на босу ногу, – и стала раздеваться. Я лег на каменистый отвес, под которым она расстегивала свое мрачно-цветистое платье, глядел и думал, что, верно, и купальный костюм у нее такой же зловещий. Но никакого костюма под платьем не оказалось, – была одна короткая розовая сорочка. Скинув и сорочку, она, вся коричневая от загара, сильная, крепкая, пошла по голышам к светлой, прозрачной воде, напрягая красивые щиколки, подергивая крутыми половинками зада, блестя загаром бедер. У воды она постояла, – должно быть, щурясь от ее ослепительности, – потом зашумела в ней ногами, присела, окунулась до плеч и, повернувшись, легла на живот, потянулась, раскинув ноги, к песчаному прибрежью, положила на него локти и черную голову. Вдали широко и свободно трепетала колючим серебром равнина моря, замкнутый заливчик и весь его скалистый уют, все жарче пекло солнце, и такая тишина стояла в этой знойной пустыне скал и мелкого южного леса, что слышно было, как иногда набегала на тело, ничком лежащее подо мной, и сбежала с его сверкающей спины, раздвоенного зада и крупных раздвинутых ног сеть мелкой стеклянной зыби. Я, лежа и выглядывая из-за камней, все больше тревожился видом этой великолепной наготы, все больше забывал нелепость и дерзость своего поступка, приподнялся, закуривая от волнения трубку, – и вдруг она тоже подняла голову и вопросительно уставилась на меня снизу вверх, продолжая, однако, лежать, как лежала. Я встал, не зная, что делать, что сказать. Она заговорила первая:

– Я всю дорогу слышала, что сзади меня кто-то идет. Почему вы поехали за мной?

Я решил ответить без обиняков:

– Простите, из любопытства...

Она перебила меня:

– Да, вы, очевидно, любознательны. Odette мне сказала, что вы расспрашивали ее обо мне, я случайно слышала, что вы русский, и потому не удивилась – все русские не в меру любознательны. Но почему все-таки вы поехали за мной?

– В силу все той же любознательности, – в частности, и профессиональной.

– Да, знаю, вы живописец.

– Да, а вы живописны. Кроме того, вы каждый день куда-то уходили по утрам, и это меня интриговало, – куда, зачем? – пропускали завтраки, что не часто случается с жильцами пансионнов, да и вид у вас был всегда не совсем обычный, на чем-то сосредоточенный. Держитесь вы одиноко, молчаливо, что-то как будто таите в себе... Ну, а почему я не ушел, как только вы стали раздеваться...

– Ну, это-то понятно, – сказала она.

И, помолчав, прибавила:

– Я сейчас выйду. Отвернитесь на минуту и потом идите сюда. Вы меня тоже заинтересовали.

– Ни за что не отвернусь, – ответил я. – Я художник, и мы не дети.

Она пожала плечом:

– Ну, хорошо, мне все равно...

И встала во весь рост, показывая всю себя спереди во всей своей женской силе, не спеша пробралась по гальке, накинула на голову свою розовую сорочку, потом открыла в ней свое серьезное лицо, опустила ее на мокрое тело. Я сбежал к ней, и мы сели рядом.

– Кроме трубки, у вас есть, может быть, и папиросы? – спросила она.

– Есть.

– Дайте мне.

Я дал, зажег спичку.

– Спасибо.

И, затягиваясь, она стала глядеть вдаль, пошевеливая пальцами ноги, не оборачиваясь; иронически сказала вдруг:

– Так я еще могу нравиться?

– Еще бы! – воскликнул я. – Прекрасное тело, чудесные волосы, глаза... Только очень уж недоброе выражение лица.

– Это потому, что я, правда, занята одной злой мыслью.

– Я так и думал. Вы с кем-то недавно расстались, кто-то вас оставил...

– Не оставил, а бросил. Сбежал от меня. Я знала, что он пропащий человек, но я его как-то любила. Оказалось, что любила просто негодяя. Встретилась я с ним месяца полтора тому назад в Монте-Карло. Играла в тот вечер в казино. Он стоял рядом, тоже играл, следил сумасшедшими глазами за шариком и все выигрывал, выиграл раз, два, три, четыре... Я тоже все выигрывала, он это видел и вдруг сказал:

"Шабаш! Assez!" – и повернулся ко мне: "N'est-ce pas, madame?"²² Я, смеясь, ответила: "Да, шабаш!" – "Ах, вы русская?" – "Как видите". – "Тогда идем кутить!" Я посмотрела – очень потрепанный, но изящный с виду человек... Остальное нетрудно угадать.

– Да, нетрудно. Почувствовали себя за ужином близкими, говорили без конца, удивились, когда настал час расставаться...

– Совершенно верно. И не расстались и начали проматывать выигранное. Жили в Монте-Карло, в Тюрби, в Ницце, завтракали и обедали в кабаках на дороге между Каннами и Ниццей – вы, верно, знаете, что это стоит! – жили одно время даже в отеле на Cap d'Antibes, притворяясь богатыми людьми... А денег оставалось все меньше, поездки в Монте-Карло на последние гроши кончались крахом... Он стал куда-то исчезать и возвращаться опять с деньгами, хотя привозил пустяки – франков сто, пятьдесят... Потом где-то продал мои серьги, обручальное кольцо, – я была когда-то замужем, – золотой нательный крест...

– И, конечно, уверял, что вот-вот откуда-то получит какой-то большой долг, что у него есть знатные и состоятельные друзья и знакомые.

– Да, именно так. Кто он, я точно и теперь не знаю, он избегал говорить подробно и ясно о своей прошлой жизни, и я как-то невнимательно относилась к этому. Ну, обычное прошлое многих эмигрантов: Петербург, служба в блестящем полку, потом война, революция, Константинополь... В Париже, благодаря прежним связям, будто бы устраивался и всегда может устроиться очень недурно, а пока – Монте-Карло или же постоянная возможность, как он говорил, перехватить в Ницце у каких-то титулованных друзей... Я уже падала духом, приходила в отчаяние, но он только усмехался: "Будь спокойна, положишься на меня, я уж сделал некоторые серьезные демарши в Париже, а какие именно, это, как говорится, не женского ума дело..."

– Так, так...

– Что так?

И она вдруг обернулась ко мне, сверкнув глазами, далеко швырнув потухшую папиросу.

– Вас все это потешает?

Я схватил и сжал ее руку:

– Как вам не стыдно! Вот я напишу вас Медузой или Немезидой!

– Это богиня мести?

– Да, и очень злая.

Она печально усмехнулась:

– Немезида! Уж какая там Немезида! Нет, вы хороший... Дайте еще папиросу. Выучил курить... Всему выучил!

И, закурив, опять стала смотреть вдаль.

– Я забыл вам сказать еще то, как я был удивлен, когда увидел, куда вы ездите купаться, – целое путешествие каждый день и с какою целью? Теперь понимаю: ищете одиночества.

– Да...

Солнечный жар тек все гуще, цикады на горячих, пахучих соснах пилили, скрежетали все настойчивее, яростней, – я чувствовал, как должны быть накалены ее черные волосы, открытые плечи, ноги, и сказал:

– Перейдем в тень, уж очень жжет, и доскажите мне вашу печальную историю.

Она очнулась:

– Перейдем...

²² Довольно!.. Правда, мадам? (франц.)

И мы обошли полукруг заливчика и сели в светлой и знойной тени под красными утесами. Я опять взял ее руку и оставил в своей. Она не заметила этого.

– Что ж тут досказывать? – сказала она. – Мне уж как-то расхотелось вспоминать всю эту действительно очень печальную и постыдную историю. Вы, вероятно, думаете, что я привычная содержанка то одного, то другого мошенника. Ничего подобного. Прошлое мое тоже самое обыкновенное. Муж был в Добровольческой армии, сперва у Деникина, потом у Врангеля, а когда мы докатились до Парижа, стал, конечно, шофером, но начал спиваться и спился до того, что потерял работу и превратился в настоящего босяка. Продолжать жить с ним я уже никак не могла. Видела его последний раз на Монпарнасе, у дверей «Доминика», – знаете, конечно, этот русский кабачок? Ночь, дождь, а он в опорках, топчется в лужах, подбегает, согнувшись, к прохожим, протягивает руку за подачкой, неловко помогает, лучше сказать, мешает вылезать из такси подъезжающим... Я постояла, посмотрела на него, подошла к нему. Узнал, испугался, сконфузился, – вы не можете себе представить, какой это прекрасный, добрый, деликатный человек! – стоит, растерянно смотрит на меня: "Маша, ты?" Маленький, оборванный, небритый, весь зарос рыжей щетиной, мокрый, дрожит от холода... Я дала ему все, что было у меня в сумочке, он схватил мою руку мокрой, ледяной ручкой, стал целовать ее и трястись от слез. Но что же я могла сделать? Только посылать ему раза два, три в месяц по сто, по двести франков, – у меня в Париже шляпная мастерская, и я довольно прилично зарабатываю. А сюда я приехала отдохнуть, покупаться – и вот... На днях уеду в Париж. Встретиться с ним, дать ему пощечину и тому подобное – очень глупая мечта, и знаете, когда я поняла это уж как следует? Вот только сейчас, благодаря вам. Стала рассказывать и поняла...

– Но все-таки как же он сбежал?

– Ах, в том-то и дело, что уж очень подло. Поселились мы в этом самом пансиончике, где мы с вами оказались соседями, – это после отеля-то на Cap d'Antibes! – и пошли однажды вечером, всего дней десять тому назад, пить чай в казино. Ну, конечно, музыка, несколько танцующих пар, – я уж больше просто видеть не могла без отвращения всего этого, нагляделась достаточно! – однако сажу, ем пирожные, которые он заказывает для меня и для себя и все как-то странно смеется, – посмотри, посмотри, говорит про музыкантов, настоящие обезьяны, как топают и кривляются! Потом открывает пустой портсигар, зовет шассера, приказывает ему принести английских папирос, тот приносит, он рассеянно говорит мерси, я вам заплачу после чая, глядит на свои ногти и обращается ко мне: "Ужас какие руки! Пойду помою..." Встает и уходит...

– И больше не возвращается.

– Да. А я сажу и жду. Жду десять минут, двадцать, полчаса, час... Представляете вы это себе?

– Представляю...

Я очень ясно представил себе: сидят за чайным столиком, смотрят, молчат, по-разному думают о своем мерзком положении... За стеклами больших окон вечернее небо и глянец, штиль моря, висят темнеющие ветви пальм, музыканты, как неживые, топают ногами в пол, дуют в инструменты, бьют в металлические тарелки, мужчины, шаркая и качаясь в лад им, напирают на своих дам, будто таща их к явно определенной цели... Малый в крагах и в некотором подобии зеленого мундира подает ему, почтительно сняв картуз, пачку «High-Life»...

– Ну и что же? Вы сидите...

– Я сажу и чувствую, что погибаю. Музыканты ушли, зал опустел, зажегся электрический свет...

– Посинели окна...

– Да, а я все не могу подняться с места: что делать, как спастись? В сумочке у меня всего шесть франков и какая-то мелочь!

– А он действительно пошел в уборную, сделал там что нужно, думая о своей мошеннической жизни, потом застегнулся и на цыпочках пробежал по коридорам к другому выходу, выскочил на улицу... Побойтесь Бога, подумайте, кого вы любили! Искать его, мстить ему? За что? Вы не девочка, должны были видеть, кто он и в какое положение вы попали. Почему же продолжали эту ужасную во всех смыслах жизнь?

Она помолчала, повела плечом:

– Кого я любила? не знаю. Была, как говорится, потребность любви, которой я по-

настоящему никогда не испытала... Как мужчина, он мне ничего не давал и не мог дать, уже давно потерял мужские способности... Должна была видеть, кто он и в какое положение попала? Конечно, должна, да не хотелось видеть, думать – в первый раз в жизни жила такой жизнью, этим порочным праздником, всеми его удовольствиями, жила в каком-то наваждении. Зачем хотела где-то встретить его и как-то отомстить ему? Опять наваждение, навязчивая идея. Разве я не чувствовала, что, кроме гадкого и жалкого скандала, я ничего не могла сделать? Но вы говорите: за что? А вот за то, что это все-таки благодаря ему я так низко пала, жила этой мошеннической жизнью, а главное, за тот ужас, позор, который я пережила в тот вечер в казино, когда он сбежал из клозета! Когда я, вне себя, что-то лгала в кассе казино, вывертывалась, умоляла взять у меня в залог до завтра сумочку – и когда ее не взяли и презрительно простили мне и чай, и пирожные, и английские папиросы! Послала телеграмму в Париж, получила на третий день тысячу франков, пошла в казино – там, не глядя на меня, взяли деньги, даже счетик дали... Ах, милый, никакая я не Медуза, я просто баба и к тому же очень чувствительная, одинокая, несчастная, но поймите же меня – ведь и у курицы есть сердце! Я просто больна была все эти дни с того проклятого вечера. И просто сам Бог послал мне вас, я как-то вдруг пришла в себя... Пустите мою руку, пора одеваться, скоро поезд из Сен-Рафаэля...

– Бог с ним, – сказал я. – Посмотрите лучше кругом на эти красные скалы, зеленый заливчик, корявые сосны, послушайте этот райский скрежет... Ездить сюда мы теперь будем уж вместе. Правда?

– Правда.

– Вместе и в Париж уедем.

– Да.

– А что дальше, не стоит загадывать.

– Да, да.

– Можно поцеловать руку?

– Можно, можно...

13 июня 1944

Качели

В летний вечер сидел в гостиной, брэнча на фортепьяно, услышал на балконе ее шаги, дико ударил по клавишам и не в лад закричал, запел:

Не завидую богам,
Не завидую царям,
Как увижу очи томны,
Стройный стан и косы темны!

Вошла в синем сарафане, с двумя длинными темными косами на спине, в коралловом ожерелье, усмехаясь синими глазами на загорелом лице:

– Это все про меня? И ария собственной композиции?

– Да!

И опять ударил и закричал:

Не завидую богам,

– Ну и слух же у вас!

– Зато я знаменитый живописец. И красив, как Леонид Андреев. На беду вашу заехал я к вам!

– Он пугает, а мне не страшно, сказал Толстой про вашего Андреева.

– Посмотрим, посмотрим!

– А дедушкин костыль?

– Дедушка хоть и севастопольский герой, только с виду грозен. Убежим, повенчаемся, потом кинемся ему в ноги – заплачет и простит...

В сумерки, перед ужином, когда в поварской жарили пахучие битки с луком и в росистом парке свежело, носились, стоя друг против друга, на качелях в конце аллеи, визжа кольцами, дую ветром, развевавшим ее подол. Он, натягивая веревки и поддавая взмах доски, делал страшные

глаза, она, раскрасневшись, смотрела пристально, бессмысленно и радостно.

– Ау! А вон первая звезда и молодой месяц и небо над озером зеленое-зеленое – живописец, посмотрите, какой тонкий серпик! Месяц, месяц, золотые рога... Ой, мы сорвемся!

Слетев с высоты и соскочив на землю, сели на доску, сдерживая взволнованное дыхание и глядя Друг на друга.

– Ну что? Я говорил!

– Что говорил?

– Вы, уже влюблены в меня.

– Может быть... Пойдите, зовут к ужину... Ау идем, идем!

– Погодите минутку. Первая звезда, молодой месяц, зеленое небо, запах росы, запах из кухни, – верно, опять мои любимые битки в сметане! – и синие глаза и прекрасное счастливое лицо...

– Да, счастливее этого вечера, мне кажется, в моей жизни уже не будет...

– Данте говорил о Беатриче: "В ее глазах – начало любви, а конец – в устах". Итак? – сказал он, беря ее руку.

Она закрыла глаза, клонясь к нему опущенной головой. Он обнял ее плечи с мягкими косами, поднял ее лицо.

– Конец в устах?

– Да...

Когда шли по аллее, он смотрел себе под ноги:

– Что ж нам теперь делать? Идти к бабушке и, упав на колени, просить его благословения?

Но какой же я муж?

– Нет, нет, только не это.

– А что же?

– Не знаю. Пусть будет только то, что есть... Лучше уж не будет.

10 апреля 1945

Чистый понедельник

Темнел московский серый зимний день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освещались витрины магазинов – и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дел московская жизнь: гуще и бодрей неслись извозчицьи санки, тяжелей гремели переполненные, ныряющие трамваи, – в сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды, – оживленнее спешили по снежным тротуарам мутно чернеющие прохожие... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысаче мой кучер – от Красных ворот к храму Христа Спасителя: она жила против него; каждый вечер я возил ее обедать в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь», после обеда в театры, на концерты, а там к «Яру», в «Стрельну»... Чем все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было бесполезно – так же, как и говорить с ней об этом: она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношения, – совсем близки мы все еще не были; и все это без конца держало меня в неразрешающемся напряжении, в мучительном ожидании – и вместе с тем был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возле нее.

Она зачем-то училась на курсах, довольно редко посещала их, но посещала. Я как-то спросил: "Зачем?" Она пожала плечом: "А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кроме того, меня интересует история..." Жила она одна, – вдовый отец ее, просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери, что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этаже, всего две комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван, стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало "Лунной сонаты", – только одно начало, – на пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы, – по моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие, – и когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила: "Спасибо за цветы..." Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги – Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевского, – и получал все то

же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто. "Непонятно, почему, – говорила она в раздумье, глядя мой бровровый воротник, – но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которым входишь со двора в комнату..." Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом, хотя все-таки цветы были у нее любимые и нелюбимые, все книги, какие я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду съедала за день целую коробку, за обедами и ужинами ела не меньше меня, любила расстегаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крепко прожаренной сметане, иногда говорила: "Не понимаю, как это не надоест людям всю жизнь, каждый день обедать, ужинать", – но сама и обедала и ужинала с московским пониманием дела. Явной слабостью ее была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех...

Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губернии, был в ту пору красив почему-то южной, горячей красотой, был даже "неприлично красив", как сказал мне однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человек, великий обжора и умница. "Черт вас знает, кто вы, сицилианец какой-то", – сказал он сонно; и характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбке, к доброй шутке. А у нее красота была какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком; выезжая, она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми застежками (а на курсы ходила скромной курсисткой, завтракала за тридцать копеек в вегетарианской столовой на Арбате); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядела перед собой: я это видел, заезжая иногда к ней и днем, потому что каждый месяц она дня три-четыре совсем не выходила и не выезжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сесть в кресло возле дивана и молча читать.

– Вы ужасно болтливы и непоседливы, – говорила она, – дайте мне дочитать главу...

– Если бы я не был болтлив и непоседлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас, – отвечал я, напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабре, попав в Художественный кружок на лекцию Андрея Белого, который пел ее, бегая и танцуя на эстраде, я так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кресле рядом со мной и сперва с некоторым недоумением смотревшая на меня, тоже наконец рассмеялась, и я тотчас весело обратился к ней.

– Все так, – говорила она, – но все-таки помолчите немного, почитайте что-нибудь, покурите...

– Не могу я молчать! Не представляете вы себе всю силу моей любви к вам! Не любите вы меня!

– Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кроме отца и вас, у меня никого нет на свете. Во всяком случае вы у меня первый и последний. Вам этого мало? Но довольно об этом. Читать при вас нельзя, давайте чай пить...

И я вставал, кипятил воду в электрическом чайнике на столике за отвалом дивана, брал из ореховой горки, стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря что придет в голову:

– Вы дочитали "Огненного ангела"?

– Досмотрела. До того высокопарно, что совестно читать.

– А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?

– Не в меру разудал был. И потом желтоволосую Русь я вообще не люблю.

– Все-то вам не нравится!

– Да, многое...

"Странная любовь!" – думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрел в окна. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него... "Станный город! – говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. – Василий Блаженный – и Спас-на-Бору, итальянские соборы – и что-то киргизское в острях башен

на кремлевских стенах..."

Приезжая в сумерки, я иногда заставлял ее на диване только в одном шелковом архалуке, отороченном соболем, – наследство моей астраханской бабушки, сказала она, – сидел возле нее в полутьме, не зажигая огня, и целовал ее руки, ноги, изумительное в своей гладкости тело... И она ничему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы – она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владеть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свет, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящийся табуретик возле пианино и постепенно приходил в себя, остывал от горячего дурмана. Через четверть часа она выходила из спальни одетая, готовая к выезду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим:

– Куда нынче? В «Метрополь», может быть?

И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскоре после нашего сближения она сказала мне, когда я заговорил о браке:

– Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь...

Это меня не обезнадежило. "Там видно будет!" – сказал я себе в надежде на перемену ее решения со временем и больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимой, но и тут – что оставалось мне, кроме надежды на время? Однажды, сидя возле нее в этой вечерней темноте и тишине, я схватился за голову:

– Нет, это выше моих сил! И зачем, почему надо так жестоко мучить меня и себя!

Она промолчала.

– Да, все-таки это не любовь, не любовь...

Она ровно отозвалась из темноты:

– Может быть. Кто же знает, что такое любовь?

– Я, я знаю! – воскликнул я. – И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!

– Счастье, счастье... "Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь – надулось, а вытащишь – ничего нету".

– Это что?

– Это так Платон Каратаев говорил Пьеру.

Я махнул рукой:

– Ах, Бог с ней, с этой восточной мудростью!

И опять весь вечер говорил только о постороннем – о новой постановке Художественного театра, о новом рассказе Андреева... С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш из «Аиды», ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад, – да, целовал, говорил я себе, с восторженной благодарностью глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал груди, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая: "Москва, Астрахань, Персия, Индия!" В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумней становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелея, вела меня иногда в отдельный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакине с галунами, с сизой мордой утопленника, с голлой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевало с низким лбом под дегтярной челкой... Она слушала песни с томной, странной усмешкой... В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой, на подъезде, закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел к Красным воротам. И завтра и послезавтра будет все то же, думал я, – все та же мука и все то же счастье... Ну что ж – все-таки счастье, великое счастье!

Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В Прощеное воскресенье она приказала мне приехать к ней в пятом часу вечера. Я приехал, и она встретила меня уже одетая, в короткой каракулевой шубке, в каракулевой шляпке, в черных фетровых ботиках.

– Все черное! – сказал я, входя, как всегда, радостно.

Глаза ее были ласковы и тихи.

– Ведь завтра уже Чистый понедельник, – ответила она, вынув из каракулевой муфты и давая мне руку в черной лайковой перчатке. – "Господи владыко живота моего..." Хотите поехать в Новодевичий монастырь?

Я удивился, но поспешил сказать:

– Хочу!

– Что ж все кабаки да кабаки, – прибавила она. – Вот вчера утром я была на Рогожском кладбище...

Я удивился еще больше:

– На кладбище? Зачем? Это знаменитое раскольничье?

– Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хоронили архиепископа. И вот представьте себе: гроб – дубовая колода, как в древности, золотая парча будто ковкая, лик усопшего закрыт белым «воздухом», шитым крупной черной вязью – красота и ужас. А у гроба диаконы с рипидами и трикириями...

– Откуда вы это знаете? Рипиды, трикирии!

– Это вы меня не знаете.

– Не знал, что вы так религиозны.

– Это не религиозность. Я не знаю что... Но я, например, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевские соборы, а вы даже и не подозреваете этого... Так вот: диаконы – да какие! Пересвет и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересветы: высокие, могучие, в длинных черных кафтанах, поют, перекликаясь, – то один хор, то другой, – и все в унисон и не по нотам, а по «крюкам». А могила была внутри выложена блестящими еловыми ветвями, а на дворе мороз, солнце, слепит снег... Да нет, вы этого не понимаете! Идем...

Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-красных стенах монастыря болтали в тишине галки, похожие на монашенок, куранты то и дело тонко и грустно играли на колокольне. Скрипя в тишине по снегу, мы вошли в ворота, пошли по снежным дорожкам по кладбищу, – солнце только что село, еще совсем было светло, дивно рисовались на золотой эмали заката серым кораллом сучья в инее, и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимые лампадки, рассеянные над могилами. Я шел за ней, с умилением глядел на ее маленький след, на звездочки, которые оставляли на снегу новые черные ботинки – она вдруг обернулась, почувствовав это:

– Правда, как вы меня любите! – сказала она с тихим недоумением, покачав головой.

Мы постояли возле могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфте, она долго глядела на чеховский могильный памятник, потом пожала плечом:

– Какая противная смесь сусального русского стиля и Художественного театра!

Стало темнеть, морозило, мы медленно вышли из ворот, возле которых покорно сидел на козлах мой Федор.

– Поездим еще немножко, – сказала она, – потом поедем есть последние блины к Егорову... Только не шибко, Федор, – правда?

– Слушаю-с.

– Где-то на Ордынке есть дом, где жил Грибоедов. Поедем его искать...

И мы зачем-то поехали на Ордынку, долго ездили по каким-то переулкам в садах, были в Грибосдовском переулке; но кто ж мог указать нам, в каком доме жил Грибоедов, – прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоедов? Уже давно стемнело, розовели за деревьями в инее освещенные окна...

– Тут есть еще Марфо-Мариинская обитель, – сказала она.

Я засмеялся:

– Опять в обитель?

– Нет, это я так...

В нижнем этаже в трактире Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одетыми извозчиками, резавшими стопки блинов, залитых сверх меры маслом и сметаной, было парно, как в бане. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозаветные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, где в углу, перед черной доской иконы Богородицы Троеручицы, горела лампадка, сели за длинный стол на черный кожаный диван... Пушок на ее верхней губе был в инее, янтарь щек слегка розовел, чернота райка совсем слилась с зрачком, – я не мог отвести восторженных глаз от ее лица. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты:

– Хорошо! Внизу дикие мужики, а тут блины с шампанским и Богородица Троеручица. Три руки! Ведь это Индия! Вы – барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву.

– Могу, могу! – отвечал я. – И давайте закажем обед силен!

– Как это «силен»?

– Это значит – сильный. Как же вы не знаете? "Рече Гюрги..."

– Как хорошо! Гюрги!

– Да, князь Юрий Долгорукий. "Рече Гюрги ко Святославу, князю Северскому: "Приди ко мне, брате, в Москову" и повеле устроить обед силен".

– Как хорошо. И вот только в каких-нибудь северных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных песнопениях. Недавно я ходила в Зачатьевский монастырь – вы представить себе не можете, до чего дивно поют там стихиры! А в Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как было хорошо! Везде лужи, воздух уж мягкий, на душе как-то нежно, грустно и все время это чувство родины, ее старины... Все двери в соборе открыты, весь день входит и выходит простой народ, весь день службы... Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый глухой, вологодский, вятский!

Я хотел сказать, что тогда и я уйду или зарежу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин, закурил, забывшись от волнения, но подошел половой в белых штанах и белой рубахе, подпоясанный малиновым жгутом, почтительно напомнил:

– Извините, господин, курить у нас нельзя...

И тотчас, с особой угодливостью, начал скороговоркой:

– К блинам что прикажете? Домашнего травничку? Икорки, семушки? К ушице у нас херес на редкость хорош есть, а к наважке...

– И к наважке хересу, – прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. И я уже рассеянно слушал, что она говорила дальше. А она говорила с тихим светом в глазах:

– Я русское летописное, русские сказания так люблю, что до тех пор перечитываю то, что особенно нравится, пока наизусть не заучу. "Был в русской земле город, названием Муром, в нем же самодержествовал благоверный князь, именем Павел. И вселил к жене его диавол летучего змея на блуд. И сей змей являлся ей в естестве человеческом, зело прекрасном..."

Я шутя сделал страшные глаза:

– Ой, какой ужас!

Она, не слушая, продолжала:

– Так испытывал ее Бог. "Когда же пришло время ее благодной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня преставиться им в один день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велели вытесать в едином камне два гробных ложа. И облеклись, такожде единовременно, в монашеское одеяние..."

И опять моя рассеянность сменилась удивлением и даже тревогой: что это с ней нынче?

И вот, в этот вечер, когда я отвез ее домой совсем не в обычное время, в одиннадцатом часу, она, простясь со мной на подъезде, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани:

– Погодите. Заезжайте ко мне завтра вечером не раньше десяти. Завтра «капустник» Художественного театра.

– Так что? – спросил я. – Вы хотите поехать на этот «капустник»?

– Да.

– Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлее этих «капустников»!

– И теперь не знаю. И все-таки хочу поехать.

Я мысленно покачал головой, – все причуды, мос, невские причуды! – и бодро отозвался:

– Ол райт!

В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифте к ее двери, я отворил дверь своим ключиком и не сразу вошел из темной прихожей: за ней было необычно светло, все было зажжено, – люстры, канделябры по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана, а пианино звучало началом "Лунной сонаты" – все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее, в сомнамбулически-блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, – звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел – она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой янтарностью обнаженных рук, плеч, нежного, полного начала груди, сверканием алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ; на висках полукочечками загибались

к глазам черные лоснящиеся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картин-ки.

– Вот если бы я была певица и пела на эстраде, – сказала она, глядя на мое растерянное лицо, – я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легкими поклонами вправо и влево, вверх и в партер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф, чтобы не наступить на него...

На «капустнике» она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрела на актеров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы парижское, на большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в пенсне на корытообразном лице, – оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделяли под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в руке, бледный от хмеля, с крупным потом на лбу, на который свисал клок его белорусских волос, Качалов, поднял бокал и, с деланной мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом:

– Царь-девица, Шамаханская царица, твое здоровье!

И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ее руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня:

– А это что за красавец? Ненавижу!

Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка – и к нам, скользя, подлетел маленький, вечно куда-то спешащий и смеющийся Сулержицкий, изогнулся, изображая гостинодворскую галантность, поспешно пробормотал:

– Дозвольте пригласить на полечку Транблан...

И она, улыбаясь, поднялась и, ловко, коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканиями, меж тем как он, задрав голову, кричал козлом:

Пойдем, пойдем поскорее
С тобой польку танцевать!

В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы оделись, посмотрела на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно:

– Конечно, красив. Качалов правду сказал... "Змей в естестве человеческом, зело прекрасном..."

Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем, – "какой-то светящийся череп", – сказала она. На Спасской башне часы били три, – еще сказала:

– Какой древний звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тем же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом веке. И во Флоренции совсем такой же бой, он там напоминал мне Москву...

Когда Федор осадил у подъезда, безжизненно приказала:

– Отпустите его...

Пораженный, – никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, – я растерянно сказал:

– Федор, я вернусь пешком...

И мы молча потянулись вверх в лифте, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в калориферах. Я снял с нее скользкую от снега шубку, она сбросила с волос на руки мне мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я разделся, вошел в первую комнату и с замирающим точно над пропастью сердцем сел на турецкий диван. Слышны были ее шаги за открытыми дверями освещенной спальни, то, как она, цепляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье... Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, стояла, обнаженной спиной ко мне, перед трюмо, расчесывая черепашковым гребнем черные нити длинных висевших вдоль лица волос.

– Вот все говорил, что я мало о нем думаю, – сказала она, бросив гребень на подзеркальник и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мне. – Нет, я думала...

На рассвете я почувствовал ее движение. Открыл глаза – она в упор смотрела на меня. Я приподнялся из тепла постели и ее тела, она склонилась ко мне, тихо и ровно говоря:

– Нынче вечером я уезжаю в Тверь. Надолго ли, один Бог знает...

И прижалась своей щекой к моей, – я чувствовал, как моргает ее мокрая ресница:

– Я все напишу, как только приеду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала...

И легла на подушку.

Я осторожно оделся, робко поцеловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лестницу, уже светлеющую бледным светом. Шел пешком по молодому липкому снегу, – метели уже не было, все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц, пахло и снегом и из пекарен. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сияла целыми кострами свечей, стал в толпе старух и нищих на растоптанный снег на колени, снял шапку... Кто-то потрогал меня за плечо – я посмотрел: какая-то несчастнейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слез:

– Ох, не убивайся, не убивайся так! Грех, грех!

Письмо, полученное мною недели через две после того, было кратко – ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видеть: "В Москву не вернусь, пойду пока на послушание, потом, может быть, решусь на постриг... Пусть Бог даст сил не отвечать мне – бесполезно длить и увеличивать нашу муку..."

Я исполнил ее просьбу. И долго пропадавал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться – равнодушно, безнадежно... Прошло почти два года с того Чистого понедельника...

В четырнадцатом году, под Новый год, был такой же тихий, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извозчика и поехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя на слабое мерцанье старого золота иконостаса и надмогильных плит московских царей, – стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишине пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велел извозчику ехать на Ордынку, шагом ездил, как тогда, по темным переулкам в садах с освещенными под ними окнами, проехал по Грибоедовскому переулку – и все плакал, плакал...

На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из дверей горестно и умиленно несло пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще:

– Нельзя, господин, нельзя!

– Как нельзя? В церковь нельзя?

– Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за-ради Бога, не ходите, там сейчас великая княгиня Ельзавет Федровна и великий князь Митрий Палыч...

Я сунул ему рубль – он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонко-ликая, в белом обресе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой в руке, великая княгиня; а за нею тянулась такая же белая вереница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер, – уж не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня... Что она могла видеть в темноте, как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот.

12 мая 1944

Часовня

Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище, – бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня. Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли. Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно: там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя застрелил. Все это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда ле-

жат там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках; дедушки и бабушки все старые, а дядя еще молодой...

– А зачем он себя застрелил?

– Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя...

В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи. И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна.

2 июля 1944

Весной, в Иудее

– Эти далекие дни в Иудее, сделавшие меня на всю жизнь хромым, калекой, были в самую счастливую пору моей молодости, – говорил высокий, стройный человек, желтоватый лицом, с карими блестящими глазами и короткими, мелко-курчавыми серебряными волосами, ходивший всегда с костылем по причине не сгибавшейся в колене левой ноги. – Я участвовал тогда в небольшой экспедиции, имевшей целью исследование восточных берегов Мертвого моря, легендарных мест Содомы и Гоморры, жил в Иерусалиме, поджидая своих спутников, задержавшихся в Константинополе, и совершая поездки в одну из бедуинских стоянок по дороге в Иерихон, к шейху Аиду, которого мне рекомендовали иерусалимские археологи и который взялся оборудовать все нужное для нашей экспедиции и лично вести ее. В первый раз я съездил к нему для переговоров с проводником, на другой день он сам приехал ко мне в Иерусалим; потом я стал ездить в его стоянку один, купив у него же чудесную верховую кобылку, – стал ездить даже не в меру часто... Была весна, Иудея тонула в радостном солнечном блеске, вспоминалась "Песнь Песней"; "Зима уже прошла, цветы показались на земле, время песен настало, голос горлицы слышен, виноградные лозы, расцветая, издают благоухание..." Там, на этом древнем пути к Иерихону, в каменистой Иудейской пустыне, все, как всегда, было мертво, дико, голо, слепило зноем и песками. Но и там, в эти светоносные весенние дни, все казалось мне бесконечно радостным, счастливым: в первый раз был я тогда на Востоке, совершенно новый мир видел перед собою, а в этом мире – нечто необыкновенное: племянницу Аида.

Иудейская пустыня – это целая страна, неуклонно спускающаяся до самой Иорданской долины, холмы, перевалы, то каменистые, то песчаные, кое-где поросшие жесткой растительностью, обитаемые только змеями, куропатками, погруженные в вечное молчание. Зимой там, как всюду в Иудее, льют дожди, дуют ледяные ветры; весной, летом, осенью – то же могильное спокойствие, однообразие, но солнечный зной, солнечный сон. В лощинах, где попадаются колодцы, видны следы бедуинских стоянок: пепел костров, камни, сложенные кругами или квадратами, на которых укрепляют шатры... А та стоянка, куда я ездил, где шейхом был Аид, являла такую картину: широкий песчаный лог между холмами и в нем небольшой стан шатров из черного войлока, плоских, четырехугольных и довольно мрачных своей чернотой на желтизне песков. Приезжая, я постоянно видел тлеющие кучки кизняка перед некоторыми шатрами, среди шатров – тесноту: всюду собаки, лошади, мулы, козы – до сих пор не понимаю, чем и где все это кормилось, – множество голых, черномазых, курчавых детей, женщины и мужчины, похожие одни на цыган, другие на негров, хотя не толстогубых... И странно было видеть, как тепло, несмотря на зной, были одеты мужчины: кубовая рубаха до колен, ватная куртка, а сверху аба, то есть очень длинная и тяжелая, широкоплечая хламида из пегой шерсти, полосатой в два цвета – черного и белого; на голове кефийе – желтый с красными полосами платок, распущенный по плечам, висящий вдоль щек и в два раза охваченный на макушке тоже пегим, двуцветным шерстяным жгутом. Все это составляло полную противоположность женской одежде: у женщин на головы накинута кубовая платка, лица открыты, на теле одна длинная кубовая рубаха с острыми, падающими чуть не до земли рукавами; мужчины обуты в грубые башмаки, подбитые железками, женщины ходят босыми, и у всех ступни чудесные, подвижные и от загара уж совсем как уголь. Мужчины курят трубки, женщины тоже...

Когда я во второй раз, без проводника, приехал в стоянку, меня приняли уже как друга. Шатер Аида был самый просторный, и я застал в нем целое собрание пожилых бедуинов, сидевших вокруг черных войлочных стен шатра с поднятыми для входа полами. Аид вышел мне навстречу, сделал поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу. Войдя в шатер впереди

его, я подождал, пока он сел на ковер посреди шатра, потом сделал то, что сделал он мне при встрече, то, что всегда полагается – тот же поклон и прикладывание правой руки к губам и ко лбу, – сделал несколько раз, по числу всех сидящих; потом сел возле Аида и, сидя, опять сделал то же самое; мне, конечно, отвечали тем же. Говорили только мы с хозяином, – кратко и медленно: так тоже полагалось по обычаю, да и не очень сведущ был я тогда в разговорном арабском языке; прочие курили и молчали. А за шатром меж тем готовилось мне и гостям угощение. Обычно бедуины едят хыбыз, – кукурузные лепешки – вареное пшено с козьим молоком... Но непременно угощение гостя – харуф: баран, которого жарят в ямке, вырытой в песке, наваливая на него пласты тлеющего кизьяка. После барана угощают кофеем, но всегда без сахара. И вот все сидели и угощались как ни в чем не бывало, хотя в тени войлочного шатра стояла адски горячая духота и смотреть в его широко раскрытые полы было просто страшно: пески вдали так сверкали, что, казалось, на глазах плавилась. Шейх за каждым словом говорил мне: хаваджа, господин, а я ему: почтеннейший шейх бедави (то есть сын пустыни, бедуин)... Кстати, знаете ли вы, как по-арабски называется Иордан? Очень просто: Шариат, что значит всего-навсего водопой.

Аид был лет пятидесяти, невысок, широк в кости, худ и очень крепок; лицо – обожженный кирпич, глаза прозрачные, серые, пронзительные; медная борода с проседью, жесткая, небольшая, подстриженная, и такие же подстриженные усы, – бедуины то и другое всегда подстригают; обут, как все, в толстые подкованные башмаки. Когда он был у меня в Иерусалиме, на поясе у него был кинжал, в руках длинная винтовка.

Я увидел его племянницу в тот самый день, когда сидел у него в шатре уже "как друг"; она прошла мимо шатра, держась прямо, неся на голове большую жестянку с водой, придерживая ее правой рукою. Не знаю, сколько лет ей было, думаю, что не больше восемнадцати, узнал впоследствии одно – четыре года перед тем она была замужем, а в тот год овдовела, не имел детей, и перешла в шатер дяди, будучи сиротой и очень бедной. "Оглянись, оглянись, Суламифь!" – подумал я. (Ведь Суламифь была, верно, похожа на нее: "Девы иерусалимские, черна я и прекрасна".) И, проходя мимо шатра, она слегка повернула голову, повела на меня глазами: глаза эти были необыкновенно темные, таинственные, лицо почти черное, губы лиловые, крупные – в ту минуту они больше всего поразили меня... Впрочем, одни ли они! Поразило все: удивительная рука, обнажившаяся до плеча, державшая на голове жестянку, медленные, извилистые движения тела под длинной кубовой рубахой, полные груди, поднимавшие эту рубаху... И нужно же было случиться так, что вскоре после этого я встретил ее в Иерусалиме у Яффских ворот! Она шла в толпе навстречу мне и на этот раз несла на голове что-то завернутое в холст. Увидав меня, приостановилась. Я кинулся к ней.

– Ты узнала меня?

Она слегка потрепала свободной левой рукой по плечу меня, усмехнулась:

– Узнала, хаваджа.

– Что это ты несешь?

– Козий сыр несу.

– Кому?

– Всем.

– Значит, продавать? Так носи его ко мне.

– Куда?

– Да вот сюда, в гостиницу...

Я жил как раз у Яффских ворот, в узком высоком доме, слитом с другими домами, по левую сторону той небольшой площади, от которой идет ступенчатая "Улица царя Давида" – темный, крытый где холстами, а где древними каменными сводами ход между такими же древними мастерскими и лавками. И она без всякой робости пошла впереди меня по крутой и тесной каменной лестнице этого дома, слегка откинувшись, свободно напрягая свое извивающееся тело, настолько обнажив правую руку, державшую на голове на кубовом платке круг сыру в холсте, что видны были густые черные волосы ее подмышки. На одном повороте лестницы она приостановилась: там, глубоко внизу за узким окном, виден был древний "Водоем пророка Иезекииля", зеленоватая вода которого лежала, как в колодце, в квадрате соседних сплошных домовых стен с решетчатыми окошечками, – та самая вода, в которой купалась Вирсафия, жена Урия, наготой своей пленившая царя Давида. Приостановившись, она заглянула в окно и, обернувшись, с радостным удивлением взглянула на меня своими удивительными глазами. Я не удержался, поцеловал

ее голое предплечье – она взглянула на меня вопросительно: поцелуй не в обычае у бедуинов. Войдя в мою комнату, она положила свой сверток на стол и протянула ко мне ладонь правой руки. Я положил в ладонь несколько медных монет, потом, замирая от волнения, вынул и показал ей золотой фунт. Она поняла и опустила ресниц, покорно склонила голову и закрыла глаза внутренним сгибом локтя, навзничь легла на кровать, медленно обнажая ноги, прокопченные солнцем, вскидывая живот призывными толчками...

– Когда опять принесешь сыр? – спросил я, провожая ее через час на лестницу.

Она легонько помотала головой:

– Скоро нельзя.

И показала мне пять пальцев: пять дней. Недели через две, когда я уезжал от Аида и отъехал уже довольно далеко, сзади меня хлопнул выстрел – и пуля с такой силой ударила в камень передо мной, что он задымился. Я поднял лошадь вскачь, пригнувшись к седлу, – хлопнул второй выстрел, и что-то крепко хлестнуло мне под колено левой ноги. Я скакал до самого Иерусалима, глядя вниз на свой сапог, по которому, пенясь, лилась кровь... Дивлюсь до сих пор, как мог Аид два раза промахнуться. Дивлюсь и тому, откуда он мог узнать, что это я покупал козий сыр у нее.

1946

Ночлег

Это случилось в одной глухой гористой местности на юге Испании.

Была июньская ночь, было полнолуние, небольшая луна стояла в зените, но свет ее, слегка розоватый, как это бывает в жаркие ночи после кратких дневных ливней, столь обычных в пору цветения лилий, все же так ярко озарял перевалы невысоких гор, покрытых низкорослым южным лесом, что глаз ясно различал их до самых горизонтов.

Узкая долина шла между этими перевалами на север. И в тени от их возвышенностей с одной стороны, в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообразно шумел горный поток и таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно вспыхивая то аметистом, то топазом, летучие светляки, люциолы. Противоположные возвышенности отступали от долины, и по низменности под ними пролегал древняя каменная дорога. Столь же древним казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в этот уже довольно поздний час шагом въехал на гнедом жеребце, припадавшем на переднюю правую ногу, высокий марокканец в широком бурнусе из белой шерсти и в марокканской феске.

Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таким. Марокканец проехал сперва по тенистой улице, между каменными остовами домов, зиявших черными пустотами на месте окон, с одичавшими садами за ними. Но затем выехал на светлую площадь, на которой был длинный водоем с навесом, церковь с голубой статуей Мадонны над порталом, несколько домов, еще обитаемых, а впереди, уже на выезде, постоялый двор. Там, в нижнем этаже, маленькие окна были освещены, и марокканец, уже дремавший, очнулся и натянул поводья, что заставило хромавшую лошадь бодрей застучать по ухабистым камням площади.

На этот стук вышла на порог постоялого двора маленькая, тощая старуха, которую можно было принять за нищую, выскочила круглоликая девочка лет пятнадцати, с челкой на лбу, в эспадрильях на босу ногу, в легоньком платьице цвета блеклой глицинии, поднялась лежавшая у порога огромная черная собака с гладкой шерстью и короткими, торчком стоящими ушами. Марокканец спешился возле порога, и собака тотчас вся подалась вперед, сверкнув глазами и словно с омерзением оскалив белые страшные зубы. Марокканец взмахнул плетью, но девочка его предупредила:

– Негра! – звонко крикнула она в испуге, – что с тобой?

И собака, опустив голову, медленно отошла и легла, мордой к стене дома.

Марокканец сказал на дурном испанском языке приветствие и стал спрашивать, есть ли в городе кузнец, – завтра нужно осмотреть копыто лошади, – где можно поставить ее на ночь и найдется ли корм для нее, а для него какой-нибудь ужин? Девочка с живым любопытством смотрела на его большой рост и небольшое, очень смуглое лицо, изъеденное оспой, опасливо косилась на черную собаку, лежавшую смиренно, но как будто обиженно, старуха, тугая на ухо, поспешно отвечала крикливым голосом: кузнец есть, работник спит на скотном дворе рядом с

домом, но она сейчас его разбудит и отпустит корму для лошади, что же до кушанья, то пусть гость не взывает: можно сжарить яичницу с салом, но от ужина осталось только немного холодных бобов да рагу из овощей... И через полчаса, управившись с лошадейю при помощи работника, вечно пьяного старика, марокканец уже сидел за столом в кухне, жадно ел и жадно пил желтоватое белое вино.

Дом постоялого двора был старинный. Нижний этаж его делился длинными сенями, в конце которых была кругая лестница в верхний этаж, на две половины: налево просторная, низкая комната с нарами для простоте люда, направо такая же просторная, низкая кухня и вместе с тем столовая, вся по потолку и по стенам густо закопченная дымом, с маленькими и очень глубокими по причине очень толстых стен окнами, с очагом в дальнем углу, с грубыми голыми столами и скамьями возле них, скользкими от времени, с каменным неровным полом. В ней горела керосиновая лампа, свисавшая с потолка на почерневшей железной цепи, пахло топкой и горелым салом, – старуха развела на очаге огонь, разогрела прокисшее рагу и жарила для гостя яичницу, пока он ел холодные бобы, политые уксусом и зеленым оливковым маслом. Он не разделся, не снял бурнуса, сидел, широко расставив ноги, обутые в толстые кожаные башмаки, над которыми были узко схвачены по щиколке широкие штаны из той же белой шерсти. И девочка, помогая старухе и прислуживая ему, то и дело пугалась от его быстрых, внезапных взглядов на нее, от его синеватых белков, выделявшихся на сухом и рябом темном лице с узкими губами. Он и без того был страшен ей. Очень высокий ростом, он был широк от бурнуса, и тем меньше казалась его голова в феске. По углам его верхней губы курчавились жесткие черные волосы. Курчавились такие же кое-где и на подбородке. Голова была слегка откинута назад, отчего особенно торчал крупный кадык в оливковой коже. На тонких, почти черных пальцах белели серебряные кольца. Он ел, пил и все время молчал.

Когда старуха, разогрев рагу и сжарив яичницу, утомленно села на скамью возле потухшего очага и крикливо спросила его, откуда и куда он едет, он гортанно кинул в ответ только одно слово:

– Далеко.

Съевши рагу и яичницу, он помотал уже пустым винным кувшином, – в рагу было много красного перца, – старуха кивнула девочке головой, и, когда та, схватив кувшин, мелькнула вон из кухни в ее отворенную дверь, в темные сени, где медленно плыли и сказочно вспыхивали светляки, он вынул из-за пазухи пачку папирос, закурил и кинул все так же кратко:

– Внучка?

– Племянница, сирота, – стала кричать старуха и пустилась в рассказ о том, что она так любила покойного брата, отца девочки, что ради него осталась в девушках, что это ему принадлежал этот постоялый двор, что его жена умерла уже двенадцать лет тому назад, а он сам восемь и все завещал в пожизненное владение ей, старухе, что дела стали очень плохи в этом совсем опустевшем городке...

Марокканец, затягиваясь папиромой, слушал рассеянно, думая что-то свое. Девочка вбежала с полным кувшином, он, взглянув на нее, так крепко затянулся окурком, что обжег кончики острых черных пальцев, поспешно закурил новую папиросу и раздельно сказал, обращаясь к старухе, глухоту которой уже заметил:

– Мне будет очень приятно, если твоя племянница сама нальет мне вина.

– Это не ее дело, – отрезала старуха, легко переходившая от болтливости к резкой краткости, и стала сердито кричать:

– Уже поздно, допивай вино и иди спать, она сейчас будет стелить тебе постель в верхней комнате.

Девочка оживленно блеснула глазами и, не дожидаясь приказания, опять выскочила вон, быстро затопала по лестнице наверх.

– А вы обе где спите? – спросил марокканец и слегка сдвинул феску с потного лба.

– Тоже наверху?

Старуха закричала, что там слишком жарко летом, что когда нет постояльцев, – а их теперь почти никогда нет! – они спят в другой нижней половине дома, – вот тут, напротив, – указала она рукой в сени и опять пустилась в жалобы на плохие дела и на то, что все стало очень дорого и что поэтому поневоле приходится брать дорого и с проезжих...

– Я завтра уеду рано, – сказал марокканец, уже явно не слушая ее. – А утром ты дашь мне

только кофе. Значит, ты можешь теперь же счесть, сколько с меня следует, и я сейчас же расплачусь с тобой. – Посмотрим только, где у меня мелкие деньги, – прибавил он и вынул из-под бурнуса мешочек из красной мягкой кожи, развязал, растянул ремешок, который стягивал его отверстие, высыпал на стол кучку золотых монет и сделал вид, что внимательно считает их, а старуха даже привстала со скамьи возле очага, глядя на монеты округлившимися глазами.

Наверху было темно и очень жарко. Девочка отворила дверь в душную, горячую темноту, в которой остро светились щели ставней, закрытых за двумя такими же маленькими, как и внизу, окнами, ловко вильнула в темноте мимо круглого стола посреди комнаты, отворила окно и, толкнув, распахнула ставни на сияющую лунную ночь, на огромное светлое небо с редкими звездами. Стало легче дышать, стал слышен поток в долине. Девочка высунулась из окна, чтобы взглянуть на луну, не видную из комнаты, стоявшую все еще очень высоко, потом взглянула вниз: внизу стояла и, подняв морду, глядела на нее собака, приبلудным щенком забежавшая откуда-то лет пять тому назад на постоялый двор, выросшая на ее глазах и привязавшаяся к ней с той преданностью, на которую способны только собаки.

– Негра, – шепотом сказала девочка, – почему ты не спишь?

Собака слабо взвизгнула, мотнув вверх мордой и кинулась к отворенной двери в сени.

– Назад, назад! – поспешным шепотом приказала девочка. – На место!

Собака остановилась и опять подняла морду, сверкнув красным огоньком глаз.

– Что тебе надо? – ласково заговорила девочка, всегда разговаривавшая с ней, как с человеком. – Почему ты не спишь, глупая? Это луна так тревожит тебя?

Как бы желая что-то ответить, собака опять потянулась вверх мордой, опять тихо взвизгнула. Девочка пожала плечом. Собака была для нее тоже самым близким, даже единственным близким существом на свете, чувства и помыслы которого казались ей почти всегда понятными. Но что хотела выразить собака сейчас, что ее тревожило нынче, она не понимала и потому только строго погрозила пальцем и опять приказала притворно сердитым шепотом:

– На место. Негра! Спать!

Собака легла, девочка еще немного постояла у окна, подумала о ней... Возможно, что ее тревожил этот страшный марокканец. Почти всегда встречала она постояльцев двора спокойно, не обращала внимания даже на таких, что с виду казались разбойниками, каторжниками. Но все же случалось, что на некоторых кидалась она почему-то как бешеная, с громовым ревом, и тогда только она одна могла смирить ее. Впрочем, могла быть и другая причина ее тревоги, ее раздражения – эта жаркая, без малейшего движения воздуха и такая ослепительная, полнолунная ночь. Хорошо слышно было в необыкновенной тишине этой ночи, как шумел поток в долине, как ходил, топал копытцами козел, живший на скотном дворе, как вдруг кто-то, – не то старый мул постоялого двора, не то жеребец марокканца, – со стуком лягнул его, а он так громко и гадко заблеял, что, казалось, по всему миру раздалось это дьявольское блеяние. И девочка весело отскочила от окна, растворила другое, распахнула и там ставни. Сумрак комнаты стал еще светлее. Кроме стола, в ней стояли у правой от входа стены, изголовьями к ней, три широких кровати, покрытые только грубыми простынями. Девочка откинула простыню на первой от входа кровати, поправила изголовье, вдруг сказочно осветившееся прозрачным, нежным голубоватым светом: это был светляк, севший на ее челку. Она провела по ней рукой, и светляк, мерцая и погасая, поплыл по комнате. Девочка легонько запела и побежала вон.

В кухне во весь свой рост стоял спиной к ней марокканец и что-то негромко, но настойчиво и раздраженно говорил старухе. Старуха отрицательно мотала головой. Марокканец вздернул плечами и с таким злобным выражением лица обернулся к вошедшей девочке, что она отшатнулась.

– Готова постель? – гортанно крикнул он.

– Все готово, – торопливо ответила девочка.

– Но я не знаю, куда мне идти. Проводи меня.

– Я сама провожу тебя, – сердито сказала старуха. – Иди за мной.

Девочка послушала, как медленно топала она по крутой лестнице, как стучал за ней башмаками марокканец, и вышла наружу. Собака, лежавшая у порога, тотчас вскочила, взвилась и, вся дрожа от радости и нежности, лизнула ей в лицо.

– Пошла вон, пошла вон, – зашептала девочка, ласково оттолкнула ее и села на пороге. Собака тоже села на задние лапы, и девочка обняла ее за шею, поцеловала в лоб и стала покачи-

ваться вместе с ней, слушая тяжелые шаги и гортанный говор марокканца в верхней комнате. Он что-то уже спокойнее говорил старухе, но нельзя было разобрать что. Наконец он сказал громко:

– Ну, хорошо, хорошо! Только пусть она принесет мне воды для питья на ночь.

И слышались шаги осторожно сходящей по лестнице старухи.

Девочка вошла в сени навстречу ей и твердо сказала:

– Я слышала, что он говорил. Нет, я не пойду к нему. Я его боюсь.

– Глупости, глупости! – закричала старуха. – Ты, значит, думаешь, что я опять сама пойду с моими ногами да еще в темноте и по такой скользкой лестнице? И совсем нечего бояться его. Он только очень глупый и вспыльчивый, но он добрый. Он все говорил мне, что ему жалко тебя, что ты девочка бедная, что никто не возьмет тебя замуж без приданого. Да и правда, какое же у тебя приданое? Мы ведь совсем разорились. Кто теперь у нас останавливается, кроме нищих мужиков!

– Чего ж он так злился, когда я вошла? – спросила девочка.

Старуха смутилась.

– Чего, чего! – забормотала она. – Я сказала ему, чтобы он не вмешивался в чужие дела...

Вот он и обиделся...

И сердито закричала:

– Ступай скорей, набери воды и отнеси ему. Он обещал что-нибудь подарить тебе за это.

Иди, говорю!

Когда девочка вбежала с полным кувшином в отворенную дверь верхней комнаты, марокканец лежал на кровати уже совсем раздетый: в светлом лунном сумраке пронзительно чернели его птичьи глаза, чернела маленькая коротко стриженная голова, белела длинная рубаша, торчали большие голые ступни. На столе среди комнаты блестел большой револьвер с барабаном и длинным дулом, на кровати рядом с его кроватью белым бугром была навалена его верхняя одежда... Все это было очень жутко. Девочка с разбегу сунула на стол кувшин и опрометью кинулась назад, но марокканец вскочил и поймал ее за руку.

– погоди, погоди, – быстро сказал он, потянув ее к кровати, сел, не выпуская ее руки, и зашептал: – Сядь возле меня на минутку, сядь, сядь, послушай... только послушай...

Ошеломленная, девочка покорно села. И он торопливо стал клясться, что влюбился в нее без памяти, что за один ее поцелуй даст ей десять золотых монет... двадцать монет... что у него их целый мешочек...

И, выдернув из-под изголовья мешочек красной кожи, трясущимися руками растянул его, высыпал золото на постель, бормоча:

– Вот видишь, сколько их у меня... Видишь?

Она отчаянно замотала головой и вскочила с кровати. Но он опять мгновенно поймал ее и, зажав ей рот своей сухой, цепкой рукой, бросил ее на кровать. Она с яростной силой сорвала его руку и пронзительно крикнула:

– Негра!

Он опять стиснул ей рот вместе с носом, стал другой рукой ловить ее заголившиеся ноги, которыми она, брыкаясь, больно била его в живот, но в ту же минуту услышал рев вихрем мчавшейся по лестнице собаки. Вскочив на ноги, он схватил со стола револьвер, но не успел даже курка поймать, мгновенно сбитый с ног на пол. Защищая лицо от пасти собаки, растянувшейся на нем, обдававшей его огненным псиним дыханием, он метнулся, вскинул подбородок – и собака одной мертвой хваткой вырвала ему горло.

23 марта 1949

Рассказы последних лет

Три рубля

В тот летний вечер я приехал из деревни в наш уездный город по железной дороге, часу в девятом. Было еще жарко, от туч сумрачно, надвигалась гроза. Когда извозчик помчал меня, подымая пыль, от вокзала по темнеющему полю, сзади вдруг что-то вспыхнуло, дорога впереди

на мгновение озарилась золотом, где-то прокатился гром и крупными звездами зашлепал по пыли и пролетке быстрый, редкий дождь, тотчас, же прекратившийся. Потом пролетка, сорвавшись под изволок с мягкой дороги, задрезжала по каменному мосту через пересохшую речку. За мостом дико чернели и металлически пахли городские кузни. На дороге в гору горел запыленный керосиновый фонарь...

В гостинице Воробьева, лучшей в городе, мне, как всегда, отвели комнату со спальней за перегородкой. Воздух в этой комнате с двумя затворенными окнами за белыми коленкоровыми занавесками был горяч, как в печи. Я приказал коридорному отворить окна настежь, принести самовар и поскорей подошел к окну: в комнате дышать было нечем. За окном уже чернела темнота, в которой то и дело вспыхивали молнии, теперь уже голубые, и катился точно по ухабам гул грома. И, помню, я подумал: до того ничтожное городишко, что даже непонятно, зачем так грозно вспыхивает над ним этот великолепный голубой свет и так величественно грохочет, сотрясается мрачное, невидимое небо. Я пошел за перегородку и, снимая с себя пиджак и развязывая галстук, услышал, как влетел с самоваром на подносе коридорный и стукнул в круглый стол перед диваном. Я выглянул: кроме самовара, полоскательницы, стакана и тарелки с булкой, на подносе была еще чашка.

– А чашка зачем? – спросил я.

Коридорный ответил, заиграв глазами:

– Там вас одна барышня спрашивает, Борис Петрович.

– Какая барышня?

Коридорный пожал плечом и манерно усмехнулся.

– Понятно какая. Очень просила впустить, обещала рубль на чай, если хорошо заработает.

Видела, как вы подъехали...

– Из уличных, значит?

– Ясное дело. Таких у нас никогда незаметно было: приезжие обыкновенно за барышнями к Анне Матвеевне посылают, а тут вдруг какая-то сама входит. Ростом замечательная и вроде гимназистки.

Я подумал о скучном вечере, который предстоял мне, и сказал:

– Это забавно. Впусти ее.

Коридорный радостно исчез. Я стал заваривать чай, но в дверь тотчас постучали, и я с удивлением увидел, как, не дожидаясь ответа, в комнату развязными шагами больших ног в старых холщовых туфлях вошла рослая девушка в коричневом гимназическом платье и соломенной шляпке с пучком искусственных васильков сбоку.

– Вот шла и забрела на огонек к вам, – с попыткой иронической усмешки сказала она, отводя в сторону темные глаза.

Все это было совсем не похоже на то, что я ожидал, я слегка растерялся и ответил не в меру весело:

– Очень приятно. Снимайте шляпку и присаживайтесь чай пить.

За окнами вспыхнуло уже фиолетово и совсем широко, гром прокатился где-то близко и предостерегающе, в комнату пахнуло ветром, и я поспешил затворить окна, обрадовавшись возможности скрыть свое смущение. Когда я обернулся, она сидела на диване, сняв шляпку и закидывая назад стриженные волосы продолговатой загорелой рукой. Волосы у нее были густые, каштановые, лицо несколько широкоскулое, в веснушках, губы полные и сиреневые, глаза темные и серьезные. Я хотел шутливо извиниться, что я без пиджака, но она сухо посмотрела на меня и спросила:

– Сколько вы можете заплатить?

Я опять ответил с деланной беспечностью:

– Успеет еще сговорится! Выпьем прежде чайку.

– Нет, – сказала она, хмурясь, – я должна знать условия. Я меньше трех рублей не беру.

– Три так три, – сказал я с той же глупой беспечностью.

– Вы шутите? – спросила она строго.

– Нисколько, – ответил я, думая: "Напою се чаем, дам три рубля и выпровожу с богом".

Она вздохнула и, закрыв глаза, откинула голову на отвал дивана. Я подумал, глядя на ее бескровные, сиреневые губы, что она, верно, голодна, подал ей чашку чаю и тарелку с булкой, сел на диван тронул ее за руку:

– Кушайте, пожалуйста.

Она открыла глаза и молча стала пить и есть. Я пристально смотрел на ее загорелые руки и строго опущенные темные ресницы, думая, что дело все больше принимает нелепый оборот, и спросил:

– Вы здешняя?

Она помотала головой, запивая булку:

– Нет, дальняя...

И опять замолчала. Потом стряхнула с колен крошки и вдруг встала, не глядя на меня:

– Я пойду раздеваться.

Это было неожиданнее всего, я хотел что-то сказать, но она повелительно перебила меня:

– Затворите дверь на ключ и опустите шторы на окнах. И пошла за перегородку.

Я с бессознательной покорностью и поспешностью опустил шторы, за которыми продолжали все шире сверкать молнии, будто стараясь поглубже заглянуть в комнату, и все настойчивее катились сотрясающиеся гулы, повернул в прихожей дверной ключ, не понимая, зачем я все это делаю, и уже хотел было войти к ней с притворным смехом, перевести все в шутку или со- врать, что у меня страшно разболелась голова, но она громко сказала из-за перегородки:

– Идите...

И я опять бессознательно повиновался, вошел за перегородку и увидел ее уже в постели: она лежала, натянув одеяло до подбородка, дико смотрела на меня совершенно почерневшими глазами и сжимала постукивающие зубы. И в беспамятстве растерянности и страсти я дернул одеяло из ее рук, раскрыв все ее тело в одной коротенькой заношенной сорочке. Она едва успела поймать голой рукой деревянную грушу над изголовьем и потушить свет...

Потом я стоял в темноте возле раскрытого окна, жадно курил, слушал шум отвесного ливня, низвергавшегося в черном мраке на мертвый город вместе с ярким и быстрым трепетом фиолетовых молний и дальними ударами грома, думал, вдыхал дождевую свежесть, смешанную с запахами города, накаленного за день: да, непонятное соединение – это жалкое захолустье и это божественно-грозное, грохочущее и слепящее в ливне величие, – и все больше дивился и ужасался: как же это я все-таки не понял до конца, с кем я имею дело, и почему она решилась продать за три рубля свою девственность! Да, девственность! Она окликнула меня.

– Закройте окно, очень шумит, и подите ко мне.

Я вернулся в темноте за перегородку, сел на постель и, найдя и целуя ее руку, стал говорить:

– Простите, простите меня...

Она бесстрастно спросила:

– Вы думали, что я настоящая проститутка, но только очень глупая или сумасшедшая?

Я поспешно ответил:

– Нет, нет, не сумасшедшая, я только думал, что вы еще малоопытны, хотя уже знаете, что некоторые девицы в известных домах надевают гимназическое платье.

– Зачем?

– Чтобы казаться невиннее, привлекательнее.

– Нет, я этого не знала. У меня нет другого платья. Я только нынешней весной кончила гимназию. Тут внезапно умер папа, – мама умерла давно, – я из Новочеркасска приехала сюда, думала найти тут через одного нашего родственника работу, остановилась у него, а он стал приставать ко мне, и я ударила его и все ночевала на скамейках в городском саду... Я думала, что умру, когда вошла к вам. А тут еще увидела, что вы хотите как-нибудь отделаться от меня.

– Да, я попал в глупое положение, – сказал я. – Я согласился впустить вас просто так, от скуки, – я с проститутками никогда не имел дела. Я думал, что войдет какая-нибудь самая обыкновенная уличная девочка, и я угощу ее чаем, поболтаю, пошучу с ней, потом просто подарю ей два-три рубля...

– Да, а вместо этого вошла я. И почти до последней минуты старалась держать в голове одно: три рубля, три рубля. А вышло что-то совсем другое. Теперь я уже ничего не понимаю...

Ничего не понимал и я: темнота, шум ливня за окнами, возле меня лежит на постели какая-то новочеркасская гимназистка, которой я до сих пор не знаю даже имени... потом эти чувства, что с каждой минутой все неудержимее растут во мне к ней... Я с трудом выговорил:

– Чего вы не понимаете?

Она не ответила. Я вдруг зажег свет, – передо мной блеснули ее большие черные глаза, полные слезами. Она порывисто поднялась и, закусив губу, упала головой на мое плечо. Я откинул ее голову и стал целовать ее искаженный и мокрый от слез рот, обнимая ее большое тело в спустившейся с плеча заношенной сорочке, с безумием жалости и нежности увидел ее пропыленные смуглые девичьи ступни... Потом номер был полон сквозь спущенные шторы утренним солнцем, а мы все еще сидели и говорили на диване за круглым столом, – она с голоду допивала холодный чай, оставшийся с вечера, и доедала булку, – и все целовали друг другу руки.

Она осталась в гостинице, я съездил в деревню, и на другой день мы уехали с ней на Минеральные Воды.

Осень мы хотели провести в Москве, но и осень и зиму провели в Ялте – она начала гореть и кашлять, в комнатах у нас запахло креозотом... А весной я схоронил ее.

Ялтинское кладбище на высоком холме. И с него далеко видно море, а из города – кресты и памятники. И среди них, верно, и теперь еще белеет мраморный крест на одной из самых дорогих мне могил. И я уже больше никогда не увижу его – бог милосердно избавил меня от этого.

1944

Легенда

Под орган и пение, – все пели под орган нежное, грустное, умиленное, говорившие: "Хорошо нам с тобой, господи!" – под орган и пение вдруг так живо увидел, почувствовал ее, – мой вымысел, неожиданный, внезапный, неведомо откуда взявшийся, как все мои подобные вымыслы, – что вот весь день думаю о ней, живу ее жизнью, ее временем. Она была в те давние дни, что мы зовем древностью; но видела вот это же солнце, что вижу и я сейчас, эту землю, столь любимую мной, этот старый город, этот собор, крест которого все так же, как в древности, плывет в облаках, слышала те же песнопения, что слышал нынче и я. Она была молода, ела, пила, смеялась, болтала с соседками, работала и пела, была девушкой, невестой, женой, матерью... Она умерла рано, как часто умирают милые и веселые женщины, и была отпета в этом соборе, и вот уже несколько веков нет ее в мире, где без нее было столько новых войн, новых пап, королей, солдат, купцов, монахов, рыцарей, меж тем как все лежали и лежали в земле ее пористые кости, ее пустой маленький череп... Сколько их в земле, этих костей, черепов! Все человеческое прошлое, вся людская история – сонмы, легионы умерших! И будет день, когда буду и я, сопричисленный к ним, так же страшен своими костями и гробом воображению живых, как все они, – то несметное полчище, что затопит всю землю в оный Судный час, – и все-таки будут новые живые жить мечтами о нас, Умерших, о нашей древней жизни, о нашем давнем времени, что будет казаться им прекрасным и счастливым, – ибо легендарным.

1949

Бернар

Дней моих на земле осталось уже мало.

И вот вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Приморских Альпах, в близком соседстве с Антибами.

– Я крепко спал, когда Бернар швырнул горсть песку в мое окно...

Так начинается «На воде» Мопассана, так будил его Бернар перед выходом «Бель Ами» из Антибского порта 6 апреля 1888 года.

– Я открыл окно, и в лицо, в грудь, в душу мне пахнул очаровательный холодок ночи. Прозрачная синева неба трепетала живым блеском звезд...

– Хорошая погода, сударь.

– А ветер?

– С берега, сударь.

Через полчаса они уже в море.

– Горизонт бледнел, и вдали, за бухтой Ангелов, виднелись огни Ниццы, а еще дальше – вращающийся маяк Вильфранша... С гор, еще невидимых, – только чувствовалось, что они покрыты снегом, – доносилось иногда сухое и холодное дыхание...

– Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселела, ускорила ход, заплясала на лег-

кой и мелкой зыби. Наступал день, звезды гасли... В далеком небе, над Ниццей, уже зажигались каким-то особенным розовым огнем снежные хребты Верхних Альп...

Я передал руль Бернару, чтобы любоваться восходом солнца. Крепнувший бриз гнал нас по трепетной волне, я слышал далекий колокол, – где-то звонили, звучал *Angelus*... Как люблю я этот легкий и свежий утренний час, когда люди еще спят, а земля уже пробуждается! Вдыхаешь, пьешь, видишь рождающуюся телесную жизнь мира, – жизнь, тайна которой есть наше вечное и великое мучение...

– Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, заботлив и бдителен. Это чистосердечный, верный человек и превосходный моряк...

Так говорил о Бернаре Мопассан. А сам Бернар сказал про себя следующее:

– Думаю, что я был хороший моряк. *Je crois bien que j'etais un bon marin.*

Он сказал это, умирая, – это были его последние слова на смертном одре в тех самых Антибах, откуда он выходил на «Бель Ами» 6 апреля 1888 года.

Человек, который видел Бернара незадолго до его смерти, рассказывает:

– В продолжение многих лет Бернар делил бродячую морскую жизнь великого поэта, не расставался с ним до самого рокового отъезда его к доктору Бланш, в Париж.

– Бернар умер в своих Антибах. Но еще недавно видел я его на солнечной набережной маленького Антибского порта, где так часто стояла «Бель Ами».

– Высокий, сухой, с энергичным и продубленным морской солью лицом, Бернар не легко пускался в разговоры. Но стоило только коснуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и нужно было слышать, как говорил он о нем!

– Теперь он умолк навеки. Последние его слова были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Я живо представляю себе, как именно сказал он эти слова. Он сказал их твердо, с гордостью, перекрестившись черной, иссохшей от старости рукой:

Je crois bien que j'etais un bon marin.

А что хотел он выразить этими словами? Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл, какое-то высокое божье намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире «было хорошо» и что усердное исполнение этого божьего намерения, есть всегда наша заслуга перед ним, а посему и радость, гордость. И Бернар знал и чувствовал это. Он всю жизнь усердно, достойно верно исполнял скромный долг, возложенный на него богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же ему было не сказать того, что он сказал, в свою последнюю минуту? «Ныне отпускаеши, владыко, раба твоего, и вот я осмеливаюсь сказать тебе и людям: думаю, что я был хороший моряк».

– В море все заботило Бернара, писал Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль на западе... Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже капли воды на какой-нибудь медной части...

Да какая польза ближнему могла быть в том, что Бернар сейчас же стирал эту каплю? А вот он стирал ее. Зачем, почему?

Но ведь сам бог любит, чтобы все было «хорошо». Он сам радовался, видя, что его творения «весьма хороши».

Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар.

1952

История с чемоданом

Начинается эта ужасная история весело, просто и гладко.

Дело происходит в доброе старое время, однажды весной.

Я молод, беспечен, легковверен, живу в Москве и собираюсь в свое первое путешествие в Турцию, что, конечно, еще больше меня окрыляет, делает особенно легким в решениях, в поступках, в доверии к жизни.

И вот наступает день моего отъезда, я начинаю укладывать вещи, вижу, что мой прежний чемодан слишком мал, истрепан, и отправляюсь в Английский магазин, на Кузнецкий, чтобы купить новый, большой, прочный.

Что такое чемодан? Это ближайший, интимнейший друг человека, – по крайней мере, в дороге, – выбор которого требует, значит, немало ума, расчета, опытного и зоркого глаза, способности многое предвидеть, взвесить, а еще и того, конечно, чтобы, выбирая вещь практично, выбрать вместе с тем нечто такое, что не причинило бы ущерба и эстетическим вкусам, пренебрежение к которым может иной раз сделать самую практичную покупку ненавистной. Что до чемодана, о котором идет эта повесть, то я купил его совсем иначе: вне всяких мудрых правил, изложенных выше, без дум и размышлений, с небрежнейшей быстротой, однако ж на редкость удачно. Так, во всяком случае, казалось сначала – и не без оснований: чемодан на первый взгляд был безупречен.

Я до сих пор отлично помню, как произошла эта покупка. Я вошел в магазин бодро, живо, с тем приятным чувством, с каким всегдаходишь в магазин дорогой, богатый и потому спокойный, просторный, красивый, а главное, знакомый, где тебя не только давно знают, но, как кажется, и любят, где продавцы, похожие на людей из хорошей гостиной, встречают тебя какою-то такой улыбкой, что тебе вдруг делается очень лестно и ты мгновенно становишься фатом, спеша притвориться тем именно светским молодым человеком, держаться которым тотчас заставляет тебя уже одна эта улыбка. Я, помню, отвечая на поклон, засунув в левый карман пальто набалдашник трости, конец которой торчал у меня за плечом, быстрым шагом прошел по коврам, по разным отделеньям магазина, мельком хвостнул, что уезжаю надолго, далеко, и, войдя в дорожное отделение, кивнул головой на первый попавшийся чемодан смуглой кожи, не спросив даже, что он стоит, – только приказав отправить его вместе со счетом в мой номер в «Лоскутной». Я сразу, конечно, заметил, что в своем фатовстве слегка зарвался, – что цена чемодана, когда я о ней узнаю, заставит меня ахнуть. Но эта мысль, это чувство тотчас исчезли в сознание, что такой превосходной вещи у меня еще никогда не бывало, что я могу покрыть эту трату экономией на прочих расходах... Взгляд мой упал на этот чемодан совершенно случайно, но я им сразу восхитился – и не даром.

Повторяю: не в пример большинству покупок, столь пленяющих в лавках, а дома, при ближайшем и спокойном рассмотренье, приносящих чаще всего большое разочарование, чемодан оказался и в «Лоскутной» вполне достойным восхищения. В магазине он так поразил меня своими замками, кожей и тем, как он вообще дивно сработан, что я, принужденный сделать до отъезда еще кое-какие покупки, ужасно торопился как можно скорее воротиться домой, спешил, как на любовное свидание. А он был уже там, в «Лоскутной», как бы ждал моего прихода, спокойно лежа в номере на диване, весь обернутый толстой синей бумагой и увязанный тонкой и крепкой бечевкой. Я наконец приехал, вбежал в номер и кинулся к дивану. Я быстро перерезал бечевку, разметал бумагу – и вот мой новый друг и спутник предстал передо мной во всем своем блеске: большой, тяжелый, прочный, ладный, с этим удивительным лоском новой великолепной кожи, с зеркально-белыми замками, благородно – пахучий, атласно-скрипящий... Легко себе представить, с каким чувством я его раскрыл, увидел его девственные недра, большой карман темно-красного сафьяна с исподу верхней половины!

Так радовал он меня всю дорогу до Одессы. Я все время наслаждался чувством своего обогащения, мыслью о том, чем обладаю. Сажу в вагоне-ресторане за обедом, лечу и мотаюсь, расплескивая, наливаю красное бордо в низкий и толстый стакан, гляжу на столы, на соседей, на тот веселый, пестрый блеск, что присущ всем вагонам-ресторанам, потом пью кофе и курю жаркую и сладкую сигару, а сам мысленно вижу свое купе с уже раскрытой постелью, лампочку под розовым абажуром на столике возле постели – и его, мою гордость: лежит себе в оттянувшейся сетке, плотно набитый всем мне необходимым, качается и дремлет, мчитя вместе со всеми нами в Киев, в Одессу! Возвратясь в купе после обеда, выписываю нарзану, слегка задыхаюсь от его стекляннно-колючих иголок, раздеваюсь, тушу свет, засыпаю – и опять та же мысль, то же чувство: ночь, вагон, темнота, все летит, рвет, скачет, а он тут, он со мной, в этой сетке... Я чувствовал к нему даже какую-то благодарность!

Ну-с, а затем мы приехали с ним в Киев, пересели в другой поезд, тоже ночной, курьерский, а утром проснулись уже под Одессой, в то время когда весь вагон умывался, одевался, пил чай и кофе, что несли по поезду лакеи... В Одессе мы остановились в «Петербургской», он, то

есть чемодан, полежал в вестибюле, а я съездил в пароходную контору, потом позавтракал в ресторане «Петербургской» жареной глосью, запивая ее белым вином кристи, и, расплатившись по счету и вновь соединившись с чемоданом, поскакал в Карантинную Гавань... Пароход уже готовился к отходу. Он оказался старый, выдавший виды, низкий, с тяжелой кормою, с глубокой посадкой, – значит, подумал я, покойный, не валкий. Был он приятен и тем, что был совсем почти безлюден, – только подъехало в самую последнюю минуту еще два пассажира первого класса, какой-то ксендз и в трауре худая дама, из посольских, – так что в нашем с чемоданом распоряжении оказалась целая большая каюта. Там чемодан лег на верхней койке, а я расположился на нижней. Вскоре после того пошел над нами топот матросов, под бортами зашумело, забурило, послышались свистки, команда, треньканье телеграфа из вахтенной рубки в машину, набережная стала от бока парохода отделяться... На закате мы были уже далеко в море, и я не запомню столь ровного, безмятежного хода, каким шли мы весь вечер, а потом в мягкой тьме морской ночи с теплым и все крепнущим ветром. Надышавшись им на юте, я, часов в десять, был уже в койке и стал погружаться в сладкую дремоту, медленно опускаясь и поднимаясь вместе с нею, валясь то на правый бок, то на левый, временами шумно покрываясь целым водопадом вдруг откуда-то ударившей в стену волны, временами же ровно, тихо дрожа на слегка стучащей дрожи работавшей где-то в глубине машины... как вдруг, как раз в ту самую минуту, когда я уж совсем было исчез куда-то, меня вознесло, как на качелях, потом метнуло книзу и оглушило таким громом, что я дико сорвался с койки – в полном убеждении, что пароход налетел на что-то, что сейчас в каюту хлынет море, – и получил такой страшный удар в ноги, что ринулся вниз головой, под ревущий умывальник, но, по счастью, не успел его достигнуть, ибо пол за мной внезапно провалился, и я снова покотился к койке, снова настигаемый каким-то громом... И пошла, пошла потеха!

Дело было ясно: страшная качка! Но этот гром, грохот? Этот удар в ноги? Чем это меня так хватило? Страшней всего было мгновенье ожидания нового удара, пока я катился к койке. Тут я, однако, изловчился, упал в койку грудью и, поймав на переборке какую-то кнопку, осветил каюту. Что ж оказалось? В шуме волн, в свисте ветра, в скрипе переборок, по полу бешено летающей каюты носится что-то живое! Да, живое, живое! Что? Но чемодан, конечно! Это он оглушил меня громом, брякнувшись с верхней койки об пол, потом чуть не перебил мне ноги... Теперь, на свободе, он носился по каюте как угорелый. Он точно мстил кому-то за всю ту покорность, с которой он должен был лежать всю дорогу в сетках, притворяться моей вещью, бездушным чемоданом. Он вдруг ожил и бесовски разыгрался: гладкий, скользкий, тяжелый, как булыжник, набитый мной до круглоты, до отказа, как говорят нынче, он, в диком и резком веселье, то мчался на меня, на койку и бил лбом в ножку койки, то, подпрыгнув, кубарем летел под умывальник, а оттуда к двери, а от двери под иллюминатор... Умывальник, мотаясь, как пьяный, задышался, отчаянно ловил своей дырой воздух, клокотал и захлебывался ревом, переборки трещали, скрипели, иллюминатор то и дело падал своим черным стеклом в налетающие волны, которые, взвиваясь, били в него густой, мутной слюной, текли ее мерзкими разводами, кружевами, а чемодан стерженел все больше и больше, ничуть себя не жалея, драл свою дивную кожу, с яростью бился замками и углами обо что попало... Надо было немедля кинуться на этого безумца, подмять под себя, притиснуть к полу, забить под койку! И пот я опять сорвался с конки и упал на него всем телом. Но тут пол за мной опять рухнул, впереди же встал дыбом – и чемодан быстро выскользнул из-под моего тела, крепко дал мне в темя и, крутясь, грохоча, сам понесся под койку. Я мгновенно перевернулся и уже готов был вбить его туда одним ударом, но он вдруг подпрыгнул, как мячик, взвился и понесся к двери, а я угодил как раз туда, куда его метил, – под железную сетку койки, страшно ободравшую мне плечи.

Продолжать ли рисовать эту гнусную битву? Ей не было конца и края. Я тоже потерял рассудок, тоже остервенился. Сперва я еще думал, что все это только игра моего воображения, – что чемодан мне только показался живым, одушевленным; я сначала испугался лишь корыстно, – того, что он весь изобьется, обдерется, кинется к нему, в сущности, на помощь, чтобы облегчить ему возможность где-нибудь приткнуться, задержаться... Но нет, он вовсе не был лишь игрушкой, забавой волн и ветра, бессмысленной вещью, безвольно вверх и вниз летавшей вместе с каютой! Он, видимо, сознательно был счастлив всем этим адом качки, давшей ему столь чудесный случай сорваться на пол и пуститься в свои беснованья, раззадорить меня ими, вовлечь в схватку и начать нещадно гвоздить почем попало, И если б кто видел, сколь он оказался ловок, прыток,

изворотлив, как метки и ужасны были все его удары, какой умной, сильной, злобной тварью он вдруг объявился! Но ведь и я был не из таковских, что сдаются сразу. Я бился не на живот, а на смерть, руками и ногами, – и порой награждал его такими тумачами, что он, невзвидев света, взвизывал чуть не на умывальник, у которого все больше выворачивало душу от морской болезни. Я скрежетал зубами, – о, если бы помощь! Но кто же мог помочь мне? Кричать – верх позора, да и кто бы отозвался? Не спали лишь там, на вахте! Я задыхался, обливался потом, катаясь по каюте в самом постыдном, растерзанном виде, молил бога о кинжале: о, если б кинжал – с каким упоением я всадил бы его в бок этой твари! Но какой кинжал, откуда? Да и что ему кинжалы!

Кончилось все же моим бегством. «Будь ты проклят! крикнул я ему под утро. – Носись, взвивайся, грохочи тут сколько хочешь!» – И, кое-как одевшись, выскочил вон из каюты.

Наверху был холод, лед, пустыня, буря, палубу то и дело крыло пенными и шумными хвостами крепко пахнущего мокрым бельем моря. Я жадно хватал грудью свежий воздух, стоял, мотался, хватаясь за притолоку рубки. Уже стихало и светало. Борт передо мной летел в лиловеющее облачное небо, а небо куда-то прочь, в бездну, потом вдруг открывалась и отвесно неслась прямо на меня равнина моря, – зелено-седого, изрытого ухабами, горами, с которых дымом, метелью гнало пыль пены. Я метнулся из рубки на холодный ветер или, говоря поэтичней, в ледяные крылья бури – и, с безобразно вздутым картузом, в один зигзаг перелетел к юту, ют в тот же миг взвился вверх своим широким задом, все остальное, вся та неуклюжая тяжесть, что была впереди, подо мной – палуба, рубка, труба и отчаянно вопиющие спасти, – повалилось к носу, поклонилось морю и по плечи, по горло, с мучительным наслаждением, в него погрузилось, и я увидел, как мала и несчастна наша старая черная баржа в этом огромном и дико-пустынном водном круге, высоко затоплявшем горизонты, охваченном лохматым небом. Но что мне было до всей этой картины! Я, видя, что все-таки стихает, что близится утро, стискивал зубы, бормотал злорадно, сладострастно (чемодану, конечно):

– Ну, погоди, погоди же!

А в сущности, что я мог ему сделать?

1931

Прекраснейшая солнца

– Смерть, где жало твое? Воспомним, что сказала Она, прекраснейшая солнца, возлюбленному своему, представ ему в ту самую ночь, когда предали Ее тело могиле: не плачь обо мне, ибо дни мои через смерть стали вечны; в горнем свете навсегда раскрылись мои вежды, что, казалось, навсегда смежились на смертном моем ложе...

– В лето господне тысяча триста двадцать седьмое синьор Франческо прибыл в город Авиньон в Провансе, в числе многих прочих, последовавших в изгнание за святейшим престолом. Через год же после того случилось, что он встретил на пути своей юной жизни донну Лауру и полюбил Ее великой любовью, приобщившей Ее к лику Беатриче и славнейших женщин мира. В тот год, в шестой день месяца апреля, в пятницу страстной недели, слушал он утреннюю службу в церкви Сэн-Клэр, в Авиньоне; и вот, когда, отстояв службу, вышел из церкви на площадь, глядя на других выходящих, то увидел донну Лауру, дочь рыцаря Одибера, юную супругу синьора Уго, коего достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства.

Он увидел ее в ту минуту, когда она показалась в церковном портале.

– Та весна была в его жизни двадцать третьей, в Ее – двадцатой. И если обладал он всей красотой, присущей юным летам, пылкому сердцу и благородству крови, то Ее юная прелесть могла почитаться небесной. Блаженны видевшие Ее при жизни! Она шла, опустив свои черные, как эбен, ресницы; когда же подняла их, солнечный взор Ее поразил его навеки.

Шестой день того апреля был сумрачный, дождливый, один из тех, каких всегда бывает немало ранней весной в Авиньоне, было и в то время, которое называется теперь древним и в котором все кажется прекрасным: и весеннее ненастье, и старый каменный город, потемневшим под дождями, все его стены, церкви, башни и холодная грязь узких улиц, и все люди, шедшие в них посередине, и вся их жизнь, и все дела и чувства.

– Это было в час крестной смерти господина нашего Иисуса, когда само солнце облакается вретисцем скорби.

На страницах Вергилия, своей любимейшей книги, с которой он никогда не расставался,

которая лежала у его изголовья, он, в старости, пишет:

– Лаура, славная собственными добродетелями и воспетая мною, впервые предстала моим глазам в мою раннюю пору, в лето господне тысяча триста двадцать седьмое, в шестой день месяца апреля, в Авиньоне; и в том же Авиньоне в том же месяце апреле, в тот же шестой день, в тот же первый час, лето же тысяча триста сорок восьмое, угас чистый свет Ее жизни, когда я случайно пребывал в Вероне, увы, совсем не зная о судьбе, меня постигшей: только в Парме настигла меня роковая новость, в том же году, в девятнадцатый день мая, утром. Непорочное и прекрасное тело Ее было предано земле в усыпальнице Братьев Меноритов, вечером в день смерти; а душа Ее, верю, возвратилась в небо, свою отчизну. Дабы лучше сохранить память об этом часе, я нахожу горькую отраду записать о нем в книге, столь часто находящейся перед моими глазами; должно мне знать твердо, что отныне уже ничто не утешит меня в земном мире. Время покинуть мне его Вавилон. По милости божьей, это будет мне нетрудно, памятуя суетные заботы, тщетные надежды и печальные исходы моей протекшей жизни...

Пишут, что в молодости он был силен, ловок, голову имел небольшую, круглую и крепкой формы, нос средней меры, тонкий, овал лица мягкий и точный, румянец нежный, но здоровый, темный, цвет глаз карий, взгляд быстрый и горячий. "Уже был он известен своим высоким талантом, умом, богатством знаний и неустанными трудами. Уже был одержим той беспримерной любовью, что сделала его имя бессмертным. Но жил, вместе с тем, всеми делами своего века, отдавал свой гений и на созидание всех благих его движений; в обществе отличался расположением к людям, прелестью в обращении с ними, блеском речи в беседах..."

Портрет в Авиньоне изображает его в зрелые годы: капитолийские лавры, которыми он был коронован, как величайший человек своего века, благородный флорентийский профиль, взгляд, полный мысли и жизни...

В старости он пишет:

– Уже ни о чем не помышляю я ныне, кроме Нее: пусть же торопит Она нашу встречу в небе, влечет и зовет меня за собой!

Но пишет и другое, – в письме к одному другу:

– Я хочу, чтобы смерть застала меня за книгой, с пером в руке, или, лучше, если угодно богу, в слезах и молитве. Будь здоров и благополучен. Живи счастливо и бодро, как подобает мужу!

Через несколько месяцев после этого письма, 20 июня 1374 года, в день своего рождения, сидя за работой, он "вдруг склонился, уронил голову на свое писанье".

Тот день, когда они впервые увидели друг друга, был роковым и для нее:

– Было и Ее сердце страстно и нежно; но сколь непреклонно в долге и чести, в вере в бога и его законы!

– Владычица моя, Она прошла мимо меня, одиноко сидевшего в сладких мыслях о моей любви к Ней. Дабы приветствовать Ее, я встал, смиренно склоняя перед Нею свое; побледневшее чело. Я трепетал; Она же продолжала свой путь, сказавши мне несколько ласковых слов.

Двадцать один год он славил земной образ Лауры; еще четверть века – ее образ загробный. Он сосчитал, что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года; но и то все на людях и всегда "облеченную в высшую строгость". Все же вспоминает он и другое:

– И Она побледнела однажды. Это было в минуту моего отъезда. Она склонила свой божественный лик, Ее молчание, казалось, говорило; зачем покидает меня мой верный друг?

Внешне он жил в радостях и печалях простых смертных; знал и женскую любовь, тоже смертную, простую, не мешавшую другой, «бессмертной», имел двух детей. Имела и она их, супругой была верной и достойной. "Но душа Ее всю жизнь ожидала загробной свободы – для любви Ее к Иному..."

Черная чума 1348 года, в несколько недель поразившая в Авиньоне шестьдесят тысяч человек, поразила и ее. В темный вечер, при смоляных факелах, своим бурным, трещащим пламенем "разгонявших заразу", люди в смоляных балахонах, с прорезами только для глаз, похоронили ее там, где она за три дня до смерти завещала. Ночью же душа ее, наконец обретшая свободу для своей любви "К Иному", поспешила к нему на первое свиданье.

– Ночь, последовавшая за этим зловещим днем, когда угасла звезда, сиявшая мне в жизни, или, точнее сказать, вновь засияла в небе, ночь эта начинала уступать место Авроре, когда некая Красота, столь же дивная, как и Ее земная коронованная драгоценнейшими алмазами Востока,

встала предо мной. И, нежно вздыхая, подала мне руку, столь долго желанную мною; узнай, сказала Она, узнай ту, что навсегда преградила тебе путь в первый же день ее встречи с тобою; узнай, что смерть для души высокой есть лишь исход из темницы, что она устрашает лишь тех, кои все счастье свое полагают в бедном земном мире...

В Парижской Национальной библиотеке хранится манускрипт Плиния, принадлежавший Петрарке. На одной странице этого манускрипта сделан рукой Петрарки рисунок, изображающий долину Воклюза, скалу, из которой бьет источник, на вершине скалы – часовню, а внизу – цаплю с рыбой в клюве; под рисунком его подпись по-латыни: "Заальпийское мое уединение".

В этой долине, недалеко от Авиньона, было его скромное поместье.

Где жила когда-то, в этом столь глухом теперь, старом и пыльном Авиньоне Лаура? Будто бы возле нынешней мэрии, в улочке Доре. Погребена она была в церкви Братьев Меноритов, в одной из капелл. Но в какой? Церковь эта разрушена в революционное время, полтора века тому назад; известно, однако, что в ней было две капеллы – Святого Креста и Святой Анны. В которой из них была ее гробница? Полагают, что в последней, так как она была сооружена ее свекром, синьором де Саде. В 1533 году король Франциск Первый, проезжая Авиньон, приказал вскрыть полуразрушенную гробницу, находящуюся в этой капелле, убежденный горожанами Авиньона, что именно в ней покоятся останки Лауры. В гробнице оказались кости. Но чьи? Точно ли Лауры? Имени, написанного на гробнице, прочесть было уже невозможно.

Авиньон, апрель, 1932

"Остров сирен"

На Капри есть «Лазурный грот», на Капри в древности жил Тиверий, а в прошлом иске Крупп, знаменитый своими пушками и некоторыми деяниями, г которых он подражал Тиверию и которые заставили его в конце концов прибегнуть к самоубийству... Вот, кажется, все, что общеизвестно о Капри.

Некоторым известно еще то, что был этот дивный остров когда-то под властью варваров, потом греков, норманнов... Историки и археологи вспомнили о нем сравнительно недавно. Они нарушили его вековую тишину, покой, начали раскопки и великое расхищение его античных ценностей. Ценности эти оказались лежащими в каприйской земле чуть не на каждом шагу: крестьяне, в виноградниках которых то и дело находили их, все отдавали кому попало, за гроши, позволяли вывозить целыми барками... Затем – это было всего сто лет тому назад – какой-то немецкий поэт случайно открыл в скалистых обрывах северного берега Капри грот, столь волшебным освещаемый солнцем и волнами, проникающими в него, что Капри сразу стал известен всему миру, как «истинно обетованная страна всех живописцев и любителей Натуры», непрерывное и многолюдное паломничество которых на «божественный остров» уже никогда не прекращалось с тех пор, невзирая на полную дикость острова в смысле даже малейших удобств жизни на нем и на сообщение между ним и Неаполем лишь на парусных лодках; только уже долго спустя открылась на Капри первая гостиница и соединило его с Неаполем паровозное сообщение. Сообщение это было даже и до нашей поры крайне убогое, но из года в год доставляло на Капри великое множество путешественников со всех концов света...

Чтобы представить себе Капри, надо прежде всего вообразить себя в Неаполе, посреди лукоморья, полукруга, огромного неаполитанского залива, с гористыми берегами влево, с городками, белеющими вдоль их подножья, и громадой Везувия. Прямо перед Неаполем, в заливе, как бы тают в водной сини два высоких острова: Иския и Капри.

Капри «поднимается из лона морского подобно лежащему сфинксу» или утонувшему кораблю, как говорят другие. Байрон сравнил Капри с волной, гонимой бурей. Но, если говорить проще, это гигантская скала, торчащая из моря, дикая на вид и местами совершенно отвесная, хребет которой образует почти посередине своей глубокую седловину, давшую приют маленькому городку Капри, его оливковым садам и виноградникам. Над страшной стремниной того каприйского берега, что обращен к востоку, к материку Италии, к мысу Минервы, до сих пор сохранились следы дворца Тиверия, и обрыв этот так и называется: Монте Тиберио. А западная часть острова увенчана скалистой горой (Монте Соляро), на половине высоты которой висит другой городок, Анакапри. Что древнее – Капри или Анакапри – неизвестно. Страбон говорит, что оба эти города существовали с незапамятных времен, так что, может быть, самое название

острова происходит от финикийского слова Каприам, что значит: два города.

Южный скат каприйской седловины называется Пикола Марина, северный – Марина Гранде. Пароходик, идущий из Неаполя до Капри часа два довольно быстрым ходом, пристает к последней. По мере приближения к острову путешественник все больше поражается цветом воды: цвет этот – некое подобие яркого драгоценного камня, какого-то дивного сплава купороса и индиго. Затем видишь небольшой залив, а на его берегу каменистый рыбацкий поселок, первобытный, живописный в своей итальянской грубой старине. От этого поселка можно подняться в седловину острова в городок Капри, двумя путями: прямо, по крутому отвесу фуникулера, или же по извивам шоссейной дороги среди виноградников. Начало этого пути проходит по тому месту, где город Капри стоял в древности, мимо византийской церкви св. Констанцо, существующей полторы тысячи лет и очаровательной своей убогой простотой, бедностью, хотя и украшенной внутри античными порфированными колоннами. А из седловины, из улочек Капри можно любоваться сразу двумя морями: с одной стороны – Неаполитанский залив, Иския, Неаполь, с другой – открытое море, идущее вплоть до берегов Африки.

Когда подплываешь к Капри, указывают то на Монте Соляро, – там, на самой вершине, чудесно рисуются в небе развалины Замка Барбароссы («орлиное гнездо тунисского корсара, некогда предавшего огню и мечу всю Неаполитанскую область и Капри»), – то на те места возле пристани, где стоял летний дворец Августа. А в путеводителе найдешь и кое-что из истории Капри: греки называли Капри «Остров Сирен» и учредили на нем поклонение этим милым и коварным морским существам; со времени римлян он получил другое имя, – Капрея, то есть Козий остров; Август посетил его, возвращаясь из сицилийского похода, и был так пленен им, что выменял его у неаполитанских греков на остров Искию. Смотри на Монте Соляро и на Анакапри, видишь и знаменитую «финикийскую лестницу», ведущую к Анакапри вправо от пристани: это чуть не тысяча каменных ступеней, высеченных почти отвесно в скалах (именно будто бы финикийцами, которые считаются самыми первыми владельцами острова). Теперь в Анакапри можно подняться довольно легко – по извивам шоссейной дороги. Но анакаприйцы все еще предпочитают ей свою каменную лестницу. Это вообще очень странный народ: с глубокой древности жили и живут они необыкновенно замкнутой жизнью, совсем отдельной даже от жизни каприйцев, почти не общаясь с ними, говоря на своем собственном наречии; среди них до сих пор есть старики и старухи, отроду никогда не бывавшие в городе Капри.

Поднявшись от пристани на извозчике или по фуникулеру, выходишь на маленькую площадь, где стоит старинная башенка с часами и гербом испанской династии. Она стоит на самом краю площади, над глубоким обрывом, и отсюда открывается один из самых славных видов в мире, – на Неаполитанский залив, на Неаполь. Поглядев туда и повернувшись лицом к городку, пересекаешь площадь, вступаешь в узкую улочку, упирающуюся в богатый отель, когда-то построенный Крупном и подаренный им одному из своих слуг, потом идешь влево и выходишь на Виа Трагара, на дорогу, вьющуюся по южным обрывам острова. Тут сперва проходишь мимо небольшой долины, лежащей справа от тебя, за отелем, и сходящей к морю; в ней, на месте другого дворца Августа, зимнего, среди кустарников и оливковых деревьев, высится огромный остов уже давно пустующего шестисотлетнего картезианского монастыря, его древняя, крытая бурой черепицей церковь, стены келий, внутренний двор, заросший дикими розами и бурьянами. Далее все еще более дико и прекрасно: с одной стороны – блеск солнца и южного моря, с другой – южная пустыньность скал и непролазность кустарников, поднимающихся стенами в небо. Какой-нибудь мальчишка, привязавшийся к тебе на этой дороге, заученным бормотанием перечисляет ее достопримечательности: три скалистых островка, стоящих возле побережья, всем известных по Беклину. Арку Натурале, грот Митры, где Тиверий будто бы приносил человеческие жертвы, и множество других гротов, известных чудесной разностью своих красок: в одном все кажется золотисто-желтым, в другом переливается прозрачно-зеленый свет, в третьем подводные растения озаряют стены чем-то вроде пурпурного пламени...

Тивериева дорога, идущая из городка Капри параллельно этой, только не по обрывам гор, а по вершинам, приводит к самому знаменитому месту острова, – к местожительству Тиверия. Тут все подымаешься, идешь по крутому плоскогорью, среди ферм, вилл и виноградников. Сады, цветы, кипарисы, пинии... Кое-где ступени, высеченные еще при Августе в скалистой почве, кое-где – стертые колеи каменной дороги, по которой «рабы когда-то носили на носилках Тиверия»... Развалины его жилища огромны. Остров тут обрывается над морем совершенно отвесно,

глубочайшей бездной. На самом обрыве – остатки маяка, который считался в древности одним из самых больших и ярких в мире и освещал мореходам путь чрезвычайно опасный, ибо это море есть довольно узкий пролив между Капри и материком. Ближе – самые развалины. Высота, пустыня, солнце, небо, шум солнечного ветра в диких травах и в развалинах. Развалины – целый лабиринт комнат и галерей. Уцелели своды и стены первого этажа и подземелья под ним. Центром дворца был перистиль, окруженный колоннадой и частными покоями Цезаря, – кое-что из всего этого тоже сохранилось... Каков был при Тиверии атриум его? Мраморный потолок, в квадратных углублениях которого – бронзовые розетки, края сводов окаймлены бронзой. Стены покрыты полированной киноварью и украшены рельефами из алебастра, представляющими Крылатых Побед в легких, развевающихся туниках, с пальмовыми ветвями в руках, а равно и другими рисунками: в кругах, на синем поле – трагические и комические маски, людские страсти и заблуждения, к каменным пилястрам цвета слоновой кости и старого золота прислонены трофеи – громадные костяки допотопных животных и оружие древних, баснословных героев. Среди трофеев, на бронзовых подставках, – драгоценные коринфские вазы, которые Август всю жизнь собирал с великой любовью и вкусом. Пороги входов – из белого мрамора и блестящего египетского гранита, по завесы этих входов из грубого полотна. И вот, откинув их, входящий видел после яркого солнца легкую тень атриума, этот мраморный потолок, полированную киноварь стен, трофеи, косяки, вазы, узорчатый мозаичный пол, в глубине же – статую Августа, обожествленную атрибутами Юпитера, перед ней полукруглый алтарь простого этрусского стиля из белоснежного мрамора, стол для приношений, покрытый белым покрывалом, вышитым по краям узором из листьев, бронзовый треножник для священного огня... В этих стенах, где некогда шуршали осторожные шаги рабов и царедворцев, звучали лидийские флейты и звенел смех прекрасных наложниц нынче укрывается от дождей и бурь скот каприйских крестьян...

Светоний говорит, что в молодости Тиверий был красив, имел орлиный нос и большие глаза, которые могли будто бы видеть даже в темноте, высокий рост и крепкое сложение, – плечи и грудь широкие, части всего тела соразмерные, – силу же такую, что мог щелчком пробивать темя взрослого человека; только он в молодости был малоприветлив и приятен: ходил, склонив голову вбок, угрюмо и молча, а когда говорил, то медленно и трудно расставлял слова, помогал своей речи движением правой руки; и этому описанию Светония довольно соответствует статуя молодого Тиверия в ватиканском музее: он сидел твердо и прямо, со скипетром в руке; переносица тонка, остра, отчего глазные впадины кажутся глубокими и придают лицу выражение ястреба... В дворце на Капри сидел человек, уже весьма мало похожий на этого.

Он навсегда покинул Рим в двадцать шестом году от Р. Х., чтобы последние одиннадцать лет своей жизни прожить почти сплошь на Капри, – в полном соответствии с предсказаниями звездочетов. Весь остров был в то время сплошным садом, покрыт каменным дубом, любимым деревом Августа; с уступов гор всюду сходили к морю высеченные в скалах террасы; водопроводы были проложены на арках и доставляли дождевую воду в нимфеи, украшенные мраморными и бронзовыми статуями; климат острова, его бальзамический воздух славился своим здоровьем, что на деле доказывали и еще доселе доказывают столетние каприйские старцы; сказочно было каприйское обилие всякой птицы, рыб, устриц, омаров; вина каприйские были превосходны... Выбор Тиверия остановился на Капри и по чтим причинам и потому, что остров напоминал ему Грецию больше же всего по-другому: Капри был неприступен, высадиться на нем было трудно, а миновать стражу невозможно, и Цезарь, с высоты своего убежища, всегда видел не только все, что творилось на острове, но и все корабли, шедшие мимо острова во всех направлениях... «Был же он весьма стар в ту пору, а в уединении, в свободе для своего великого разврата и злодейства и в неприступности самой надежной нуждался, как никто на земле...» Он был страшен в эту пору: «Лицо его покрылось язвами, залеплено было пластырями; глаза глубоко провалились; губы, подбородок отяжелели; шея раздулась как бы от какого-то неведомого яда; дыхание стало тлетворно; зрение и слух ослабели; речь доставляла ему теперь труд уже крайний, медлительный, упорный... и единой радостью его жизни сделалась только алчность...»

Перед смертью он отправился в Рим. По пути остановился в Тускулуме, – испугался: любимая змея, которую он всегда возил с собою, была съедена муравьями. Из Тускулума повернул обратно, на Капри. Но тут его задержали буря и болезнь. Он остановился на Пизенском мысе. И за вечерней трапезой вдруг потерял сознание. Его окружали Макрон, Калигулла, Друзилла и врач Харикл. Друзилла сняла с бесчувственного Цезаря знак его божественной власти – драго-

ценную гемму, перстень Диоскорида, – и вручила Калигулле. Цезарь очнулся, спросил косноязычно: «Где перстень?» Калигулла трясся от страха. Макрон бросил на лицо Цезаря одеяло и быстро задушил его.

<1932>

Жилет пана Михольского

Было это в Киеве в сороковых годах прошлого века и рассказывалось многим киевлянам самим паном Михольским, а нам пересказано писателем Ясинским.

Пан Михольский задумал жениться. Был он тогда еще очень молод, но уже довольно разумен, тяготел к обществу людей солидных и светских, невесту выбрал себе хорошенькую и с приданым, все приготовления к свадьбе совершал обстоятельно, прилично. А так как одна из основ приличной жизни заключается в приличной экипировке, то пан Михольский решил приехать перед свадьбой из своего глухого уезда в Киев, дабы нашить себе панталон, сюртуков, фраков и жилеток по самой последней моде. Так он и сделал – приехал и экипировался на славу, пользуясь советами некоторого графа, знавшего и протезировавшего молодого провинциала. Перед отъездом же из Киева обратно, в свой родной город, зашел однажды пан Михольский к графу с намерением приятно провести вечер и застал его в больших заботах по самому тщательному туалету. Пан Михольский смутился, стал извиняться:

– Ах, простите, любезный граф! Вы, кажется, в сборах куда-то...

– Да, – сказал граф, – еду к Юзефовичу в Липки. Пригласил в гости и притом на весьма важную персону.

– Что же это за персона? – спросил пан Михольский.

– Некто Гоголь, писатель.

– А, знаю, читал его вещички.

– А я, – сказал граф, – только слышал, будто он пишет, читать же мне его не доводилось. Что ж он, хорошо пишет?

– Да недурно, – ответил пан Михольский, – только уж больно обыденно: нет, знаете, полету, байронизму...

– А все-таки надо ехать, – сказал граф, вздыхая. Во-первых, нельзя манкировать приглашением такого лица, как Юзефович, а во-вторых, и сам этот Гоголь: он, оказывается, в большой милости у государя.

Пан Михольский насторожился:

– А! что вы? Ну, знаете, это очень меняет дело. Я бы и сам был но прочь взглянуть на такую знатную личность.

– А раз не прочь, то и взгляните. Идем со мной в Липки.

– Помилуйте, как же так? Неловко...

– Пустяки! Юзефович радушнейший хозяин. Я вас ему представляю. Едем!

И вот граф и пан Михольский в Липках. А там уже целая ассамблея, тайный трепет, ожидание высокого гостя. Давно готов чайный стол на балконе, толпятся, тихо переговариваясь, прочие гости, – все больше профессора Киевского университета в новеньких мундирах, – хозяин то и дело выбегает взглянуть, не едет ли Гоголь. Но проходит час, другой – Гоголя все нету. Наконец бежит дворецкий: приехал! Хозяин кидается навстречу, профессора одергивают фалды, выстраиваются в ряд, опускают по швам руки... И вот тут-то и происходит то, о чем столько раз повествовал впоследствии пан Михольский приблизительно в таком роде:

– Как сейчас помню, этот самый Гоголь шел впереди почтительно следовавшего за ним хозяина, не спеша и глядя несколько вкось, исподлобья. У него был длинный нос, длинные прямые волосы. На нем был сюртук темного граната и темно-зеленая жилетка, по которой краснели мушки и глазки и ярко блестели желтые пятна. Все мы низко перед ним склонились, он же вдруг остановился и, не отвечая на поклоны, стал глядеть на одну мою особу. Хозяин рекомендует:

– Профессор такой-то... Профессор такой-то...

Он начинает легонько кивать головой, бормочет:

– Весьма приятно... душевно рад во всех смыслах... Затем хозяин предлагает ему сесть к столу и откусать. Но он брезгливо смотрит на чай, на закуски, морщится от заходящего солнца. Хозяин делает поспешный знак какому-то молодому человеку, тот еще поспешнее кидается к

краю балкона и загораживает собой Гоголя от солнца. Но Гоголь и на это не обращает внимания, за стол не садится, а все продолжает глядеть на меня, точнее сказать, на мою грудь, в тот день украшенную одной из моих новых и лучших жилеток: жилетка эта была тоже весьма нарядна, только походила не на шкуру лягушки, как у столичного гостя, а на шкуру хамелеона.

– Мне сдается, – молвил он наконец, щурясь, – мне сдается, что я вас где-то уже видел.

Я хочу ответить, что, кажется, не имел такого счастья, но хозяин так сердито грозит мне из-за его спины пальцем; что у меня прилипает язык к гортани. А Гоголь продолжает (и все не без яду):

– Да, я вас где-то видел. Не скажу, чтобы ваша физиономия памятна мне живо, но тем не менее я вас видел. Видел же я вас в каком-то трактире, вы там лакомились луковым супом.

Что мне было делать? Это было уже обидно, но я конечно, только кланяюсь и ничего не возражаю. Гоголь же снова погружается в молчание, задумчиво глядя на разводы моей жилетки. Затем вдруг подает хозяину руку, делает общий поклон всем прочим и направляется к двери. Хозяин поражен как нельзя больше, но удерживать его, конечно, не смеет. Гоголь уходит, как-то неловко передвигая ноги в узких серых панталонах на широких штрипках, а хозяин растерянно бежит за ним следом, кланяется ему в спину...

Тут, в заключение своего рассказа, пан Михольский всегда хитро усмехался.

– Скажите же мне теперь, – говорил он, – как объясняете вы себе столь странное поведение Гоголя в Липках? Что такое происходило в его натуре?

Ему на это отвечали:

– Да кто же может знать натуру такого человека? Может быть, ему мелькнула какая-нибудь чудная идея, встала в воображении резкая фигура...

Но пан Михольский мотал головою:

– Да нет же! Ни то, ни другое. Ларчик открывался просто: Гоголь позавидовал на мою жилетку! Да, да, честное слово! Если бы граф не привез меня в Липки, то Гоголь и чай бы кушал и беседовал со всеми прочими гостями. Но случилось так, что я, совершенно невольно, отравил ему жизнь своей жилеткой.

Но послушайте: разве это возможно?

– Да вот оказалось, что вполне возможно, а доказательства тому вот какие. На другое утро прибегает ко мне в отелю портной-еврейчик, у которого я делал эту жилетку, последнюю в своем роде, ибо бархата такого рисунка в городе больше не оставалось, и чуть не падает мне в ноги.

– На милость бога, дайте мне, пан, вашу жилетку! Уступите за какие угодно деньги! Это же чистое наказание, что такой жилетки нигде в Киеве больше не достанешь! Приехал один важный господин из столицы и купил у Гросса жилетку, а теперь увидал вашу и кричит, что непременно подавай ему в точь-точь такую же, как ваша! Я соображаю, в чем дело, и отвечаю:

– А как фамилия того господина?

Портной пожимает плечами:

– А я знаю? И зачем вам его фамилия?

А я уже ясно вижу: ну конечно, это Гоголь! И твердо отвечаю:

– Нет, не продам я тебе жилетки ни за какие деньги! Он хоть и Гоголь, а такой жилетки у него нет и не будет! Я, брат, свою жилетку выше всяких его «Мертвых душ» ставлю!

1936

Молодость и старость

Прекрасные летние дни, спокойное Черное море.

Пароход перегружен людьми и кладью, – палуба загромождена от кормы до бака.

Плавание долгое, круговое – Крым, Кавказ, Анатолийское побережье, Константинополь...

Жаркое солнце, синее небо, морс лиловое; бесконечные стоянки в многолюдных портах с оглушающим грохотом лебедек, с бранью, с криками капитанских помощников: майна! вира! – и опять успокоение, порядок и неторопливый путь вдоль горных отдалений, знойно тающих в солнечной дымке.

В первом классе прохладный бриз в кают-компании, пусто, чисто, просторно. И грязь, теснота в орде разноплеменных палубных пассажиров возле горячей машины и пахучей кухни, на парах под навесами и на якорных цепях, на канатах на баке. Тут всюду густая вонь, то жаркая и

приятная, то теплая и противная, но одинаково волнующая, особая, пароходная, мешающаяся с морской свежестью. Тут русские мужики и бабы, хохлы и хохлушки, афонские монахи, курды, грузины, греки... Курды, – вполне дикий народ, – с утра до вечера спят, грузины то поют, то парами пляшут, легко подпрыгивая, с кокетливой легкостью откинув широкий рукав и плывя в расступившейся толпе, в лад бьющей в ладоши: таш-таш, таш-таш! У русских паломников в Палестину идет без конца чаепитие, длинный мужик с обвисшими плечами, с узкой желтой бородой и прямыми волосами вслух читает Писание, а с него не спускает острых глаз какая-то вызывающе независимая женщина в красной кофте и зеленом газовом шарфе на черных сухих волосах, одиноко устроившаяся возле кухни.

Долго стояли на рейде в Трапезунде. Я съездил на берег и, когда воротился, увидел, что по трапу поднимается целая новая ватага оборванных и вооруженных курдов – свита идущего впереди старика, большого и широкого в кости в белом курпее и в серой черкеске, крепко подпоясанной по тонкой талии ремнем с серебряным набором. Курды, плывшие с нами и лежавшие в одном мосте палубы целым стадом, все поднялись и очистили свободное пространство. Свита старика настелила там множество ковров, наклала подушек. Старик царственно возлег на это ложе. Борода его была бела как кипень, сухое лицо черно от загара. И необыкновенным блеском блестели небольшие карие глаза.

Я подошел, присел на корточки, сказал «селям», спросил по-русски:

– С Кавказа?

Он дружелюбно ответил тоже по-русски:

– Дальше, господин. Мы курды.

– Куда же поплывешь?

Он ответил скромно, но гордо:

– В Стамбул, господин. К самому падишаху. Самому падишаху везу благодарность, подарок: семь нагаек. Семь сыновей взял у меня на войну падишах, всех, сколько было. И все на войне убиты. Семь раз падишах меня прославил.

– Це, це, це! – с небрежным сожалением сказал стоявший над нами с папиросой в руке молодой полнеющий красавец и франт, керченский грек: вишневая дамасская феска, серый сюртук с белым жилетом, серые модные панталоны и застегнутые на пуговицы сбоку лакированные ботинки. – Такой старый и один остался! – сказал он, качая головой.

Старик посмотрел на его феску.

– Какой глупый, – ответил он просто. – Вот ты будешь старый, а я не старый и никогда не буду. Про обезьяну знаешь?

Красавец недоверчиво улыбнулся:

– Какую обезьяну?

Ну так послушай! Бог сотворил небо и землю, знаешь?

– Ну, знаю.

Потом бог сотворил человека и сказал человеку: будешь ты, человек, жить тридцать лет на свете, – хорошо будешь, жить, радоваться будешь, думать будешь, что все на свете только для тебя одного бог сотворил и сделал. Доволен ты этим? А человек подумал: так хорошо, а всего тридцать лет жизни! Ой, мало! Слышишь? – спросил старик с усмешкой.

– Слышу, – ответил красавец.

– Потом бог сотворил ишака и сказал ишаку: будешь ты таскать бурдюки и вьюки, будут на тебе ездить люди и будут тебя бить по голове палкой. Ты таким сроком доволен? И ишак зарыдал, заплакал и сказал богу: зачем мне столько? Дай мне, бог, всего пятнадцать лет жизни. – А мне прибавь пятнадцать, – сказал человек богу, – пожалуйста, прибавь от его доли! – И так бог и сделал, согласился. И вышло у человека сорок пять лет жизни. Правда, человеку хорошо вышло? – спросил старик, взглянув на красавца.

– Неплохо вышло, – ответил тот нерешительно, не понимая, очевидно, к чему все это.

– Потом бог сотворил собаку и тоже дал ей тридцать лет жизни. Ты, сказал бог собаке, будешь жить всегда злая, будешь сторожить хозяйское богатство, не верить никому чужому, брехать будешь на прохожих, не спать по ночам от беспокойства. И, знаешь, собака даже завывала: ой, будет с меня и половины такой жизни! И опять стал человек просить бога: прибавь мне и эту половину! И опять бог ему прибавил. Сколько лет теперь стало у человека?

– Шестьдесят стало, – сказал красавец веселее.

– Ну, а потом сотворил бог обезьяну, дал ей тоже тридцать лет жизни и сказал, что будет она жить без труда и без заботы, только очень нехороша лицом будет, – знаешь, лысая, в морщинах, голые брови на лоб лезут, – и все будет стараться, чтоб на нее глядели, а все будут на нее смеяться.

Красавец спросил:

– Значит, и она отказалась, попросила себе только половину жизни?

– И она отказалась, – сказал старик, приподнимаясь и беря из рук ближнего курда мундштук кальяна – И человек выпросил себе и эту половину, – сказал он, снова ложась и затягиваясь.

Он молчал и глядел куда-то перед собою, точно забыв о нас. Потом стал говорить, ни к кому не обращаясь:

– Человек свои собственные тридцать лет прожил по человечьи – ел, пил, на войне бился, танцевал на свадьбах, любил молодых баб и девок. А пятнадцать лет ослиных работал, наживал богатство. А пятнадцать собачьих берег свое богатство, все брехал и злился, не спал ночи. А потом стал такой гадкий, старый, как та обезьяна. И все головами качали и на его старость смеялись. Вот все это и с тобой будет, – насмешливо сказал старик красавцу, катая в зубах мундштук кальяна.

– Ас тобой отчего ж этого нету? – спросил красавец.

– Со мной нету.

– Почему же такое?

– Таких, как я, мало, – сказал старик твердо. – Не был я ишаком, не был собакой, – за что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым?

1936

Возвращаясь в Рим

Он умер близ Ницеи, возвращаясь из Галлии в Рим.

Ожидали, что новая война будет долгая, трудная и, быть может, роковая для него: судьба была милостива к нему неизменно, но это был уже девятый поход в его жизни, а цифре девять приписывали недобрый знак. Все же война опять оказалась счастливой, даже еще более счастливой и короткой, чем все предыдущие: враг был поражен ударами столь меткими, что изумлена была, при всей своей вере в звезду своего вождя, сама победоносная армия: и прежде один вид его, при каждом его появлении перед нею, потрясал ее восторгом; теперь же, когда, на прощальных смотрах в Галлии, медленно двигалось вдоль воинских рядов грозное великолепие золотого орла и шел под сенью его этот всегда тихий и печальный человек с землистым, плохо бритым лицом, люди смертельно бледнели, чувствовали себя как бы на краю пропасти, а затем раздражались такими страстными кликами, точно их охватывало беснование.

Кончив войну, он совершил с государственными целями путешествие в Испанию: необыкновенная неутомимость сочеталась с его телесной немощью. И путешествие это тоже было вполне благополучное и плодотворное. Поздней осенью, с небольшим отрядом и несколькими приближенными, он возвращался в Рим. Стояли прохладные, светлые дни. Шли берегом моря. Как всегда, он был молчалив и бесстрастен, лицом сер и худ. Все же здоровье его никому не внушало опасений во время этого мирного странствия вдоль синих заливов и багряных прибрежий. Но вот, за один переход до Ницеи, он внезапно лишился голоса, почувствовал такую потерю сил, что поспешили остановиться на первой встречной вилле.

Она вполне приличествовала случаю. Это был знаменитый Очаг, известный всему Риму, благодаря славному имени его хозяина и своей благородной красоте. Безлюдный мыс далеко вдавался в море. Его сплошь покрывала серебристая зелень низкорослого соснового леса. Дом же, стоявший в этом лесу, был обширен и прост, белел мрамором стен блистал тонким стеклом больших окон, окружен был цветниками, огненными далиями. За отъездом хозяина, вилла была пуста, и неожиданных гостей встретил только управляющий. Учтиво попросили приюта у него.

Вскоре, приняв ванну и подкрепляющее питье, он остался один. Ложе его стояло так, что с одной стороны был перед ним вид на море, поднимающееся за круглыми сосновыми верхушками, а с другой на Ницейский залив и туманно-далекую бледность Альп, безжизненно встававших к небу своими снегами, подобно великим гробницам. Вечерело, холодно туманилось. В пустыне

ном просторе дремотно волнующегося моря была безнадежность, бесцельность, печальная загадочность. Белые гребни волн мерно возникали, падали. Верхушки сосен, чистых и холодных, ясно видных сквозь стекла, туго и звонко шумели. Два светильника ровно дрожали возле ложа сургучным пламенем. И под это дрожание и звенящий хвойный шум он впал в глубокий сон. Когда же очнулся, была уже черная ночь. Море шумело в ее тишине слышней и торжественнее, как бы приблизившись. Светильники текли и блистали; их языки, теперь золотые, ясные, с лазурным основанием, дрожа, тянулись вверх. И, приподнявшись, прислонясь к изголовью, он остановил свой взгляд на стеклах, черневших перед ним. Море шумело все ближе, явственней, и с ним мешался все усиливающийся хвойный шум. Он созерцал и слушал эту черную ночную стихию, окружавшую его. Он понял, что час его близок. Сделав усилие, он сел немного выше и, взяв с ночного столика все, что нужно для писания, стал медленно, но твердо писать.

Он писал до рассвета. Он сделал последние государственные распоряжения и выразил некоторые из своих предсмертных мыслей. Он сказал так: имя мое переживет меня, люди будут поклоняться моим золотым и мраморным изображениям, может быть, еще много веков, ибо в человеке великом или хотя бы облеченном величием, мы чтим сосредоточенность тех высоких сил, что заключены в некоторой мере в каждом из нас. Он сказал, что Сократ, призывая человека к познанию "самого себя", имел в виду познание особенностей, пороков или добродетелей, замкнутых в человеке, но искание и пробуждение в себе того «божественного», что есть истинная суть человека. Когда же стало белеть за окнами, пожелтели огни светильников и сплошной белизной окружила дом утренняя мгла, шедшая с утихающего моря, он лег и покрыл лицо своим походным плащом, отдавшись участи всех смертных.

1937

Апрель

В солнечное окно за нагретыми двойными рамами он увидел в воротах двора верхового молодого работника, ездившего в Субботино на почту. Он в одной косоворотке выскочил на крыльцо – уже недели две напрасно ждал письма из Москвы. Работник, возбужденный от быстрой езды, горячего апрельского солнца и весеннего воздуха, еще резкого и прохладного, с раскрасневшимся лицом, пестрым от пятен грязи, летевшей на него из-под копыт по дорожным лужам, бросил у крыльца поводья и стал рыться в сумке, висевшей у него через плечо.

– Только всего, – весело сказал он, подавая два номера «Орловского вестника».

Картуз у него был сдвинут назад, глаза смотрели дружелюбно и ярко. Лошадь под ним была потная, казалась тонкой от топких ног с белым железом новых подков и узлов подвязанного хвоста с тугой репкой, сизой исподу и энергично отстающей от округлого орехового крупа, переливавшегося великолепным лоском. «Все было прекрасно – и свежий воздух, и горячее солнце, и зазеленевший двор усадьбы, и этот круп, и седло под работником, – все счастливы, просты, спокойны, здоровы, все, кроме меня!» – с отчаянием подумал он, беря газеты.

– Вели Михайле оседлать мне Вороного, – решительно сказал он работнику и пошел в дом, «И отлично, что не пишет! Давно пора послать все это к черту. Мне еще рано погибать из-за какой-то развратной и ничтожной девчонки!» Он вошел в кабинет и навзничь лег на тахту, поправил под головой скользкую сафьяновую подушку и вперил взгляд перед собой, мысленно смотря в ее воображаемый образ, с ужасом чувствуя, что именно это, – эта развратность и женское девичье ничтожество ее, – мучит его такую страстью и нежностью.

«Да, но не одна же она на свете! – вдруг сказал он себе. – Ведь все это есть и в Ганьке, и в учительнице, и даже в Глашке...»

Он недавно ездил вечером на деревню к учительнице. Снега уже и тогда не было, только морозило к ночи грязь и лужи. Он ехал верхом по деревенской улице, мимо ряда изб, направо, по косогору, сходявшего влево от него к речке; за речкой низко висела над другим берегом, над чернотой полей, таинственно-тускло и как-то бесцельно светившая на речку и на ее долину луна; крыши изб направо тоже неярко были освещены ею, а гребни их серебрились, точно снегом, от звезд за ними; дальше, на краю деревни, была видна школа с большим освещенным окном. Он привязал лошадь к лозинке против окна, взбежал на крыльцо, толкнул дверь в темные и холодные сени, потом в комнату учительницы... Как чудесно было у нее! Пахло натопленной печкой и духами, на столе мягко горела лампочка под фаянсовым абажуром. Сама она радовала здоровой

прелестью своих восемнадцати лет, у нее был живой, точно что-то ожидающий взгляд и влажно блестящие зубы; большие черные глаза за черными ресницами имели что-то гробовое и вместе с тем были налиты молодой животной теплотой; груди туго круглились под коричневым платьем, крепко подпITYтые чернью волосы отливали глянец. Она пришла в восхищение от его неожиданного приезда, тотчас устала стол тарелочками с орехами, пастилой и мармеладом, говорила быстро, спеша, прелестно картавя, он с жадностью смотрел на ее руки, в которых она ловко и сильно трещала орехами, давя их один о другой, обонял ее теплое молодое дыхание, запах подпаленных щипцами волос и головной плоти, когда она к нему наклонялась, кладя перед ним очищенные ореховые ядра... «Да, поеду к ней!» подумал он, вспомнив все это, и сбросил ноги с тахты, взглянув на часы. Было два часа, в доме было тихо и пусто, мама, как всегда, спала после обеда, Глашка тоже, верно, заснула... Он посидел, волнуясь, думая, пойти к Глашке или нет? Страстно хотелось пойти и жутко было: в доме ни души, мама спит. Глашка лежит там одна... Самое ужасное было то, что она лицом похожа была на нее!

Глашу наняли с месяц тому назад, она приехала из города, служила там горничной. Она была деревенская, но теперь, после зимы в городе, держалась не по-деревенски, и потому ее устроили не в пример прежним, горничным. Ее поселили в комнатке в конце коридора, возле заднего крыльца. Там ей поставили железную кровать с высокой периной, и она пышно убрала ее стеганым голубым одеялом, подушки покрыла накидкой с кружевами по краям, на умывальнике устроила нечто вроде туалета с разными флакончиками и коробочками, и вся комнатка вскоре стала развратно пахнуть сладостью дешевого мыла и розовой пудры.

– Вот наняла, да боюсь, что обокрадет и уйдет, – сказал мама, когда он приехал из Москвы.

Вскоре после того Глашка говела. В церковь ходила в модной жакетке с черной бархаткой на шее, с зонтиком, в перчатках. Маленькая головка ее в завитых на лбу кудряшками была порочно красива: она, да и только!

Раз она убирала его спальню, все делая не спеша, с ленивой грацией и мутной улыбкой. Он вошел, – она, подметая, медленно сказала, кося глазами на его кровать:

– А хорошо бы на этой постели поспать...

– С кем? – пошутил он.

– Да одной...

– Одной скучно. Приходи ко мне.

Она ответила, не поднимая глаз:

– Что ж, можно...

– Врешь, не придешь.

– Божиться не стану...

Ночью он долго гулял по холодному голому саду при свете невысокой луны. Вернувшись в дом, заснул в кабинете, не раздеваясь. И тотчас увидел себя в Крыму, где он никогда не был. Это было что-то вроде Алупки, с ее парком и дворцом, который он видел на открытках. Парк спускался к самому морю, море было крупное, зеленое, шумело, и от него шла вечерняя свежесть. И она, та, которую он так горячо полюбил в Москве, выбежала из волн вся голая, сжавшись, стыдливо согнувшись, и он видел и чувствовал все ее тело, его упругость, то, что оно мокро, холодно и крепко, видел и чувствовал с той разительной остротой, какая бывает только во сне. Он очнулся, возбужденный, и на цыпочках пошел по темному коридору к Глашке. У нее горела свеча, она на спине спала под своим стеганым одеялом. Свет свечи блеснул на ее кукольном лице с закрытыми глазами. Когда он сел к ней на постель, она открыла глаза, бессмысленно посмотрела и, ничего не поняв, повернулась на бок. Он стал целовать ее в шею в телесном тепле из-под одеяла и уже дунул было на свечу. Но за окном вдруг встал такой чистый, прекрасный мир лунной ночи, что он вскочил и ушел с бьющимся сердцем.

На другой день он шагнул по долгу, томясь, не зная, что делать. На дворе залаяли собаки. Он взглянул в окно: от ворот к дому шла, бросая собакам кусочки хлеба, Ганька со своей подружкой Машкой. Рядом с Машкой, высокой и костлявой, с грубым худым лицом, маленькая Ганька казалась особенно мила. Они вошли в прихожую, он вышел к ним. Видно было, что им обоим неловко, – у Машки это сказывалось в том, что она сердито хмурилась, а у Ганьки в смущенной ласковой улыбке.

– С квитками пришли? – спросил он, вспомнив, что они неделю тому назад работали в усадьбе на поденщине. – Мамы нету дома.

Он попытался завести шуточный разговор. Ганька отвечала на все поспешно, сама не понимая, что говорит, с этой все дрожащей на губах улыбкой. «Совсем еще девчонка!» – подумал он, умиляясь на нее и стыдясь своих мыслей о ней, на которые навел его Михайло: «Машка вам все это дело за один целковый обработает», – сказал он. На Ганьке был новый ситцевый желтый платок с красными глазками, новая из черного крестьянского сукна куртка, новая ситцевая пестренькая юбка и новые башмаки с подковами: идя в усадьбу, девки всегда наряжаются. Ганькин двор был самый нищий во всем селе, – каких трудов стоило ей справиться на свои заработки весь этот наряд! «И совсем еще девочка, и как бы я мог любить ее!»

Волнуясь, он встал с тахты, прошел по пустому дому, надел в прихожей синюю поддевку и студенческий картуз, взял нагайку и вышел на крыльцо. Вороной жеребец ждал его. Он легко вскинул себя в седло и крупным шагом поехал не к учительнице, а через сад по голой липовой аллее. Солнце было сзади, в пролет между деревьев впереди видно было солнечное поле, желтая равнина прошлогоднего живья. Выехав туда, он рысью погнал жеребца целиком на Дубовый Верх, на свой любимый лесок, низко серевший на горизонте. Ах, что за день! Солнечный зной мешается с острой свежестью зернистого снега, еще дотлевающего кое-где на влажной земле среди мертвого жнивья, все вокруг вольно, просторно, пусто, и до боли в глазах светло...

Дубовый Верх, тихий, неподвижный, обнял при въезде в него совсем жарким теплом и сладковатым запахом прошлогоднего дубового листа. Весь еще раздетый, с корявыми сучьями верхушек, сквозящих на мучительно ножном бледно-голубом апрельском небе, лес казался маленьким, виден был из конца в конец. Он перевел жеребца на галоп по дорожке к лесному разлужью, шумно шурша коричневой листвой, которой она была глубоко засыпана. На спуске в овраги, из сухих кустарников, с треском вырвался вальдшнеп, над разлужьем высоко в небе парили ястреба. Весна!

Проскакав разлужье, галопом поднявшись на пригорок к широкому дубу, одиноко и великолепно красовавшемуся на нем, он спрыгнул с седла, привязал жеребца к ветке дуба и упал в нагретую листву под ним, закрыв помутившиеся от слез глаза. Уже и ястреба прилетели! Он взглянул вверх – да, вон он, высоко, высоко стоит в этом прелестном небе, повис, дрожит, распластав острые крылышки, весь трепещет, остро смотрит вниз... Если бы револьвер! Один удар как раз в сердце, вот тут, через эту синюю поддевку, – и всему конец!

* * *

В середине апреля, теплым и неподвижным утром, он подъехал к раскрытому окну учительницы, крикнул, неловко усмехаясь:

– Уже окно выставили?

Она тотчас показалась в окне – праздничная, необычная для деревни: в шелковой белой блузке, в черной шляпке с черной сквозной вуалькой до половины лица, за которой восточно сияли ее черные глаза.

– Здравствуйте, – радостно картавя, сказала она, – а я в город еду.

– Можно узнать зачем? – спросил он, глядя на нее вверх с седла.

– А это секрет!

Она улыбалась, блестя влажными зубами, которые как будто не совсем умещались в ее молодых губах.

– А меня с собой возьмете?

– Вас? У вас там тоже секреты?

– Нет, серьезно. Можно мне с вами? Мне дома так скучно – все один да один...

– Бедный! А что на деревне начнут говорить?

Голова у него слегка замутилась от этих слов, от близости, будто бы вдруг образовавшейся между ними.

– Пожалуйста, возьмите, – сказал он с наивной, совсем мальчишеской улыбкой, почувствовав, как это будет чудно – сидеть с ней вдвоем, наедине, сперва в тарантасе, потом в вагоне.

Она загадочно посмотрела на него, еще более увеличивая эту внезапную близость между ними.

– Ну, так и быть, возьму, – сказала она, точно уже получив какую-то власть над ним.

– Так я заеду за вами?

– Да я уж мужика наняла.

– Ну вот, мужика! Такая нарядная, и вдруг на телеге! Кого вы наняли? Терентия? Я заеду к нему, откажу и дам полтинник. Он с ума сойдет от радости.

– Да нет, это все как-то так неожиданно, странно... Вдруг едем вместе...

– То-то и хорошо, что вместе! Нет, я непременно заеду.

Она не сумела сдержать себя:

– Ну так смотрите же, не опоздайте, поезд идет ровно в пять.

Он весело засмеялся:

– Так что же вы так рано оделись?

Она прелестно смутилась, трогательно ответила:

– Да Терентий сказал, что после обеда ему нельзя ехать, ему нынче надо еще свинью куда-то везти. Отомчу вас, говорит, вернусь и еще с свиньей управиться поспею.

– Это замечательно! Отомчу вас, потом свинью! А вам ждать на станции целых пять часов?

– Что ж, я бы посидела до поезда в дамской комнате...

– И все из-за свиньи!

Тут засмеялась и она, необыкновенно звонко, с наслаждением. Он дернул лошадь ближе к окну, схватил ее руку и прижал к своим губам.

– Это уже мародерство! – сказала она, особенно прелестно картавя.

«Боже мой! – думал он, скача домой. – Неужели наконец освобождение?»

У своего крыльца он помедлил слезать с лошади, глядя в сад, слушая. Все мягко туманилось, в саду блаженно, изысканно выводили свои сладкие переливы черные дрозды. Разноцветные девки ходили с граблями и метлами по аллее, расчищая ее, наметая в кучу прошлогоднюю листву, на деревне протяжно, истомно перекликались петухи... Но когда он вошел в дом, ему сразу бросилась в глаза валявшаяся на лавке открытка, – с почты приехали без него. Он схватил ее: да, от нее! Всегда так – бросишь ждать, мучиться – и вдруг вот оно! Но на обороте открытки оказалось только два пошлых слова: «Привет из Москвы!» и даже без подписи. Насмешка или просто глупость? Он в клочки разорвал открытку, прошел в кабинет и с отвращением к себе, к своей жалкой любви, к своим рукам и воспоминаниям, ничком лег на тахту. Нет, освобождения нет и не будет. Заменить ее все-таки никто не может...

* * *

В дороге опять нашел на него обман – счастье сидеть плечом к плечу с нарядной, пахнувшей духами девушкой, уже как будто втайне соглашающейся с ним на что-то самое дивное в мире. Он говорил что попало, опять смешил ее Терентием, держал ее левую руку, обтянутую черной лайковой перчаткой, и она не отнимала руки.

– Можно поцеловать хоть перчатку?

Она приложила палец к губам, сделала строгое лицо, кивнула на спину кучера, – он в ответ так сжал ее руку, что она с гримасой боли, но с явным удовольствием легонько вскрикнула: «Ай!».

На станции он побежал вперед, купил два билета второго класса, потом, когда стал подходить поезд, на ходу вскочил в вагон, тотчас нашел нужное купе и ввел ее туда, очень польщенную и его заботливостью, и непривычной роскошью путешествия. Потом они молча сидели рядом, переглядываясь и обмениваясь странными улыбками.

– Вы всегда ездите во втором классе? – крикнула она сквозь стук колес, несшийся в открытое окно, в которое бил вечерний полевой ветер.

– Что? – крикнул он, растягивая рот в счастливую улыбку.

– Я в первый раз в жизни! – крикнула она.

Вдали за голыми полями, садилось солнце, бросая на них красный свет, колеса ладно грохотали в свежающем воздухе. Он опять взял ее руку, она не отняла ее, только отвернулась, глядя в окно.

– Ну вот и приехали, – тихо сказала она, когда поезд стал подходить к городскому вокзалу мимо уже зажженных станционных фонарей.

– Вы куда? – спросил он, выходя с ней из вокзала и со страхом думая, что сейчас останется один.

– На Покровскую, к подруге.

– Завтра я увижу вас?

Она подумала.

– Да. В городском саду. В одиннадцать. Там в это время никого не встретишь. В главной аллее.

– С десяти буду ждать.

– А теперь я поеду одна.

– Да. Прощайте.

Он посадил ее в разбитую, провисшую извозчичью пролетку, слабо пожал ее руку. Она обернулась, отъезжая, – мелькнули в сумерках ее черные глаза за сквозной вуалькой...

Он ночевал в первых попавшихся номерах. Как вошел, сразу разделся и лег на железную кровать с коленкоровой простышкой и тяжелой как камень подушкой, набитой крупными, трещащими под головой перьями, и проснулся в шесть утра. За дверью еще сонно шаркала половая щетка. Он выглянул в узкий коридор, озаренный желтым ранним солнцем, заказал горничной с сухими волосами и жилистой шеей, которая мела в коридоре: самовар...

Надо было убить бесконечное время до одиннадцати. Он вышел, пошел куда глаза глядят. Утро опять было теплое, мягкое. Мирный, мерный звон колоколов, тишина, за заборами сады, ветви деревьев в почках... «Господи, избавь меня от нее! – думал он, шагая. – Как я буду опять счастлив!»

По глухой Садовой улице он пришел к обрыву над рекой, замкнутому древней приземистой церковкой. Тупик, сады за заборами, деревянные домишки в три окна; золотой крест над куполом мягко мерцает, тает в теплом воздухе... Церковные двери были раскрыты, он, крестясь, вошел. Низкие своды, ни души, холодок и старый, сложный церковный запах. Голые, низкие стены выкрашены синей, как сахарная бумага, краской, в куполе светло, внизу синевато, сумрачно; алтарь грубо блещет, в прорези золото-кованых царских врат сквозит красный шелк завесы... Он поднялся на ступени амвона, подошел к чудотворной иконе возле северных дверей алтаря. Она была из толстого темного дерева на бархатной вишневой подкладке и вся цветисто пестрела за мерцавшей перед ней лампадкой: темное серебро оклада, на окладе множество поддельных драгоценных камней, висят образки и ленты, оловянные сердца, руки и ноги, исцеленные части тела... Он стал на колени, припал лбом к полу, напрягая все свои душевные и телесные силы на безмолвную мольбу: «Господи, помоги! Спаси и помоги! Возврати мне ее! Все-таки не могу я без нее!»

В городском саду он без конца и все быстрее и быстрее ходил взад и вперед по главной аллее. Парило, собирались, чадили и густели облика. Сердце замирало и от заходящей грозы, и от оскорбительной тоски напрасного ожидания. Прошло полчаса, час, – в аллее все никто не показывался. Грубый обман или ей почему-нибудь никак нельзя было прийти? Он еще раз взглянул на часы: уже половина первого. Какое счастье, что есть поезд домой в половине второго! Он кинулся вон из сада, на все лады проклиная себя за все те дурацкие планы, которые он строил на этот день.

* * *

Вечерело тихо, печально, сумрачно. Он шел по своему саду, сладко и болезненно чувствуя: ночью будет первый обильный дождь, животворный, весенний... Все серо и голо, грифельный осинник за шалашом в овраге засыпан гниющей листвой. Он пошел целиком сквозь осинник, скользя по ней. В большом пне над оврагом еще лежал налитый водой раскисший снег, в овраге лился, булькал из буерака в буерак, с уступа на уступ, паводок. Он перепрыгнул через него, выбежал по круче другого бока к соломенному валу, перелез через него как раз на задворки Машкиного двора, прошел между ним и другим домом, вышел на темнеющую деревенскую улицу и остановился перед Машкиной избой, – она была крайняя, была особенно бедна и черна, с прогнившей, седлом проломившейся крышей, – и заглянул в полуразбитое окошечко. Машка, высокая, костлявая, в желтом ситцевом платье, стояла, глядясь в зеркальце. На улице никого не было, но он все-таки нырнул в сенцы, воровски быстро отворил дверь избы и быстро запер за собой.

– Ты одна? – спросил он вполголоса.

Она ничуть не удивилась его внезапному появлению, ответила просто и невнимательно,

продолжая глядеться:

– Одна. Брат уехал в Петрищево, батюшка по соседям сумерничает.

Положив зеркальце на стол, она смахнула подолом с лавки. Он сел, не снимая картуза, она тоже села с другого бока стола. Ее желтое платье было подпоясано по широкой худой талии глянцевым черным ремнем, скуластые щеки натерты румянами и стеарином: румяна были грубого малинового цвета, стеарин мертвого, свинцового.

– Куда-й-то убралась? – спросил он.

Она усмехнулась:

– Да никуда. Так, от скуки.

– Послушай... – сказал он, помолчав.

– Слушаю.

– Давай о доле поговорим.

– Говорите. Знаю ваши думки.

– Да ты про что?

– Про Ганьку небось?

– Ну да. Ну как же ты думаешь, согласится?

– А как же она не согласится? Нынче не то что по городам – по деревням ни одной чистой не осталось. Может, отца побоится, – сказала она насмешливо, – папа у ней строгий.

– Ну, а как же это все обделать? – спросил он, мысленно ужасаясь своей подлости.

– Да уж обделаю...

Совсем стемнело, в дыру окошечка стало пахнуть откуда-то молодой травой и навозом из коровника. Он замолчал, опустив голову. Она подождала и поднялась:

– Ну идите, а то, неравно, батюшка придет.

Он тоже поднялся и взял ее за талию. Она усмехнулась:

– Аи вы в меня влюбились? Нет, я для вас неподходящая. Ишь вы какой длинный, слабосильный.

– Да я вдесятеро сильнее тебя.

– Куда вам со мной! Я вас замотаю.

– Послушай, я серьезно. Я не из-за Ганьки пришел, это только придирка... Приходи завтра под вечер в шалаш в нашем саду.

– Да и я про Ганьку только болтала. Давно вас насквозь вижу!

– Ну так как же? – спросил он, замирая.

– Завтра, как корову подою, так приду.

9 марта 1938

Мистраль

"Все воды твои и волны твои прошли надо мною".

"Вот ты дал мне дни как пяди, и век мой как ничто пред тобою".

Век мой, господи, ничто не только пред тобою, но и предо мною самим...

Лежа в черной тьме спальни, среди шума и гула наружи, теряешь представление о времени. Забываясь, думаешь: "Кажется, скоро рассвет..." Но затем опять видишь ту же черную тьму, слышишь, как жадно несется наружи мистраль, и понимаешь, что эта тьма, этот шум и гул еще ночные, полночные. Привычно подняв руку к изголовью, я освещаю спальню, смотрю на часы: час самый мертвый. От света все вокруг стало проще, шум и гул отделились от дома, и спокойно стоит освещенный куб спальни, беззвучно блестит зеркало против меня, над камином. В зеркало углубленно уходит вторая спальня, что во всем подобна первой, будучи только ниже и меньше ее; там тоже горит свет над старой дубовой кроватью, на которой уже столько лет сплю я в этом старом чужом доме, лежит на приподнятой подушке худое лицо, видны под светом, падающим сверху, темные впадины глаз, виден белеющий лоб, косой ряд в серебристых волосах... Потом я опять поднимаю руку – и опять только гул и тьма, в которой всюду реет что-то как бы светящееся...

"Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить".

Итак, было будто бы время, когда я "всходил на корабль", юный, беспечный, ни о какой гавани не думающий... Где же оно, это время? Вот только моя мысль о нем! "Ничтожна жизнь

каждого. Ничтожен каждый край земли... Немного уже осталось тебе. Живи как на горе. Как с горы обзривай земное: сборища, походы, битвы, полевые работы, браки, рождения, смерти..." И я мысленно вижу Прованс, по которому мчится мистраль с дикой жаждой сокрушения всего человеческого, временного, вижу весь этот древний край, сейчас спящий, пустой, со всеми его горами и долинами, с бледнеющими в лихорадочном блеске звезд дорогами – все теми же, что в те легендарные дни, когда мигом правил тот, кто в какой-то "стране Квадов", в часы своего ночного одиночества, писал под лагерным шатром о ничтожестве всех человеческих жизней, стран и веков... В глухих провансальских селениях, первобытно прекрасных в своей дикости, пахнущих как бы пастушеским дымом, вьевшимся в камень и глину жилищ и очагов, народ говорит, что мул есть создание вешнее, редкое по сокровенности чувств и помыслов, по уму и чуткости ко всему тайному и дивному, чем полон мир, и что до рассвета стоит он в такие ночи в своем темном, холодном, насквозь продуваемом стойле с открытыми глазами, ни на миг не ослабляя слуха и внимания к «работе» мистраля: он, верно, тоже видит, чувствует этот пустой, бесконечный пролет в пространстве тех римских времен, кажущихся мне и моими собственными...

Снова прихожу в себя в той же темноте, но в неожиданном глубоком спокойствии: всюду немота, молчание, бури точно не было. Я встаю, неслышно сбегая в прихожую, отворяю наружную дверь: свежесть ночного воздуха, терраса и пальмы на ней, сад по уступам вниз – и уже неподвижное в белой звездной россыпи небо... Всюду предрассветное ничто. За домом, над темной лесистой горой, есть уже что-то затаенное, обещающее, чуть светлеющее чем-то прозрачным, уходящим в вогнутую высь. Но нигде еще нет ни единого признака жизни. Округлые, от верхушки во все стороны раскинутые вайи пальм мертво висят черными клешнями. Ниже, над садом подо мной, над его скромно сереющими оливами, черно простираются плоские громады широковетвистых пиний. Впереди, в далекой глубине за ними, чуть различимо сквозь сумрак ночное, печальное лоно долин; еще дальше – сонная, холодная туманность: белесо застыло дыхание моря. К западу тучей означаются в небе хребты Эстереля и Мор. К востоку темнеет горб Антибского мыса. И таинственно и мерно, с промежутками, зорко прядет там, на горбе, белый огонь маяка...

Но вот он вдруг гаснет: небо за мысом стало легкое, тонкое, бледное! И где-то внизу подо мной, на какой-то ферме, кричит первый рассветный петух: еще сквозь сон, несознательно, но уж задирчиво, с напрягающимся хриплым клеткотом двух разных голосов...

Еще одно мое утро на земле.

1944

Памятный бал

Было на этом рождественском балу в Москве все, что бывает на всех балах, но все мне казалось в тот вечер особенным: это все увеличивающееся к полуночи нарядное, возбужденное многолюдство, пьянящий шум движения толпы на парадной лестнице, теснота танцующих в двусветном зале с дробящимися хрусталем люстрами и эти всё покрывающие раскаты духовой музыки, торжествующе гремевшей с хор...

Я долго стоял в толпе у дверей зала, весь сосредоточенный на ожидании часа ее приезда, – она накануне сказала мне, что приедет в двенадцать, – и настолько рассеянный, что меня поминутно толкали входящие в залу и с трудом выходящие из его уже горячей духоты. От этого бального зноя и от волнения, с которым я ждал ее, решившись сказать ей наконец что-то последнее, решительное, было и на мне все уже горячее – фрак, жилет, спина рубашки, воротничок, гладко причесанные волосы, – только лоб в поту был холоден, как лед, и я сам чувствовал его холод, его кость, даже белизну его, казавшуюся, вероятно, гробовой над резко черными глазами: все было обострено во мне, я уже давно был болен любовью к ней и как-то волшебным образом боялся се породистого тела, великолепных волос, полных губ, звука голоса, дыхания, боялся, будучи тридцатилетним сильным человеком, только что вышедшим в отставку гвардейским офицером! И вот я вдруг со страхом взглянул на часы, – оказалось ровно двенадцать, – и кинулся вниз по лестнице, навстречу все еще поднимавшейся снизу толпы, откуда несло и пронизывало морозным холодом всего меня сквозь фрак, легкость и топкость которого еще так непривычна была всегда для меня после мундира. Сбежал я, несмотря на толпу, с необыкновенной быстротой и ловкостью и все-таки опоздал: она стояла, среди вновь приехавших и раздевавшихся, уже в од-

ном черном кружевном платье, с обнаженными плечами и накинутом на высокие бальные волосы оренбургском платке, ярко блестя из-под него ничего не выражающими глазами. Скинув платок, она молча протянула мне для поцелуя руку в белой и длинной до круглого локтя перчатке. Я от страха едва коснулся губами перчатки, она, придерживая шлейф, молча взяла меня под руку. Так молча и поднялись мы по лестнице, я вел ее как что-то священное. Наконец зачем-то спросил пересохшими губами:

– Вы нынче танцуете?

Она ответила, прищуриваясь, глядя на головы поднимавшихся впереди, не в меру кратко:

– Не танцую.

И, пройдя в зал, осталась стоять у дверей. Она продолжала молчать, точно меня и не было, но я уже больше не владел собой: боясь, что потом может и не представиться удобной минуты, вдруг стал говорить все то, что весь вечер готовился сказать, говорить горячо, настойчиво, но бормоча, делая безразличное лицо, чтобы никто не заметил этой горячности. И она, к великой моей радости, слушала внимательно, не прерывая меня, смотря на танцующих, мерно махая веером из дымчатых страусовых перьев.

– Я знаю, – говорил я с безразличным лицом, но все горячее и поспешнее, мучительна сдерживая дрожащую на губах улыбку счастья от того, что она так терпеливо слушает меня, должно быть только делая вид, что занята танцующими, – я знаю, – говорил я, уже не веря своим словам, – что я не смею ни на что надеяться... Вот вы нынче не позволили мне заехать за вами...

Тут она, все так же не глядя на меня, безразлично заметила:

– Мой кучер прекрасно знает дорогу сюда.

Но я принял это за шутку и продолжал еще настойчивей:

– Да, я ничего не жду, с меня довольно и того, что вот я стою возле вас и имею счастье высказать вам наконец полностью все то, что я так долго не договаривал... Уж одно это, – бормотал я, вытирая платком ледяной лоб и не сводя глаз с ее длинной ресницы в пылинках пудры и с разреза губ, – уже только это одно...

Извиваясь среди танцующих, к нам подбежала веселая рыжая барышня с: последним букетиком ландышей в плетеной корзиночке. Я бессмысленно взглянул на ее обрызганное веснушками личико и торопливо положил в корзиночку пятьдесят рублей, не взяв букетика. Барышня мило улыбнулась, присела и побежала дальше. Я хотел продолжать, но не успел, – заговорила и она наконец:

– Как надоела мне эта фарфоровая дура, ни один бал без нее не обходится, – сказала она, продолжая махать на меня веером теплый воздух и глядя на белокурую красавицу, приближавшуюся к нам вместе с прочими танцующими в паре с офицером-грузином. – Жаль, что вы не взяли ландышей, я бы сохранила их на память о нынешнем бале... Впрочем, он и так будет памятен мне.

Я с трудом передохнул от восторга и, опустив глаза, с трудом вымолвил:

– Памятен?

Она слегка повернула ко мне голову:

– Да. Я уже не раз слышала ваши признания. Но нынче вы имели, как выразились, «жалкое счастье» высказаться наконец «полностью» относительно своих чувств ко мне. Так вот нынешний бал будет мне памятен тем, что я тоже уже «полностью» возненавидела вас с вашей восторженной любовью. Казалось бы, что может быть трогательнее, прекраснее такой любви! Но что может быть несноснее, нестерпимей ее, когда не любишь сама? Мне кажется, что с нынешнего вечера я не в силах буду даже просто видеть вас возле себя. Вы подозревали, что я в кого-то влюблена и потому так «холодна и безжалостна» к вам. Да, я влюблена – и знаете в кого? В своего столь презираемого вами супруга. Подумать только! Ровно вдвое старше меня, до сих пор первый пьяница во всем полку, вечно весь багровый от хмеля, груб, как унтер, днюет и ночует у какой-то распутной венгерки, а вот поди ж ты! Влюблена!

Я с головокружением поклонился ей и медленно выбрался из толпы на площадку лестницы, думая, что уже ничего, кроме самоубийства, не остается мне после такого позора. Но там, в толпе, я должен был обойти какого-то неподвижно стоявшего на расставленных ногах, заложившего руки с шапокляком за спину, немолодого господина, грубого и крупного, в просторном поношенном фраке, в прическе а-ля мужик. И в ту же минуту прошла мимо него с раскрытым перламутровым веером в слегка дрожащей руке тонкая, высокая девушка в бледно-розовом га-

зовом платье, невнятно, мертво, закрываясь всею, выговорила: «Завтра, в четыре», – и, ало покраснев, скрылась в толпе. Он, все так же твердо стоя на расставленных ногах и помахивая за спиной шапокляком, с самодовольной усмешкой прикрыл глаза в знак того, что слышал ее. Я дерзко шагнул к нему и, замирая от бешеной зависти, раздельно сказал, как заправский скандалист:

– Милостивый государь, вы мне ужасно не нравитесь.

Он удивленно поднял брови:

– Что с вами? И с кем я имею честь...

Я запальчиво перебил его:

– Я сейчас поставлю вас в известность, кто я, а пока скажу, что вы хам и что я вызываю вас.

Он сдвинул ноги, выпрямился:

– Вы пьяны? Вы сумасшедший?

Нас уже обступили. Я бросил в лицо ему свою визитную карточку и, задыхаясь, с торжественной театральностью сумасшедшего, пошел по лестнице вниз...

Вызова с его стороны, конечно, не последовало.

29 апреля 1944

Ловчий

В людской избе, на большой печи, в сумраке, зиму и лето лежал Леонтий, длинный и невероятно худой, заросший седой щетиной бороды, бывший бабушкин повар. В летние дни в людской часто бывало пусто, один Леонтий лежал на печи. На столе были прикрыты рядом черные хлеба. Я приходил, садился на лавку, отламывал корку, солил и ел. А Леонтий лежал и говорил:

– Да, барчук, не всегда я так лежал, мусором голову пересыпал. Не всегда и поваром был. Я у вашего дедушки по бабушке, у Петра Алексеича Чамадунова, ловчим был, стаей правил.

– Стаей собак?

– Так точно. Не телят же! Был сперва простым доезжачим, борзых, значит, вел, а вследствие времени ловчим стал. А ведь это вам не книжку прочесть, тут даже простого русака оследить, и то надо ум иметь. Вот хоть взять охотничий подклик – тут не одно хайло нужно! Тут кураж нужен. А я, бывало, как наддам: «О, гой!» – так весь лес дрогнет! Опричь того, был дедушка ваш охотник смертный, завзятый, – ему угодить не всякий мог. Была у него заветная наложница, девка именем Малашка, – я потом расскажу вам как-нибудь, как я из-за нее погиб, попал под страшный сюркуп... Уж как он людей своих терзал, до чего неприступен был! А эта Малашка просто веревки из него вила, он за нежное ее притворство на все был готов. «Она мне, Леонтий, милые всех на свете!» Так прямо и говаривал мне. Я ему в ответ, что не может того быть, что, мол, это вы только замысловато шутить изволите, а он мне тверже того: «Нет, не шучу, и ты изволь слушать меня с примечанием». Ну, а я все противных мыслей был, все думал про себя: погодите, сударь, покажет она вам себя в некий срок! Ведь на сусле пива не узнаешь, ведь сейчасто она пока девчонка, а вот как станет в лета входить... Они же между тем вдаль свои мечты не простирали, – мол, когда-то еще это будет! Мы такое заведение имели, после осенних охот был у нас завсегда большой публичный стол, так что же вы думаете? – они эту девку с гостями сажали! Ну, а после Малашки начет охоты с ума сходили, и охоту держали мы истинно знаменитую. Так собаку любить, как дедушка любили, никто во вселенной не мог. Они всякую охоту обожали, – и ла шас о леврье и о шьен куран, – иной раз интересовались даже и мокрой, а весной по брызгам...

– Какой мокрой?

– А всякой, значит, болотной. И каких только собак у нас не было! Были понтеры, были сеттеры, были лягавые, а борзым и гончим и счет потеряешь – их за усадьбой целый стан у нас стоял. Ну и я гончих и борзых любил – может, не меньше дедушки. Из того и холостой навек остался, не увлекался самыми первыми красавицами. Да и некогда было, круглый год только стая на уме. Да и что эти красавицы, барчук! Все, как говорится, на один и тот же вкус, подобно курице, – что черный, что белый хохол. Все эти понтеры, сеттеры, лягавые мне были нипочем, ружья я и не знал. Бывало, спросит дедушка: «Ну как, Леонтий, на твой взгляд, моя новая лягавая?» Хороша, скажешь, сударь. Стоит мертво, подает отлично. Они опять изволят ко мне при-

ставать: «Нет, ты скажи мне, пожалуйста, хорошенько, что ты точно думаешь?» Да что ж, говорю, могу я точно думать? Не возьмите во гнев: не могу я ни понтера, ни сеттера, ни лягавую любить, из какого гнезда они ни будь.

– Как из гнезда?

– А это всегда так, сударь, говорилось: из дурного гнезда собака, из хорошего гнезда собака... из какой фамилии, значит.

– А как еще говорилось?

– А мало ли как. Теперь так уж не могут говорить.

– Ну скажи что-нибудь.

– Да что ж не к делу говорить? Это подобно тому, как песню петь некстати. Вот была, к примеру сказать, самая главная песня у нас – лучше этой песни, на мой гсад, на свете нет, а петь ее надо было тоже ко времени. Это была самая наша задушевная: «Выпьем, други, на крови!» Эту песню, сударь, пели на добыче:

Выпьем, други, на крови!

И вот уж истинно картина была: лежит па поляне «пятый зверь, кровяной, гордый, уж с пленкой на глазах, с кушенным языком, а округ него целой ассамблеей охотники – вдаришь в рог, и грянут все хором: «Выпьем, други, на крови!» И вот какое дивное дело бывало почесть всегда: как нарочно о ту пору солнце выглядывало! То вес дождь сеет, а туг как раз стихнет, разойдется мгла, засинеет в небе и солнце глянет; весь мокрый лес озарит, согреет, сделает такой апофеоз – вовек не забудешь! А дедушка стоят во всем своем охотничком наряде замечательнее всех, с чаркой в руке, а возле них – их самый главный фаворит Победим...

– Это его гончий кобель?

– Так точно-с.

– Так ведь ты как-то говорил, что Победим уж старый был?

– Что ж, что старый! Прямо герой был даже и в ту пору! Он раз в одно поле...

– Это значит сразу?

– Никак нет. За один день, лучше сказать, за одно полевание. Он за этот день взял целых пятерых лобанов! Был из себя приземистый, брудастый, иначе сказать, усатый, и мастью муругий, – вроде как черный, только с красниной, – лапы стойкие в локотках с кривизной немножко, а уж про грудь и говорить нечего: Еруслан! И весь в цапинах и хватках – волки не раз пятнали. Мы его на Бушуя у князя выменяли, молодым еще, он тогда еще не опсовел как следует, а уж видно было, что из него будет. А Бушуй хоть и знаменит был, да уж стал на балалайке поигрывать...

– Как это на балалайке?

– Паршиветь с годами стал. Сядет – и ну лапой бить по бокам, по ушам!

– А что значит не опсовел?

– А это всегда так говорится про молодого кобеля, – значит, еще не стал настоящим псом.

Да и про суку тоже: молода, мол, еще не опсовела. Это как про зверя говорят, про волка: прибылой, значит, молодой, а если старый, то это в просторечии лобан, матёрый. Если же взять, к примеру, зайца, так он бывает, во-первых, февральский, настовик...

– Почему настовик?

– По той причине, что о ту пору снег уж крепко занастел, коркой, настом покрылся, а он любит по атому насту жировать, иначе сказать, играть, петли делать. Вон лисица, та любит мышковать, мышей по полю промышлять, вроде как дворовая сучка по полю за ними мышкует, сычует, – ведь сычи и совы тоже за ними охотятся, – а заяц, он только с жиру играет, жирует. И это настовик называется, а старый русак, он голубой: он уж, значит, выцвел, серую шерстку спустил.

– Ну, хорошо, а как же это Победим в одно поле пять лобанов взял?

– А так и взял. Очень лют был. И характера самодурного, угрюмого. Пока не разровнялась охота, идет будто скучный, равнодушный. Он от свор, от стаи всегда одиночкой ходил, беспременно возле дедушки, и все будто что-й-то думает, хмурится, никуда не спешит. Да и дома такой же! Бывало, кричишь на-корму: «Атрыш!» – чтобы, значит, не кидались собаки не вовремя к корму, а он и не слушает – стоит отвернувшись, сам, мол, знаю время. Кричишь наконец того: «Надбруц!» – значит, разрешаешь на корыто с запаркой кинуться – он опять не спешит, подходит будто нехотя, и уж тут не стой другая собака возле него близко – так рыкнет да оскалится,

что дай бог ноги унести! Вот я и говорю: все, бывало, сам по себе ходил, возле дедушки. И умен до того, что только не говорит: будто и не смотрит, а всякий дедушкин взгляд видит, знает и от его стремени, пока работы нету, ни на шаг. А уж это, по охотничьим замечаниям, много значит. Так и говорится: умница собака, от стремени без дела ни на пядь.

– А еще у вас знаменитые кобели были?

– Гончие то есть? Был Будило, Карай, Вопило, Пылай... Были сучки отменные, чистопсовые, все больше краснопегие: Вьюга была, Стрелка, Заира... Эта Заира воейковскую Ласку с ушей обрывала!

– Перегоняла?

– Так точно.

– А у ней щипец хорош был?

– Не кстати, сударь, говорите. Слыхали звон, да не знаете, где он. Щипец, а попросту говоря, пасть, это только у зверя бывает. Это как всякий хвост поленом называется, а лисий – трубой. Хвост не охотничье слово.

– А лисий след – нарыск?

– Не нарыск, а нарыск, – тут надо на «на» упираться. Она рыскает, вот и выходит нарыск.

– А где ее ждут? На лазу?

И опять ни к чему вы говорите. Тут опять на «зу» надо упираться – на лазу! – а главное, это не лисицу, а волка ждут на лазу, там, значит, где он вылезает, да и то не всегда – мало ли где его ждут! И что ж это вы все меня сбиваете, слона не дадите сказать? Вот я уж и забыл, о чем была речь.

– Ты про Победима хотел рассказать.

– Ну да, вы все сбиваете. Вот я и говорю – приказали раз дедушка большой охоте быть. Раз говорят мне: «Знаешь, Леонтий, я даже мочь вчерась не спал, упражнен будучи с самой ужины воображением насчет наших охот. Разбился в идеях, куда ж нам на полевание итить? Надоели мне наши скаредные места. Конечно, легче в безделицах упражняться, нежели в делах изрядных, иначе это не мой вкус. Будем брать поле в Верховьи». Уж очень, говорю, непролазные места, сударь. Тем лутче, говорят, молчи и слушай мое готовое. Потом, после ужины...

– После ужина?

– Это теперь так выражаются, а мы говорили по-своему, по-старому. Ну, так вот, дали после ужины повторительный приказ камердинеру, чтобы как можно скорей кофий им нарани подали. Опочивать изволили рано, по разговорам со мной вскорости к себе ретировались, поутру же были изрядно строг, все вполслова приказывал. Чем свет опять меня зовут. Леонтий, говорят, повторяю тебе – мы нынешний год срамимся до девятой пуговицы, большой охотой все манкируем, с поля иной раз уходим, не выдав ни шерстинки. Я отвечаю, что, мол, не наша в том вина, время все стояло теплое, всякая зверь хоронилась, не в рыску была...

– На «ку» надо упираться?

– Так точно. Значит, не рыскала. Ездили, говорю, раза два по белотропу...

– Это по первой пороше?

– Ах, сударь, замучили вы меня! Ну, конечно, так. Ездили, говорю, по белотропу, а он под копытом таял – разве это охота? Все перемочки, изгарь, сырая прохолодь... Вот теперь другое дело, и зверь уж вылез как следует...

– Откуда вылез?

– Из лесу. Это когда он позднюю осень почует и в лесу больше не хоронится, а в поле выходит. Опять же, говорю, и Победим хворал, а мы все на Катая надеялись, с ним роль хотели разыграть. (Дедушка тогда только что выменяли у Рудина им Резвую этого Катая и увлекались, понятно.) Катая, говорю, нельзя покорить, собака ладная и с ногами, работает правильно, да разве Победиму чета?

– А какой Катай был? Чернопегий, краснопегий или полвопегий? Брудастый?

– Ишь как вы наострились, сударь! А спроси вас, какой такой полвопегий, ан и не знаете.

– Нет, знаю. Белый в желтых пятнах.

– Правильно-с. А брудастый?

– Ты это уже говорил. Усатый.

– Опять верно. А подуздый?

– А это когда нижняя челюсть маленькая.

– В аккурат верно. А Катай был чернопегий и брудастый. Ну хорошо, только опять мы с вами с дороги сбились, надо вам досказать про Победима. Вышли в тот день дедушка на крыльцо раным-рано, огляделись – ну, говорят, с богом на-конь! Двинулись мы всем нашим многолюдством, прошли по венцу нашей горы, выровнялись на простор, поднялись дедушка на своем буланом на темя и приказали зачинаться полю...

– На какое темя?

– Ах, царица небесная! Ну как это сказать? На возвышенное место, попросту говоря... Шли по мелочам, по мелкому, значит, кустарнику, потом свалились в луга к лесу, перешиб я луга рысью и стал подвывать. Только отголосу не слышу никакого, – верно, думаю, они на добыче. Выскочила было лисица да скатилась в овраги и сразу понорилась, ушла в свое нырище, не стали мы на нее и время терять. Потом подозрил я русака, хлопнул арапельником – заложилась за ним Стрелка с Заирой по грани, сладилась...

– По грани? Это по рубежу, значит?

– По меже, по рубежу... Спят, спят...

– Настигают?

– Понятное дело. Спят за ним почесть ухо в ухо, только стал он вдруг отростать от них...

– Как это отростать?

– Уходить, сударь, уходить. Да Заира не глупей его была – наддала маленько, сбила его с грани и покатила вместе с ним, а тут стая и накрыла их. Дедушка кричит: «Прими!» – а я уж давно принял...

– Заколот?

– Конечно, заколот, да кто ж так-то говорит? Приказная строка какая-нибудь! Да не в том дело, сударь, я все это к тому, что, окромя этих пустяков, ничего мы в тот первый день не сделали до самого вечера. Вечеру встретили охоту Рудина, сбили обе стаи в одну и пошли к нему на наслег, подвалили к усадьбе...

– На ночлег?

– На наслег, сударь, на наслег. А у Рудина...

Но мне, как это часто бывает с детьми, вдруг становилось скучно, хотелось в сад, на пруд. Я начинал вертеться, уже плохо слушал, что было у Рудина, и наконец под каким-нибудь предлогом ускользал из избы, пообещав Леонтию прийти дослушать его завтра. И Леонтий опять оставался один в сумраке на печи, в пустой избе, со своими думами о временах дедушки.

Париж, 1946

Полуденный жар

Жаркий день, вся дворня на покосе, усадьба кажется брошенной, – во всей усадьбе только я и дурочка Глаша. Она гостит у нас, теперь сидит под раскрытым окном людской, обращенной задом к солнцу, темной, полной мух и, оттого что в ней пекли утром хлебы, очень жаркой. Сидит и что-то говорит: часто так до самого вечера и все говорит, вслух думает. Я вышел из дому, – увидав меня, кличет к себе:

– Папаша, поди-ка ко мне. Поди, не бойся.

Я вхожу в тень избы и сажусь под окном на скамейку.

– Чего ж мне бояться, Глаша, я не боюсь.

Она с ласковым сожалением качает головой:

– У, дурак, дурак. Как же не бояться? Я глупая, убогая, а спокон веку боюсь. Все думаю, все боюсь. Прежде лежала сколько лет, а он меня в тележке возил...

– Кто возил?

– Оська возил, сирота, отрок божий, первый вор был на всех ярманках, потом, сказывали, в остроге в Задонске сидел. Я, бывало, лежу, а он меня везет, по всем деревням впричет кричит, милостинку на меня просит, а я лежу, я, мол убогая, безногая. Мне не бог ножки отнял, а сама отлежала их, сама в тележку легла, а кто ж бы мне дал, кто милостинку сотворил? Никто бы не дал, дур и так на свете много, побирушек, папаша, много, а народ, он жадный. Они все, мужики-то, жадные, всякому жалко с копейкой расставаться, а корку хлебную, горбушку, он се блажей цыпленку размочит, цыпленка своего напичкает. Я и лежу, а он кричит, по полям, по деревням меня везет, по ярмонкам. По ярманкам хорошо бывает, народ гамит, карусели летяг, музыка, ко-

локольчики, по церквам трезвон, но то что в поле, там-то и есть самый страх и жар.

– Какой страх и жар?

– У, дурак, дурак. Какой же бывает жар? Полуденный жар, в какой Еву полуденный бес искусил. А как бросил Оська меня возить и тележку себе взял, я сама, папаша, стала просить, сама стала ходить, меня теперь все знают, все почитают, на станцию приду, жандар честь отдает, буфетчик чаем угощает. А по полям, по степям, нету там, папаша, живой души, одни видения.

– Что ж тебе там видится?

Задумалась, стала говорить, глядя вдаль:

– В церковь венчать привезли меня, папаша. Жених высокий, лютый, а красивый, загляденье. Загляденье, до чего хорош! Свечи зажгли, венцы на нас надели. Народ стоит, а никто не говорит. Боятся, папаша. Боятся. А на мне будто портки черные, пинжак черный, я и рада, хорошая стою. Рада, веселая...

– Ну и что ж? Перевенчали вас, а потом?

Она очнулась от задумчивости:

– У, дурак! Нетто можно спрашивать? Он блуд со мной сотворил, а у меня сердце зашло, я аж петухом закричала от той ужаси, проснулась и вся трясусь, плачу, рыдаю, а на меня ангелы крыльями дуют со всех сторон, ничего не видать, темь, погреб, а я вижу, как они белеются, вихрем округ меня... У, дурак, дурак! – ласково и восторженно сказала она грубым голосом и захотала диким, блаженным хохотом. – А ты говоришь: не бояться! Как же не бояться?

Успокоившись, опять заговорила задумчиво:

– Да, вот он преподобный был, а как погибал! Он святой был, Серафимом звали, ангелом, а сперва простой будильщик был. Была там обитель в лесу, а он монахов будил: «Вставайте, вставайте, душу не проспите!» По ночам их будил. Семь лет будил, послушанье нес, потом дьяконом сделали. А то все будил: вставайте, мол, – бесы на вас по кельям глядят, глазами горят, дышают, кахают. А как дьяконом стал, еще пуще страсти натерпелся. Выйдет, выйдет к народу, поднимет орарь, хочет возгласить, ан нет, ничего не может закричать. Народ стоит, ничего не видит, а он видит, и то в жар его кинет, то в чистый мороз: то красный как кумач сделается, то как снег белый. Да. Народ молчит, и он молчит, только одно видит: по всей церкви ангелы служат, по воздуху плывут, кадилами, дымом машут, грозой сверкают, ризы белью, крылья белые... Я тогда у батюшки гостила, он все это мне сказывал, по книжке читал. Как пьяный, тик читать. Без умолку читал!

– У какого батюшки?

– У, как же не знаешь? У отца Федора, Успенье пресвятой богородицы. Церковь Успенья царицы небесной. И она, милый, тоже померла! Померла, папаша! И у него сын помер, от чаотки погиб, отец пьяница, и он пьяница был. Вошли, а он на диване лежит, закатил глаза, за рубашку, за грудь себе сгреб и только пену с губ пускает. Матушка вошла, поглядела – дышит, мол, аи уж нет? Нет, папаша, ничего не дышит! Царство небесное! Заплакала, залилась, чего ж вы, кричите, в больницу не съездили! А батюшка на пасеке был, рой пчелиный огребал, а он один в горнице лежал на этом диване... Потом раздели всего, на пол стащили, пришли старухи с горячей водой, с ведрами, стали его мыть, а он лежит, попаша, белый весь, как пшеничная мука белый, голый. Потом рубашку на него крахмальную надели, на стол в ней положили, совсем новая была. Потом стали нищим его добро раздавать, мне его прежнюю подарили, с косым воротом, а я взяла да ночью в бурьян бросила, он помер в ней, как же мне ее носить? А гроб шибко несли! Батюшка спешит, кадилом взвивает, а сам плачет, рыдает: Коля мой, Коля, что ж ты надо мной наделал! Как же я тебя своими руками хоронить буду? Лучше сана лишусь, а сам не могу! А я, убогая, глупая, свое думаю, свое вспоминаю, как меня хоронили.

– Как это тебя хоронили, Глаша? Что это ты говоришь?

– Хоронили, милый, хоронили. Все архиереи собрались, все священники. Везет меня Оська в степи, а тут рабочая пора вот-вот, все косить пойдут, все ржи сухие, желтые, горячие, – гляну, а им конца-краю нету, желтые, аж глаза ломит, жар огнем душит, и нигде-то ни души живой, ни голоса, будто все на свете смолкли, померли! Хлеб стоит, горит, грач и тот боком на дороге сидит, бельма завел, закатил, огнем во весь зоб дышит. А я лежу, закрыла глаза и лежу, меня мухи, оводы едят, а он, Оська, как пьяный, идет, качается, босиком в пыли месит, нагнулся вперед, тащит меня, вся спина, вся рубаха от мух черная, пьют его пот... Он бы давно ограбил, убил меня в этой степи, в этот жпр и зной, сам мне это говорил, со слюнями смеялся дурак, и никто бы на

свете ничего не знал, не слышал, она, эта степь, до самого моря идет, да что ж он мог ограбить у меня! Один дерюжий мешок с корками, с печеными яйцами, с: медными копейками. Что с меня, милый, взять? Я и задремали, только слышу вдруг – идут и поют, идут на нас по этим желтым ржам и все громче поют, все в ризах золотых, в черных и серебряных... Я глянула, а они прямо на нас идут, хороните, поют, рабу божью во блаженном успении, машут на меня горячим ладаном! Закричал тут Оська-дурак не своим голосом и помчал во весь дух, куда глаза глядят, – тем мы, папаша, и спаслись, тем только и спаслись, милый. А то бы давно мои косточки в земле гнили!

1947

"В такую ночь..."

Под Одессой, в светлую, теплую ночь конца августа.

Шли, гуляя, по высоким обрывам над морем. Глядя на его широкую сияющую равнину, начал с шутливой важностью декламировать:

Луна блестит. В такую ночь, как эта...

Она взяла его под руку и продолжала:

В такую ночь
Тревожно шла в траве росистой Тизба...

– Позвольте, позвольте: откуда это вы такая ученая, что даже Шекспира знаете?

– Оттуда же, откуда и вы. Не всегда же была добродетельной супругой и обывательницей богоспасаемого Конотопа. Киевскую гимназию с золотой медалью кончила.

– Ну, знаете, это так давно было...

– Это что же – милые дерзости? Ошибаетесь – всего двенадцать лет.

Он покосился на ее высокую, прямую фигуру, на оживленное лицо в веснушках:

– Правильно. Я еще позавчера, как только с вами познакомился, дал вам лет тридцать. Но это для хохлушки уже старость.

– Оставьте в покое мою старость. И я вовсе не хохлушка, а казачка. Лучше скажите, кто это Тизба, я забыла.

– А черт ее знает. Все равно – дальше что-то чудесное, насколько помню.

Совершенно чудесное:

И тень от льва увидев прежде льва,
Вся ужасом объятая, пустилась
Стремительно бежать...

Он грустно продолжал:

В такую ночь печальная Дидона
Стояла на пустынном берегу...

Она кончила в тон ему:

В такую ночь
Медея шла, в полях сбирая травы
Волшебные, чтоб юность возвратить
Язону-старика...

– Господи, как хорошо! Тень от льва, какая-то Медея, какие-то травы волшебные... И никого нет, кто б полюбил меня!

– А я-то на что?

– Вы циник и прозаик. А мне нужен поэт, Да и не к чему – две недели моего отпуска вот-вот пролетят стрелой а там опять Конотоп!

– Не беда. Хорошо только короткое счастье.

Как сладко спит сияние луны
Здесь на скамье!

То есть не на скамье, а на этом обрыве. Посидим немного, Медея.

– Посидим, Язон...

Свернув с тропинки, сели на пересохшую траву над самым обрывом.

– Что хорошего у вас, Дидона, так это ваш грудной, хохлацкий голос. И потом, вы умница, веселая...

Она сняла с голы ноги татарский башмачок, вытряхивая из него пыль, и пошевелила пальцами продолговатой ступни, до половины темной от загара.

– И нога чудесная. Можно поцеловать?

– Ни в коем случае. В такую ночь печальная Медея... В такую ночь... Ну что это за безобразия, даже не дает договорить...

Возвращались медленно, поздно, когда луна стояла уже совсем низко, золотая вода сумрачно светилась у берега внизу, и было так тихо, что слышны были ее полусонные приливы и отливы.

7 апреля 1949

Алупка

Солнце только что скрылось, еще светло, но в жарком меркнушем воздухе, в синеватой неопределенности неба, над кипарисами Алупки, уже реют и дрожат чуть видные, как паутина, летучие мыши. Закрывая на ходу плоский цветной зонтик, которым все вертела на плече, спускаясь по пыльному переулку к пансиону, быстро вошла в жидкий садик, усыпанный галькой, и взбегает на террасу, где доктор один полулежит на качалке в ожидании обеда: в пансионе еще пусто, кто в парке, кто на берегу под парком, кто встречает вечерний почтовый дилижанс из Ялты.

– Слышал? – возбужденно говорит она, входя. – В Ялту приехали артисты Малого театра! Не играть, конечно, а так... Чуть не вся труппа, Лешковская с Южиным...

– От кого же я мог это слышать? Ты, конечно, как всегда, почему-то бегала встречать дилижанс?

– Да, и встретила доктора Никитина, его вызвали к старухе Крестовниковой, он мне и рассказал это...

– Очень рад, только не понимаю, почему ты объявляешь мне об этом приезде так, словно случилось невесть что? Вбегаешь вне себя, вся красная, в поту, завитушки на лбу растрепаны...

– Будешь вне себя, когда в этой милой Алупке день и ночь задыхаешься от жары и духоты! Но дело вовсе не в моей наружности, а в том, что я хотела тебе сказать, что ты как хочешь, а я больше не могу сидеть тут!

– А где ты хочешь сидеть? В Ялте?

– Да, хотя бы в Ялте.

– И все потому, что туда приехали артисты Малого театра? Да ты что – из Чухломы, что ли? И почему ты вдруг стала такой театралкой? В Москве бываешь в этом Малом театре раз в два года, а тут вдруг так поражена этим приездом!

– Ничем я не поражена, но как ты наконец не понимаешь...

– Что не понимаешь?

– То, что мне твоя Алупка и этот «семейный» пансион осточертели! В Ялте...

– В Ялте, разумеется, совсем не то! В Ялте проводники, набережная, а теперь еще хромая Лешковская с Южиным. Какое же сравнение! Но мы, мой друг, приехали в Крым не ради проводников, а ради отдыха.

– Мы, мы! Слышать не могу этого мы! Мы ведь все-таки не сиамицы, Алексей Николаевич!

Доктор приподнимается и садится, удивленно глядя на нее, в первый раз заметив вдруг, до чего она изменилась за последнее время и особенно за эти три недели в Крыму, чуть не с утра до вечера лежа на гальке у моря под парком и по пяти раз в день купаясь: загорелое лицо окрепло и округлилось, глаза налились блеском, плечи, груди, бедра расширились, что особенно явно под легким платьем из сарпинки, вся горячо пахнет этой сарпинкой и загорелым телом, обнаженные коричневые круглые руки точно отполированы... Доктор пожимает плечами, стараясь быть спокойным и строгим:

– При чем тут сиамские близнецы?

– При том, что я прекрасно предвидела всю эту сцену и дорогой твердо решила переехать одна, если ты не переедешь. И перееду, а ты как знаешь.

– Постой. Да ты в своем уме? Что с тобою? Внезапное острое помешательство? "Приехали артисты Малого театра, переезжаю в Ялту, а ты как знаешь..."

– Разумеется, как знаешь, раз ты...

– Что я?

– Раз ты вот настолько не думаешь обо мне! Ты, за все пять лет нашего милого супружества, которое все величают «идеальным»...

– Помилуй бог, какая адская ирония!

– Да, для тебя оно, разумеется, «идеальное»! Сиди себе в кабинете да раздевай своих несчастных идиотов – вздохните – не дышите, вздохните – не дышите, а я... И вот-вот опять Мерзляковский переулочек, и опять ты будешь месяца два рассказывать всем знакомым, как «чудно» отдохнули «мы» летом! В прошлом году расписывал Волгу, в позапрошлом Евпаторию, в нынешнем будешь расписывать Алупку... Довольно с меня этих отдыхов!

– Да ты что? Сбежать от меня решила?

– Я ничего не решила, только я больше не могу! Не могу и не могу!

– Все это прекрасно, но, во-первых, надо решить, куда именно и с кем и с чем бежать, а во-вторых, все-таки не кричать на весь дом.

– Хочу и кричу! И буду кричать! Нарочно буду!

В их комнате на втором этаже, очень тесной от двух кроватей, двух кресел, гардероба со скрипучими, разохшимися дверками, умывальника и чемоданов под вешалкой, воздух горяч и неподвижен, в окно, открытое на совсем уже померкшее небо, нет ни малейшего дуновения, Вбежав туда, она падает в кресло, на спинку которого брошен купальный халат, еще не высохший, противно пахнувший теплой сыростью, и с бьющимся сердцем, зло и решительно смотрит перед собой, не выпуская из рук зонтика.

21 апреля 1949

В Альпах

Влажная, теплая, темная ночь поздней осенью. Поздний час. Селенье в Верхних Альпах, мертвое, давно спящее.

Автомобиль набирает скорость с горизонтально устремленными вперед дымчато-белесыми столбами. Освещаемые ими, мелькают вдоль шоссе кучки щебня, металлически-меловая хвоя чахлого ельника, потом какие-то заброшенные каменные хижины, за ними одинокий фонарь на маленькой площади, самоцветные глаза бессонной кошки, соскочившей с дороги, – и черная фигура размашисто шагающего, развевая подол рясы, молодого кюре в больших грубых башмаках... Шагает, длинный, слегка гнутый, склонив голову, одиноко не спящий во всей этой дикой горной глуши в столь поздний час, обреченный прожить в ней всю свою жизнь, – шагает куда, зачем?

Площадь, фонтан, грустный фонарь, словно единственный во всем мире и неизвестно для чего светящий всю долгую осеннюю ночь. Фасад каменной церковки. Старое обнаженное дерево возле фонтана, ворох опавшей, почерневшей, мокрой листвы под ним... За площадью опять тьма, Дорога мимо убогого кладбища, кресты которого точно ловят раскинутыми руками бегущие световые полосы автомобиля.

1949

"Un petit accident"²³

"Зимний парижский закат, огромное панно неба в мутных мазках нежных разноцветных красок над дворцом Палаты, над Сенной, над бальной площадью Согласия. Вот эти краски блекнут, и уже тяжело чернеет дворец Палаты, сказочно встают за ним на алеющей мути заката силуэты дальних зданий и повсюду рассыпаются тонко и остро зеленеющие язычки газа в фисташковой туманности города, на сотни ладов непрерывно звучащего автомобиля, в разные стороны бегущими со своими огоньками в темнеющих сумерках. Вот и совсем стемнело, и уже блещет серебристо-зеркальное сияние канделябров Площади, траурно льется в черной вышине грозовая игра невидимой башни Эйфеля, и пылает в темноте над Бульварами грубое богатство реклам, огненный Вавилон небесных вывесок, то стеклянно струящихся, то кроваво вспыхивающих в этой черноте. И все множатся и множатся бегущие огни автомобилей, их разноголосно звучащего потока, – стройно правит чья-то незримая рука его оркестром. Но вот будто дрогнула эта рука, – близ Мадлэн какой-то затор, свистки, гудки, стесняется, сдвигаясь, лавина машин, замедляющая бег целой части Парижа: кто-то, тот, кто еще успел затормозить в этой лавине свою быструю каретку, ярко и мягко освещенную внутри, лежит грудью на руле. Он в шелковом белом кашне, в матовом вечернем цилиндре. Молодое, пошло античное лицо его с закрытыми глазами уже похоже на маску.

1949

Переводы

Генри Лонгфелло
Песнь о Гайавате

От переводчика

"Песнь о Гайавате", впервые обнародованная в 1855 году, считается самым замечательным трудом Лонгфелло. Впечатление, произведенное ею, было необыкновенно: в полгода она выдержала тридцать изданий, породила множество подражаний и была переведена чуть не на все европейские языки.

Всех поразила оригинальность ее сюжета и новизна блестящей, строго выдержанной формы.

"Мой знаменитый друг, – говорит известный немецкий поэт Ф. Фрейлиграт в предисловии к своему переводу "Песни о Гайавате", – открыл американцам Америку в поэзии. Он первый создал чисто американскую поэму, и она должна занять выдающееся место в Пантеоне всемирной литературы".

Но главное, что навсегда упрочило за "Песней о Гайавате" славу, это – редкая красота художественных образов и картин, в связи с высоким поэтическим и гуманным настроением. В "Песни о Гайавате" сошлись все лучшие качества души и таланта ее творца. Лонгфелло всю жизнь посвятил служению возвышенному и прекрасному. "Добро и красота незримо разлиты в мире", – говорил он и всю жизнь всюду искал их. Ему всегда были особенно дороги чистые сердцем люди, его увлекала девственная природа, манили к себе древние народные предания с их величавой простотой и благородством, потому что сам он до глубокой старости сохранил в себе возвышенную, чуткую и нежную душу. Он говорил о поэтах:

"Только те были увенчаны, только тех имена священны, которые сделали народы благородней и свободнее".

Эти слова можно применить к нему самому. Он призывал людей к миру, любви и братству, к труду на пользу ближнего. В его поэмах и стихотворениях всегда "незримо разлиты добро и красота"; они всегда отличаются, не говоря уже о простоте и изяществе формы, тонким пониманием и замечательным художественным воспроизведением природы и человеческой жизни.

²³ Маленькое происшествие – франц.

"Песнь о Гайавате" служит лучшим доказательством всего сказанного. Она трогает нас то величием древней легенды, то тихими радостями детства, то чистотою и нежностью первой любви, то безмятежностью трудовой жизни на лоне природы, то скорбью роковых и вечных бед человеческого существования. Она воскрешает перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздает цельные характеры первобытных людей, их быт и мирозерцание.

"Песнь о Гайавате", – говорит Лонгфелло, – это – индейская Эдда, если я могу так назвать ее. Я написал ее на основании легенд, господствующих среди североамериканских индейцев. В них говорится о человеке чудесного происхождения, который был послан к ним расчистить их реки, леса и рыболовные места и научить народы мирным искусствам. У разных племен он был известен под разными именами: Michabon, Chiabo, Manabozo, Tarenaywagon, Hiawatha, что значит – пророк, учитель. В это старое предание я вплел и другие интересные индейские легенды... Действие поэмы происходит в стране оджибуэев, на южном берегу Верхнего Озера, между Живописными Скалами и Великими Песками".

В России "Песнь о Гайавате" еще мало известна. Д. Л. Михаловский сухо и с пропусками перевел только несколько глав ее, значительно изменив форму и тон подлинника. Полный перевод ее появляется впервые. Я всюду старался держаться возможно ближе к подлиннику, сохранить простоту и музыкальность речи, сравнения и эпитеты, характерные повторения слов и даже, по возможности, число и расположение стихов. Это было нелегко: краткость английских слов вошла в поговорку; иногда приходилось сознательно жертвовать легкостью стиха, чтобы из одной строки Лонгфелло не делать нескольких.

Что касается индейских слов, то я проверил их значение по немецкому переводу Фрейлиграта, который просмотрен самим Лонгфелло. Список этих слов помещен в конце книги. В большинстве случаев индейские слова пояснены прямо в тексте, как это сделано в подлиннике, – например: "Вьет гнездо Омими, голубь..."

1898

Вступление

Если спросите – откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? –
Я скажу вам, я отвечу:

"От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэев,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги".

Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага, –
Я скажу вам, я отвечу:
"В гнездах певчих птиц, по рощам,

На прудах, в норах бобровых,
На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах.

Эти песни раздавались
На болотах и на топях,
В тундрах севера печальных:
Читовэйк, зук, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза".

Если б дальше вы спросили:
"Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу", –
Я тотчас бы вам ответил
На вопрос такую речью:

"Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилалась нивы, доли,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый – летом,
Белый – в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.

Те веселые потоки
Были видны на долине
По разливам их – весной,
По ольхам серебристым – летом,
По туману – в день осенний,
По руслу – зимой холодной.
Возле них жил Навадага
Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых.

Там он пел о Гайавате,
Пел мне Песнь о Гайавате, –
О его рожденье дивном
О его великой жизни:
Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде".

Вы, кто любите природу –
Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,

Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются, –
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка, –
Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, в чьем юном, чистом сердце
Сохранилась вера в бога,
В искру божью в человеке;
Вы, кто помните, что вечно
Человеческое сердце
Знало горести, сомненья
И порывы к светлой правде,
Что в глубоком мраке жизни
Нас ведет и укрепляет
Провидение незримо, –
Вам бесхитростно пою я
Эту Песнь о Гайавате!

Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,
Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,
Забываетесь порою
На заброшенном погосте
И читаете в раздумье
На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,
Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры, –
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!

Трубка мира

На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отовсюду.

От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнем, сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой путь отныне будет!»

От утеса взявши камень,
Он слепил из камня трубку
И на ней фигуры сделал.
Над рекою, у побережья,
На чубук тростинку вырвал,
Всю в зеленых, длинных листьях;
Трубку он набил корою,
Красной ивовой корою,
Идохнул на лес соседний,
От дыханья ветви шумно
Закачались и, столкнувшись,
Ярким пламенем зажглися;
И, на горных высях стоя,
Закурил Владыка Жизни
Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью.

Дым струился тихо, тихо
В блеске солнечного утра:
Прежде – темною полоской,
После – гуще, синим паром,
Забелел в лугах клубами,
Как зимой вершины леса,
Плыл все выше, выше, выше, –
Наконец коснулся неба
И волнами в сводах неба
Раскатился над землею.

Из долины Тавазэнта,
Из долины Вайоминга,
Из лесистой Тоскалузы,
От Скалистых Гор далеких,
От озер Страны Полночной
Все народы увидали
Отдаленный дым Покваны,
Дым призывный Трубки Мира.

И пророки всех народов
Говорили: "То Поквана!
Этим дымом отдаленным,
Что сгибается, как ива,
Как рука, кивает, манит,
Гитчи Манито могучий
Племена людей сзывает,
На совет зовет народы".

Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты –
Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни.

И в доспехах, в ярких красках, –
Словно осенью деревья,
Словно небо на рассвете, –
Собрались они в долине,
Дико глядя друг на друга.
В их очах – смертельный вызов,
В их сердцах – вражда глухая,
Вековая жажда мщенья –
Роковой завет от предков.

Гитчи Манито всесильный,
Сотворивший все народы,
Поглядел на них с участием,
С отчей жалостью, с любовью, –
Поглядел на гнев их лютый,
Как на злобу малолетних,
Как на ссору в детских играх.

Он простер к ним сень десницы,
Чтоб смягчить их нрав упорный,
Чтоб смирить их пыл безумный
Мановением десницы.
И величественный голос,
Голос, шуму вод подобный,
Шуму дальних водопадов,
Прозвучал ко всем народам,
Говоря: "О дети, дети!
Слову мудрости внемлите,
Слову кроткого совета
От того, кто всех вас создал!

Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота – дикой птицей:
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?

Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,

От борьбы кровопролитной,
От молитв о кровной мести.
Ваша сила – лишь в согласье,
А бессилие – в разладе.
Примиритесь, о дети!
Будьте братьями друг другу!

И придет Пророк на землю
И укажет путь к спасенью;
Он наставником вам будет,
Будет жить, трудиться с вами.
Всем его советам мудрым
Вы должны внимать покорно –
И умножатся все роды,
И настанут годы счастья.
Если ж будете вы глухи, –
Вы погибнете в раздорах!

Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,
Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь как братья!"

Так сказал Владыка Жизни.
И все воины на землю
Тотчас кинули доспехи,
Сияли все свои одежды,
Смело бросились в реку,
Смыли краски боевые.
Светлой, чистою волною
Выше их вода лилася –
От следов Владыки Жизни.
Мутной, красною волною
Ниже их вода лилася,
Словно смешанная с кровью.

Смывши краски боевые,
Вышли воины на берег,
В землю палицы зарыли,
Погребли в земле доспехи.
Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
Встретил воинов улыбкой.

И в молчанье все народы
Трубки сделали из камня,
Тростников для них нарвали,
Чубуки убрали в перья
И пустились в путь обратный –
В ту минуту, как завеса

Облаков заколебалась
И в дверях отверстых неба
Гитчи Манито сокрылся,
Окружен клубами дыма
От Йокваны, Трубки Мира.

Четыре ветра

«Слава, слава, Мэджекивис!» –
Старцы, воины кричали
В день, когда он возвратился
И принес Священный Вампум
Из далеких стран Вабассо –
Царства кролика седого,
Царства Северного Ветра.

У Великого Медведя
Он украл Священный Вампум,
С толстой шеи Мише-Моквы,
Пред которым трепетали
Все народы, снял он Вампум
В час, когда на горных высях
Спал медведь, тяжелый, грузный,
Как утес, обросший мохом,
Серым мохом в бурых пятнах.

Тихо он к нему подкрался,
Так подкрался осторожно,
Что его почти касались
Когти красные медведя,
А горячее дыханье
Обдавало жаром руки.
Осторожно снял он Вампум
По ушам, по длинной морде
Исполина Мише-Моквы;
Ничего не услышали
Уши круглые медведя,
Ничего не разглядели
Глазки сонные – и только
Из ноздрей его дыханье
Обдавало жаром руки.

Кончив, палицей взмахнул он,
Крикнул громко и протяжно
И ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
Между глаз ударил прямо!

Словно громом оглушенный,
Приподнялся Мише-Моква,
Но едва вперед подался,
Затряслись его колени,
И со стоном, как старуха,

Сел на землю Мише-Моква.
А могучий Мэджекнвис
Перед ним стоял без страха,
Над врагом смеялся громко,
Говорил с пренебреженьем:

"О медведь! Ты – Шогодайя!
Всюду хвастался ты силой,
А как баба, как старуха,
Застонал, завыл от боли.
Трус! Давно уже друг с другом
Племена враждуют наши,
Но теперь ты убедился,
Кто бесстрашней и сильнее.
Уходите прочь с дороги,
Прячьтесь в горы, в лес скрывайтесь!
Если б ты меня осилил,
Я б не крикнул, умирая,
Ты же хнычешь предо мною
И свое позоришь племя,
Как трусливая старуха,
Как презренный Шогодайя".

Кончив, палицей взмахнул он,
Вновь ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
И, как лед под рыболовом,
Треснул череп под ударом.
Так убит был Мише-Моква,
Так погиб Медведь Великий,
Страх и ужас всех народов.

"Слава, слава, Мэджекивис! –
Восклицал народ в восторге. –
Слава, слава, Мэджекивис!
Пусть отныне и вовеки
Ветром Запада он будет,
Властелином над ветрами!"
И могучий Мэджекивис
Стал владыкой над ветрами.
Ветер Западный оставил
Он себе, другие отдал
Детям: Вебону – Восточный,
Шавондази – теплый Южный,
А Полночный Ветер дикий
Злому дал Кабибонокке.

Молод и прекрасен Вебон!
Это он приносит утро
И серебряные стрелы
Сыплет, сумрак прогоняя,
По холмам и по долинам;
Это Вебона ланиты
На заре горят багрянцем,
А призывный голос будит

И охотника и зверя.

Одинок на небе Вебон!
Для него все птицы пели,
Для него цветы в долинах
Разливали сладкий запах,
Для него шумели реки,
Рощи темные вздыхали,
Но всегда был грустен Вебон;
Одинок он был на небе.

Утром раз, на землю глядя,
В час, когда спала деревня
И туман, как привиденье,
Над рекой блуждал, белея,
Он увидел, что в долине
Ходит дева – собирает
Камыши и длинный шпажник
Над рекою по долине.

С той поры, на землю глядя,
Только очи голубые
Видел Вебон на рассвете:
Как два озера лазурных,
На него они смотрели,
И задумчивую деву,
Что к нему стремилась сердцем,
Полюбил прекрасный Вебон:
Оба были одиноки,
На земле – она, он – в небе.

Он возлюбленную нежил
И ласкал улыбкой солнца,
Нежил вкрадчивою речью,
Тихим вздохом, тихой песней,
Тихим шепотом деревьев,
Ароматом белых лилий.
К сердцу милую привлек он,
Ярким пурпуром окутал –
И она затрепетала
На груди его звездой.
Так доньне неразлучно
В небесах они проходят:
Вебон, рядом Вебон-Аннонг –
Вебон и Звезда Рассвета.

В ледяных горах, в пустыне,
В царстве кролика, Вабассо,
В царстве вечной снежной вьюги,
Обитая Кабибонокка.
Это он осенней ночью
Разрисовывает листья
Краской желтой и багряной,
Это он приносит вьюги,
По лесам шипит и свищет,

Покрывает льдом озера,
Гонит чаек острокрылых,
Гонит цаплю и баклана
В камыши, в морские бухты,
В гнезда их на теплом юге.

Вышел раз Кабибонокка
Из своих чертогов снежных
Меж горами ледяными,
Устремился с воем к югу
По замерзшим, белым тундрам.
И, осыпанные снегом,
Волоса его – рекою,
Черной, зимнею рекою
По земле за ним струились.

В тростниках, среди осоки,
На замерзших, белых тундрах
Жил там Шингебис, морянка.
Одиноко в белых тундрах
Проводил он зиму эту:
Братья Шингебиса были
В теплых странах Шавондази.

И вскричал Кабибонокка
В лютом гневе: "Кто дерзает
Презирать Кабибонокку?
Кто осмелился остаться
В царстве Северного Ветра,
Если Вава и Шух-шух-га,
Если дикий гусь и цапля
Уж давно на юг умчались?
Я пойду к его вигваму,
Я очаг его разрушу!"

И пришел во мраке ночи
Ко врагу Кабибонокка.
Он намел сугробы снега,
Завывал в трубе вигвама,
Потрясал его свирепю,
Рвал дверные занавески.
Шингебис не испугался,
Шингебис его не слушал!
В очаге его играло
Пламя яркое, и рыбу
Ел он с песнями и смехом.

Ворвался тогда в жилище
Дикий, злой Кабибонокка;
Шингебис, от стужи вздрогнул
В ледяном его дыханье,
Но по-прежнему смеялся,
Но по-прежнему пел громко;
Он костер поправил только,
Чтоб костер горел светлее,

Чтоб кидало пламя искры.

И с чела Кабибонокки,
С кос его в снегу холодном
Стали падать капли пота,
Как весною каплет с крыши
Иль с ветвей болиголова.
Побежденный этим жаром,
Раздраженный этим пеньем,
Он вскочил и из вигвама
В поле бросился, шагая
По рекам и по озерам:
На борьбу над белой тундрой
Вызывал врага коварно.

Но без страха, без боязни
Вышел Шингебис на битву;
До рассвета он боролся
С Ветром Северным над тундрой,
До утра когтями бился
Шингебис с Кабибоноккой.
И без сил Кабибонокка
Отступил в свои, владенья,
Со стыдом бежал по тундрам
В царство кролика, Вабассо,
А за ним все раздавались
Хохот, песни и насмешки.

Шавондази, тучный, сонный,
Обитал на дальнем юге,
Где в дремотном блеске солнца
Круглый год царило лето.
Это он шлет птиц весною,
Шлет к нам ласточку, шлет Шошо,
Шлет Овейсу, трясогузку,
Опечи шлет, реполова,
Гуся, Ваву, шлет на север,
Шлет табак душистый, дыни,
Виноград в багряных гроздьях.

Дым из трубки Шавондази
Небеса туманит паром,
Наполняет негой воздух.
Тусклый блеск дает озерам,
Очертанья гор смягчает,
Веет нежной лаской лета
В теплый Месяц Светлой Ночи,
В Месяц Лыж зимой холодной.

Беззаботный Шавондази!
Лишь одно узнал он горе,
Лишь одну печаль изведал.
Раз, смотря на север с юга,
Далеко в степных равнинах
Он увидел утром деву,

Деву с гибким, стройным станом,
Одинокую в равнинах.
Был на ней наряд зеленый,
И как солнце были косы.

День за днем потом смотрел он,
День за днем вздыхал он страстно,
День за днем все больше сердце
Разгоралось в нем любовью
К деве нежной, златокудрой.
Но ленив и неподвижен
Был беспечный Шавондази,
Да, ленив и слишком тучен:
К милой он пойти все медлил,
Он сидел, вздыхая страстно,
И все только любовался
Златокудрой девой прерий.

Наконец однажды утром
Увидал он, что поблекли
Кудри русые у милой, –
Словно первый снег, белеют.
"О мой брат из Стран Полночных,
Из далеких стран Вабассо,
Царства Северного Ветра!
Ты украл мою невесту,
Завладел моею милой,
Обольстил ее своею
Сказкой Северного Ветра!"

Так несчастный Шавондази,
"Изливал свои страданья,
И бродил в равнинах знойный
Южный Ветер, полный вздохов,
Страстных вздохов Шавондази.
И наполнился весь воздух,
Словно снегом, белым пухом:
Погубили вздохи ветра
Деву с русыми кудрями,
И от взоров Шавондази
Навсегда сокрылась дева.

О мечтатель Шавондази!
Не по девушке вздыхал ты,
Не на женщину смотрел ты, –
На цветок, на одуванчик;
О цветке вздыхал ты страстно,
На цветок глядел все лето
День за днем с любовью томной
И сгубил его навеки,
В поле вздохами развеял.
Бедный, бедный Шавондази!

В летний вечер, в полнолуние,
В незапамятное время,
В незапамятные годы,
Прямо с месяца упала
К нам прекрасная Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.

Как дитя, она играла,
На ветвях на виноградных
Меж подруг своих качалась,
И одна из них, сгорая
Злостью ревности и мести,
Эти ветви подрубила,
И на Мускодэ упала,
На цветущую долину,
Замирая от испуга,
Летним вечером Нокомис.
«Вон звезда упала с неба!» –
Говорил народ в селеньях.

Там, на мягких мхах и травах,
Там, среди стыдливых лилий,
В тихой Мускодэ, в долине,
В звездном блеске, в лунном свете,
Стала матерью Нокомис,
Назвала дочь первородной –
Назвала ее Веноной.
И, как лилия в долине,
Расцвела ее Венона:
Стала гибкой, стала стройной,
Точно лунный свет, прекрасной,
Точно звездный отблеск, нежной.

И Нокомис часто стала
Говорить, твердить Веноне:
"О, страшись, остерегайся
Мэджекивиса, Венона!
Никогда его не слушай,
Не гуляй одна в долине,
Не ложись в траве меж лилий!"

Но не слушалась Венона,
Не внимала мудрой речи,
И пришел к ней Мэджекивис,
Темным вечером подкрался,
С тихим шепотом склоняя
На лугу цветы и травы.
Там прекрасная Венона
Меж цветов одра лежала,
Там нашел ее коварный
Ветер Западный – и начал
Очаровывать Венону
Сладкой речью, нежной лаской –

И родился сын печали,
Нежной страсти и печали,
Дивной тайны – Гайавата.

Так родился, Гайавата;
А коварный Мэджекивис,
Бессердечный Мэджекивис
Уж покинул дочь Нокомис,
И недолго после билось
Сердце нежное Веноны:
Умерла она в печали.

Долго с криками рыдала,
Долго плакала Нокомис:
"О, зачем жестокий Погок
Не меня унес с собою?
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин, вагономин!"

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С юных дней жила Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Позади ее вигвама
Темный лес стоял стеною –
Чащи темных, мрачных сосен,
Чащи елей в красных шишках,
А пред ним прозрачной влагой
На песок плескались волны,
Блеском солнца зыбь сверкала
Светлых вод Большого Моря.

Там, в тиши лесов и моря,
Внука нянчила Нокомис,
В люльке липовой качала,
Устланной кугой и мохом,
Крепко связанной ремнями,
И, качая, говорила:
«Спи! А то отдам медведю!»
Там, баюкая, певала:
"Эва-ия, мой совенок!
Что там светится в вигваме?
Чьи глаза блестят в вигваме?
Эва-ия, мой совенок!"

Много-много рассказала
О звездах ему Нокомис;
Показала хвост кометы –
Ишкуду в огнистых косах,
Показала Танец Духов,
Их блистающие рати
В небесах Страны Полночной,
В Месяц Лыж морозной ночью;
Показала серебристый
Путь всех призраков и духов –

Белый путь на темном небе,
Полном призраков и духов.

Вечерами, теплым летом,
У дверей сидел малютка,
Слушал тихий ропот сосен,
Слушал тихий плеск прибоя,
Звуки дивных слов и песен:
«Минни-вава!» – пели сосны,
«Мэдвэй-ошка!» – пели волны.

Видел мушку, Ва-ва-тэйзи,
Что, сверкая белой искрой,
Светит в сумраке вечернем
Над травой и кустами,
И тихонько пел ей песню,
Что Нокомис научила:
"Ва-ва-тэйзи, Ва-ва-тэйзи!
Крошка, огненная мушка,
Крошка, белый огонечек!
Потанцуй еще немножко,
Посвети мне, попрыгунья,
Белой искоркой своею:
Скоро я в постельку лягу,
Скоро я закрою глазки!"

Видел, как над Гитчи-Гюми,
Отражаясь в Гитчи-Гюми,
Подымался полный месяц,
Видел тень на нем и пятна
И шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
"Раз один сердитый воин
Подхватил старуху-бабку
И швырнул ее на небо,
Зашвырнул на месяц прямо.
Так она там и осталась".

Видел радугу на небе,
На востоке, и тихонько
Говорил: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
"Это Мускодэ на небе;
Все цветы лесов зеленых,
Все болотные кувшинки,
На земле когда увянут,
Расцветают снова в небе".

Если сов он слышал в полночь –
Вой и хохот в чаще леса, –
Он, дрожа, кричал: «Кто это?»
Он шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
"Это совы собралися
И по-своему болтают,

Это ссорятся совята!"

Так малютка, внук Нокомис,
Изучил весь птичий говор,
Имена их, все их тайны:
Как они вьют гнезда летом,
Где живут они зимою;
Часто с ними вел беседы,
Звал их всех: «мои цыплята».

Всех зверей язык узнал он,
Имена их, все их тайны:
Как бобер жилище строит,
Где орехи белка прячет,
Отчего резва косуля,
Отчего труслив Вабассо;
Часто с ними вел беседы,
Звал их: «братья Гайаваты».

И рассказчик сказок Ягу,
Говорун, хвостун великий,
Много по свету бродивший,
Верный друг Нокомис старой,
Сделал лук для Гайаваты:
Лук из ясеня он сделал,
Стрелы сделал он из дуба,
Наконечники – из яшмы,
Тетиву – из кожи лани.

И сказал он Гайавате:
"Ну, мой сын, иди скорее
В лес, где держатся олени.
Застрели-ка там косулю
С разветвленными рогами".

Гордо взял свой лук и стрелы
Гайавата и отважно
В лес пустился; птицы звонко
Пели, по лесу порхая.
«Не стреляй в нас, Гайавата!» –
Опечи пел красногрудый;
«Не стреляй в нас, Гайавата!» –
Пел Овейса синеперый.

На дубу над Гайаватой
Вниз и вверх скакала белка,
Меж зеленых листьев дуба
С кашлем прыгала, смеялась
И, смеясь, пробормотала:
«Пощади, о Гайавата!»

И вприпрыжку белый кролик
Робко бросился с тропинки,
Стал вдали на задних лапках
И охотнику промолвил

Хоть и в шутку, но трусливо:
«Пощади, о Гайавата!»

Но не слушал Гайавата, –
Точно сонный, брел он лесом,
Думал только об олене,
След его искал глазами,
След, что вел к речному броду,
По тропе к речному броду.

За ольховыми кустами
Сел и выждал он оленя,
Увидал два глаза в чаще,
Увидал над ней два рога,
Ноздри, поднятые к ветру,
Увидал и морду зверя
Под листвою, в пятнах света,
И, как легкий лист березы,
Сердце в нем затрепетало,
Как ольха, весь задрожал он,
Увидав над бродом зверя.

На одно колено ставши,
Он прицелился в оленя.
Только ветка шевельнулась,
Только листик закачался,
Но олень уж встрепенулся,
Отшатнувшись, топнул в землю,
Чутко встал, подняв копыто,
Прыгнул, точно ждал удара.

Ах, он шел навстречу смерти!
Как оса, стрела запела,
Как оса, в него впилая!

Мертвый, он лежал у брода,
Меж деревьев, над рекою;
Сердце в нем уже не билось,
Но зато у Гайаваты
Сердце так и трепетало,
Как домой он нес оленя
И ему рукоплескали
Старый Ягу и Нокомис.

Из оленьей пестрой шкуры
Внуку плащ Нокомис сшила,
Созвала соседей в гости,
Пир дала в честь Гайаваты.
Вся деревня собралась,
Все соседи называли
Гайавату храбрым, сильным –

Сон-джи-тэгэ, Ман-го-тэйзи!

Гайавата и Мэджекивис

Миновали годы детства,
Возмужал мой Гайавата;
Игры юности беспечной,
Стариков житейский опыт,
Труд, охотничьи сноровки –
Все постиг он, все изведаль.

Резвы ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он бежал за ней так быстро,
Что стрелу опережал он.
Мощны руки Гайаваты!
Десять раз, не отдыхая,
Мог согнуть он лук упругий
Так легко, что догоняли
На легу друг друга стрелы.

Рукавицы Гайаваты,
Рукавицы, Минджикэвон,
Из оленьей мягкой шкуры
Обладали дивной силой:
Сокрушать он мог в них скалы,
Раздроблять в песчинки камни.
Мокасины Гайаваты
Из оленьей мягкой шкуры
Волшебство в себе таили:
Привязавши их к лодыжкам,
Прикрепив к ногам ремнями,
С каждым шагом Гайавата
Мог по целой миле делать.

Об отце своем нередко
Он расспрашивал Нокомис,
И поведала Нокомис
Внуку тайну роковую:
Рассказала, как прекрасна,
Как нежна была Венона,
Как сгубил ее изменой
Вероломный Мэджекивис,
И, как уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Он сказал Нокомис старой:
"Я иду к отцу, Нокомис,
Я хочу его проведать
В царстве Западного Ветра,
У преддверия Заката".

Из вигвама выходил он,
Снарядившись в путь далекий,
В рукавицах, Минджикэвон,
И волшебных мокалинах.

Весь наряд его богатый
Из оленьей мягкой шкуры
Зернью вампума украшен
И щетиной дикобраза.
Голова его – в орлиных
Развевающихся перьях,
За плечом его, в колчане, –
Из дубовых веток стрелы,
Оперенные искусно
И оправленные в яшму.
А в руках его – упругий
Лук из ясеня, согнутый
Тетивой из жил оленя.

Осторожная Нокомис
Говорила "Гайавате:
"Не ходя, о Гайавата,
В царство Западного Ветра:
Он убьет тебя коварством,
Волшебством своим погубит".

Но отважный Гайавата
Не внимал ее советам,
Уходил он от вигвама,
С каждым шагом делал милю.
Мрачным лес ему казался,
Мрачным – свод небес над лесом,
Воздух – душным и горячим,
Полным дыма, полным гари,
Как в пожар лесов и прерий:
Словно уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

Так держал он путь далекий
Все на запад и на запад
Легче быстрого оленя,
Легче лани и бизона.
Переплыл он Эсконабо,
Переплыл он Миссисипи,
Миновал Степные Горы,
Миновал степные страны
И Лисиц и Черноногих
И пришел к Горам Скалистым,
В царство Западного Ветра,
В царство бурь, где на вершинах
Восседал Владыка Ветров,
Престарелый Мэджекивис.

С тайным страхом Гайавата
Пред отцом остановился:
Дико в воздухе клубились,
Облаками развевались
Волоса его седые,
Словно снег, они блестели,
Словно пламенные косы

Ишкуды, они сверкали.

С тайной радостью увидел
Мэджекивис Гайавату:
Это молодости годы
Перед ним воскресли к жизни,
Это встала из могилы
Красота Веноны нежной.

"Будь здоров, о Гайавата! –
Так промолвил Мэджекивис. –
Долго ждал тебя я в гости
В царство Западного Ветра!
Годы старости – печальны,
Годы юности – отрадны.
Ты напомнил мне бывшее,
Юность пылкую напомнил
И прекрасную Венону!"

Много дней прошло в беседе,
Долго мощный Мэджекивис
Похвалялся Гайавате
Прежней доблестью своею,
Приключеньями былыми,
Непреклонною отвагой;
Говорил, что дивной силой
Он от смерти заколдован.

Молча слушал Гайавата,
Как хвалился Мэджекивис,
Терпеливо и с улыбкой
Он сидел и молча слушал.
Ни угрозой, ни укором,
Ни одним суровым взглядом
Он не выказал досады,
Но, как уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.

И сказал он: "Мэджекивис!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?"
И могучий Мэджекивис
Величаво, благосклонно
Отвечал: "Ничто на свете,
Кроме вон того утеса,
Кроме Вавбика, утеса!"
И, взглянув на Гайавату
Взором мудрости спокойной,
По-отечески любуясь
Красотой его и мощью,
Он сказал: "О Гайавата!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?"

Помолчал одну минуту

Осторожный Гайавата,
Помолчал, как бы в сомненье,
Помолчал, как бы в раздумье,
И сказал: "Ничто на свете.
Лишь один тростник, Эпоква,
Лишь вон тот камыш высокий!"
И как только Мэджекивис,
Встав, простер к Эпокве руку,
Гайавата в страхе крикнул,
В лицемерном страхе крикнул:
«Каго, каго! Не касайся!»
"Полно! – молвил Мэджекивис.
Успокойся, – я не трону".

И опять они беседу
Продолжали; говорили
И о Вебоне прекрасном,
И о тучном Шавондази,
И о злом Кабибонокке;
Говорили о Веноне,
О ее рожденье дивном,
О ее кончине грустной –
Обо всем, что рассказала
Внуку старая Нокомис.

И воскликнул Гайавата:
"О коварный Мэджекивис!
Это ты убил Венону,
Ты сорвал цветок весенний,
Растоптал его ногами!
Признавайся! Признавайся!"
И могучий Мэджекивис
Тихо голову седую
Опустил в тоске глубокой,
В знак безмолвного согласия.

Быстро встал тогда, сверкая
Грозным взором, Гайавата,
На утес занес он руку
В рукавице, Минджикэвон,
Разломил его вершину,
Раздробил его в осколки,
Стал в отца швырять свирепо:
Словно уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.

Но могучий Мэджекивис
Камни гнал назад дыханьем,
Бурей гневного дыханья
Гнал назад, на Гайавату.
Он схватил руной Эпокву,
Вырвал с мочками, с корнями, –
Над рекой из вязкой тины
Вырвал бешено Эпокву
Он под хохот Гайаваты.

И начался бой смертельный
Меж Скалистыми Горами!
Сам Орел Войны могучий
На гнезде поднялся с криком,
С резким криком сел на скалы,
Хлопал крыльями над ними.
Словно дерево под бурей,
Рассекал Эпоква воздух,
Словно град, летели камни

С треском с Вавбика, утеса,
И земля окрест дрожала,
И на тяжкий грохот боя
По горам гремело эхо,
Отзывалось: «Бэм-Вава!»

Отступить стал Мэджекивис,
Устремился он на запад,
По горам на дальний запад
Отступал три дня, сражаясь,
Убегал, гонимый сыном,
До преддверия Заката,
До границ своих владений,
До конца земли, где солнце
В красном блеске утопает,
На ночлег в воздушной бездне
Опускаясь, как фламинго
Опускается зарею
На печальное болото.

"Удержись, о Гайавата! –
Наконец вскричал он громко, –
Ты убить меня не в силах,
Для бессмертного нет смерти.
Испытать тебя хотел я,
Испытать твою отвагу,
И награду заслужил ты!

Возвратись в родную землю,
К своему вернись народу,
С ним живи и с ним работай.
Ты расчистить должен реки,
Сделать землю плодоносной,
Умертвить чудовищ злобных,
Змей, Кинэбик, и гигантов,
Как убил я Мише-Мокву,
Исполина Мише-Мокву.

А когда твой час настанет
И заблещут над тобою
Очи Погока из мрака, –
Разделю с тобой я царство,
И владыкою ты будешь
Над Кивайдином вовеки!"

Вот какая разыгралась
Битва в грозные дни Ша-ша,
В дни далекого былого,
В царстве Западного Ветра.
Но следы той славной битвы
И теперь охотник видит
По холмам и по долинам:
Видит шпажник исполинский
На прудах и вдоль потоков,
Видит Вавбика осколки
По холмам и по долинам.

На восток, в родную землю,
Гайавата путь направил.
Позабыл он горечь гнева,
Позабыл о мщенье думы,
И вокруг него отрадой
И весельем все дышало.

Только раз он путь замедлил,
Только раз остановился,
Чтоб купить в стране Дакотов
Наконечников на стрелы.
Там, в долине, где смеялись,
Где блистали, низвергаясь
Меж зелеными дубами,
Водопады Миинегаги,
Жил старик, дакот суровый.
Делал он головки к стрелам,
Острия из халцедона,
Из кремня и крепкой яшмы,
Отшлифованные гладко,
Заостренные, как иглы.

Там жила с ним дочь-невеста,
Быстроногая, как речка,
Своенравная, как брызги
Водопадов Миннегаги.
В блеске черных глаз играли
У нее и свет и тени –
Свет улыбки, тени гнева;
Смех ее звучал как песня,
Как поток струились косы,
И Смеющейся Водюю
В честь реки ее назвал он,
В честь веселых водопадов
Дал ей имя – Миннегага.

Так ужели Гайавата
Заходил в страну Дакотов,
Чтоб купить головок к стрелам,
Наконечников из яшмы,
Из кремня и халцедона?
Не затем ли, чтоб украдкой

Посмотреть на Миннегагу,
Встретить взор ее пугливый,
Услыхать одежды шорох
За дверною занавеской,
Как глядят на Миннегагу,
Что горит сквозь ветви леса,
Как внимают водопаду
За зеленой чащей леса?

Кто расскажет, что таится
В молодом и пылком сердце?
Как узнать, о чем в дороге
Сладко грезил Гайавата?
Все Нокомис рассказал он,
Возвратясь домой под вечер:
О борьбе и о беседе
С Мэджеквисом могучим,
Но о девушке, о стрелах
Не обмолвился ни словом!

Пост Гайаваты

Вы услышите сказанье,
Как в лесной глуши постился
И молился Гайавата:
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.

Пред постом он приготовил
Для себя в лесу жилище, –
Над блестящим Гитчи-Гюми,
В дни весеннего расцвета,
В светлый, теплый Месяц Листьев
Он вигвам себе построил
И, в виденьях, в дивных грезах,
Семь ночей и дней постился.

В первый день поста бродил он
По зеленым тихим рощам;
Видел кролика он в норке,
В чаще выпугнул оленя,
Слышал, как фазан кудахтал,
Как в дупле возилась белка,
Видел, как под тенью сосен
Вьет гнездо Омими, голубь,
Как стада гусей летели
С заунывным криком, с шумом
К диким северным болотам.
"Гитчи Манито! – вскричал он,
Полный скорби безнадежной, –
Неужели наше счастье,

Наша жизнь от них зависит?"

На другой день над рекою,
Вдоль по Мускодэ бродил он,
Видел там он Маномони
И Минагу, голубику,
И Одамин, землянику,
Куст крыжовника, Шабомин,
И Бимагут, виноградник,
Что зеленою гирляндой,
Разливая сладкий запах,
По ольховым сучьям вьется.
"Гитчи Манито! – вскричал он,
Полный скорби безнадежной, –
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?"

В третий день сидел он долго,
Погруженный в размышленья,
Возле озера, над тихой,
Над прозрачною водою.
Видел он, как прыгал Нама,
Сыпля брызги, словно жемчуг;
Как резвился окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя,
Видел щуку, Маскенозу,
Сельдь речную, Окагавис,
Шогаши, морского рака.
"Гитчи Манито! – вскричал он,
Полный скорби безнадежной. –
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?"

На четвертый день до ночи
Он лежал в изнеможенье
На листве в своем вигваме.
В полусне над ним роились
Грезы, смутные виденья;
Вдалеке вода сверкала
Зыбким золотом, и плавно
Все кружилось и горело
В пышном зареве заката.

И увидел он: подходит
В полусумраке пурпурном,
В пышном зареве заката,
Стройный юноша к вигвamu.
Голова его – в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри – мягки, золотисты,
А наряд – зелено-желтый.

У дверей остановившись,
Долго с жалостью, с участием
Он смотрел на Гайавату,

На лицо его худое,
И, как вздохи Шавондази
В чаще леса, – прозвучала
Речь его: "О Гайавата!
Голос твой услышан в небе,
Потому что ты молился
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.

Для тебя Владыкой Жизни
Послан друг людей – Мондамин;
Послан он тебе поведать,
Что в борьбе, в труде, в терпенье
Ты получишь все, что просишь.
Встань с ветвей, с зеленых листьев,
Встань с Мондамином бороться!"

Изнурен был Гайавата,
Слаб от голода, но быстро
Встал с ветвей, с зеленых листьев.
Из стемневшего вигвама
Вышел он на свет заката,
Вышел с юношей бороться, –
И едва его коснулся,
Вновь почувствовал отвагу,
Ощутил в груди усталой
Бодрость, силу и надежду.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката,
И все крепче, все сильнее
Гайавата становился.
Но спустились тени ночи,
И Шух-шух-га на болоте
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и голода и скорби.

"Кончим! – вымолвил Мондамин,
Улыбаясь Гайавате, –
Завтра снова приготовься
На закате к испытанию".
И, сказав, исчез Мондамин.
Опустился ли он тучкой
Иль поднялся, как туманы, –
Гайавата не заметил;
Видел только, что исчез он,
Истомив его борьбою,
Что внизу, в ночном тумане,
Смутно озеро белеет,
А вверху мерцают звезды.

Так два вечера, – лишь только
Опускалось тихо солнце

С неба в западные воды,
Погружалось в них, краснея,
Словно уголь, раскаленный
В очаге Владыки Жизни, –
Приходил к нему Мондамин.
Молчаливо появлялся,
Как роса на землю сходит,
Принимающая форму
Лишь тогда, когда коснется
До травы или деревьев,
Но невидимая смертным
В час прихода и ухода.

На лугу они кружились
В пышном зареве заката;
Но спустились тени ночи,
Прокричала на болоте
Громко, жалобно Шух-шух-га,
И задумался Мондамин;
Стройным станом и прекрасный,
Он стоял в своем наряде;
В головном его уборе
Перья веяли, качались,
На челе его сверкали
Капли пота, как росинки.

И вскричал он: "Гайавата!
Храбро ты со мной боролся,
Трижды стойко ты боролся,
И пошлет Владыка Жизни
Надо мной тебе победу!"

А потом сказал с улыбкой:
"Завтра кончится твой искус –
И борьба и пост тяжелый;
Завтра ты меня поборешь;
Приготовь тогда мне ложе
Так, чтоб мог весенний дождик
Освежать меня, а солнце –
Согревать до самой ночи.
Мой наряд зелено-желтый,
Головной убор из перьев
Оборви с меня ты смело,
Схорони меня и землю
Разровняй и сделай мягкой.

Стереги мой сон глубокий,
Чтоб никто меня не трогал,
Чтобы плевелы и травы
Надо мной не зарастали,
Чтобы Кагаги, Царь-Ворон,
Не летал к моей могиле.
Стереги мой сон глубокий
До поры, когда проснусь я,
К солнцу светлому воспряну!"

И, сказав, исчез Мондамин.

Мирным сном спал Гайавата;
Слышал он, как пел уныло
Полуночник, Вавонэйса,
Над вигвамом одиноким;
Слышал он, как, убегая,
Сибовиша говорливый
Вел беседы с темным лесом;
Слышал шорох – вздохи веток,
Что склонялись, подымались,
С ветерком ночным качаясь.
Слышал все, но все сливалось
В дальний ропот, сонный шепот:
Мирным сном спал Гайавата.

На заре пришла Нокомис,
На седьмое утро пищи
Принесла для Гайаваты.
Со слезами говорила,
Что его погубит голод,
Если пищи он не примет.

Ничего он не отведал,
Ни к чему не прикоснулся,
Лишь промолвил ей: "Нокомис!
Подожди со мной заката,
Подожди, пока стемнеет
И Шух-шух-га громким криком
Возвестит, что день окончен!"

Плача, шла домой Нокомис,
Все тоскуя, опасаясь,
Что его погубит голод.
Он же стал, томясь тоскою,
Ждать Мондамина. И тени
Потянулись от заката
По лесам и по долинам;
Опустилось тихо солнце
С неба в Западные Воды,
Как спускается зарею
В воду красный лист осенний
И в воде, краснея, тонет.

Глядь – уж тут Мондамин юный,
У дверей стоит с приветом!
Голова его – в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри – мягки, золотисты,
А наряд – зелено-желтый.

Как во сне, к нему навстречу
Встал, измученный и бледный,
Гайавата, но бесстрашно
Вышел – и бороться начал.

И слились земля и небо,
Замелькали пред глазами!
Как осетр в сетях трепещет,
Бьется бешено, чтоб сети
Разорвать и прыгнуть в воду,
Так в груди у Гайаваты
Сердце сильное стучало;
Словно огненные кольца,
Горизонт сверкал кровавый
И кружился с Гайаватой;
Сотни солнцев, разгораясь,
На борьбу его глядели.
Вдруг один среди поляны
Очутился Гайавата,

Он стоял, ошеломленный
Этой дикою борьбою,
И дрожал от напряженья;
А пред ним, в измятых перьях
И в изорванных одеждах,
Бездыханный, неподвижный,
На траве лежал Мондамин,
Мертвый, в зареве заката.

Победитель Гайавата
Сделал так, как приказал он:
Снял с Мондамина одежды,
Снял изломанные перья,
Схоронил его и землю
Разровнял и сделал мягкой.
И среди болот печальных
Цапля сизая, Шух-шух-га,
Издавала свой крик тоскливый,
Вопль и жалобы и скорби.

В отчий дом, в вигвам Нокомис
Возвратился Гайавата,
И семь суток испытанья
В этот вечер завершились.
Но запомнил Гайавата
Те места, где он боролся,
Не покинул без призора
Ту могилу, где Мондамин
Почивал, в земле зарытый,
Под дождем и ярким солнцем.

День за днем над той могилой
Сторожил мой Гайавата,
Чтобы холм ее был мягким,
Не зарос травой сорной,
Прогоня свистом, криком
Кагаги с его народом.

Наконец зеленый стебель

Показался над могилой,
А за ним – другой и третий,
И не кончилось лето,
Как в своем уборе пышном,
В золотистых, мягких косах,
Встал высокий, стройный маис.
И воскликнул Гайавата
В восхищении: "Мондамин!
Это друг людей, Мондамин!"

Тотчас кликнул он Нокомис,
Кликнул Ягу, рассказал им
О своем виденье дивном,
О своей борьбе, победе,
Показал зеленый маис –
Дар небесный всем народам,
Что для них быть должен пищей.

А поздней, когда, под осень,
Пожелтел созревший маис,
Пожелтели, стали тверды
Зерна маиса, как жемчуг,
Он собрал его початки,
Сняв с него листву сухую,
Как с Мондамина когда-то
Снял одежды, – и впервые
«Пир Мондамина» устроил,
Показал всему народу
Новый дар Владыки Жизни.

Друзья Гайаваты

Было два у Гайаваты
Неизменных, верных друга.
Сердце, душу Гайаваты
Знали в радостях и в горе
Только двое: Чайбайабос,
Музыкант, и мощный Квазинд.

Меж вигвамов их тропинка
Не могла в траве заглохнуть;
Сплетни, лживые наветы
Не могли посеять злобы
И раздора между ними:
Обо всем они держали
Лишь втроем совет согласный,
Обо всем с открытым сердцем
Говорили меж собою
И стремились только к благу
Всех племен и всех народов.

Лучшим другом Гайаваты
Был прекрасный Чайбайабос,

Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый.
Был, как воин, он отважен,
Но, как девушка, был нежен,
Словно ветка ивы, гибок,
Как олень рогатый, статен.

Если пел он, вся деревня
Собиралась песни слушать,
Жены, воины сходились,
И то нежностью, то страстью
Волновал их Чайбайабос.

Из тростинки сделал флейту,
Он играл так нежно, сладко,
Что в лесу смолкали птицы,
Затихал ручей игривый,
Замолкала Аджидомо,
А Вабассо осторожный
Приседал, смотрел и слушал.

Да! Примолкнул Сибовиша
И сказал: "О Чайбайабос!
Научи мои ты волны
Мелодичным, нежным звукам!"

Да! Завистливо Овэйса
Говорил: "О Чайбайабос!
Научи меня безумным,
Страстным звукам диких песен!"

Да! И Опечи веселый
Говорил: "О Чайбайабос!
Научи меня веселым,
Сладким звукам нежных песен!"

И, рыдая, Вавонэйса
Говорил: "О Чайбайабос!
Научи меня тоскливым,
Скорбным звукам скорбных песен!"

Вся природа сладость звуков
У него перенимала,
Все сердца смягчал и трогал
Страстной песней Чайбайабос,
Ибо пел он о свободе,
Красоте, любви и мире,
Пел о смерти, о загробной
Бесконечной, вечной жизни,

Воспевал Страну Понима
И Селения Блаженных.

Дорог сердцу Гайаваты
Кроткий, милый Чайбайабос,

Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый!
Он любил его за нежность
И за чары звучных песен.

Дорог сердцу Гайаваты
Был и Квазинд, – самый мощный
И незлобивый из смертных;
Он любил его за силу,
Доброту и простодушье.

Квазинд в юности ленив был,
Вял, мечтателен, беспечен;
Не играл ни с кем он в детстве,
Не удил в заливе рыбы,
Не охотился за зверем, –
Не похож он был на прочих.
Но постился Квазинд часто,
Своему молился Духу,
Покровителю молился.

"Квазинд, – мать ему сказала, –
Ты ни в чем мне не поможешь!
Лето ты, как сонный, бродишь
Праздно по полям и рощам,
Зиму греешься, согнувшись
Над костром среди вигвама;
В самый лютый зимний холод
Я хожу на ловлю рыбы, –
Ты и тут мне не поможешь!
У дверей висит мой невод,
Он намок и замерзает, –
Встань, возьми его, ленивец,
Выжми, высуши на солнце!"

Неохотно, но спокойно
Квазинд встал с золы остывшей,
Молча вышел из вигвама,
Скинул смерзшиеся сети,
Что висели у порога,
Стиснул их, как пук соломы,
И сломал, как пук соломы!
Он не мог не изломать их:
Вот настолько был он силен!

"Квазинд! – раз отец промолвил, –
Собирайся на охоту.
Лук и стрелы постоянно
Ты ломаешь, как тростинки,
Так хоть будешь мне добычу
Приносить домой из леса".

Вдоль ущелья, по теченью
Ручейка они спустились,
По следам бизонов, ланей,

Отпечатанным на иле,
И наткнулись на преграду:
Повалившиеся сосны
Поперек и вдоль дороги
Весь проход загромождали.

"Мы должны, – промолвил старец, –
Ворочаться: тут не влезешь!
Тут и белка не взберется,
Тут сурок пролезть не сможет".
И сейчас же вынул трубку,
Закурил и сел в раздумье.
Но не выкурил он трубки,
Как уж путь был весь расчищен:
Все деревья Квазинд поднял,
Быстро вправо и налево
Раскидал, как стрелы, сосны,
Разметал, как копья, кедры.

"Квазинд! – юноши сказали,
Забавляясь на долине. –
Что же ты стоишь, глазеешь,
На утес облокотившись?
Выходи, давай бороться,
В цель бросать из пращи камни".

Вялый Квазинд не ответил,
Ничего им не ответил,
Только встал и, повернувшись,
Обхватил утес руками,
Из земли его он вырвал,
Раскачал над головою
И забросил прямо в реку,
Прямо в быструю Повэтин.
Так утес там и остался.

Раз по пенистой пучине,
По стремительной Повэтин,
Плыл с товарищами Квазинд
И вождя бобров, Амика,
Увидал среди потока:
С быстринной бобер боролся,
То всплывая, то ныряя.

Не задумавшись нимало,
Квазинд молча прыгнул в реку,
Скрылся в пенистой пучине,
Стал преследовать Амика
По ее водоворотам
И в воде пробыл так долго,
Что товарищи вскричали:
"Горе нам! Погиб наш Квазинд!
Не вернется больше Квазинд!"
Но торжественно он выплыл:
На плече его блестящем

Вождь бобров висел убитый,
И с него вода струилась.

Таковы у Гайаваты
Были верные два друга.
Долго с ними жил он в мире,
Много вел бесед сердечных,
Много думал дум о благе
Всех племен и всех народов.

Пирог Гайаваты

"Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!

Скинь свой белый плащ, Береза!
Скинь свой плащ из белой кожи:
Скоро лето к нам вернется,
Жарко светит солнце в небе,
Белый плащ тебе не нужен!"

Так над быстрой Таквамино,
В глубине лесов дремучих
Воскликнул мой Гайавата
В час, когда все птицы пели,
Воспевали Месяц Листьев,
И, от сна восставши, солнце
Говорило: "Вот я – Гизис,
Я, великий Гизис, солнце!"

До корней затрепетала
Каждым листиком береза,
Говоря с покорным вздохом:
«Скинь мой плащ, о Гайавата!»

И ножом кору березы
Опоясал Гайавата
Ниже веток, выше корня,
Так, что брызнул сок наружу;
По стволу, с вершины к корню,
Он потом кору разрезал,
Деревянным клином поднял,
Осторожно снял с березы.

"Дай, о Кедр, ветвей зеленых,
Дай мне гибких, крепких сучьев,

Помоги пирогу сделать
И надежней и прочнее!"

По вершине кедра шумно
Ропот ужаса пронесся,
Стон и крик сопротивленья;
Но, склоняясь, прошептал он:
«На, руби, о Гайавата!»

И, срубивши сучья кедра,
Он связал из сучьев раму,
Как два лука, он согнул их,
Как два лука, он связал их.

"Дай корней своих, о Тэмрак,
Дай корней мне волокнистых:
Я свяжу свою пирогу,
Так свяжу ее корнями,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилась в пирогу!"

В свежем воздухе до корня
Задрожал, затрясся Тэмрак,
Но, склоняясь к Гайавате,
Он одним печальным вздохом,
Долгим вздохом отозвался:
«Все возьми, о Гайавата!»

Из земли он вырвал корни,
Вырвал, вытянул волокна,
Плотно сшил кору березы,
Плотно к ней приладил раму.

"Дай мне, Ель, смолы тягучей,
Дай смолы своей и соку:
Засмолю я швы в пироге,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилась в пирогу!"

Как шуршит песок прибрежный,
Зашуршали ветви ели,
И, в своем уборе черном,
Отвечала ель со стоном,
Отвечала со слезами:
«Собери, о Гайавата!»

И собрал он слезы ели,
Взял смолы ее тягучей,
Засмолил все швы в пироге,
Защитил от волн пирогу.

"Дай мне, Еж, колючих игол,
Все, о Еж, отдай мне иглы:
Я украшу ожерельем,
Уберу двумя звездами

Грудь красавицы пироги!"

Сонно глянул Еж угрюмый
Из дупла на Гайавату,
Словно блещущие стрелы,
Из дупла метнул он иглы,
Бормоча в усы лениво:
«Подбери их, Гайавата!»

По земле собрал он иглы,
Что блестели, точно стрелы;
Соком ягод их окрасил,
Соком желтым, красным, синим,
И пирогу в них оправил,
Сделал ей блестящий пояс,
Ожерелье дорогое,
Грудь убрал двумя звездами.

Так построил он пирогу
Над рекою, средь долины,
В глубине лесов дремучих,
И вся жизнь лесов была в ней,
Все их тайны, все их чары:
Гибкость лиственницы темной,
Крепость мощных сучьев кедра
И березы стройной легкость;
На воде она качалась,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка.

Весел не было на лодке,
В веслах он и не нуждался:
Мысль ему веслом служила,
А рулем служила воля;
Обогнать он мог хоть ветер,
Путь держать – куда хотелось.

Кончив труд, он кликнул друга,
Кликнул Квазинда на помощь,
Говоря: "Очистим реку
От коряг и желтых мелей!"

Быстро прыгнул в реку Квазинд,
Словно выдра, прыгнул в реку,
Как бобер, нырять в ней начал,
Погружаясь то по пояс,
То до самых мышек в воду.
С криком стал нырять он в воду,
Поднимать со дна коряги,
Вверх кидать песок руками,
А ногами – ил и травы.

И поплыл мой Гайавата
Вниз по быстрой Таквамино,
По ее водоворотам,

Через омуты и мели,
Вслед за Квазиндом могучим.

Вверх и вниз они проплыли,
Всюду были, где лежали
Корни, мертвые деревья
И пески широких мелей,
И расчистили дорогу,
Путь прямой и безопасный
От истоков меж горами
И до самых вод Повэтин,
До залива Таквамино.

Гайавата и Мише-Нама

По заливу Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С длинной удочкой из кедра,
Из коры крученной кедра,
На березовой пироге
Плыл отважный Гайавата.

Сквозь слюду прозрачной влаги
Видел он, как ходят рыбы
Глубоко под дном пироги;
Как резвится окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя;
Как лежит на дне песчаном
Шогаши, омар ленивый,
Словно дремлющий тарантул.

На корме сел Гайавата
С длинной удочкой из кедра;
Точно веточки цикуты,
Колебал прохладный ветер
Перья в косах Гайаваты.
На носу его пироги
Села белка, Аджидомо;
Точно травку луговую,
Раздувал прохладный ветер
Мех на шубке Аджидомо.

На песчаном дне на белом
Дремлет мощный Мише-Нама,
Царь всех рыб, осетр тяжелый,
Раскрывает жабры тихо,
Тихо водит плавниками
И хвостом песок взметает.
В боевом вооруженье, –
Под щитами костяными
На плечах, на лбу широком,
В боевых нарядных красках –
Голубых, пурпурных, желтых, –

Он лежит на дне песчаном;
И над ним-то Гайавата
Стал в березовой пироге
С длинной удочкой из кедра.

"Встань, возьми мою приманку! –
Крикнул в воду Гайавата. –
Встань со дна, о Мише-Нама,
Подымись к моей пироге,
Выходи на состязанье!"
В глубину прозрачной влаги
Он лесу свою забросил,
Долго ждал ответа Намы,
Тщетно ждал ответа Намы
И кричал ему все громче:
«Встань, царь рыб, возьми приманку!»

Не ответил Мише-Нама.
Важно, медленно махая
Плавниками, он спокойно
Вверх смотрел на Гайавату,
Долго слушал без вниманья

Крик его нетерпеливый,
Наконец сказал Кенозе,
Жадной щуке, Маскенозе:
"Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!"

В сильных пальцах Гайаваты
Сразу удочка согнулась;
Он рванул ее так сильно,
Что пирога дыбом встала,
Поднялася над водою,
Словно белый ствол березы
С резвой белкой на вершине.

Но когда пред Гайаватой
На волнах затрепетала,
Приближаясь, Маскеноза, –
Гневом вспыхнул Гайавата
И воскликнул: "Иза, иза! –
Стыд тебе, о Маскеноза!
Ты лишь щука, ты не Нама,
Не тебе я кинул вызов!"

Со стыдом на дно вернулась,
Опустилась Маскеноза;
А могучий Мише-Нама
Обратился к Угудвошу,
Неуклюжему Самглаву:
"Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!"

Словно белый, полный месяц,

Встал, качаясь и сверкая,
Угудвош, Самглав тяжелый,
И, схватив лесу, так сильно
Закружился вместе с нею,
Что вверху в водовороте
Завертелася пирога,
Волны, с плеском разбегаясь,
По всему пошли заливу,
А с песчаных белых мелей,
С отдаленного побережья
Закивали, зашумели
Тростники и длинный шпажник.

Но когда пред Гайаватой
Из воды поднялся белый
И тяжелый круг Самглава,
Громко крикнул Гайавата:
"Иза, иза! – Стыд Самглаву!
Угудвош ты, а не Нама,
Не тебе я кинул вызов!"

Тихо вниз пошел, качаясь
И блестя, как полный месяц,
Угудвош прозрачно-белый,
И опять могучий Нама
Услыхал нетерпеливый,
Дерзкий вызов, прозвучавший
По всему Большому Морю.

Сам тогда он с дна поднялся,
Весь дрожа от дикой злобы,
Боевой блистая краской
И доспехами бряцая,
Быстро прыгнул он к пироге,
Быстро выскочил всем телом
На сверкающую воду
И своей гигантской пастью
Поглотил в одно мгновенье
Гайавату и пирогу.

Как бревно по водопаду,
По широким черным волнам,
Как в глубокую пещеру,
Соскользнула в пасть пирога.
Но, очнувшись в полном мраке,
Безнадежно оглянувшись,
Вдруг наткнулся Гайавата
На большое сердце Намы:
Тяжело оно стучало
И дрожало в этом мраке.

И во гневе мощной дланью
Стиснул сердце Гайавата,
Стиснул так, что Мише-Нама
Всеми фибрами затрясся,

Зашумел водой, забился,
Ослабел, ошеломленный
Нестерпимой болью в сердце.

Поперек тогда поставил
Легкий челн свой Гайавата,
Чтоб из чрева Мише-Намы,
В суматохе и тревоге,
Не упасть и не погибнуть.
Рядом белка, Аджидомо,
Резво прыгала, болтала,
Помогала Гайавате
И трудилась с ним все время.

И сказал ей Гайавата:
"О мой маленький товарищ!
Храбро ты со мной трудилась,
Так прими же, Аджидомо,
Благодарность Гайаваты
И то имя, что сказал я:
Этим именем все дети
Будут звать тебя отныне!"

И опять забился Нама,
Заметался, задыхаясь,
А потом затих – и волны
Понесли его к побережью.
И когда под Гайаватой
Зашуршал прибрежный щебень,
Понял он, что Мише-Нама,
Бездыханный, неподвижный,
Принесен волной к побережью.

Тут бессвязный крик и вопли
Услыхал он над собою,
Услыхал шум длинных крыльев,
Переполнивший весь воздух,
Увидал полоску света
Меж широких ребер Намы
И Кайошк, крикливых чаек,
Что блестящими глазами
На него смотрели зорко
И друг другу говорили:
«Это брат наш, Гайавата!»

И в восторге Гайавата
Крикнул им, как из пещеры:
"О Кайошк, морские чайки,
Братья, сестры Гайаваты!
Умертвил я Мише-Наму, –
Помогите же мне выйти
Поскорее на свободу,
Рвите клювами, когтями
Бок широкий Мише-Намы,
И отныне и вовеки

Прославлять вас будут люди,
Называть, как я вас назвал!"

Дикой, шумной стаей чайки
Принялися за работу,
Быстро щели проклевали
Меж широких ребер Намы,
И от смерти в чреве Намы,
От гибели, от плена,
От могилы под водою
Был избавлен Гайавата.

Возле самого вигвама
Стал на берег Гайавата;
Тотчас крикнул он Нокомис,
Вызвал старую Нокомис
Посмотреть на Мише-Наму:
Мертвый он лежал у моря,
И его клевали чайки.

"Умертвил я Мише-Наму,
Победил его! – сказал он. –
Вон над ним уж вьются чайки.
То друзья мои, Нокомис!
Не гони их прочь, не трогай:
Я от смерти в чреве Намы
Был сейчас избавлен ими.
Пусть они свой пир окончат,
Пусть зобы наполнят пищей;
А когда, с заходом солнца,
Улетят они на гнезда,
Принеси котлы и чаши,
Заготовь к зиме нам жиру".

И Нокомис до заката
Просидела на побережье.
Вот и месяц, солнце ночи,
Встал над тихой водою,
Вот и чайки с шумным криком,
Кончив пир свой, поднялися,
Полетели к отдаленным
Островам на Гитчи-Гюми,
И сквозь зарево заката
Долго их мелькали крылья.

Мирным сном спал Гайавата;
А Нокомис терпеливо
Принялася за работу
И трудилась в лунном свете
До зари, пока не стало
Небо красным на востоке.
А когда сменило солнце
Бледный месяц, – с отдаленных
Островов на Гитчи-Гюми
Воротились стаи чаек,

С криком кинулись на пищу.

Трое суток, чередуясь
С престарелою Нокомис,
Чайки жир срывали с Намы.
Наконец меж голых ребер
Волны начали плескаться,
Чайки скрылись, улетели,
И остались на побережье
Только кости Мише-Намы.

Гайавата и Жемчужное Перо

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Вышла старая Нокомис,
Простирая в гневе руку
Над водой к стране заката,
К тучам огненным заката.

В гневе солнце заходило,
Пролагая путь багряный,
Зажигая тучи в небе,
Как вожди сжигают степи,
Отступая пред врагами;
А луна, ночное солнце,
Вдруг восстала из засады
И направилась в погоню
По следам его кровавым,
В ярком зареве пожара.

И Нокомис, простирая
Руку слабую к закату,
Говорила Гайавате:
"Там живет волшебник злобный
Меджисогвон, Дух Богатства,
Тот, кого Пером Жемчужным
Называют все народы;
Там озера смоляные
Разливаются, чернея,
До багряных туч заката;
Там, среди трясины мрачной,
Вьются огненные змеи,
Змеи страшные, Кинэбик!
То хранители и слуги
Меджисогвона-убийцы.

Это им убит коварно
Мой отец, когда на землю
Он с луны за мной спустился
И меня искал повсюду.
Это злобный Меджисогвон
Посылает к нам недуги,

Посылает лихорадки,
Дышит белой мглою с тундры,
Дышит сыростью болотных,
Смертоносных испарений!

Лук возьми свой, Гайавата,
Острых стрел возьми с собою,
Томагаук, Поггэвогон,
Рукавицы, Минджикэвон,
И березовую лодку.
Желтым жиром Мише-Намы
Смажь бока ее, чтоб легче
Было плыть ей по болотам,
И убей ты чародея,
Отомсти врагу Нокомис,
Отомсти врагу народа!"

Быстро в путь вооружился
Благородный Гайавата;
Легкий челн он сдвинул в воду,
Потрепал его рукою,
Говоря: "Вперед, пирога,
Друг мой верный и любимый,
К змеям огненным, Кинэбик,
К смоляным озерам черным!"

Гордо вдаль неслась пирога,
Грозно песню боевую
Пел отважный Гайавата;
А над ним Киню могучий,
Боевой орел могучий,
Вождь пернатых, с диким криком
В небесах кругами плавал.

Скоро он и змей увидел,
Исполинских змей увидел,
Что лежали средь болота,
Ежась, искрясь средь болота,
На пути сплетаясь в кольца,
Подымаясь, наполняя
Воздух огненным дыханьем,
Чтоб никто не мог проникнуть
К Меджисогвону в жилище.

Но бесстрашный Гайавата,
Громко крикнув, так сказал им:
"Прочь с дороги, о Кинэбик!
Прочь с дороги Гайаваты!"
А они, свирепо ежась,
Отвечали Гайавате
Свистом, огненным дыханьем:
"Отступи, о Шогодайя!
Воротись к Нокомис старой!"

И тогда во гневе поднял

Мощный лук свой Гайавата,
Сбросил с плеч колчан – и начал
Поражать их беспощадно:
Каждый звук тугой и крепкой
Тетивы был криком смерти,
Каждый свист стрелы певучей
Песнью смерти и победы!

Тяжело в воде кровавой
Змеи мертвые качались,
И победно Гайавата
Плыл меж ними, восклицая:
"О, вперед, моя пирога,
К смоляным озерам черным!"

Желтым жиром Мише-Намы
Он бока и нос пироги
Густо смазал, чтобы легче
Было плыть ей по болотам.
И до света одиноко
Плыл он в этом сонном мире,
Плыл в воде, густой и черной,
Вековой корой покрытой
От размытых и гниющих
Камышей и листьев лилий;
И безжизненно и мрачно
Перед ним вода блестела,
Озаренная луною,
Озаренная мерцаньем
Огоньков, что зажигают
Души мертвых на стоянках
В час тоскливой, долгой ночи.

Белым месячным сияньем
Тихий воздух был наполнен;
Тени ночи по болотам
Далеко кругом чернели;
А москиты Гайавате
Пели песню боевую;
Светляки, блестя, кружились,
Чтобы сбить его с дороги,
И в густой воде Дагинда
Тяжело зашевелилась,
Тупо желтыми глазами
Поглядела на пирогу,
Зарыдала – и исчезла;
И мгновенно огласилось
Все кругом стозвучным свистом,
И Шух-шух-га издалека
С камышового побережья
Возвестила громким криком
О прибытии героя!

Так держал путь Гайавата,
Так держал он путь на запад,

Плыл всю ночь, пока не скрылся
С неба бледный, полный месяц.
А когда пригрело солнце,
Стало плечи жечь лучами,
Увидал он пред собою
На холме Вигвам Жемчужный –
Меджисогвона жилище.

Вновь тогда своей пироге
Он сказал; «Вперед!» – и быстро,
Величаво и победно
Пронеслась она средь лилий,
Через густой прибрежный шпажник.
И на берег Гайавата
Вышел, ног не замочивши.

Тотчас взял он лук свой верный,
Утвердил в песке, коленом
Надавил посередине
И могучей тетивою
Запустил стрелу-певунью,
Запустил в Вигвам Жемчужный,
Как гонца с своим посланьем,
С гордым вызовом на битву:
"Выходи, о Меджисогвон:
Гайавата ожидает".

Быстро вышел Меджисогвон
Из Жемчужного Вигвама,
Быстро вышел он, могучий,
Рослый и широкоплечий,
Сумрачный и страшный видом,
С головы до ног покрытый
Украшеньями, оружием,
В алых, синих, желтых красках,
Словно небо на рассвете,

В развевающихся перьях
Из орлиных длинных крыльев.
"А, да это Гайавата! –
Громко крикнул он с насмешкой,
И, как гром, тот крик раздался. –
Отступи, о Шогодайя!
Уходи скорее к бабам,
Уходи к Нокомис старой!
Я убью тебя на месте,
Как ее отца убил я!"

Но без страха, без смущенья
Отвечал мой Гайавата:
"Хвастовством и грубым словом
Не сразишь, как томагавком;
Дело лучше слов бесплодных
И острей насмешек стрелы.
Лучше действовать, чем хвастать!"

И начался бой великий,
Бой, невиданный под солнцем!
От восхода до заката –
Целый летний день он длился,
Ибо стрелы Гайаваты
Бесполезно ударялись
О жемчужную кольчугу.
Бесполезны были даже
Рукавицы, Минджикэвон,
И тяжелый томагаук:
Раздроблять он мог утесы,
Но колец не мог разбить он
В заколдованной кольчуге.

Наконец перед закатом,
Весь израненный, усталый,
С расщепленным томагавком,
С рукавицами, в лохмотьях
И с тремя стрелами только,
Гайавата безнадежно
На упругий лук склонился
Под старинною сосною;
Мох с ветвей ее тянулся,
А на пне грибы желтели –
Мертвецов печальных обувь.

Вдруг зеленый дятел, Мэма,
Закричал над Гайаватой:
"Целься в темя, Гайавата,
Прямо в темя чародея,
В корни кос ударь стрелою:
Только там и уязвим он!"

В легких перьях, в халцедоне,
Понеслась стрела-певунья
В тот момент, как Меджисогвон
Поднимал тяжелый камень,
И вонзилась прямо в темя,
В корни длинных кос вонзилась.
И споткнулся, зашатался
Меджисогвон, словно буйвол,
Да, как буйвол, пораженный
На лугу, покрытом снегом.

Вслед за первою стрелою
Полетела и вторая,
Понеслась быстрее первой,
Поразила глубже первой;
И колени чародея,
Как тростник, затрепетали,
Как тростник, под ним согнулись.

А последняя взвилась
Легче всех – и Меджисогвон

Увидал перед собою
Очи огненные смерти,
Услыхал из мрака голос,
Голос Погока призывный.
Без дыхания, без жизни
Пал могучий Меджисогвон
На песок пред Гайаватой.

Благодарный Гайавата
Взял тогда немного крови
И, позвав с сосны печальной
Дятла, выкрасил той кровью
На головке дятла гребень
За его услугу в битве;
И доньне Мэма носит
Хохолок из красных перьев.

После, в знак своей победы,
В память битвы с чародеем,
Он сорвал с него кольчугу
И оставил без призора
На песке прибрежном тело.
На песке оно лежало,
Погребенное по пояс,
Головой поникнув в воду,
А над ним кружился с криком
Боевой орел могучий,
Плавал медленно кругами,
Тихо, тихо вниз спускаясь.

Из вигвама чародея
Гайавата снес в пирогу
Все сокровища, весь вампум,
Снес меха бобров, бизонов,
Соболей и горностаев,
Нитки жемчуга, колчаны
И серебряные стрелы –
И поплыл домой, ликуя,
С громкой песнею победы.

Там к нему на берег вышли
Престарелая Нокомис,
Чайбайабос, мощный Квазинд;
А народ героя встретил
Пляской, пеньем, восклицая:
"Слава, слава Гайавате!
Побежден им Меджисогвон,
Побежден волшебник злобный!"

Навсегда остался дорог
Гайавате дятел, Мэма.
В честь его и в память битвы
Он свою украсил трубку
Хохолком из красных перьев,
Гребешком багровым Мэмы,

А богатство чародея
Разделил с своим народом,
Разделил, по равной части.

Сватовство Гайаваты

"Муж с женой подобен луку,
Луку с крепкой тетивой;
Хоть она его сгибает,
Но ему сама послушна,
Хоть она его и тянет,
Но сама с ним неразлучна;
Порознь оба бесполезны!"

Так раздумывал нередко
Гайавата и томился
То отчаяньем, то страстью,
То тревожною надеждой,
Предаваясь пылким грезам
О прекрасной Миннегаге
Из страны Дакотов диких.

Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
"Не женись на чужеземке,
Не ищи жены по свету!
Дочь соседа, хоть простая, –
Что очаг в родном вигваме,
Красота же чужеземки –
Это лунный свет холодный,
Это звездный блеск далекий!"

Так Нокомис говорила.
Но разумно Гайавата
Отвечал ей: "О Нокомис!
Мил очаг в родном вигваме,
Но милей мне звезды в небе,
Ясный месяц мне милее!"

Строго старая Нокомис
Говорила: "Нам не нужно
Праздных рук и ног ленивых;
Приведи жену такую,
Чтоб работала с любовью,
Чтоб проворны были руки,
Ноги двигались охотно!"

Улыбаясь, Гайавата
Молвил: "Я в земле Дакотов
Стрелоделателя знаю;
У него есть дочь-невеста,
Что прекрасней всех прекрасных;
Я введу ее в вигвам твой,

И она тебе в работе
Будет дочерью покорной,
Будет лунным, звездным светом,
Огоньком в твоём вигваме,
Солнцем нашего народа!"

Но опять свое твердила
Осторожная Нокомис:
"Не вводи в мое жилище
Чужеземку, дочь Дакота!
Злобны дикие Дакоты,
Часто мы воюем с ними,
Распри наши не забыты,
Раны наши не закрылись!"

Усмехаясь, Гайавата
И на это ей ответил:
"Потому-то и пойду я
За невестой в край Дакотов,
Для того пойду, Нокомис,
Чтоб окончить наши распри,
Залечить навеки раны!"

И пошел в страну красавиц,
В край Дакотов, Гайавата,
В путь далекий по долинам,
В тишине равнин пустынных,
В тишине лесов дремучих.

С каждым шагом делал милю
Он в волшебных мокалинах;
Но быстрее бежали мысли,
И дорога бесконечной
Показалась Гайавате!
Наконец, в безмолвье леса
Услыхал он гул потоков,
Услыхал призывный грохот
Водопадов Миннегаги.
"О, как весел, – прошептал он, –
Как отраден этот голос,
Призывающий в молчанье!"

Меж деревьев, где играли
Свет и тени, он увидел
Стадо чуткое оленей.
«Не сплошай!» – сказал он луку,
«Будь верней!» – стреле промолвил,
И когда стрела-певунья,
Как оса, впилась в оленя,
Он взвалил его на плечи
И пошел еще быстрее.

У дверей в своём Вигваме,
Вместе с милой Миннегагой,
Стрелоделатель работал.

Он точил на стрелы яшму,
Халцедон точил блестящий,
А она плела в раздумье
Тростниковые циновки;
Все о том, что будет с нею,
Тихо девушка мечтала,
А старик о прошлом думал.

Вспоминал он, как, бывало,
Вот такими же стрелами
Поражал он на долинах
Робких ланей и бизонов,
Поражал в лугах зеленых
На лету гусей крикливых;
Вспоминал и о великих
Боевых отрядах прежних,
Покупавших эти стрелы.
Ах, уж нет теперь подобных
Славных воинов на свете!
Ныне воины что бабы:
Языком болтают только!

Миннегага же в раздумье
Вспоминала, как весною
Приходил к отцу охотник,
Стройный юноша-красавец
Из земли Оджибуэев,
Как сидел он в их вигваме,
А простившись, обернулся,
На нее взглянул украдкой.
Сам отец потом нередко
В нем хвалил и ум и храбрость.
Только будет ли он снова
К водопадам Миннегаги?
И в раздумье Миннегага
Вдаль рассеянно глядела,
Опускала праздно руки.

Вдруг почудился ей шорох,
Чья-то поступь в чаще леса,
Шум ветвей, – и чрез мгновенье,
Разрумяненный ходьбою,
С мертвой ланью за плечами,
Стал пред нею Гайавата.

Строгий взор старик на гостя
Быстро вскинул от работы,
Но, узнавши Гайавату,
Отложил стрелу, поднялся
И просил войти в жилище.
«Будь здоров, о Гайавата!» –
Гайавате он промолвил.

Пред невестой Гайавата
Сбросил с плеч свою добычу,

Положил пред ней оленя;
А она, подняв ресницы,
Отвечала Гайавате
Кроткой лаской и приветом:
«Будь здоров, о Гайавата!»

Из оленьей крепкой кожи
Сделан был вигвам просторный,
Побелен, богато убран
И дакотскими богами
Разрисован и расписан.
Двери были так высоки,
Что, входя, едва нагнулся
Гайавата на пороге,
Чуть коснулся занавесок
Головой в орлиных перьях.

Встала с места Миннегага,
Отложив свою работу,
Принесла к обеду пищи,
За водой к ручью сходила
И стыдливо подавала
С пищей глиняные миски,
А с водой – ковши из липы.
После села, стала слушать
Разговор отца и гостя,
Но сама во всей беседе
Ни словечка не сказала!

Да, как будто сквозь дремоту
Услыхала Миннегага
О Нокомис престарелой,
Воспитавшей Гайавату,
О друзьях его любимых
И о счастье, о довольстве
На земле Оджибуэев,
В тишине долин веселых.

"После многих лет раздора,
Многих лет борьбы кровавой
Мир настал теперь в селеньях
Одживэев и Дакотов! –
Так закончил Гайавата,
А потом прибавил тихо: –
Чтобы этот мир упрочить,
Закрепить союз сердечный,
Закрепить навеки дружбу,
Дочь свою отдай мне в жены,
Отпусти в мой край родимый,
Отпусти к нам Миннегагу!"

Призадумался немного
Старец, прежде чем ответить,
Покурил в молчанье трубку,
Посмотрел на гостя гордо,

Посмотрел на дочь с любовью
И ответил очень важно:
"Это воля Миннегаги.
Как решишь ты, Миннегага?"

И смутилась Миннегага
И еще милей и краше
Стала в девичьем смущенье.
Робко рядом с Гайаватой
Опустилась Миннегага
И, краснея, отвечала:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

Так решила Миннегага!
Так сосватал Гайавата,
Взял красавицу невесту
Из страны Дакотов диких!

Из вигвама рядом с нею
Он пошел в родную землю.
По лесам и по долинам
Шли они рука с рукою,
Оставляя одиноким
Старика отца в вигваме,
Покидая водопады,
Водопады Миннегаги,
Что зывали издалека:
«Добрый путь, о Миннегага!»

А старик, простившись с ними,
Сел на солнышко к порогу
И, копаясь за работой,
Бормотал: "Вот так-то дочки!
Любишь их, лелеешь, холишь,
А дожدهшься их опоры,
Глядь – уж юноша приходит,
Чужеземец, что на флейте
Поиграет да побродит
По деревне, выбирая
Покрасивее невесту, –
И простись навеки с дочкой!"

Весел был их путь далекий
По холмам и по долинам,
По горам и по ущельям,
В тишине лесов дремучих!
Быстро время пролетало,
Хоть и тихо Гайавата
Шел теперь – для Миннегаги,
Чтоб она не утомилась.

На руках через стремнины
Нес он девушку с любовью, –
Легким перышком казалась
Эта ноша Гайавате.

В делях леса, под ветвями,
Он прокладывал тропинки,
На ночь ей шалаш построил,
Постелил постель из листьев
И развел костер у входа
Из сухих сосновых шишек.

Ветерки, что вечно бродят
По лесам и по долинам,
Путь держали вместе с ними;
Звезды чутко охраняли
Мирный сон их темной ночью;
Белка с дуба зорким взглядом
За влюбленными следила,
А Вабассо, белый кролик,
Убегал от них с тропинки
И, привстав на задних лапках,
Из норы глядел украдкой
С любопытством и со страхом.

Весел был их путь далекий!
Птицы сладко щебетали,
Птицы звонко пели песни
Мирной радости и счастья.
"Ты счастлив, о Гайавата,
С кроткой, любящей женою!" –
Пел Овейса синеперый.
"Ты счастлива, Миннегага,
С благородным, мудрым мужем!" –
Опечи пел красногрудый.

Солнце ласково глядело
Сквозь тенистые деревья,
Говорило им: "О дети!
Злоба – тьма, любовь – свет солнца,
Жизнь играет тьмой и светом, –
Правь любовью, Гайавата!"

Месяц с неба в час полночный
Заглянул в шалаш, наполнил
Мрак таинственным сияньем
И шепнул им: "Дети, дети!
Ночь тиха, а день тревожен;
Жены слабы и покорны,
А мужья властолюбивы, –
Правь терпеньем, Миннегага!"

Так они достигли дома,
Так в вигвам Нокомис старой
Возвратился Гайавата
Из страны Дакотов диких,
Из страны красивых женщин,
С Миннегагою прекрасной.
И была она в вигваме
Огоньком его вечерним,

Светом лунным, светом звездным,
Светлым солнцем для народа.

Свадебный пир Гайаваты

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Танцевал под звуки флейты,
Как учтивый Чайбайабос,
Сладкогласный Чайбайабос
Песни пел любви-томленья
И как Ягу, дивный мастер
И рассказывать и хвастать,
Сказки сказывал на свадьбе,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!

Пышный пир дала Нокомис,
Пышно праздновала свадьбу!
Чаши были все из липы,
Ярко-белые и с гляncем,
Ложки были все из рога,
Ярко-черные и с гляncем.

В знак торжественного пира,
Приглашения на свадьбу,
Всем соседям ветви ивы
В этот день она послала;
И соседи собралися
К циру в праздничных нарядах,
В дорогих мехах и перьях,
В разноцветных ярких красках,
В пестром вампуме и бусах.

На пиру они сначала
Осетра и шуку ели,
Приготовленных Нокомис;
После – пимикан олений,
Пимикан и мозг бизона,
Горб быка и ляжку лани,
Рис и желтые лепешки
Из толченой кукурузы.

Но радушный Гайавата,
Миннегага и Нокомис
При гостях не сели к пище:
Только потчевали молча,
Только молча им служили.
А когда обед был кончен,
Хлопотливая Нокомис
Из большого меха выдры
Тотчас каменные трубки

Табакom набила южным,
Табакom с травой пахучей
И с корою красной ивы.

После ласково сказала:
"Протанцуй нам, По-Пок-Кивис,
Танец Нищего веселый,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!"

И красавец По-Пок-Кивис,
Беззаботный Йенадиззи,
Озорник, всегда готовый
Веселиться и буянить,
Тотчас встал среди собранья.
Ловок был он в плясках, в танцах,
В состязаньях и забавах,
Смел и ловок в разных играх,
Даже в самых трудных играх!

На деревне По-Пок-Кивис
Слыл пропащим человеком,
Игроком, лентяем, трусом;
Но насмешки и прозванья
Не смущали Йенадиззи:
Ведь зато он был красавец
И большой любимец женщин!

Он стоял в одежде белой
Из пушистой ланьей шкуры,
Окаймленной горностаем,
Густо вмпумом расшитой
И ежовою щетиной;
В головном его уборе
Колыхался пух лебяжий;
На козловых мокасинах
Красовались иглы, бисер
И хвосты лисиц – на пятках,
А в руках держал он трубку
И большое опахало.

Краской желтою и красной,
Краской алою и синей
Все лицо его сияло;
В косы, смазанные маслом,
И с пробором, как у женщин,
Вплетены гирлянды были
Из пахучих трав и листьев.
Вот как убран и наряжен
Встал красавец По-Пок-Кивис,
Встал при звуках флейт и песен,
Голосов и барабанов
И свой дивный танец начал.

Танцевал он прежде важно,
Выступая меж деревьев –
То под тенью, то на солнце –
Мягким шагом, как пантера;
После – все быстрее, быстрее
Закружился, завертелся,
Вкруг вигвама начал прыгать
Через головы сидящих
Так, что ветер, пыль и листья
Понеслись за ним кругами!

А потом вдоль Гитчи-Гюми,
По песчаному побережью,
Как безумный, он помчался,
Ударяя с дикой силой
Мокасинами о землю
Так, что ветер стал уж бурей,
Засвистал песок, вздымаясь,
Словно вьюга по пустыне,
И покрылося побережье
Все холмами Нэго-Воджу!
Так веселый По-Пок-Кивис
Танец Нищего окончил
И, окончив, возвратился
К месту пира, сел с гостями,
Сел, спокойно улыбаясь
И махая опахалом.

После друга Гайаваты,
Чайбайабоса, просили:
"Спой нам песню, Чайбайабос,
Песню страсти, песню неги,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!"

И прекрасный Чайбайабос
Спел им нежно, сладкозвучно,
Спел в волнении глубоком
Песню страсти, песню неги;
Все смотря на Гайавату,
Все смотря на Миннегагу,
Тихо пел он эту песню:

"Онэвэ! Проснись, родная!
Ты, лесной цветочек дикий,
Ты, лугов зеленых птичка,
Птичка дикая, певунья!"

Взор твой кроткий, взор косули,
Так отраден, так отраден,
Как роса для нежных лилий
В час вечерний на долине!

А твое дыханье сладко,

Как цветов благоуханье,
Как дыханье их зарею
В Месяц Падающих Листьев!

Не стремлюсь ли я всем сердцем
К сердцу милой, к сердцу милой,
Как ростки стремятся к солнцу
В тихий Месяц Светлой Ночи?

Онэвэ! Трепещет сердце
И поет тебе в восторге,
Как поют, вздыхают ветви
В ясный Месяц Земляники!

Загрустишь ли ты, родная, –
И мое темнеет сердце,
Как река, когда над нею
Облака бросают тени!

Улыбнешься ли, родная, –
Сердце вновь дрожит и блещет,
Как под солнцем блещут волны,
Что рябит холодный ветер!

Пусть улыбкою сияют
Небеса, земля и воды, –
Не могу я улыбаться,
Если милой я не вижу!

Я с тобой, с тобой! Взгляни же,
Кровь трепещущего сердца!
О, проснись! Проснись, родная!
Онэвэ! Проснись, родная!"

Так прекрасный Чайбайабос
Песню пел любви-томленья;
И хвастливый, старый Ягу,
Удивительный рассказчик,
Слушал с завистью, как гости
Восторгались сладким пеньем;
Но потом, по их улыбкам,
По глазам и по движеньям
Увидал, что все собранье
С нетерпеньем ожидает
И его веселых басен,
Непомерно лживых сказок.

Очень был хвастлив мой Ягу!
В самых дивных приключеньях,
В самых смелых предприятиях –
Всюду был героем Ягу:
Он узнал их не по слухам,
Он воочию их видел!

Если б только Ягу слушать,

Если б только Ягу верить,
То нигде никто из лука
Не стреляет лучше Ягу,
Не убил так много ланей,
Не поймал так много рыбы
Иль речных бобров в капканы.

Кто резвее всех в деревне?
Кто всех дальше может плавать?
Кто ныряет всех смелее?
Кто постранствовал по свету
И диковин насмотрелся?
Уж, конечно, это Ягу,
Удивительный рассказчик.

Имя Ягу стало шуткой
И пословицей в народе;
И когда хвастун-охотник
Чересчур охотой хвастал
Или воин завирался,
Возвратившись с поля битвы,
Все кричали: "Ягу, Ягу!
Новый Ягу появился!"

Это он связал когда-то
Из коры зеленой липы
Люльку жилами оленя
Для малютки Гайаваты.
Это он ему позднее
Показал, как надо делать
Лук из ясеня упругий,
А из сучьев дуба – стрелы.
Вот каков был этот Ягу,
Безобразный, старый Ягу,
Удивительный рассказчик!

И промолвила Нокомис:
"Расскажи нам, добрый Ягу,
Почудесней сказку, басню,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!"

И ответил Ягу тотчас:
"Вы услышите сегодня
Повесть – дивное сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!"

Сын Вечерней Звезды

"То не солнце ли заходит
Над равниной водяною?"

Иль то раненый фламинго
Тихо плавает, летает,
Обагрят волны кровью,
Кровью, падающей с перьев,
Наполняет воздух блеском,
Блеском длинных красных перьев?

Да, то солнце утопает,
Погружаясь в Гитчи-Гюми;
Небеса горят багрянцем,
Воды блещут алой краской!
Нет, то плавает фламинго,
В волны красные ныряя;
К небесам простер он крылья
И окрасил волны кровью!

Огонек Звезды Вечерней
Таёт, в пурпуре трепещет,
В полумгле висит над морем.
Нет, то вампум серебрится
На груди Владыки Жизни,
То Великий Дух проходит
Над темнеющим закатом!

На закат смотрел с восторгом
Долго, долго старый Ягу;
Вдруг воскликнул: "Посмотрите!
Посмотрите на священный
Огонек Звезды Вечерней!
Вы услышите сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!

В незапамятные годы,
В дни, когда еще для смертных
Небеса и сами боги
Были ближе и доступней,
Жил на севере охотник
С молодыми дочерьми;
Десять было их, красавиц,
Стройных, гибких, словно ива,
Но прекрасней всех меж ними
Овини была, меньшая.

Вышли девушки все замуж,
Все за воинов отважных,
Овини одна не скоро
Жениха себе сыскала.
Своенравна и сурова,
Молчалива и печальна
Овини была – и долго
Женихов, красавцев юных,
Прогоняла прочь с насмешкой,
А потом взяла да вышла
За убогого Оссэо!

Нищий, старый, безобразный,
Вечно кашлял он, как белка.

Ах, но сердце у Оссэо
Было юным и прекрасным!
Он сошел с Звезды Заката,
Он был сын Звезды Вечерней,
Сын Звезды любви и страсти!
И огонь ее, и чары,
И краса, и блеск лучистый –
Все в груди его таилось,
Все в речах его сверкало!

Женихи, любовь которых
Овини отвергла гордо, –
Йенадиззи в ожерельях,
В пышных перьях, ярких красках
Насмехались над нею;
Но она им так оказала:
"Что за дело мне до ваших
Ожерелий, красок, перьев
И насмешек непристойных!
Я счастлива за Оссэо!"

Раз в ненастный, темный вечер
Шли веселою толпою
На веселый праздник сестры, –
Шли на званый пир с мужьями;
Тихо следовал за ними
С молодой женой Оосэо.
Все шутили и смеялись –
Эти двое шли в молчанье.

На закат смотрел Оссэо,
Взор подняв, как бы с мольбою;
Отставал, смотрел с мольбою
На Звезду любви и страсти,
На трепещущий и нежный
Огонек Звезды Вечерней;
И расслышали все сестры,
Как шептал Оссэо тихо:
"Ах, шовэн нэмэшин, Ноза! –
Сжалься, сжалься, о отец мой!"

"Слышишь? – старшая сказала.
Он отца о чем-то просит!
Право, жаль, что старикашка
Не споткнется на дороге,
Головы себе не сломит!"
И смеялись сестры злобно
Непристойным, громким смехом.

На пути их, в дебрях леса,
Дуб лежал, погибший в бурю,
Дуб-гигант, покрытый мохом,

Полусгнивший под листвою,
Почерневший и дуплистый.
Увидав его, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый
И в дупло, как в яму, прыгнул.
Старым, дряхлым, безобразным
Он упал в него, а вышел –
Сильным, стройным и высоким,
Статным юношей, красавцем!

Так вернулась к Оссэо
Красота его и юность;
Но – увы! – за ним мгновенно
Овини преобразилась!
Стала древнею старухой,
Дряхлой, жалкою старухой,
Поплелась с клюкой, согнувшись,
И смеялись все над нею
Непристойным, громким смехом.

Но Оссэо не смеялся,
Овини он не покинул,
Нежно взял ее сухую
Руку – темную, в морщинах,
Как дубовый лист зимою,
Называл своею милой,
Милым другом, Нинимуша,
И пришел с ней к месту пира,
Сел за трапезу в вигваме.
Тот вигвам в лесу построен
В честь святой Звезды Заката.

Очарованный мечтами,
На пиру сидел Оссэо.
Все шутили, веселились,
Но печален был Оссэо!
Не притронулся он к пище,
Не сказал ни с кем ни слова,
Не слышал речей веселых;
Лишь смотрел с тоской во взоре
То на Овини, то кверху,
На сверкающие звезды.

И пронесся тихий шепот,
Тихий голос, зазвучавший
Из воздушного пространства,
От далеких звезд небесных.
Мелодично, смутно, нежно
Говорил он: "О Оссэо!
О возлюбленный, о сын мой!
Тяготели над тобою
Чары злобы, темной силы,
Но разрушены те чары;
Встань, приди ко мне, Оссэо!"

Яств отведай этих дивных,
Яств вкуси благословенных,
Что стоят перед тобою;
В них волшебная есть сила:
Их вкусив, ты станешь духом;
Все твои котлы и блюда
Не простой посудой будут:
Серебром котлы заблещут,
Блюда – в вампум превратятся.
Будут все огнем светиться,
Блеском раковин пурпурных.

И спадет проклятье с женщин,
Иго тягостной работы:
В птиц они все превратятся,
Засияют звездным светом,
Ярким отблеском заката
На вечерних нежных тучках".

Так сказал небесный голос;
Но слова его понятны
Были только для Оссэо,
Остальным же он казался
Грустным пеньем Вавонэйсы,
Пеньем птиц во мраке леса,
В отдаленных чащах леса.

Вдруг жилище задрожало,
Зашаталось, задрожало,
И почувствовали гости,
Что возносятся на воздух!
В небеса, к далеким звездам,
В темноте ветвистых сосен,
Плыл вигвам, минуя ветви,
Миновал – и вот все блюда
Засияли алой краской,
Все котлы из сизой глины –
Вмиг серебряными стали,
Все шести вигвама ярко
Засверкали в звездном свете,
Как серебряные прутья,
А его простая кровля –
Как жуков блестящих крылья.

Поглядел кругом Оссэо
И увидел, что и сестры
И мужа сестер-красавиц
В разных птиц все превратились:
Были тут скворцы с дроздами,
Были сойки и сороки,
И все прыгали, порхали,
Охорашивались, пели,
Щеголяли блеском перьев,
Распускали хвост, как веер.

Только Овини осталась
Дряхлой, жалкою старухой
И в тоске сидела молча.
Но, взглянувши вверх, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый,
Вопль отчаянья, как прежде,
Над дуплистым старым дубом,
И мгновенно к ней вернулась
Красота ее и юность;
Все ее лохмотья стали
Белым мехом горностая,
А клюка – пером блестящим,
Да, серебряным, блестящим!

И опять вигвам поднялся,
В облаках поплыл прозрачных,
По воздушному теченью,
И пристал к Звезде Вечерней, –
На звезду спустился тихо,
Как снежинка на снежинку,
Как листок на волны речки,
Как пушок репейный в воду.

Там с приветливой улыбкой
Вышел к ним отец Оссэо,
Старец с кротким, ясным взором,
С серебристыми пудрями,
И сказал: "Повесь, Оссэо,
Клетку с птицами своими,
Клетку с пестрой птичьей стаей,
У дверей в моем вигваме!"

У дверей повесив клетку,
Он вошел в вигвам с женою,
И тогда отец Оссэо,
Властелин Звезды Вечерней,
Им сказал: "О мой Оссэо!
Я мольбы твои услышал,
Возвратил тебе, Оссэо,
Красоту твою и юность,
Превратил сестер с мужьями
В разноперых птиц за шутки,
За насмешки над тобою.
Не сумел никто меж ними
Оценить в убогом старце,
В жалком образе калеки
Сердца пылкого Оссэо,
Сердца вечно молодого.
Только Овини сумела
Оценить тебя, Оссэо!"

Там, на звездочке, что светит
От Звезды Вечерней влево,
Чародей живет, Вэбино,
Дух и зависти и злобы;

Превратил тебя он в старца.
Берегись лучей Вэбино:
В них волшебная есть сила –
Это стрелы чародея!"

Долго, в мире и согласье,
На Звезде Вечерней мирной
Жил с отцом своим Оссэо;
Долго в клетке над вигвамом
Птицы пели и порхали
На серебряных шесточках,
И супруга молодая
Родила Оссэо сына:
В мать он вышел красотой,
А в отца – дородным видом.

Мальчик рос, мужал с годами,
И отец, ему в утеху,
Сделал лук и стрел наделал,
Отворил большую клетку
И пустил всех птиц на волю,
Чтоб, стреляя в теток, в дядей,
Позабавился малютка.

Там и сям они кружились,
Наполняя воздух звонким
Пеньем счастья и свободы,
Блеском перьев разноцветных;
Но напряг свой лук упругий,
Запустил стрелу из лука
Мальчик, маленький охотник, –
И упала с ветки птичка,
В ярких перышках, на землю,
Насмерть раненная в сердце.

Но – о, чудо! – уж не птицу
Видит он перед собою,
А красавицу младую
С роковой стрелою в сердце!

Кровь ее едва упала
На священную планету,
Как разрушились чары,
И стрелок отважный, юный
Вдруг почувствовал, что кто-то
По воздушному пространству
В облаках его спускает
На зеленый, злачный остров
Посреди Большого Моря.

Вслед за ним блестящей стаей
Птицы падали, летали,
Как осеннюю порою
Листья падают, пестрея,
А за птицами спустился

И вигвам с блестящей кровлей,
На серебряных стропилах,
И принес с собой Оссэо,
Овини принес с собою.

Вновь тут птицы превратились,
Получили образ смертных,
Образ смертных, но не рост их:
Все Пигмеями остались,
Да, Пигмеями – Пок-Вэджис,
И на острове скалистом,
На его прибрежных мелях
И доньне хороводы
Водят летними ночами
Под Вечернею Звездою.

Это их чертог блестящий
Виден в тихий летний вечер;
Рыбаки с побережья часто
Слышат их веселый говор,
Видят танцы в звездном свете".

Кончив свой рассказ чудесный,
Кончив сказку, старый Ягу
Всех гостей обвел глазами
И торжественно промолвил:
"Есть возвышенные души,
Есть непонятые люди!
Я знавал таких немало.
Зубоскалы их нередко
Даже на смех поднимают,
Но насмешники должны бы
Чаще думать об Оссэо!"

Очарованные гости
Повесть слушали с восторгом
И рассказчика хвалили,
Но шептались друг с другом:
"Неужель Оссэо – Ягу,
Мы же – тетушки и дяди?"

После снова Чайбайабос
Пел им песнь любви-томленья,
Пел им нежно, сладкозвучно
И с задумчивой печалью
Песню девушки, скорбящей
Об Алгонкине, о миле.

"Горе мне, когда о миле,
Ах, о миле я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о миле!"

Ах, когда мы расставались,
Он на память дал мне вампум,

Белоснежный дал мне вампум,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

"Я пойду с тобой, – шептал он, –
Ах, в твою страну родную;
О, позволь мне", – прошептал он,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

"Далеко, – я отвечала, –
Далеко, – я прошептала, –
Ах, страна моя родная,
Мой возлюбленный, Алгонкин!"

Обернувшись, я глядела,
На него с тоской глядела,
И в мои глядел он очи,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Он один стоял под ивой,
Под густой плакучей ивой,
Что роняла слезы в воду,
Мой возлюбленный, Алгонкин!

Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!"

Вот как праздновали свадьбу!
Вот как пир увеселяли:
По-Пок-Кивис – бурной пляской,
Ягу – сказкою волшебной,
Чайбайабос – нежной песней.
С песней кончился и праздник,
Разошлись со свадьбы гости
И оставили счастливых
Гайавату с Миннегагой
Под покровом темной ночи.

Благословение полей

Пой, о песнь о Гайавате,
Пой дни радости и счастья,
Безмятежные дни мира
На земле Оджибуэев!
Пой таинственный Мондамин,
Пой полей благословенье!

Погребен топор кровавый,
Погребен навеки в землю
Тяжкий, грозный томагаук;
Позабыты клики битвы, –
Мир настал среди народов.

Мирно мог теперь охотник
Строить белую пирогу,
На бобров капканы ставить
И ловить сетями рыбу;
Мирно женщины трудились:
Гнали сладкий сок из клена,
Дикий рис в лугах собирали
И выделывали кожи.

Вкруг счастливого селенья
Зеленели пышно нивы, –
Вырастал Мондамин стройный
В гляцевитых длинных перьях,
В золотистых мягких косах.
Это женщины весной
Обрабатывали нивы, –
Хоронили в землю маис
На равнинах плодородных;
Это женщины под осень
Желтый плащ с него срывали,
Обрывали косы, перья,
Как учил их Гайавата.

Раз, когда посев был кончен,
Рассудительный и мудрый
Гайавата обратился
К Миннегаге и сказал ей:
"Ты должна сегодня ночью
Дать полям благословенье;
Ты должна волшебным кругом
Обвести свои посевы,
Чтоб ничто им не вредило,
Чтоб никто их не коснулся!

В час ночной, когда все тихо,
В час, когда все тьмой покрыто,
В час, когда Дух Сна, Нэпавин,
Затворяет все вигвамы,
И ничье не слышит ухо,
И ничье не видит око, –
С ложа встань ты осторожно,
Все сними с себя одежды,
Обойди свои посевы,
Обойди кругом все нивы,
Только косами прикрыта,
Только тьмой ночной одета.

И обильней будет жатва;
От следов твоих на ниве
Круг останется волшебный,
И тогда ни ржа, ни черви,
Ни стрекозы, Куо-ни-ши,
Ни тарантул, Соббикапш,
Ни кузнечик, Па-пок-кина,
Ни могучий Вэ-мок-квана,

Царь всех гусениц мохнатых,
Никогда не переступят
Круг священный и волшебный!"

Так промолвил Гайавата;
А ворон голодных стая,
Жадный Кагаги, Царь-Ворон,
С шайкой черных мародеров
Отдыхали в ближней роще
И смеялись так, что сосны
Содрогались от смеха,
От зловещего их смеха
Над словами Гайаваты.
«Ах, мудрец, ах, заговорщик!» –
Говорили птицы громко.

Вот простерлась ночь немая
Над полями и лесами;
Вот и скорбный Вавонэйса
В темноте запел тоскливо,
Притворил Дух Сна, Нэпавин,
Двери каждого вигвама,
И во мраке Миннегага
Поднялась безмолвно с ложа;
Все сняла она одежды
И, окутанная тьмою,
Без смущенья и без страха
Обошла свои посева,
Начертала по равнине
Круг волшебный и священный.

Только Полночь созерцала
Красоту ее во мраке;
Только смолкший Вавонэйса
Слышал тихое дыханье,
Трепет сердца Миннегаги;
Плотно мантией священной
Ночи мрак ее окутал,
Чтоб никто не мог хвастливо
Говорить: «Ее я видел!»

На заре, лишь день забрезжил,
Кагаги, Царь-Ворон, скликал
Шайку черных мародеров –
Всех дроздов, ворон и соек,
Что шумели на деревьях,
И бесстрашно устремился
На посева Гайаваты,
На зеленую могилу,
Где покоился Мондамин.

"Мы Мондамина подыдем
Из его могилы тесной! –
Говорили мародеры. –
Нам не страшен след священный,

Нам не страшен круг волшебный,
Обведенный Миннегагой!"

Но разумный Гайавата
Все предвидел, все обдумал:
Слышал он, как издевались
Над его словами птицы.
"Ко, друзья мои, – сказал он, –
Ко, мой Кагаги, Царь-Ворон!
Ты с своею шайкой долго
Будешь помнить Гайавату!"

Он проснулся до рассвета,
Он для черных мародеров
Весь посев покрыл сетями,
Сам же лег в сосновой роще,
Стал в засаде терпеливо
Поджидать ворон и соек,
Поджидать дроздов и галок.

Вскоре птицами все поле
Запестрело и покрылось;
Дикой, шумною ватагой,
С криком, карканьем нестройным,
Принялись они за дело;
Но, при всем своем лукавстве,
Осторожности и знанье
Разных хитростей военных,
Не заметили, что скрыта
Недалеко их погибель,
И нежданно очутились
Все в тенетах Гайаваты.

Грозно встал тогда он с места,
Грозно вышел из засады, –
И объял великий ужас
Даже самых храбрых пленных!
Без пощады истреблял он
Их направо и налево,
И десятками их трупы
На шестах высоких вешал
Вкруг посевов освященных
В знак своей кровавой мести!

Только Кагаги, Царь-Ворон,
Предводитель мародеров,
Пощажен был Гайаватой
И заложником оставлен.
Он понес его к вигваму
И веревкою из вяза,
Боевой веревкой пленных,
Привязал его на кровле.

"Кагаги, тебя, – сказал он, –
Как зачинщика разбоя,

Предводителя злодеев,
Оскорбивших Гайавату,
Я заложником оставлю:
Ты порукою мне будешь,
Что враги мои смирились!"

И остался черный пленник
Над вигвамом Гайаваты;
Злобно хмурился он, сидя
В блеске утреннего солнца,
Дико каркал он с досады,
Хлопал крыльями большими, –
Тщетно рвался на свободу,
Тщетно звал друзей на помощь.

Лето шло, и Шавондази
Посылал, вздыхая страстно,
Из полдневных стран на север
Негу пламенных лобзаний.
Рос и зрел на солнце маис
И во всем великолепии,
Наконец, предстал на нивах:
Нарядился в кисти, в перья,
В разноцветные одежды;
А блестящие початки
Налились сладким соком,
Засверкали из подсохших,
Разорвавшихся покровов.

И сказала Миннегаге
Престарелая Нокомис:
"Вот и Месяц Листопада!
Дикий рис в лугах уж собран,
И готов к уборке маис;
Время нам идти на нивы
И с Мондамином бороться –
Снять с него все перья, кисти,
Снять наряд зелено-желтый!"

И сейчас же Миннегага
Вышла весело из дома
С престарелою Нокомис,
И они созвали женщин,
Молодежь к себе созвали,
Чтоб собирать созревший маис,
Чтоб лущить его початки.

Под душистой тенью сосен,
На траве лесной опушки
Старцы, воины сидели
И, покуривая трубки,
Важно, молча любовались
На веселую работу
Молодых людей и женщин,
Важно слушали; в молчанье

Шумный говор, смех и пенье:
Словно Опечи на кровле,
Пели девушки на ниве,
Как сороки стрекотали
И смеялись, точно сойки.

Если девушке счастливой
Попадался очень спелый,
Весь пурпуровый початок,
"Нэшка! – все кругом кричали.
Ты счастливица – ты скоро
За красавца замуж выйдешь!"
«Уг!» – согласно отзывались
Из-под темных сосен старцы.

Если ж кто-нибудь на ниве
Находил кривой початок,
Вялый, ржавчиной покрытый,
Все смеялись, пели хором,
Шли, хромая и согнувшись,
Точно дряхлый старикашка,
Шли и громко пели хором:
"Вагэмин, степной воришка,
Пэмосэд, ночной грабитель!"

И звенело поле смехом;
А на кровле Гайаваты
Каркал Кагаги, Царь-Ворон,
Бился в ярости бессильной.
И на всех соседних елях
Раздавались не смолкая,
Крики черных мародеров.
«Уг!» – с улыбкой отзывались
Из-под темных сосен старцы.

Письмена

"Посмотри, как быстро в жизни
Все забвенью поглощает!
Блекнут славные преданья,
Блекнут подвиги героев;
Гибнут знания и искусство
Мудрых Мидов и Вэбинов,
Гибнут дивные виденья,
Грезы вещей Джосакидов!

Память о великих людях
Умирает вместе с ними;
Мудрость наших дней исчезнет,
Не достигнет до потомства,
К поколениям, что сокрыты
В тьме таинственной, великой
Дней безгласных, дней грядущих.

На гробницах наших предков
Нет ни знаков, ни рисунков.
Кто в могилах, – мы не знаем,
Знаем только – наши предки;
Но какой их род иль племя,
Но какой их древний тотем –
Бобр, Орел, Медведь, – не знаем;
Знаем только: «это предки».

При свиданье – с глазу на глаз
Мы ведем свои беседы;
Но, расставшись, мы вверяем
Наши тайны тем, которых
Посылаем мы друг к другу;
А посланники нередко
Искажают наши вести
Иль другим их открывают".

Так сказал себе однажды
Гайавата, размышляя
О родном своем народе
И бродя в лесу пустынном.

Из мешка он вынул краски,
Всех цветов он вынул краски
И на гладкой на бересте
Много сделал тайных знаков,
Дивных и фигур и знаков;
Все они изображали
Наши мысли, наши речи.

Гитчи Манито могучий
Как яйцо был нарисован;
Выдающиеся точки
На яйце обозначали
Все четыре ветра неба.
«Вездесущ Владыка Жизни» –
Вот что значил этот символ.

Гитчи Манито могучий,
Властелин всех Духов Злобы,
Был представлен на рисунке,
Как великий змей, Кинэбик.
"Пресмыкается Дух Злобы,
Но лукав и изворотлив" –
Вот что значит этот символ.

Белый круг был знаком жизни,
Черный круг был знаком смерти;
Дальше шли изображенья
Неба, звезд, луны и солнца,
Вод, лесов, и горных высей,
И всего, что населяет
Землю вместе с человеком.

Для земли нарисовал он
Краской линию прямую,
Для небес – дугу над нею,
Для восхода – точку слева,
Для заката – точку справа,
А для полдня – на вершине.
Все пространство под дугою
Белый день обозначало,
Звезды в центре – время ночи,
А волнистые полосы –
Тучи, дождь и непогоду.

След, направленный к вигваму,
Был эмблемой приглашенья,
Знаком дружеского пира;
Окровавленные руки,
Грозно поднятые кверху, –
Знаком гнева и угрозы.

Кончив труд свой, Гайавата
Показал его народу,
Разъяснил его значенье
И промолвил: "Посмотрите!
На могилах ваших предков
Нет ни символов, ни знаков.
Так пойдите, нарисуйте
Каждый – свой домашний символ,
Древний прадедовский тотем,
Чтоб грядущим поколениям
Можно было различать их".

И на столбиках могильных
Все тогда нарисовали
Каждый – свой фамильный тотем,
Каждый – свой домашний символ:
Журавля, Бобра, Медведя,
Черепуху иль Оленя.
Это было указаньем,
Что под столбиком могильным
Погребен начальник рода.

А пророки, Джосакиды,
Заклинатели, Вэбины,
И врачи недугов, Миды,
Начертали на бересте
И на коже много страшных,
Много ярких, разноцветных
И таинственных рисунков
Для своих волшебных гимнов:
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Вот Великий Дух, Создатель,
Озаряет светом небо;

Вот Великий Змей, Кинэбик,
Приподняв кровавый гребень,
Извиваясь, смотрит в небо;
Вот журавль, орел и филин
Рядом с вещим пеликаном;
Вот идущие по небу
Обезглавленные люди
И пронзенные стрелами
Трупы воинов могучих;
Вот поднявшиеся грозно
Руки смерти в пятнах крови,
И могилы, и герои,
Захватившие в объятья
Небеса и землю разом!

Таковы рисунки были
На коре и ланьей коже;
Песни битвы и охоты,
Песни Мидов и Вэбинов –
Все имело свой рисунок!
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.

Песнь любви, которой чары
Всех врачебных средств сильнее,
И сильнее заклинаний,
И опасней всякой битвы,
Не была забыта тоже.
Вот как в символах и знаках
Песнь любви изображалась:

Нарисован очень ярко
Человек багряной краской –
Музыкант, любовник пылкий.
Смысл таков: "Я обладаю
Дивной властью надо всеми!"

Дальше – он поет, играя
На волшебном барабане,
Что должно сказать: "Внемли мне!
Это мой ты слышишь голос!"

Дальше – эта же фигура,
Но под кровлею вигвама.
Смысл таков: "Я буду с милой.
Нет преград для пылкой страсти!"

Дальше – женщина с мужчиной,
Стоя рядом, крепко сжали
Руки с нежностью друг другу.
"Все твое я вижу сердце
И румянец твой стыдливый!" –
Вот что значил символ этот.

Дальше – девушка средь моря,

На клочке земли, средь моря;
Песня этого рисунка
Такова: "Пусть ты далеко!
Пусть нас море разделяет!
Но любви моей и страсти
Над тобой всеильны чары!"

Дальше – юноша влюбленный
К спящей девушке склонился
И, склонившись, тихо шепчет,
Говорит: "Хоть ты далеко,
В царстве Сна, в стране Молчанья,
Но любви ты слышишь голос!"

А последняя фигура –
Сердце в самой середине
Заколдованного круга.
"Вся душа твоя и сердце
Предо мной теперь открыты!" –
Вот что значил символ этот.

Так, в своих заботах мудрых
О народе, Гайавата
Научил его искусству
И письма и рисованья
На бересте глянцевиной,
На оленьей белой коже
И на столбиках могильных.

Плач Гайаваты

Видя мудрость Гайаваты,
Видя, как он неизменно
С Чайбайабосом был дружен,
Злые духи устрашились
Их стремлений благородных
И, собравшись, заключили
Против них союз коварный.

Осторожный Гайавата
Говорил нередко другу:
"Брат мой, будь всегда со мною!
Духов Злых остерегайся!"
Но беспечный Чайбайабос
Только встряхивал кудрями,
Только нежно улыбался.
"О, не бойся, брат мой милый:
Надо мной бессильны Духи!" –
Отвечал он Гайавате.

Раз, когда зима покрыла
Синим льдом Большое Море
И метель, кружась, шипела

В почерневших листьях дуба,
Осыпала снегом ели,
И в снегу они стояли,
Точно белые вигвамы, –
Взявши лук, надевши лыжи,
Не внимая просьбам брата,
Не страшась коварных Духов,
Смело вышел Чайбайабос
На охоту за оленем.

Как стрела, олень рогатый
По Большому Морю мчался;
С ветром, снегом, словно буря,
Он преследовал оленя,
Позабыв в пылу охоты
Все советы Гайаваты.

А в воде сидели Духи,
Стерегли его в засаде,
Подломили лед коварный,
Увлекли певца в пучину,
Погребли в песках подводных.
Энктаги, владыка моря,
Вероломный бог Дакотов,
Утопил его в студеной,
Зыбкой бездне Гитчи-Гюми.

И с побережья Гайавата
Испустил такой ужасный
Крик отчаянья, что волки
На лугах завывали в страхе,
Встрепенулись бизоны,
А в горах раскаты грома
Эхом грянули: «Бэм-Вава!»

Черной краской лоб покрыл он,
Плащ на голову накинул
И в вигваме, полный скорби,
Семь недель сидел и плакал,
Однозвучно повторяя:
"Он погиб, он умер, нежный,
Сладкогласный Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Он ушел в страну, где льются
Неземные песнопенья!
О мой брат! О Чайбайабос!"

И задумчивые пихты
Тихо веяли своими
Опахалами из хвои,
Из зеленой, темной хвои,
Над печальным Гайаватой;
И вздыхали и скорбели,
Утешая Гайавату.

И весна пришла, и рощи
Долго-долго поджидали,
Не придет ли Чайбайабос?
И вздыхал тростник в долине,
И вздыхал с ним Сибовиша.

На деревьях пел Овейса,
Пел Овейса синеперый:
"Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!"

Опечи пел на вигваме,
Опечи пел красногрудый:
"Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!"

А в лесу, во мраке ночи,
Раздавался заунывный,
Скорбный голос Вавонэйсы:
"Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Сладкогласный Чайбайабос!"

Собрались тогда все Миды,
Джосакиды и Вэбины,
И, построив в чаще леса,
Близ вигвама Гайаваты,
Свой приют – Вигвам Священный,
Важно, медленно и молча
Все пошли за Гайаватой,
Взяв с собой мешки и сумки, –
Кожи выдр, бобров и рысей,
Где хранились корни, травы,
Исцелявшие недуги.

Услыхав их приближенье,
Перестал звать он к другу,
Перестал стенать и плакать,
Не промолвил им ни слова,
Только плащ с лица откинул,
Смыл с лица печали краску,
Смыл в молчании глубоком
И к Священному Вигваму,
Как во сне, пошел за ними.

Там его поили зельем,
Наколдованным настоем
Из корней и трав целебных:
Нама-Вэск – зеленой мяты
И Вэбино-Вэск – сурепки,
Там над ним забили в бубны
И запели заклинанья,
Гимн таинственный запели:

"Вот я сам, я сам с тобою,

Я, Седой Орел могучий!
Собирайтесь ж внимайте,
Белоперые вороны!
Гулкий гром мне помогает,
Дух незримый помогает,
Слышу всюду их призывы,
Голоса их слышу в небе!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!"

«Ги-о-га!» – весь хор ответил,
«Вэ»-га-вэ!" – весь хор волшебный.

"Все друзья мои – все змеи!
Слушай – кожей соколиной
Я тряхну над головою!
Манг, нырок, тебя убью я,
Прострелю стрелою сердце!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!"

«Ги-о-га!» – весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!»" – весь хор волшебный.

"Вот я, вот пророк великий!
Говорю – и сею ужас,
Говорю – и весь трепещет
Мой вигвам, Вигвам Священный!
А иду – свод неба гнется,
Содрогаясь подо мною!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Говори, о Гайавата!"

«Ги-о-га!» – весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» – весь хор волшебный.

И, мешками потрясая,
Танцевали танец Мидов
Вкруг больного Гайаваты, –
И вскочил он, встрепенулся,
Исцелился от недуга,
От безумья лютой скорби!
Как уходит лед весною,
Миновали дни печали,
Как уходят с неба тучи;
Думы черные сокрылись.

После к другу Гайаваты,
К Чайбайабосу зывали,
Чтоб восстал он из могилы,
Из песков Большого Моря,
И настолько властны были
Заклинанья и призывы,
Что услышал Чайбайабос
Их в пучине Гитчи-Гюми,

Из песков он встал, внимая
Звукам бубнов, пенью гимнов,
И пришел к дверям вигвама,
Повинуясь заклинаньям.

Там ему, в дверную шелку,
Дали уголь раскаленный,
Нарекли его владыкой
В царстве духов, в царстве мертвых
И, прощаясь, приказали
Разводить костры для мертвых,
Для печальных их ночлегов
На пути в Страну Понима.

Из родимого селенья,
От родных и близких сердцу,
По зеленым чащам леса,
Как дымок, как тень, безмолвно
Удалился Чайбайабос.
Где касался он деревьев –
Не качались деревья,
Где ступал – трава не мялась,
Не шумела под ногами.

Так четыре дня и ночи
Шел он медленной стопою
По дороге всех усопших;
Земляникою усопших
На пути своем питался,
Переправился на дубе

Чрез печальную их реку,
По Серебряным Озерам
Плыл на Каменной Пироге,
И в Селения Блаженных,
В царство духов, в царство теней,
Принесло его течение.

На пути он много видел
Бледных духов, нагруженных,
Истомленных тяжкой ношей:
И одеждой, и оружием,
И горшками с разной пищей,
Что друзья им надавали
На дорогу в край Понима.

Горько жаловались духи:
"Ах, зачем на нас живые
Возлагают бремя это!
Лучше б мы пошли нагими,
Лучше б голод мы терпели,
Чем нести такое бремя! –
Истомил нас путь далекий!"

Гайавата же надолго

Свой родной вигвам оставил,
На Восток пошел, на Запад,
Поучал употребленью
Трав целебных и волшебных.
Так священное искусство
Врачевания недугов
В первый раз познали люди.

По-пок-кивис

Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Взбудоражил всю деревню
Дерзкой удалью своею;
Как, спасаясь только чудом,
Он бежал от Гайаваты
И какой конец печальный
Был чудесным приключеньям.

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
На песчаном Нэго-Воджу
Жил красавец По-Пок-Кивис.
Это он во время свадьбы
Гайаваты с Миннегагой
Так безумно и разгульно
Танцевал под звуки флейты,
Это он в безумном танце
Накидал песок холмами
На побережье Гитчи-Гюми.

Заскучавши от безделья,
Вышел раз он из вигвама
И направился поспешно
Прямо к Ягу, где собиралась
Слушать сказки и преданья
Молодежь со всей деревни.

Старый Ягу в это время
Забавлял гостей рассказом
Об Оджиге, о кунице:
Как она пробила небо,
Как вскарабкалась на небо,
Лето выпустила с неба;
Как сначала подвиг этот
Совершить пыталась выдра,
Как барсук с бобром и рысью
На вершины гор взбирались,
Бились в небо головами,
Бились лапами, но небо
Только трескалось над ними;
Как отважилась на подвиг,
Наконец, и росомаха.

"Подскочила россомаха, –
Говорил гостям рассказчик, –
Подскочила – и над нею
Так и вздулся свод небесный,
Словно лед в реке весною!
Подскочила снова – небо
Гулко треснуло над нею,
Словно льдина в половодье!
Подскочила напоследок –
Небо вдребезги разбила,
Скрылась в небе, а за нею
И Оджиг в одно мгновенье
Очутилася на небе!"

"Слушай! – крикнул По-Пок-Кивис,
Появляясь на пороге. –
Надоели эти сказки!
Надоели хуже мудрых
Поучений Гайаваты!
Мы отыщем для забавы
Кое-что получше сказок".

Тут, торжественно раскрывши
Свой кошель из волчьей кожи,
По-Пок-Кивис вынул чашу
И фигуры Погасэна:
Томагаук, Поггэвогон,
Рыбку маленькую, Киго,
Пару змей и пару пешек,
Три утенка и четыре
Медных диска, Озавабик.
Все фигуры, кроме дисков,
Темных сверху, светлых снизу,
Были сделаны из кости
И покрыты яркой краской, –
Красной сверху, белой снизу.

Положив фигуры в чашу,
Он встряхнул, перемешал их,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
"Красным кверху пали кости,
А змея, Кинэбик, стала
На блестящем медном диске;
Счетом сто и тридцать восемь!"

И опять смешал фигуры,
Положил опять их в чашу,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
"Белым кверху пали змеи,
Белым кверху пали пешки,
Красным – прочие фигуры;
Пятьдесят и восемь счетом!"

Так учил их По-Пок-Кивис,
Так, играя для примера,
Он метал и объяснял им
Все приемы Погасэна.
Двадцать глаз за ним следили,
Разгораясь любопытством.

"Много игр, – промолвил Ягу, –
Много игр, опасных, трудных,
В разных странах, в разных землях
На своем веку я видел.
Кто играет с старым Ягу,
Должен быть на редкость ловок!
Не хвались, По-Пок-Кивис!
Будешь ты сейчас обыгран,
Жестоко наказан мною!"

Началась игра, и дико
Увлечлись игрою гости!
На одежду, на оружие,
До полночи, до рассвета,
Старики и молодые –
Все играли, все метали,
И лукавый По-Пок-Кивис
Обыграл их без пощады!
Взял все лучшие одежды,
Взял оружие боевое,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и кисеты!
Двадцать глаз пред ним сверкали,
Как глаза волков голодных.

Напоследок он промолвил:
"Я в товарище нуждаюсь:
В путешествиях и дома
Я всегда один, и нужен
Мне помощник, Мэшинова,
Кто б носил за мною трубку.
Весь мой выигрыш богатый –
Все меха и украшенья,
Все оружие и перья –
Все в один я кон поставлю
Вот на этого красавца!"
То был юноша высокий
По шестнадцатому году,
Сирота, племянник Ягу.

Как огонь сверкает в трубке,
Под седой золой краснея,
Засверкали взоры Ягу
Под нависшими бровями.
«Уг!» – ответил он свирепо.
«Уг!» – ответили и гости.

И, костлявыми руками
Стиснув чашу роковую,
Ягу с яростью подбросил
И рассыпал вокруг фигуры.

Красным кверху пали пешки,
Красным кверху пали змеи,
Красным кверху и утята,
Озавабики – все черным,
Белым только рыбка, Киго;
Только пять всего по счету!

Улыбаясь, По-Пок-Кивис
Положил фигуры в чашу,
Ловко вскинул их на воздух
И рассыпал пред собою:
Красной, белой, черной краской
На земле они блестели,
А меж ними встала пешка,
Встал Инайнивэг, подобно
По-Пок-Кивису красавцу,
Говорившему с улыбкой:
«Пять десятков! Все за мною!»

Двадцать глаз горели злобой,
Как глаза волков голодных,
В тот момент, как По-Пок-Кивис
Встал и вышел из вигвама,
А за ним племянник Ягу,
Стройный юноша высокий,
Уносил олени кожи,
Горностаевые шубы,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и оружие!

"Отнеси мою добычу
В мой вигвам на Нэго-Воджу!" –
Властно молвил По-Пок-Кивис,
Пышным веером играя.

От игры и от куренья
У него горели веки,
И отрадно грудь дышала
Летней утренней прохладой.
В рощах звонко пели птицы,
По лугам ручьи шумели,
А в груди у Йенадиззи
Пело сердце от восторга,
Пело весело, как птица,
Билось гордо, как источник.
Гордо шел он по деревне
В сером сумраке рассвета,
Пышным веером играя,
И прошел; по всей деревне
До последнего вигвама,

До жилища Гайаваты.

Тишина была в вигваме.
На порог никто не вышел
К По-Пок-Кивису с приветом;
Только птицы у порога
Пели, прыгали, порхали,
Там и сям собирая зерна;
Только Кагаги с вигвама
Встретил гостя хриплым криком,
С криком крыльями захлопал,
Взором огненным сверкая.

"Все ушли! Жилище пусто! –
Так промолвил По-Пок-Кивис,
Замышляя злую шутку. –
Нет ни глупой Миннегаги,
Ни хозяина, ни бабки;
Тут теперь что хочешь делай!"

Стиснув ворона за горло,
Он вертел им, как трещоткой,
Как мешком с травой целебной,
Придушил его и бросил,
Чтоб висел он над вигвамом,
На позор его владельцу,
На позор для Гайаваты.

А потом вошел в жилище,
Раскидал кругом порога
Всю хозяйственную утварь,
Раскидал куда попало
Все котлы, горшки и миски,
Мех бобров и горностаев,
Шкуры буйволов и рысей,
На позор Нокомис старой,
На позор для Миннегаги.

Беззаботно напевая
И посвистывая белкам,
Шел он по лесу, а белки
Грызли желуди на ветках,
Шелухой в него кидали;
Беззаботно пел он птицам,
И за темною листвою
Так же весело и звонко
Отвечали пеньем птицы.

Со скалистого побережья
Он смотрел на Гитчи-Гюми,
Лег на самом видном месте
И с злорадством дожидался
Возвращения Гайаваты.

На спине, раскинув руки,

Он дремал в полдневном зное.
Далеко под ним плескались,
Омывали берег волны,
Высоко над ним сияло
Голубою бездной небо,
А кругом носились птицы,
Стаи птиц носились с криком
И почти что задевали
По-Пок-Кивиса крылами.
Он убил их много-много,
Он десятками швырял их
Со скалистого побережья
Прямо в волны Гитчи-Гюми.
И Кайошк, морская чайка,
Наконец вскричала громко:
"Это дерзкий По-Пок-Кивис!
Это он нас избивает!
Где же брат наш, Гайавата?
Известите Гайавату!"

Погоня за По-пок-кивисом

Гневом вспыхнул Гайавата,
Возвратившись на деревню,
Увидав народ в смятенье,
Услыхавши, что наделал
Дерзкий, хитрый По-Пок-Кивис.

Задыхался он от гнева;
Злобно стискивая зубы,
Он шептал врагу проклятья,
Бормотал, гудел, как шершень.
"Я убью его, – сказал он, –
Я убью, найду злодея!
Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя врага настигнет!"

Тотчас кликнул он соседей
И поспешно устремился
По следам его в погоню, –
По лесам, где проходил он
На побережье Гитчи-Гюми;
Но никто врага не встретил.
Отыскиали только место
На траве, в кустах черники,
Где лежал он, отдыхая,
И примял цветы и травы.

Вдруг на Мускодэ зеленой,
На долине под горами,
Показался По-Пок-Кивис:

Сделав дерзкий знак рукою,
На бегу он обернулся,
И с горы, ему вдогонку,
Громко крикнул Гайавата:
"Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолееет,
Мечь моя тебя настигнет!"

Через скалы, через реки,
По кустарникам и чащам
Мчался хитрый По-Пок-Кивис,
Прыгал, словно антилопа.
Наконец остановился
Над прудом в лесной долине,
На плотине, возведенной
Осторожными бобрами,
Над разлившимся потоком,
Над затоном полусонным,
Где в воде росли деревья,
Где кувшинчики желтели,
Где камыш шептал, качаясь.

Над затоном По-Пок-Кивис
Стал на гать из пней и сучьев;
Сквозь нее вода сочилась,
А по ней ручьи бежали;
И со дна пруда к плотине
Выплыл бобр и стал большими,
Удивленными глазами
Из воды смотреть на гостя.

Над затоном По-Пок-Кивис
Пред бобром стоял в раздумье,
По ногам его струились
Ручейки серебристой влагой,
И с бобром заговорил он,
Так сказал ему с улыбкой:
"О мой друг Амик! Позволь мне
Отдохнуть в твоём вигваме,
Отдохнуть в воде прохладной, –
Преврати меня в Амика!"

Осторожно бобр ответил,
Помолчал и так ответил:
"Дай я с прочими бобрами
Посоветуюсь сначала".
И, ответив, опустился,
Как тяжелый камень, в воду,
Скрылся в чаще темно-бурых
Тростников и листьев лилий.

Над затоном По-Пок-Кивис
Ждал бобра на зыбкой гати;
Ручейки с невнятным плеском

По ногам его бежали,
Серебристыми струями
С гати падали на камни
И спокойно разливались
Меж камнями по долине;
А кругом листвой зеленой
Лес шумел, качались ветви,
И сквозь ветви свет и тени,
По земле скользя, играли.

Не спеша, поодиночке
Собрались бобры к плотине;
Осторожно показалась
Голова, потом другая,
Наконец весь пруд широкий
Рыльца черные покрыли,
Лоснясь в ярком блеске солнца.

И к бобрам с улыбкой хитрой
Обратился По-Пок-Кивис:
"О друзья мои! Покойно,
Хорошо у вас в вигвамах!
Все вы опытны и мудры,
Все на выдумки искусны,
Превратите же скорее
И меня в бобра, Амика!"

"Хорошо! – Амик ответил,
Царь бобров, Амик, ответил.
Опускайся с нами в воду,
Опускайся в пруд с бобрами!"

Молча в тихий пруд с бобрами
Опустился По-Пок-Кивис.
Черной, гладкой и блестящей
Стала вся его одежда,
А хвосты лисиц на пятках
В толстый черный хвост слилися,
И бобром стал По-Пок-Кивис.

"О друзья мои, – сказал он, –
Я хочу быть выше, больше,
Больше всех бобров на свете".
"Хорошо, – Амик ответил, –
Вот когда придем в жилище,
В наш вигвам на дне потока,
В десять раз ты станешь больше".

Так под темною водою
Шел с бобрами По-Пок-Кивис,
Под водою, где лежали
Ветви, пни и груды корма,
И пришел с бобрами к арке,
Что вела в вигвам обширный.

Там опять он превратился,
В десять раз стал выше, больше,
И бобры ему сказали:
"Будь у нас вождем отныне,
Будь над нами властелином".

Но недолго По-Пок-Кивис
Мог почетом наслаждаться:
Бобр, поставленный на страже
В чаще шпажников и лилий,
Вдруг воскликнул: "Гайавата!
Гайавата на плотине!"

Вслед за этим раздалися
На плотине крики, говор,
Треск валежника и топот,
А вода заволновалась,
Стала падать, понижаться,
И бобры поняли в страхе,
Что плотина прорвалась.

С треском рухнула и крыша
Их просторного вигвама;
В щели крыши засверкало
Солнце яркими лучами,
И бобры поспешно скрылись
Под водой, где было глубже;
Но могучий По-Пок-Кивис
Не пролез за ними в двери:
Он от гордости и пища,
Как пузырь, распух, раздулся.

В щели крыши Гайавата
На него смотрел и громко
Воскличал: "О По-Пок-Кивис!
Тщетны все твои уловки,
Бесполезны превращения, –
Не спасешься, По-Пок-Кивис!"

Без пощады колотили
По-Пок-Кивиса дубины,
Молотили, словно маис,
На куски разбили череп.
Шесть охотников высоких
Положили на носилки,
Понесли его в деревню;
Но не умер По-Пок-Кивис,
Джиби, дух его, не умер.

Он барахтался, метался,
Изгибаясь и качаясь,
Как дверные занавески
Изгибаются, качаясь,
Если ветер дует в двери,
И опять собрался с силой,

Принял образ человека,
Встал и в бегство устремился
По-Пок-Кивисом лукавым.

Но от взоров Гайаваты
Не успел в лесу он скрыться;
В голубой и мягкий сумрак
Под ветвями дальних сосен,
К светлой просеке за ними
Вихрем мчался По-Пок-Кивис,
Нагибая ветви с шумом,
Но сквозь шум ветвей он слышал,
Что его, как бурный ливень,
Настигает Гайавата.

Задыхаясь, По-Пок-Кивис,
Наконец, остановился
Перед озером широким,
По которому средь лилий,
В тростниках, меж островами,
Тихо плавали казарки,
То скрываясь в тень деревьев,
То сверкая в блеске солнца,
Подымая кверху клювы,
Глубоко ныряя в воду.

"Пишнэкэ! – воскликнул громко
По-Пок-Кивис. – Превратите
Поскорей меня в казарку,
Только в самую большую, –
В десять раз сильнее и больше,
Чем другие все казарки!"

Но едва они успели
Превратить его в казарку –
В исполинскую казарку
С круглой лоснящейся грудью,
С парой темных мощных крыльев
И с большим широким клювом, –
Как из леса с громким криком
Стал пред ними Гайавата!

С громким криком поднялися
И казарки над водою,
Поднялися шумной стаей
Из озерных трав и лилий
И сказали: "По-Пок-Кивис!
Будь теперь поосторожней –
Берегись смотреть на землю,
Чтобы не было несчастья,
Чтоб беды не приключилось!"

Смело путь они держали,
Путь на дальний, дикий север,
Пролетали то в тумане,

То в сиянье ярком солнца,
Ночевали и кормились
В камышах болот пустынных
И с зарей пустились дальше.
Плавно мчал их южный ветер,
Дул свежо и сильно в крылья.

Вдруг донесся к ним неясный,
Отдаленный шум и говор,
Донеслись людские речи
Из селения под ними:
То народ с земли дивился
На невиданные крылья
По-Пок-Кивиса-казарки, –
Эти крылья были шире,
Чем дверные занавески.

По-Пок-Кивис слышал крики,
Слышал голос Гайаваты,
Слышал громкий голос Ягу,
Позабыл совет казарок,
С высоты взглянул на землю –
И в одно мгновенье ветер
Подхватил его, смял крылья
И понес, вертя, на землю.

Тщетно справиться хотел он,
Тщетно думал удержаться!
Вихрем падая на землю,
Он порой то землю видел,
То казарок в синем небе,
Видел, что земля все ближе,
А простор небес – все дальше,
Слышал громкий смех и говор,
Слышал крики все яснее,
Потерял из глаз казарок,
Увидал внизу вигвамы
И с размаху пал на землю, –
С тяжким стуком средь народа
Пала мертвая казарка!

Но его лукавый Джиби,
Дух его, в одно мгновенье
Принял образ человека,
По-Пок-Кивиса красавца,
И опять пустился в бегство,
И опять за ним в погоню
Устремился Гайавата,
Воскликая: "Как бы ни был
Путь мой долог и опасен,
Гнев мой все преодолеет,
Мечь моя тебя настигнет!"

В двух шагах был По-Пок-Кивис,
В двух шагах от Гайаваты,

Но мгновенно закружился,
Поднял вихрем пыль и листья
И исчез в дупле дубовом,
Перекинулся змеєю,
Проскользнул змеей под корни.

Быстро правою рукою
Искошил весь дуб на щепки
Гайавата, – но напрасно!
Вновь лукавый По-Пок-Кивис
Принял образ человека
И помчался в бурном вихре
К Живописным Скалам красным,
Что с побережья озирают
Всю страну и Гитчи-Гюми.

И Владыка Гор могучий,
Горный Манито могучий
Распахнул пред ним ущелье,
Распахнул широко пропасть,
Скрыл его от Гайаваты
В мрачном каменном жилище,
Ввел его с радушной лаской
В тьму своих пещер угрюмых.

А снаружи Гайавата,
Пред закрытым входом стоя,
Рукавицей, Минджикэвон,
Пробивал в горе пещеры
И кричал в великом гневе:
«Отопри! Я Гайавата!»
Но Владыка Гор не отпер,
Не ответил Гайавате
Из своих пещер безмолвных,
Из скалистой мрачной бездны.

И простер он руки к небу,
Призывая Эннэмики
И Вэвэссимо на помощь,
И пришли они во мраке,
С ночью, с бурей, с ураганом,
Пронеслись по Гитчи-Гюми
С отдаленных Гор Громовых,
И услышал По-Пок-Кивис
Тяжкий грохот Эннэмики,
Увидел он блеск огнистый
Глаз Вэвэссимо и в страхе
Задрожал и притаился.

Тяжкой палицей своею
Скалы молния разбила
Над преддверием пещеры,
Грянул гром в ее средину,
Говоря: «Где По-Пок-Кивис?» –
И рассыпались утесы,

И среди развалин мертвым
Пал лукавый По-Пок-Кивис,
Пал красавец Йенадиззи.

Благородный Гайавата
Вынул дух его из тела
И сказал: "О По-Пок-Кивис!
Никогда уж ты не примешь
Снова образ человека,
Никогда не будешь больше
Танцевать с беспечным смехом,
Но высоко в синем небе
Будешь ты парить и плавать,
Будешь ты Киню отныне –
Боевым Орлом могучим!"

И живут с тех пор в народе
Песни, сказки и преданья
О красавце Йенадиззи;
И зимой, когда в деревне
Вихри снежные гуляют,
А в трубе вигвама свищет,
Завывает буйный ветер, –
"Это хитрый По-Пок-Кивис
В пляске бешеной несется!" –
Говорят друг другу люди.

Смерть Квазинда

Далеко прошел по свету
Слух о Квазинде могучем:
Он соперников не ведал,
Он себе не ведал равных.
И завистливое племя
Злобных Гномов и Пигмеев,
Злобных духов Пок-Уэджис,
Погубить его решило.

"Если этот дерзкий Квазинд,
Ненавистный всем нам Квазинд,
Поживет еще на свете,
Все губя, уничтожая,
Удивляя все народы
Дивной силою своею, –
Что же будет с Пок-Уэджис? ~
Говорили Пок-Уэджис. –
Он растопчет нас, раздавит,
Он подводным злобным духам
Всех нас кинет на съеденье!"

Так, пылая лютой злобой,
Совещались Пок-Уэджис
И убить его решили,

Да, убить его, – избавить
Мир от Квазинда навеки!

Сила Квазинда и слабость
Только в темени таилась:
Только в темя можно было
Насмерть Квазинда поранить,
Но и то одним оружием –
Голубой еловой шишкой.
Роковая тайна эта
Не была известна смертным,
Но коварные Пигмеи,
Пок-Уэджис, знали тайну,
Знали, как врага осилить.

И они набрали шишек,
Голубых еловых шишек
По лесам над Таквамино,
Отнесли их и сложили
На ее высокий берег,
Там, где красные утесы
Нависают над водою.
Сами спрятались и стали
Поджидать врага в засаде.

Было это в полдень летом;
Тих был сонный знойный воздух,
Неподвижно спали тени,
В полусне река струилась;
По реке, блестя на солнце,
Насекомые скользили,
В знойном воздухе далеко
Раздавалось их жужжанье,
Их напевы боевые.

По реке плыл мощный Квазинд,
По теченью плыл лениво,
По дремотной Таквамино
Плыл в березовой пироге,
Истомленный тяжким зноем,
Усыпленный тишиною.

По ветвям, к реке склоненным,
По кудрям берез плакучих,
Осторожно опустился
На него Дух Сна, Нэпавин;
В сонме спутников незримых,
Во главе воздушной рати,
По ветвям сошел Нэпавин,
Бирюзовой Дэш-кво-ни-ши,
Стрекозою, стал он тихо
Над пловцом усталым реять.

Квазинд слышал чей-то шепот,
Смутный, словно вздохи сосен,

Словно дальний ропот моря,
Словно дальний шум прибоя,
И почувствовал удары
Томагауков воздушных,
Поражавших прямо в темя,
Управляемых несметной
Ратью Духов Сна незримых.

И от первого удара
Обняла его дремота,
От второго – он бессильно
Опустил весло в пирогу,
После третьего – окрестность
Перед ним покрылась тьмою:
Крепким сном забылся Квазинд.

Так и плыл он по теченью, –
Как слепой, сидел в пироге,
Сонный плыл по Таквамино,
Под прибрежными лесами,
Мимо трепетных березок,
Мимо вражеской засады,
Мимо лагеря Пигмеев.

Градом сыпались шишки,
Голубые шишки елей
В темя Квазинда с побережья.
«Смерть врагу!» – раздался громкий
Боевой крик Пок-Уэджис.

И упал на борт пироги
И свалился в реку Квазинд,
Головою вниз, как выдра,
В воду сонную свалился,
А пирога, кверху килем,
Поплыла одна, блуждая
По теченью Таквамино.

Так погиб могучий Квазинд.
Но хранилось долго-долго
Имя Квазинда в народе,
И когда в лесах зимою
Бушевали, выли бури,
С треском гнули и ломали
Ветви стонущих деревьев, –
"Квазинд! – люди говорили. –
Это Квазинд собирает
На костер себе валежник!"

Привидения

Никогда хохлатый коршун
Не спускается в пустыне

Над пораненным бизоном
Без того, чтоб на добычу
И второй не опустился;
За вторым же в синем небе
Тотчас явится и третий,
Так что вскорости от крыльев
Собирающейся стаи
Даже воздух потемнеет.

И беда одна не ходит;
Сторожат друг друга беды;
Чуть одна из них нагрянет, –
Вслед за ней спешат другие
И, как птицы, вьются, вьются
Черной стаей над добычей,
Так что белый свет померкнет
От отчаянья и скорби.

Вот опять на хмурый север
Мощный Пибоан вернулся!
Ледяным своим дыханьем
Превратил он воды в камень
На реках и на озерах,
С кос стряхнул он хлопья снега,
И поля покрылись белой,
Ровной снежной пеленою,
Будто сам Владыка Жизни
Сгладил их рукой своею.

По лесам, под песни вьюги,
Зверолов бродил на лыжах;
В деревнях, в вигвамах теплых,
Мирно женщины трудились,
Молотили кукурузу
И выдывали кожи;
Молодежь же проводила
Время в играх и забавах,
В танцах, в беганье на лыжах.

Темным вечером однажды
Престарелая Нокомис
С Миннегагою сидела
За работою в вигваме,
Чутко слушая в молчанье,
Не идет ли Гайавата,
Запоздавший на охоте.

Свет костра багряной краской
Разрисовывал их лица,
Трепетал в глазах Нокомис
Серебристым лунным блеском,
А в глазах у Миннегаги –
Блеском солнца над водою;
Дым, клубами собираясь,
Уходил в трубу над ними,

По углам вигвама тени
Изгибались за ними.

И открылась тихо-тихо
Занавеска над порогом;
Ярче пламя запылало,
Дым сильнее заволновался –
И две женщины безмолвно,
Без приветов и без зова,
Через порог переступили,
Проскользнули по вигваму
В самый дальний, темный угол,
Сели там и притаились.

По обличью, по одежде
Это были чужеземки;
Бледны, мрачны были обе,
И с безмолвною тоскою,
Содрогаясь, как от стужи,
Из угла они глядели.

То не ветер ли полночный
Загудел в трубе вигвама?
Не сова ли, Куку-кугу,
Застонала в мрачных соснах?
Голос вдруг изрек в молчанье:
"Это мертвые восстали,
Это души погребенных
К вам пришли из Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни!"

Скоро из лесу, с охоты,
Возвратился Гайавата,
Весь осыпан белым снегом
И с оленем за плечами.
Перед милой Миннегагой
Он сложил свою добычу
И теперь еще прекрасней
Показался Миннегаге,
Чем в тот день, когда за нею
Он пришел в страну Дакотов,
Положил пред ней оленя,
В знак своих желаний тайных,
В знак своей любви сердечной.

Положив, он обернулся,
Увидал в углу двух женщин
И сказал себе: "Кто это?
Странны гости Миннегаги!"
Но расспрашивать не стал их,
Только с ласковым приветом
Попросил их разделить с ним
Кров его, очаг и пищу.

Гости бледные ни слова

Не сказали Гайавате;
Но когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Из угла они вскочили,
Завладели лучшей долей,
Долей милой Миннегаги,
Не спросясь, схватили дерзко
Нежный, белый жир оленя,
Съели с жадностью, как звери,
И опять забились в угол,
В самый дальний, темный угол.

Промолчала Миннегага,
Промолчал и Гайавата,
Промолчала и Нокомис;
Лица их спокойны были.
Только Миннегага тихо
Прошептала с состраданьем,
Говоря: "Их мучит голод;
Пусть берут, что им по вкусу,
Пусть едят, – их мучит голод".

Много зорь зажглось, погасло,
Много дней стряхнули ночи,
Как стряхают хлопья снега
Сосны темные на землю;
День за днем сидели молча
Гости бледные в вигваме;
Ночью, даже в непогоду,
В ближний лес они ходили,
Чтоб набрать сосновых шишек,
Чтоб набрать ветвей для топки,
Но едва светало, снова
Появлялись в вигваме.

И всегда, когда с охоты
Возвращался Гайавата,
В час, когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Гости бледные бесшумно
Из угла к нему кидались,
Не спросясь, хватали жадно
Нежный, белый жир оленя, –
Долю милой Миннегаги, –
И скрывались в темный угол.

Никогда не упрекнул их
Даже взглядом Гайавата,
Никогда не возмутилась
Престарелая Нокомис,
Никогда не показала
Недовольства Миннегага;
Все они терпели молча,
Чтоб права святого гостя
Не нарушить грубым взглядом,

Не нарушить грубым словом.

В полночь раз, когда печально
Догорал костер, краснея,
И мерцал дрожащим светом
В полусумраке вигвама,
Бодрый, чуткий Гайавата
Вдруг услышал чьи-то вздохи,
Чьи-то горькие рыдания.

С ложа встал он осторожно,
Встал с косматых шкур бизона
И, отдернувши над ложем
Из оленьей кожи полог,
Увидал, что это Тени,
Гостьи бледные, вздыхают,
Плачут в тишине полночной.

И промолвил он: "О гостьи!
Что так мучит ваше сердце?
Что рыдать вас заставляет?
Не Нокомис ли вас, гостьи,
Ненароком оскорбила?
Иль пред вами Миннегага
Позабыла долг хозяйки?"

Тени смолкли, перестали
Горько сетовать и плакать
И сказали тихо-тихо:
"Мы усопших, мертвых души,
Души тех, что жили с вами;
Мы пришли из Стран Понима,
С островов Загробной Жизни,
Испытать вас и наставить.

Вопли скорби достигают
К нам, в Селения Блаженных:
То живые погребенных
Призывают вновь на землю,
Мучат нас бесплодной скорбью;
И вернулись мы на землю,
Но узнали скоро, скоро,
Что везде мы только в тягость,
Что для всех мы стали чужды:
Нет нам места, – нет возврата
Мертвецам из-за могилы!

Помни это, Гайавата,
И скажи всему народу,
Чтоб отныне и вовеки
Вопли их не огорчали
Отошедших в мир Понима,
К нам, в Селения Блаженных.

Не кладите тяжелой ноши

С мертвецами в их могилы –
Ни мехов, ни украшений,
Ни котлов, ни чаш из глины, –
Эта ноша мучит духов.
Дайте лишь немного пищи,
Дайте лишь огня в дорогу.

Дух четыре грустных ночи
И четыре дня проводит
На пути в страну Понима;
Потому-то и должны вы
Над могилами усопших
С первой ночи до последней
Жечь костры неугасимо,
Освещать дорогу духам,
Озарять веселым светом
Их печальные ночлеги.

Мы идем, прости навеки,
Благородный Гайавата!
И тебя мы искушали,
И твое терпенье долго
Мы испытывали дерзко,
Но всегда ты оставался
Благородным и великим.
Не слабей же, Гайавата,
Не слабей, не падай духом:
Ждет тебя еще труднее
И борьба и испытанье!"

И внезапно тьма упала
И наполнила жилище,
Гайавата же в молчанье
Услыхал одежды шорох,
Услыхал, что кто-то поднял
Занавеску над порогом,
Увидал на небе звезды
И почувствовал дыханье
Зимней полночи морозной,
Но уже не видел духов,
Теней бледных и печальных
Из далеких Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни.

Голод

О, зима! О, дни жестокой,
Бесконечной зимней стужи!
Лед все толще, толще, толще
Становился на озерах;
Снег все больше, больше, больше
Заносил луга и степи;
Все грозней шумели вьюги

По лесам, вокруг селенья.

Еле-еле из вигвама,
Занесенного снегами,
Мог пробраться в лес охотник;
В рукавицах и на лыжах
Тщетно по лесу бродил он,
Тщетно он искал добычи, –
Не видал ни птиц, ни зверя,
Не видал следов оленя,
Не видал следов Вабассо.
Страшен был, как привиденье,
Лес блестящий и пустынный,
И от голода, от стужи,
Потеряв сознание, падал,
Погибал в снегах охотник.

О, Всесильный Бюкадэвин!
О, могучий Акозивин!
О, безмолвный, грозный Погок!
О, жестокие мученья,
Плач детей и вопли женщин!

Всю тоскующую землю
Изнурил недуг и голод,
Небеса и самый воздух
Лютым голодом томились,
И горели в небе звезды,
Как глаза волков голодных!

Вновь в вигваме Гайаваты
Поселились два гостя:
Так же мрачно и безмолвно,
Как и прежние два гостя,
Без приветов и без зова
В дом вошли они и сели
Прямо рядом с Миннегагой,
Не сводя с нее свирепых,
Впалых глаз ни на минуту.

И один сказал ей: "Видишь?
Пред тобою – Бюкадэвин".
И другой сказал ей: "Видишь?
Пред тобою – Акозивин!"

И от этих слов и взглядов
Содрогнулось, сжалось страхом
Сердце милой Миннегаги;
Без ответа опустила,
Скрыв лицо, она на ложе
И томилась, трепетала,
Холодея и сгорая,
От зловещих слов и взглядов.

Как безумный, устремился

В лес на лыжах Гайавата;
Стиснув зубы, затаивши
В сердце боль смертельной скорби,
Мчался он, и капли пота
На челе его смерзались.

В меховых своих одеждах,
В рукавицах, Минджикэвон,
С мощным луком наготове
И с колчаном за плечами,
Он бежал все дальше, дальше
По лесам пустым и мертвым.

"Гитчи Манито! – вскричал он,
Обращая взоры к небу
С беспредельною тоскою. –
Пощади нас, о Всесильный,
Дай нам пищи, иль погибнем!
Пищи дай для Миннегаги –
Умирает Миннегага!"

Гулко в дебрях молчаливых,
В бесконечных дебрях бора,
Прозвучали вопли эти,
Но никто не отозвался,
Кроме отклика лесного,
Повторявшего тоскливо:
«Миннегага! Миннегага!»

До заката одиноко
Он бродил в лесах печальных,
В темных чащах, где когда-то
Шел он с милой Миннегагой,
С молодой женою рядом,
Из далеких стран Дакотов.
Весел был их путь в то время!
Все цветы благоухали,
Все лесные птицы пели,
Все ручьи сверкали солнцем,
И сказала Миннегага
С беззаветною любовью:
«Я пойду с тобою, муж мой!»

А в вигваме, близ Нокомис,
Близ пришельцев молчаливых,
Карауливших добычу,
Уж томилась пред кончиной,
Умирала Миннегага.

"Слышишь? – вдруг она сказала.
Слышишь шум и гул далекий
Водопадов Миннегаги?
Он зовет меня, Нокомис!"

"Нет, дитя мое, – печально

Отвечала ей Нокомис, –
Это бор гудит от ветра".

"Глянь! – сказала Миннегага. –
Вон – отец мой! Одиноко
Он стоит и мне кивает
Из родимого вигвама!"

"Нет, дитя мое, – печально
Отвечала ей Нокомис, –
Это дым плывет, кивает!"

"Ах! – вскричала Миннегага.
Это Погока сверкают
Очи грозные из мрака,
Это он мне стиснул руку
Ледяной своей рукою!
Гайавата, Гайавата!"

И несчастный Гайавата
Издадека, издадека,
Из-за гор и дебрей леса,
Услыхал тот крик внезапный,
Скорбный голос Миннегаги,
Призывающий во мраке:
«Гайавата! Гайавата!»
По долинам, по сугробам,
Под ветвями белых сосен,
Нависавшими от снега,
Он бежал с тяжелым сердцем,
И услышал он тоскливый
Плач Нокомис престарелой:
"Вагономин! Вагономин!
Лучше б я сама погибла,
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин! Вагономин!"

И в вигвам он устремился
И увидел, как Нокомис
С плачем медленно качалась,
Увидал и Миннегагу,
Неподвижную на ложе,
И такой издал ужасный
Крик отчаянья, что звезды
В небесах затрепетали,
А леса с глубоким стоном
Потряслись до основанья.

Осторожно и безмолвно
Сел он к ложу Миннегаги,
Сел к ногам ее холодным,
К тем ногам, что никогда уж
Не пойдут за Гайаватой,
Никогда к нему из дома
Уж не выбегут навстречу.

Он лицо закрыл руками,
Семь ночей и дней у ложа
Просидел в оцепененье,
Без движенья, без сознанья:
День царит иль тьма ночная?

И простились с Миннегагой;
Приготовили могилу
Ей в лесу глухом и темном,
Под печальною цикутой,
Обернули Миннегагу
Белым мехом горностая,
Закидали белым снегом,
Словно мехом горностая, –
И простились с Миннегагой.

А с закатом на могиле
Был зажжен костер из хвои,
Чтоб душе четыре ночи
Освещал он путь далекий,
Путь в Селения Блаженных.
Из вигвама Гайавате
Видно было, как горел он,
Озаряя из-под низу
Ветви черные цикуты.
И не раз в час долгой ночи
Подымался Гайавата
На своем бессонном ложе,
Ложе милой Миннегаги,
И стоял, следил с порога,
Чтобы пламя не погасло,
Дух во мраке не остался.

"О, прости, прости! – сказал он.
О, прости, моя родная!
Все мое с тобою сердце
Схоронил я, Миннегага,
Вся душа моя стремится
За тобою, Миннегага!
Не ходи, не возвращайся
К нам на труд и на страданья,
В мир, где голод, лихорадка
Мучат душу, мучат тело!
Скоро подвиг свой я кончу,
Скоро буду я с тобою
В царстве светлого Понима,
Бесконечной, вечной жизни!"

След белого

Средь долины, над рекою,
Над замерзшею рекою,

Там сидел в своем вигваме
Одинокий, грустный старец.
Волоса его лежали
На плечах сугробом снега,
Плащ его из белой кожи,
Вобивайон, был в лохмотьях,
А костер среди вигвама
Чуть светился, догорая,
И дрожал от стужи старец,
Ослепленный снежной вьюгой,
Оглушенный свистом бури,
Оглушенный гулом леса.

Угли пеплом уж белели,
Пламя тихо умирало,
Как неслышно появился
Стройный юноша в вигваме.
На щеках его румянец
Разливался алой краской,
Очи кроткие сияли,
Как весенней ночью звезды,
А чело его венчала
Из пахучих трав гирлянда.
Улыбаясь и улыбкой
Все, как солнцем, озаряя,
Он вошел в вигвам с цветами,
И цветы его дышали
Нежным, сладким ароматом.

"О мой сын, – воскликнул старец, –
Как отрадно видеть гостя!
Сядь со мною на циновку,
Сядь сюда, к огню поближе,
Будем вместе ждать рассвета.
Ты свои мне порасскажешь
Приключения и встречи,
Я – свои: свершил я в жизни
Не один великий подвиг!"

Тут он вынул Трубку Мира,
Очень старую, чудную,
С красной каменной головкой,
С чубуком из трости, в перьях,
Наложил ее корою,
Закурил ее от угля,
Подав гостю-чужеземцу
И повел такие речи:

"Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Остановятся все реки,
Вся вода окаменеет!"

Улыбаясь, гость ответил:
"Стоит мне своим дыханьем

Только раз на землю дунуть,
Зацветут цветы в долинах,
Запоют, заплещут реки!"

"Стоит мне тряхнуть во гневе
Головой своей седою, –
Молвил старец, мрачно хмурясь, –
Всю страну снега покроют,
Вся листва спадет с деревьев,
Все поблекнет и погибнет,
С рек и с тундр, с болотных топей
Улетят и гусь и цапля
К отдаленным, теплым странам;
И куда бы ни пришел я,
Звери дикие лесные
В норы прячутся, в пещеры,
Как кремень, земля твердеет!"

"Стоит мне тряхнуть кудрями, –
Молвил гость с улыбкой кроткой, –
Благодатный теплый ливень
Оросит поля и доли,
Воскресит цветы и травы;
На озера и болота
Возвратятся гусь и цапля,
С юга ласточка примчится,
Запоют лесные птицы;
И куда бы ни пришел я,
Луг колышется цветами,
Лес звучит веселым пеньем,
От листвы темнеют чащи!"

За беседой ночь минула;
Из далеких стран Востока,
Из серебряных чертогов,
Словно воин в ярких красках,
Солнце вышло и сказало:
"Вот и я! Любуйтесь солнцем,
Гизисом, могучим солнцем!"

Онемел при этом старец.
От земли теплом пахнуло,
Над вигвамом стали сладко
Опечи петь и Овейса,
Зажурчал ручей в долине,
Нежный запах трав весенних
Из долин в вигвам повеял,
И при ярком блеске солнца
Увидал Сэгвон яснее
Старца лик холодный, мертвый:
То был Пибоан могучий.

По щекам его бежали,
Как весенние потоки,
Слезы теплые струями,

Сам же он все уменьшался
В блеске радостного солнца –
Паром таял в блеске солнца,
Влагой всачивался в землю,
И Сэгвон среди вигвама,
Там, где ночью мокрый хворост

В очаге дымился, тлея,
Увидал цветок весенний,
Первоцвет, привет весенний,
Мискодит в зеленых листьях.

Так на север после стужи,
После лютой зимней стужи,
Вновь пришла весна, а с нею
Зацвели цветы и травы,
Возвратились с юга птицы.

С ветром путь держа на север,
В небе стаями летели,
Мчались лебеди, как стрелы,
Как большие стрелы в перьях,
И скликались, как люди;
Плыли гуси длинной цепью,
Изгибавшейся, подобно
Тетиве из жил оленя,
Разорвавшейся на луке;
В одиночку и попарно,
С быстрым, резким свистом крыльев,
Высоко нырки летели,
Пролетали на болота
Мушкодаза и Шух-шух-га.

В чащах леса и в долинах
Пел Овейса синеперый,
Над вигвамами, на кровлях,
Опечи пел красногрудый,
Под густым наметом сосен
Ворковал Омими, голубь,
И печальный Гайавата,
Онемевший от печали,
Услыхал их зов веселый,
Услыхал – и тихо вышел
Из угрюмого вигвама
Любоваться вешним солнцем,
Красотой земли и неба.

Из далекого похода
В царство яркого рассвета,
В царство Вебона, к Востоку,
Возвратился старый Ягу,
И принес он много-много
Удивительных новинок.

Вся деревня собралась

Слушать, как хвалился Ягу
Приключеньями своими,
Но со смехом говорила:
"Уг! Да это точно – Ягу!
Кто другой так может хвастать!"

Он сказал, что видел море
Больше, чем Большое Море,
Много больше Гитчи-Гюми
И с такой водою горькой,
Что никто не пьет ту воду.
Тут все воины и жены
Друг на друга поглядели,
Улыбнулись друг другу
И шепнули: "Это враки!
Ко! – шепнули, – это враки!"

В нем, сказал он, в этом море,
Плыл огромный челн крылатый,
Шла крылатая пирога,
Больше целой рощи сосен,
Выше самых старых сосен.
Тут все воины и старцы
Поглядели друг на друга,
Засмеялись и сказали:
«Ко, не верится нам что-то!»

Из жерла ее, сказал он,
Вдруг раздался гром, в честь Ягу,
Стрелы молнии сверкнули.
Тут все воины и жены
Без стыда захохотали.
«Ко, – сказали, – вот так сказка!»

В ней, сказал он, плыли люди,
Да, сказал он, в этой лодке
Я сто воинов увидел.
Лица воинов тех были
Белой выкрашены краской,
Подбородки же покрыты
Были густо волосами.
Тут уж все над бедным Ягу
Стали громко издеваться,
Закричали, зашумели,
Словно вороны на соснах,
Словно серые вороны.
"Ко! – кричали все со смехом, –
Кто ж тебе поверит, Ягу!"

Гайавата не смеялся, –
Он на шутки и насмешки
Строго им в ответ промолвил:
"Ягу правду говорит нам;
Было мне дано виденье,
Видел сам я челн крылатый,

Видел сам я бледнолицых,
Бородатых чужеземцев
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета.

Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
С ними шлет свои веленья,
Шлет свои нам приказанья.
Где живут они, – там вьются
Амо, делатели меда,
Мухи с жадами роятся.
Где идут они – повсюду
Вырастает вслед за ними
Мискодит, краса природы.

И когда мы их увидим,
Мы должны их, словно братьев,
Встретить с лаской и приветом.
Гитчи Манито могучий
Это мне сказал в виденье.

Он открыл мне в том виденье
И грядущее – все тайны
Дней, от нас еще далеких.
Видел я густые рати
Неизвестных нам народов,
Надвигавшихся на Запад,
Переполнивших все страны.

Разны были их наречья,
Но одно в них билось сердце,
И кипела неустанно
Их веселая работа:
Топоры в лесах звенели,
Города в лугах дымились,
На реках и на озерах
Плыли с молнией и громом
Окрыленные пироги.

А потом уже иное
Предо мной прошло виденье, –
Смутно, словно за туманом:
Видел я, что гибнут наши
Племена в борьбе кровавой,
Восставая друг на друга,
Позабыв мои советы,
Видел с грустью их остатки,
Отступавшие на Запад,
Убегавшие в смятенье,
Как рассеянные тучи,
Как сухие листья в бурю!"

На побережье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Тихим, ясным летним утром
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.

Воздух полон был прохлады,
Вся земля дышала счастьем,
А над нею, в блеске солнца,
На закат, к соседней роще,
Золотистыми роями
Пролетали пчелы, Амо,
Пели в ярком блеске солнца.

Ясно глубь небес сияла,
Тихо было Гитчи-Гюми;
У побережья прыгал Нама,
Искрясь в брызгах, в блеске солнца;
На побережье лес зеленый
Возвышался над водою,
Созерцал свои вершины,
Отраженные водою.

Светел взор был Гайаваты:
Скорбь с лица его исчезла,
Как туман с восходом солнца,
Как ночная мгла с рассветом;
С торжествующей улыбкой,
Полный радости и счастья,
Словно тот, кто видит в грезах
То, что скоро совершится,
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.

К солнцу руки протянул он,
Обратил к нему ладони,
И меж пальцев свет и тени
По лицу его играли,
По плечам его открытым;
Так лучи, скользя меж листьев,
Освещают дуб могучий.

По воде, в дали неясной,
Что-то белое летело,
Что-то плыло и мелькало
В легком утреннем тумане,
Опускалось, подымалось,
Подходя все ближе, ближе.

Не летит ли там Шух-шух-га?
Не ныряет ли гагара?
Не плывет ли Птица-баба?
Или это Во-би-вава

Брызги стряхивает с перьев,
С шеи длинной и блестящей?

Нет, не гусь, не цапля это,
Не нырок, не Птица-баба
По воде плывет, мелькает
В легком утреннем тумане:
То березовая лодка,
Опускаясь, подымаясь,
В брызгах искрится на солнце,
И плывут в той лодке люди
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета;
То наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
По воде с проводниками
И с друзьями путь свой держит.

И, простерши к небу руки,
В знак сердечного привета,
С торжествующей улыбкой
Ждал их славный Гайавата,
Ждал, пока под их пирогой
Захрустит прибрежный щебень,
Защуршит песчаный берег
И наставник бледнолицых
На песчаный берег выйдет.

И когда наставник вышел,
Громко, радостно воскликнув,
Так промолвил Гайавата:
"Светел день, о чужеземцы,
День, в который вы пришли к нам!
Все селенье наше ждет вас,
Все вигвамы вам открыты.

Никогда еще так пышно
Не цвела земля цветами,
Никогда на небе солнце
Не сияло так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!
Никогда Большое Море
Не бывало так спокойно,
Так прозрачно и свободно
От подводных скал и мелей:
Там, где шла пирога ваша,
Нет теперь ни скал, ни мелей!

Никогда табак наш не был
Так душист и так приятен,
Никогда не зеленели
Наши нивы так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!"

И наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
Отвечал ему приветом:
"Мир тебе, о Гайавата!
Мир твоей стране родимой,
Мир молитвы, мир прощенья,
Мир Христа и свет Марии!"

И радушный Гайавата
Ввел гостей в свое жилище,
Посадил их там на шкурах
Горностаев и бизонов,
А Нокомис подала им
Пищу в мисках из березы,
Воду в ковшиках из липы
И зажгла им Трубку Мира.

Все пророки, Джосакиды,
Все волшебники, Вэбины,
Все врачи недугов, Миды,
С ними воины и старцы
Собрались пред вигвамом,
Чтоб почтить гостей приветом.

Тесным кругом у порога
На земле они сидели
И курили трубки молча,
А когда к ним из вигвама
Вышли гости, так сказали:
"Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!"

И наставник бледнолицых
Рассказал тогда народу,
Что пришел он им поведать
О святой Марии-Деве,
О ее предвечном Сыне.

Рассказал, как в дни былые
Он сошел на землю к людям,
Как он жил в посте, в молитве,
Как учил он, как евреи,
Богом проклятое племя,
На кресте его распяли,
Как восстал он из могилы,
Вновь ходил с учениками
И с земли вознесся в небо.

И народ ему ответил:
"Мы словам твоим внимали,
Мы внимали мудрой речи,
Мы должны о ней подумать.
Всех нас радует, о братья,

Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!"

И, простясь, все удалились,
Разошлись к своим вигвамам,
Рассказали на деревне
Юным воинам и женам,
Что прислал Владыка Жизни
К ним гостей из стран Востока.

От жары, в затишье полдня,
Тяжким воздух становился;
В полусне шептались сосны
Позади вигвамов душных,
В полусне плескались волны
На песчаное побережье,
А на нивах, не смолкая,
Пел кузнечик, Па-пок-кина.
Спали гости Гайаваты,
Истомленные жарою,
В душном сумраке вигвама.

Тихо вечер приближался,
Освежая знойный воздух,
И метало солнце стрелы,
Пробивая чащи леса,
В тайники его врываясь,
Все осматривая зорко.
Спали гости Гайаваты
В тихом сумраке вигвама.

С мягких шкур встал Гайавата
И простился он с Нокомис,
Тихим шепотом сказал ей,
Чтоб гостей не потревожить:
"Ухожу я, о Нокомио,
Ухожу я в путь далекий,
Ухожу в страну Заката,
В край Кивайдина родимый.
Но гостей моих, Нокомис,
На тебя я оставляю:
Сохраняй их и заботься,
Чтоб ни страх, ни подозренье,
Ни печаль их не смущали;
Чтоб в вигваме Гайаваты
Им всегда готовы были
И приют, и кров, и пища".

Так сказав ей, он покинул
Отчий дом, пошел в селенье
И простился там с народом,
Говоря такие речи:
"Ухожу я, о народ мой,
Ухожу я в путь далекий:
Много зим и много весен

И придет и вновь исчезнет,
Прежде чем я вас увижу;
Но гостей моих оставил
Я в родном моем вигваме:
Наставленьям их внимайте,
Слову мудрости внимайте,
Ибо их Владыка Жизни
К нам прислал из царства света".

На побережье Гайавата
Обернулся на прощанье,
На сверкающие волны
Сдвинул легкую пирогу,
От кремнистого побережья
Оттолкнул ее на волны, –
«На закат!» – сказал ей тихо
И пустился в путь далекий.

И закат огнем багряным
Облака зажег, и небо,
Словно прерии, пылало;
Длинным огненным потоком
Отражался в Гитчи-Гюми
Солнца след, и, удаляясь
Все на запад и на запад,
Плыл по нем к заре огнистой,
Плыл в багряные туманы,
Плыл к закату Гайавата.

И народ с побережья долго
Провожал его глазами,
Видел, как его пирога
Поднялась высоко к небу
В море солнечного блеска –
И сокрылась в тумане,
Точно бледный полумесяц,
Потонувший тихо-тихо
В полумгле, в дали багряной.

И сказал: "Прости навеки,
Ты прости, о Гайавата!"
И лесов пустынных недра
Содрогнулись – и пронесся
Тяжкий вздох во мраке леса,
Вздох: «Прости, о Гайавата!»
И о берег волны с шумом
Разбивались и рыдали,
И звучал их стон печальный,
Стон: «Прости, о Гайавата!»
И Шух-шух-га на болоте
Испустила крик тоскливый,
Крик: «Прости, о Гайавата!»

Так в пурпурной мгле вечерней,
В славе гаснущего солнца,

Удалился Гайавата
 В край Кивайдина родимый.
 Отошел в Страну Понима,
 К Островам Блаженных, – в царство
 Бесконечной, вечной жизни!

Словарь индейских слов, встречающихся в поэме

Аджидомо – белка.
 Амик – бобр.
 Амо – пчела.
 Бимагут – виноградник.
 Бэм-вава – звук грома.
 Вабассо – кролик; север.
 Вава – дикий гусь.
 Ва-ва-тэйзи – светляк.
 Вавбик – утес.
 Вавонэйса – полуночник (птица).
 Вагономин – крик горя.
 Вампум – ожерелья, пояса и различные украшения из раковин и бус.
 Во-би-вава – белый гусь.
 Вобивайо – кожаный плащ.
 Вэбино – волшебник.
 Вэбино-Вэск – сурепка.
 Вэ-мок-квана – гусеница.
 Гитчи-Гюми – Верхнее озеро.
 Дагинда – гигантская лягушка,
 Джиби – дух.
 Джосакиды – пророки.
 Дэш-кво-нэ-ши – стрекоза.
 Иза – стыдись!
 Инайнивэг – пешка (в игре в кости).
 Ишкуда – огонь, комета.
 Йенадиззи – щеголь, франт.
 Кагаги – ворон.
 Каго – не тронь!
 Кайошк – морская чайка.
 Кивайдин – северо-западный ветер.
 Кинэбик – змея.
 Киню – орел.
 Ко – нет.
 Куку-кугу – сова.
 Куо-ни-ши – стрекоза.
 Кенбза, Маскеноза – щука.
 Манг – нырок.
 Ман-го-тэйзи – отважный.
 Маномони – дикий рис.
 Месяц Земляники – июнь.
 Месяц Листьев – май.
 Месяц Лыж – ноябрь.
 Месяц Падающих Листьев – сентябрь.
 Месяц Светлых Ночей – апрель.
 Миды – врачи.
 Минага – черника.

Минджикэвон – рукавицы.
Минни-вава – шорох деревьев.
Мискодит – «След Белого» (цветок).
Мише-Моква – Великий Медведь.
Мише-Нама – Великий Осетр.
Мондамин – маис.
Мушкодаза – глухарка.
Мэдвэй-ошка – плеск воды.
Мэма – зеленый дятел.
Мэшинова – прислужник.
Нама – осетр.
Нама-Вэск – зеленая мята.
Нинимуша – милый друг.
Ноза – отец.
Нэго-Воджу – дюны озера.
Нэпавин – сон, дух сна.
Нэшка – смотри!
Овейса – сивоворонка (птица).
Одамин – земляника.
Озавабик – медный диск (в игре в кости)..
Окагавис – речная сельдь.
Омими – голубь.
Онэвэ – проснись, встань!
Опечи – красногрудка (птица).
Па-пок-кина – кузнечик.
Пибоан – зима.
Пимикан – высушенное оленьё мясо.
Пишнэкэ – казарка (птица).
Поггэвогон – палица.
Погок – смерть.
Пок-Уэджис – пигмеи.
Понима – загробная жизнь.
Сава – окунь.
Сибовиша – ручей.
Соббикаши – тарантул.
Сон-джи-тэгэ – сильный.
Сэгвон – весна.
Тэмрак – листовница.
Уг – да.
Угодвош – самглав, луна-рыба.
Читовэйк – звук.
Шабомин – крыжовник.
Ша-ша – далекое прошлое.
Шингебис – нырок.
Шишэбвэг – утенок (фигурка в игре в кости).
Шовэн-нэмэшин – сжался!
Шогаши – морской рак.
Шогадайя – трус.
Шошо – ласточка.
Шух-шух-га – цапля.
Энктаги – Бог Воды.
Эннэмики – гром.
Эпокеа – тростник.

Джордж Гордон Байрон
Каин

(Мистерия)

Змий же бе мудрейший всех зверей сущих на земли, ихже сотвори господь бог.
Быт., 3, 1.

Dramatis personae:²⁴

Адам.
Каин.
Авель.
Ангел господень.
Люцифер.
Ева.
Ада.
Селла.

Акт первый

Сцена первая

Местность близ рая. – Восход солнца.
Адам, Ева, Каин, Авель, Ада, Селла – на молитве.
Адам

Иего́ва, вечный, мудрый, бесконечный!
Ты, кто воззвал единым мощным словом
Из мрака свет – хвала тебе и слава!
На утре дня – хвала тебе и слава!

Ева

Иего́ва! Ты, кто дал нам день, и утро
Впервые отделил от тьмы, и воды
С водами разлучил, и назвал небом
Твердь между вод – хвала тебе и слава!

Авель

Иего́ва! Ты, кто разделил стихии
На землю, воду, воздух и огонь,
Кто, сотворив светила дня и ночи,
Создал и тех, которые могли бы
Любить тебя, любить твои созданья
И ликовать – хвала, хвала тебе!

²⁴ Действующие лица (лат.)

Ада

Иего́ва, бог! Отец всей сущей твари,
Создавший человека всех прекрасней,
Достойней всех земной любви, дозвожь мне
Любить его! – Хвала, хвала тебе!

Селла

Иего́ва! Ты, кто, все благословляя,
Все сотворив и все любя, дозволил
Войти в Эдем и погубить нас змию,
Храни нас впредь! Хвала тебе и слава!

Адам

Мой первенец, а что же ты молчишь?

Каин

Что делать мне?

Адам

Молись.

Каин

Ведь вы молились.

Адам

От всей души.

Каин

И громко: я вас слышал.

Адам

Как и творец, надеюсь я.

Авель

Аминь.

Адам

Но ты молчишь, сын Каин.

Каин

Это лучше.

Адам

Скажи ясней.

Каин

Мне не о чем молиться.

Адам

И не за что быть благодарным?

Каин

Нет.

Адам

Но ты живешь?

Каин

Чтоб умереть?

Ева

О, горе!
Плод древа запрещенного созрел.

Адам

И мы опять должны его вкусить.
Зачем, о боже, дал ты древо знания?

Каин

Зачем ты не вкусил от древа жизни?
Тогда б он не страшил тебя.

Адам

О Каин!
Не богохульствуй: это речи змия.

Каин

Что ж, змий не лгал! Дало же древо знание,
Другое – жизнь дало бы. Жизнь есть благо,
И знание есть благо. Как же может
Быть злом добро?

Ева

Мой сын, ты говоришь,
Как я, свершая грех свой, говорила:
Не дай его мне видеть возрожденным

В твоём грехе. Я примирилась с небом.
Не дай мне зреть, здесь, за вратами рая,
Свое дитя в той сети, что сгубила
В раю его родителей. Доволен
Будь тем, что есть: довольствуйся мы раем,
И ты б теперь доволен был. О сын мой!

Адам

Молитва наша кончена, идемте
К своим трудам урочным, не тяжелым,
Но все ж необходимым: нивы щедро
Нам воздают за малый труд.

Ева

Сын Каин,
Смотри, как он покорен и как бодр:
Бери пример.

Адам и Ева уходят.

Авель

Брат, не гневи печалью
Предвечного: печаль бесплодна.

Ада

Каин,
Ты и на Аду хмуришься?

Каин

Нет, Ада!
Но я один побуду. Авель, мне
Не по себе; но это ненадолго.
Иди же, брат. И вы идите, сестры.
Не должно нежность грубостью встречать:
Я буду вслед за вами.

Ада

Если ж нет,
Я за тобой вернусь сюда.

Авель

Да будет
Мир над тобою, брат!

Авель, Селла и Ада уходят.

Каин
(один)

И это жизнь!

Трудись, трудись! Но почему я должен
Трудиться? Потому, что мой отец
Утратил рай. Но в чем же я виновен?
В те дни я не рожден был, – не стремился
Рожденным быть, – родившись, не люблю
Того, что мне дало мое рождение.
Зачем он уступил жене и змию?
А уступив, за что страдает? Древо
Росло в раю и было так прекрасно:
Кто ж должен был им пользоваться? Если
Не он, так для чего оно росло
Вблизи его? У них на все вопросы
Один ответ: «Его святая воля,
А он есть благ». Всесилен, так и благ?
Зачем же благость эта наказует
Меня за грех родителей?
Но кто-то
Идет сюда. По виду это ангел,
Хотя он и суровой и печальней,
Чем ангелы: он мне внушает страх.
Он не страшнее тех, что потрясают
Горящими мечами пред вратами,
Вокруг которых часто я скитаюсь,
Чтоб на свое законное наследье –
На райский сад взглянуть хотя мельком,
Скитаюсь до поры, пока не скроет
Ночная тьма Эдема и бессмертных
Эдемских насаждений, осенивших
Зубцы твердынь, хранимых грозной стражей;
Я не дрожал при виде херувимов,
Так отчего ж я с трепетом встречаю
Того, кто приближается? Он смотрит
Величественней ангелов; он так же
Прекрасен, как бесплотные, но, мнится,
Не столь прекрасен, как когда-то был
Иль мог бы быть: скорбь кажется мне частью
Его души, – хотя доступна ль скорбь
Для ангелов? Но он подходит.

Люцифер

(приближаясь)

Смертный!

Каин

Кто ты, о дух?

Люцифер

Я повелитель духов.

Каин

Но если так, зачем ты их покинул

Для смертного?

Люцифер

Я знаю мысли смертных
И сострадаю смертным.

Каин

Как! Ты знаешь,
Что мыслю я?

Люцифер

Да, это мысли всех
Достойных мысли; это говорит в вас
Бессмертие.

Каин

Бессмертие? О нем
Не знаем мы: безумием Адама
Мы лишены плодов от древа жизни,
Меж тем как мать вкусила слишком рано
Плода от древа знания – нашей смерти.

Люцифер

Ты будешь жить, – не верь им.

Каин

Я живу,
Но лишь затем, чтоб умереть, и в жизни
Я ничего не вижу, что могло бы
Смерть сделать ненавистною мне, кроме
Врожденной нам привязанности к жизни,
Презренной, но ничем не победимой:
Живя, я проклиная час рожденья
И презираю самого себя.

Люцифер

Но ты живешь и будешь жить: не думай,
Что прах земной, что плоть твоя есть сущность.
Прах твой умрет, а ты вовек пребудешь
Тем, чем ты был.

Каин

Чем был? Но и не больше?

Люцифер

Быть может, ты подобен будешь нам.

Каин

А вы?

Люцифер

Мы вечны.

Каин

Счастливы?

Люцифер

Могучи.

Каин

Я говорю, вы счастливы?

Люцифер

Мы – нет.

А ты?

Каин

Взгляни!

Люцифер

О жалкий прах! Ты смеешь
Считать себя несчастным?

Каин

Я несчастен.

А ты с твоим могуществом – кто ты?

Люцифер

Тот, кто дерзал с твоим творцом равняться
И кто тебя таким не сотворил бы.

Каин

Да, ты глядишь почти что богом. Ты...

Люцифер

Но я не бог и, не достигнув бога,
Хочу одно: самим собой остаться.
Он победил, – пусть царствует!

Каин

Кто – он?

Люцифер

Творец земли, творец людей...

Каин

И неба,
И сущего на небе. Так поют
Архангелы, так говорит родитель.

Люцифер

Они поют и говорят лишь то,
Что им велят. Их устрашает участь
Быть в мире тем, чем мы с тобою стали:
Ты – меж людей, я – меж бессмертных духов.

Каин

А мы с тобой – кто мы?

Люцифер

Мы существа,
Дерзнувшие сознать свое бессмертье,
Взглянуть в лицо всеильному тирану,
Сказать ему, что зло не есть добро.
Он говорит, что создал нас с тобою –
Я этого не знаю и не верю,
Что это так, – но, если он нас создал,
Он нас не уничтожит: мы бессмертны!
Он должен был бессмертными создать нас,
Чтоб мучить нас: пусть мучит! Он велик,
Но он в своем величии несчастней,
Чем мы в борьбе. Зло не рождает благо,
А он родит одно лишь зло. Но пусть
Он на своем престоле величавом
Творит миры, чтоб облегчить себе
Ни с кем не разделенное бессмертье,
Пусть громоздит на звезды звезды: все же
Он одинок, тиран бессмертный. Если б
Он самого себя мог уничтожить,
То это был бы лучший дар из всех
Его даров. Но пусть царит, пусть страждет!
Мы, духи, с вами, смертными, мы можем
Хоть сострадать друг другу; мы, терзаясь,
Мучения друг другу облегчаем
Сочувствием: оно весь мир связует;
Но он! в своем величии несчастный,
В несчастье не знающий отрады,
Он лишь творит, чтоб без конца творить!

Каин

Ты говоришь о том, что хоть неясно,
Но уж давно в моем уме носилось:
Я никогда не мог согласовать
Того, что видел, с тем, что говорят мне.
Мать и отец толкуют мне о змие,
О древе, о плодах его; я вижу
Врата того, что было их Эдемом,
И ангелов с палящими мечами,
Изгнавших нас из рая; я томлюсь
В трудах и думах; чувствую, что в мире
Ничтожен я, меж тем как мысль моя
Сильна, как бог! Но я молчал, я думал,
Что я один страдаю. Мой отец
Давно смирился; в матери угасла
Та искра, что влекла ее к Познанию;
Брат бдит стада и совершает жертвы
Из первенцев от этих стад тому,
Кто повелел, чтоб нам земля давала
Плоды лишь за тяжелый труд; сестра
Поет ему хвалы еще до солнца,
И даже Ада, сердцу моему
Столь близкая, не понимает мыслей,
Меня гнетущих: я еще не встретил
Ни в ком себе сочувствия! Тем лучше:
Я с духами в сообщество вступлю.

Люцифер

Ты этого сообщества достоин.
Иначе ты не видел бы меня:
Довольно было б змия.

Каин

А! Так это
Ты соблазнитель матери?

Люцифер

Ничем,
Помимо правды, я не соблазняю.
Ведь вы вкусили знания, ведь были
Плоды на древе жизни? Разве я
Давал запрет вкушать от них? И я ли
Растил плоды запретные к соблазну
Существ, душой невинных, любопытных
В своей святой невинности? Я б создал
Богами вас, а он лишил вас рая,
«Чтоб вы от древа жизни не вкусили
И не были, как боги». – Таковы
Его слова.

Каин

Ты прав. Я это слышал
От тех, кому они звучали в громе.

Люцифер

Так кто ж злой дух? Тот, кто лишил вас жизни,
Иль тот, кто вам хотел дать жизнь, и радость,
И знание?

Каин

Им нужно было оба
Сорвать плода иль не срывать совсем.

Люцифер

Один уж ваш; стремитесь к другому.

Каин

Но как?

Люцифер

Сопrotивляясь. Угасить
Ничто не может духа, если хочет
Дух быть самим собой и средоточьем
Всего, что окружает дух; он создан,
Чтоб царствовать.

Каин

Не ты ли соблазнил
Отца и мать?

Люцифер

Я? Жалкий прах! Зачем мне
Вас соблазнять? И как?

Каин

Мне говорили,
Что змий был дух.

Люцифер

Кто это говорит?
Не жалкое ль тщеславье человека,
Что силится свалить свое паденье
На нас, на духов? Змий был змий, не больше,
Но и не меньше тех, что соблазнились.
Он тоже прах, но он мудрее их,

Затем, что победил их. Разве стал бы
Я принимать подобье смертной твари?

Каин

Но тварь в себе скрывала злого духа.

Люцифер

Нет, тварь его лишь разбудила в тех,
С кем говорил язык ее коварный.
Я говорю, что змий был только змий:
Спроси у херувимов, стерегущих
Запретный плод. Когда века веков
Пройдут над вашим прахом безглагольным,
Потомки ваши баснею украсят
Ваш первый грех и мне припишут образ,
Который презираю я, как все,
Что пред творцом склоняется, создавшим
Все сущее в живых для поклоненья
Перед его бессмертием угрюмым.
Но мы – мы знаем истину и станем
Провозглашать лишь истину. Адам
Пленен был пресмыкающейся тварью.
Но дух не пресмыкается: чему
Завидовать в пределах тесных рая
Владыке беспредельного пространства?
Но я с тобою речь веду о том,
Чего ты, несмотря на древо знанья,
Не можешь знать.

Каин

Но укажи мне то,
Чего я не хотел бы знать, не жаждал?

Люцифер

Дерзнешь ли ты взглянуть на смерть?

Каин

Ее
Никто еще не видел.

Люцифер

Испытать же
Придется всем.

Каин

Отец мой говорит
О ней как о чудовище; мать плачет
При слове «смерть»; брат Авель к небесам

Возводит очи; Селла потупляет
Свои к земле, шепча молитву; Ада
Глядит в мои.

Люцифер

А ты?

Каин

Когда я слышу
Об этой всемогущей и, как видно,
Ничем не отвратимой смерти, думы
Несметные в моем уме теснятся
И жгут его. Возможно ль с ней бороться?
Я мальчиком со львом боролся в играх
И так сжимал в объятиях его,
Что он ревел и обращался в бегство.

Люцифер

Смерть не имеет образа, но все,
Что носит вид земных существ, поглотит.

Каин

Я смерть считал за существо. Что может
Столь злостным быть, помимо существа?

Люцифер

Спроси у разрушителя.

Каин

Какого?

Люцифер

Иль у творца – зови его как хочешь.
Ведь он творит затем, чтоб разрушать.

Каин

Я этого не знал еще, но думал
Почти что то же самое, как только
Я услышал о смерти. Я не знаю,
Что значит смерть, но смерть мне представлялась
Всегда ужасным чем-то. Я нередко
Вперял свой взор во тьму пустынной ночи,
Ища ее; я видел чьи-то тени
У райских стен, во мраке, где пылают
Мечи в деснице ангелов, и жадно
Следил за тем, что мне казалось смертью,
Весь трепеща от страха и желанья

Увидеть то, пред чем мы все трепещем.
Но мрак был пуст, и я свой взор усталый
От стен родного рая отвращал
К светилам горним, к синему эфиру,
К его огням, столь нежным и прекрасным.
Ужели и они умрут?

Люцифер

Быть может;
Но надолго всех вас переживут.

Каин

Я рад. Но смерть! Смерть мне внушает трепет.
Она есть нечто грозное: но что же?
Она нам всем, виновным и невинным,
Как зло была объявлена: какое?

Люцифер

Вновь прахом стать.

Каин

Стать неподвижным прахом
Еще не зло; но только бы не быть
Ничем иным!

Люцифер

Презренное желанье!
Презренней, чем желания Адама:
Тот хоть стремился к знанью.

Каин

Но не к жизни;
Иначе почему он не вкусил
От древа жизни?

Люцифер

Изгнан был из рая.

Каин

Ужасная ошибка! Он был должен
Сперва сорвать плод жизни, но, не зная
Добра и зла, не ведал он и смерти,
Увы! Я смерть узнал еще так мало,
Но уж страшусь... того, чего не знаю.

Люцифер

А я, познавший все, уж не страшусь
Ни перед чем. Вот истинное знание.

Каин

Наставь меня.

Люцифер

С условием.

Каин

Каким?

Люцифер

Пади и поклонись мне, как владыке.

Каин

Ты разве бог?

Люцифер

Не бог.

Каин

Так равный богу?

Люцифер

О нет, я не имею ничего
С ним общего – и не скорблю об этом.
Я соглашусь быть чем угодно – выше
Иль даже ниже – только не слугою
Могущества Иего́вы. Я не бог,
Но я велик: немало тех, что сердцем
Чтут власть мою, – их будут сонмы; будь же
Из первых – ты.

Каин

Я никогда еще
Пред божеством отца не преклонялся,
Хотя нередко Авель умоляет,
Чтоб мы свершали жертвы богу вместе.
Зачем же мне склоняться пред тобой?

Люцифер

Ты никогда пред ним не преклонялся?

Каин

Ты разве не слышал меня? И разве
Ты сам не знал об этом? Ты всеведущ.

Люцифер

Но не поклонник бога – мой поклонник.

Каин

Я не хочу сгибаться ни пред кем.

Люцифер

Ты все же мой: непоклоненье богу
Есть поклоненье мне.

Каин

Скажи яснее.

Люцифер

Ты сам поймешь – со временем.

Каин

Открой
Мне тайну моего существования.

Люцифер

Иди за мной.

Каин

Мне нужно на работу.
Я обещал...

Люцифер

Что обещал?

Каин

Для жертвы
Набрать плодов.

Люцифер

Не ты ли говорил,
Что пред творцом ни разу не склонялся?

Каин

Но Авель упросил меня. Ведь жертву
Свершу не я – скорее он. И Ада...

Люцифер

Чем ты смущен?

Каин

Она моя сестра,
Мы рождены одним и тем же чревом
В один и тот же день: она слезами
Исторгла обещанье у меня.
Я все готов перенести для Ады,
Я преклонюсь пред чем угодно, лишь бы
В слезах ее не видеть.

Люцифер

Так иди
Вослед за мной.

Каин

Дух, я иду.

Ада (входя)

Брат Каин!
Я за тобой: уж полдень, – наступает
Час отдыха и радости, и нам
Недостает тебя. Ты не работал,
Но я твой труд исполнила; созрели
Твои плоды и блещут точно солнце.
Идем.

Каин

Иль ты не видишь?

Ада

Вижу – ангел.
Мы видим их нередко. Он разделит
Час нашего полднего досуга?

Каин

Он не похож на ангелов, которых
Мы видели.

Ада

Есть разве и другие?

Но и ему мы будем рады – так же,
Как и другим: те не гнушались нами.

Каин
(*Люциферу*)

Идешь ли ты?

Люцифер

Иди за мной.

Каин

Я должен
Идти за ним.

Ада

И нас покинуть?

Каин

Да.

Ада

И даже Аду?

Каин

Ада!

Ада

Так позволь мне
Идти с тобой!

Люцифер

Нет, он пойдет один.

Ада

Кто ты, разъединяющий так властно
Сердца людей?

Каин

Он бог.

Ада

А кто об этом
Тебе сказал?

Каин

Он говорит, как бог.

Ада

Так говорил и лживый змий.

Люцифер

Нет, Ада,
Змий вам не лгал: дало же древо знания
Познание.

Ада

На горе нам!

Люцифер

О да.
Но это горе – знание, и, значит,
Змий вам не лгал; он истиной прельстил вас,
А истина, по существу, есть благо.

Ада

Но истина несет нам только беды:
Изгнание из нашего приюта,
Тяжелый труд, душевный гнет и страх,
Томление о прошлом и надежды
На то, что не вернется. Не ходи
За этим духом, Каин! Примиришь
С своей судьбой, как мы с ней примирились,
Люби меня, как я тебя люблю.

Люцифер

Сильней отца и матери?

Ада

Сильнее!
Но разве это тоже смертный грех?

Люцифер

Пока – не грех; но будет им – в грядущем,
Для вашего потомства.

Ада

Как! Ужели
Любить Эноха дочь моя не будет?

Люцифер

Не так, как Ада – Каина.

Ада

О боже!
Ужели они не будут ни любить,
Ни жизнь давать созданным, что возникли б
Из их любви, чтоб вновь любить друг друга?
Но разве не питаются они
Одною грудью? Разве не родился
Он, их отец, в один и тот же час
Со мной от лона матери? И разве
Не любим мы друг друга и любовью
Не множим тех, что будут так же нежно
Любить, как мы их любим? – как люблю я
Тебя, мой брат? Нет, не ходи за ним
За этим духом: это дух – нам чуждый.

Люцифер

Но я не говорил тебе, что ваша
Любовь есть грех: она преступной будет
В глазах лишь тех, что вас заменят в жизни.

Ада

Так, значит, добродетель и порок
Зависят от случайности? Тогда
Мы все – рабы.

Люцифер

Рабами даже духи
Могли бы стать, не предпочти они
Свободных мук бряцанию на арфах
И низким восхвалениям Иеговы
За то, что он, Иегова, всемогущ
И не любовь внушает им, а ужас.

Ада

Кто всемогущ, тот и всеблаг.

Люцифер

Таким ли
Он был в раю?

Ада

Враг! Не смущай меня
Своею красотой; ты прекрасней,

Чем демон змий, но так же лжив.

Люцифер

Правдив.
Спроси у вашей матери, у Евы,
Солгал ли змий?

Ада

О мать! Твое паденье
Для чад твоих губительнее было,
Чем для тебя; ты провела хоть юность
В Эдеме, в беззаботном и блаженном
Общении с блаженными; а нас,
Не ведавших Эдема, обступают
Враги, что лишь присвоили себе
Слова творца и соблазняют наши
Мятущиеся души нашей жадной,
Неутоленной мыслью, как тебя
Змий соблазнил на лоне беззаботных,
Невинных, юных радостей твоих!
Бессмертному, стоящему пред нами,
Я не могу ответить, не могу
Проклясть его; я с сладостной боязнью
Любуюсь им – и не могу бежать:
В его глазах – таинственная прелесть,
И я не в силах взора отвести
От этих глаз; в груди трепещет сердце,
Мне страшно с ним, но он влечет меня,
Влечет к себе все ближе... Каин! Каин!
Спаси меня!

Каин

Не бойся: он не демон.

Ада

Но и не бог, не ангел божий: я
Видала херувимов, серафимов;
Он не похож на них.

Каин

Есть духи выше:
Архангелы.

Люцифер

Еще есть выше.

Ада

Есть,

Но разве те блаженны?

Люцифер

Если рабство
Равняется блаженству – не блаженны.

Ада

Я слышала, что нежны – серафимы,
А мудры – херувимы. Дух, ты – мудрый,
Ты – херувим, тебе любовь чужда.

Люцифер

Когда любовь от знания гибнет, – кем же
Быть должен тот, кого, узнав, не любишь?
Всезнающим и мудрым херувимам
Любовь чужда; так, значит, серафимы
Лишь по незнанию любят. Что любовь
Несовместима с знанием, мы видим:
Пример – судьба Адама. Выбирайте
Меж знанием и любовью, – ведь другого
Нет выбора. Адам уже избрал:
Он почитает бога лишь из страха.

Ада

О Каин! Избери любовь.

Каин

С любовью
К тебе, сестра, я был рожден. Но больше
Я ничего на свете не люблю.

Ада

А мать, отец?

Каин

Они нас не любили,
Срывая плод, лишивший нас Эдема.

Ада

Мы не были в то время рождены,
А если бы и были – неужели
Мы не должны любить их так же нежно,
Как любим мы своих малюток, Каин?

Каин

Мои едва лепечущие крошки!

Будь я уверен в счастье их, я мог бы
Почти простить... Но это не простится
Через тысячи столетий! Никогда
Любить не будут память человека,
Что семя человеческого рода
И семя зла посеять мог в один
И тот же час. Он пал, но мало было
Ему своих страданий: он зачал
Меня, тебя, всех нас, – пока немногих,
И весь безмерный, бесконечный ряд,
Мирьяды, сонмы тех, что народятся
Для новых, горших мук и чьим отцом
Быть должен я! Твоя любовь и юность,
Моя любовь и радость, миг блаженства,
Мгновение покоя, все, что любим
Мы в детях и друг в друге – все ведет
И нас и их путем греха и скорби,
Лишь изредка даруя миг отрады,
К неведомому – смерти. Древо знания
Нас обмануло: грех свершен, но все ли
Познали мы о жизни и о смерти?
Мы знаем лишь одно: что мы несчастны.

Ада

Я не несчастна, Каин, и когда бы
Ты счастлив был...

Каин

Будь счастлива одна,
Я не нуждаюсь в том, что унижает
Во мне мой дух.

Ада

Одна я не хочу
И не могу быть счастлива; но с теми,
Что близки мне, я думаю, могла бы!
Я не смущаюсь смерти, непонятной
И потому не страшной мне, хотя
Она и страшной кажется, как часто
Приходится мне слышать.

Люцифер

Так одна
Ты счастлива не можешь быть?

Ада

Но кто же
Один бы мог быть счастлив или добр?
Одна! но мне мое уединенье
Всегда грехом казалось, если я

Не чаяла, что скоро встречу с близким.

Люцифер

Но бог твой одинок: так неужели
Не счастлив он, не добр?

Ада

Он не один:
Есть ангелы и смертные, – он счастлив,
Даруя счастье ангелам и смертным.
Ведь радость в том, чтоб радовать других.

Люцифер

А твой отец, – давно ли из Эдема
Был изгнан он? А Каин? Ты сама?
Спокойна ли душа твоя?

Ада

Увы!
Но ты – ведь ты не ангел?

Люцифер

Нет, не ангел.
А почему – спроси у всеблагого,
Всесильного создателя вселенной:
Он знает тайну эту. Мы смирились,
Другие воспротивились – и тщетно,
Как говорят нам ангелы. По мне же,
Не тщетно, нет, – раз лучше быть не может.
Есть в духе мудрость, – мудрость же влечет
Дух к истине, как сквозь рассветный сумрак
Ваш взор влечет далекий блеск денницы.

Ада

Она прекрасна; я ее люблю
За красоту.

Люцифер

Боготворишь иль любишь?

Ада

Отец боготворит лишь одного,
Незримого.

Люцифер

Незримое являет

Себя в прекрасных символах. А эта
Звезда есть вождь небесной звездной рати.

Ада

Отец и бога видел.

Люцифер

Да. А ты?

Ада

Я видела творца в его твореньях.

Люцифер

А в существе?

Ада

Нет; разве лишь в отце,
Который есть подобие Иеговы,
Иль в ангелах, столь на тебя похожих.
Их образ лучезарнее, чем твой,
Хотя не так он властен и прекрасен:
Как тихий полдень, светом напоенный,
Они на нас взирают, ты же – ночь,
Ночной эфир, где облака, белея,
Сквозят на темном пурпуре, а звезды
Лучистыми огнями испещряют
Таинственный и дивный свод небес.
Несметные, мерцающие нежно,
Но так к себе влекущие, они
Мои глаза слезами наполняют,
Как ты теперь. Ты кажешься несчастным;
Не делай нас такими же! Ты видишь –
Я плачу о тебе.

Люцифер

О эти слезы!
Когда б ты знала, сколько их прольется!

Ада

Мной?

Люцифер

Всеми.

Ада

Кем?

Люцифер

Мирьядами мирьяд,
Мильонами мильонов, – всей землею,
Опустошенной, снова населенной,
И адом переполненным, чье семя
В твоей груди.

Ада

О Каин! Этот дух
Нас проклиняет.

Каин

Он меня ведет.

Ада

Ведет – куда?

Люцифер

Туда, где он пробудет
Лишь только час, но где увидит то,
Что создано несчетными веками.

Ада

Возможно ль это?

Люцифер

Разве ваш создатель
В шесть дней не создал мир ваш из обломков
Былых миров? И разве я, помощник
В его создание мира, не могу
В час показать того, что создавал он
Иль разрушал в часы?

Каин

Веди меня.

Ада

Но через час вернется он?

Люцифер

Вернется.
Мы временем не связаны. Я вечность
Могу вместить в единое мгновенье
И превратить мгновенье в вечность. Духи

Свое существованье измеряют
Не тем, чем вы. Но это тайна. – Каин,
Иди за мной.

Ада

Но он ко мне вернется?

Люцифер

Да, женщина. Он первый и последний,
За исключением только Одного,
Из этих мест вернется, чтобы сделать
Их мир, еще безмолвный и пустынный,
Таким же населенным, как и землю.

Ада

Где ты живешь?

Люцифер

В пространстве. Где могу
Я обитать? Там, где твой бог, иль боги.
Все в мире разделил я: вечность, время,
Жизнь, смерть, пространство, землю, небо
И то, что ни земля, ни небо, – мир,
Который населен и населится
От тех, что населяли иль населят
То и другое: вот мои владенья.
Я разделил с ним царство и владею
Еще и тем, где он не властен. Если б
Я не был столь могуществен, то разве
Я был бы здесь? Здесь ангелы витают.

Ада

Но ангелы витали и в раю,
Где говорил лукавый змий.

Люцифер

Ты слышал
Призыв мой, Каин? Если жаждешь знания,
Иди за мною – жажда утолится,
И даже без запретного плода,
Способного лишить тебя навеки
Единственного блага, что оставил
Тебе мой враг. Иди за мною, Каин.

Каин

Дух, я иду.

Люцифер и Каин уходят.

Ада
(*вослед им*)

О Каин! Брат мой! Каин!

Акт второй

Сцена первая

*Бездна пространства.
Люцифер и Каин.*

Каин

Не падая, я воздух попираю,
Хотя боюсь, что упаду.

Люцифер

Не бойся –
Доверься мне, владыке этой бездны.

Каин

Но разве вера в духа не греховна?

Люцифер

Сомненье – гибель, вера – жизнь. Таков
Устав того, кто именуется бесом
Меня пред сонмом ангелов, они же
Передают название это тварям,
Которым непонятно то, что выше
Их жалких чувств, которые трепещут
Велений господина и считают
Добром или злом все, что прикажет он.
Я в рабстве не нуждаюсь. Ты увидишь
За тесной гранью маленького мира,
Где ты рожден, несметные миры,
И я не обреку тебя на муки
За страхи и сомненья. Будет день –
И человек, несомый водной хлябью,
Другому скажет: *веруй и гряди* –
И тот пойдет по хляби невредимо.
Я веры, как условия спасенья,
Не требую. Лети со мной, как равный,
Над бездною пространства, – я открою
Тебе живую летопись миров
Прошедших, настоящих и грядущих.

Каин

О бог или бес – кто б ни был ты: что это?
Ужель земля?

Люцифер

Ты не узнал земли?
Той персти, из которой ты был создан?

Каин

Как! Этот круг, синеющий в эфире
Вблизи кружка, похожего на то,
Что ночью освещает нашу землю,
И есть наш рай? А где же стены рая?
И те, что стерегут их?

Люцифер

Покажи
Мне место рая.

Каин

Это невозможно!
Чем дальше мы уносимся вперед,
Тем круг земли становится все меньше
И, уменьшаясь, светится вдали
Все ярче серебристым звездным светом.
Мы с быстротою солнечных лучей
Летим вперед, и он уж начинает
Теряться среди бесчисленного сонма
Окрестных звезд.

Люцифер

Но что бы ты подумал,
Когда б узнал, что есть миры громадней,
Чем мир земной, что есть созданыя выше,
Чем человек, что их число несметно,
Что все они на смерть обречены
И все живут, все страждут?

Каин

Я б гордился
Своим умом, постигнувшим все это.

Люцифер

А если дух твой скован от рожденья
Тяжелой, грубой плотью, если он,
Столь гордый тем, что знает, жаждет новых,
Все новых, высших знаний, а меж тем
Не победит ничтожнейших, грубейших,
Мерзейших нужд и вышею отрадой
Считает только сладостный и грязный,
Без меры истомляющий обман,

Влекущий к созиданию лишь новых
Несметных душ, несметных тел, с рожденья
Приговоренных к смерти?

Каин

Дух! я знаю
О смерти только то, что смерть ужасна,
Что смерть – наш общий горестный удел,
Как слышал я от матери, которой
Обязаны мы смертью вместе с жизнью.
Но если так, дай умереть мне, дух!
Ведь быть отцом созданий, обреченных
На жизнь среди страданий и на гибель,
Не все ль равно, что смерть плодить и в мире
Распространять злодейство?

Люцифер

Ты не можешь
Весь умереть: есть нечто, что бессмертно.

Каин

Бог это скрыл, изгнав отца из рая
И заклеив зловещим знаком смерти
Его чело. Но пусть во мне погибнет
Хоть смертное, чтоб в остальном я был
Как ангелы.

Люцифер

Я ангельского чина:
Ты хочешь быть таким, как я?

Каин

Но кто ты?
Я вижу только мощь твою и то,
Что ты мне открываешь мир, гнетущий
Величием мою земную мощь
И все же не превысивший желаний
И дум моих.

Люцифер

О гордые желанья,
Которые так скромно разделяют
Юдоль червей!

Каин

А ты, – ты разделяешь
Обитатели с бессмертными, – ты разве
Не кажешься печальным?

Люцифер

Я печален.
Итак, скажи: ты хочешь быть бессмертным?

Каин

Ты говоришь, что я им *должен* быть.
Я этого не знал еще, но если
Должно так быть, то я хочу изведать
Бессмертие заранее.

Люцифер

Ты изведал.

Каин

Когда и как?

Люцифер

Страдая.

Каин

Но страдания
Должны быть вечны?

Люцифер

Это мы узнаем, –
Мы и твои потомки. Но взгляни:
Как все полно величия!

Каин

О, дивный,
Невыразимо дивный мир! И вы,
Несметные, растущие без меры
Громады звезд! Скажите: что такое
И сами вы, и эта голубая
Безбрежная воздушная пустыня,
Где кружитесь вы в бешеном веселье,
Как листья вдоль прозрачных рек Эдема?
Исчислены ль пути для вас? Иль вы
Стремитесь в даль, сжимающую душу
Своею бесконечностью, свободно?
Творец! Творцы! Иль я не знаю – кто!
Как дивны вы и как прекрасны ваши
Создания! Пусть я умру, как атом, –
Быть может, умирает он! – иль ваше
Величие постигну! Мысль моя
Достойна вас, хоть прах и недостойн.

Дух! Дай мне умереть иль покажи
Мне ближе их.

Люцифер

Ты разве к ним не близок?
Взгляни на землю.

Каин

Где она? Я вижу
Лишь сонмы звезд.

Люцифер

Гляди сюда.

Каин

Не вижу.

Люцифер

Но приглядиись: она еще мерцает.

Каин

Вон там?

Люцифер

Да, там.

Каин

Возможно ли? Я видел
Ночной порой в лугах и в темных рощах
Светящих мух: они сверкали ярче,
Чем этот мир, который их питает.

Люцифер

Ты видел и миры и светляков, –
Те и другие искрятся, – что ж скажешь
Ты мне о них?

Каин

Скажу, что и миры
И светляки по-своему прекрасны
И что полет ночной ничтожной мушки
И мощный бег бессмертного светила
Равно руководимы...

Люцифер

Кем?

Каин

Открой мне.

Люцифер

И ты взглянуть дерзнул бы?

Каин

Как мне знать,
На что взглянуть дерзну я? Ты пока
Не показал мне ничего такого,
Чтоб не дерзнул я большего увидеть.

Люцифер

К чему тебя влекло всего сильнее?

Каин

К тому, чего я никогда не ведал
И ведать бы не должен – к тайне смерти.

Люцифер

Я покажу отживших и умерших,
Как показал бессмертных.

Каин

Покажи.

Люцифер

Тогда вперед на наших мощных крыльях!

Каин

О, как мы рассекаем воздух! Звезды
Скрываются от наших глаз! Земля!
Где ты, земля? Дай мне взглянуть на землю,
Я сын ее.

Люцифер

Земли уже не видно.
Пред вечностью она гораздо меньше,
Чем ты пред ней. Но ты с землею связан
И скоро к ней вернешься. Прах земной –
Часть нашего бессмертия.

Каин

Куда же
Лежит наш путь?

Люцифер

К тому, что только призрак
Былых миров, земля же их обломок.

Каин

Так мир не нов?

Люцифер

Не более чем жизнь.
А жизнь древней, чем ты, чем я, и даже
Древней того, что выше нас с тобою.
Есть многое, что никогда не будет
Иметь конца; а то, что домогалось
Считаться не имеющим начала,
Имеет столь же низкое, как ты;
И многое великое погисло,
Чтоб место дать ничтожному, – такому,
Что и помыслить трудно: ибо в мире
Лишь время и пространство неизменны,
Хотя и перемены только праху
Приносят смерть. Ты – прах, ты не постигнешь
Того, что выше праха, и увидишь
Лишь то, что было прахом.

Каин

Только прахом!
Но я дерзну взглянуть на все, что хочешь.

Люцифер

Тогда – вперед!

Каин

Как быстро меркнут звезды!
А ведь они казались мне мирами,
Когда мы приближались к ним.

Люцифер

Они
И есть миры.

Каин

И есть на них эдемы?

Люцифер

Быть может, есть.

Каин

И люди?

Люцифер

Есть и люди.
Иль существа, что выше их.

Каин

И змии?

Люцифер

Раз люди есть – как им не быть? И разве
Дышать должны ходячие лишь твари?

Каин

Как быстро меркнут звезды вслед за нами!
Куда летим мы?

Люцифер

К миру привидений,
Существ, еще не живших и отживших.

Каин

Но мрак растет – все звезды уж исчезли.

Люцифер

Но ты, однако, видишь.

Каин

Жуткий сумрак!
Ни ярких звезд, ни солнца, ни луны,
И все же в этом сумраке я вижу
Какие-то угрюмые громады,
Но только непохожие на те,
Которые светились в пространстве
Своими ореолами и были,
Как мне тогда казалось, полны жизни.
На тех, сквозь их сияние, я видел
Глубокие долины, выси гор
И водные безбрежные равнины;
Вкруг тех сияли огненные кольца

И диски лун, напоминая землю;
А здесь все страшно, сумрачно!

Люцифер

Но ясно.
Ты ищешь смерть увидеть и умерших?

Каин

Раз грех Адама предал всех нас смерти,
То я хочу заранее увидеть
То, что мы все увидим поневоле
Когда-нибудь.

Люцифер

Смотри.

Каин

Повсюду мрак!

Люцифер

И *вечный* мрак; но мы с тобой раскроем
Врата его.

Каин

Гигантскими клубами
Катится пар – откуда он?

Люцифер

Войди.

Каин

Вернусь ли я?

Люцифер

Не сомневайся в этом.
Ведь кто наполнить должен царство смерти?
Ты и твой род. Оно еще так пусто
В сравненье с тем, чем будет.

Каин

Облака
Все шире расступаются пред нами,
Кругами обвивая нас.
Входи.

Каин

А ты?

Люцифер

Входи. Ты без меня не мог бы
Проникнуть в царство призраков. Смелее!

Исчезают в облаках.

Сцена вторая

Царство смерти.

Люцифер и Каин.

Каин

Как молчалив, как необъятен этот
Угрюмый мир! Он населен обильней,
Чем даже те горящие громады,
Которые в воздушных безднах блещут
В таком несметном множестве, что я
Сперва считал их за каких-то светлых
Небесных обитателей. Но как
Здесь сумрачно, как все напоминает
Угасший день!

Люцифер

Здесь царство смерти. Хочешь
Увидеть смерть?

Каин

Я не могу ответить,
Не ведая, что значит смерть. Но если
Отец мой прав... О боже! Я подумать
Страшусь о ней! Будь проклят тот, кто дал
Мне бытие, ведущее лишь к смерти!

Люцифер

Ты проклинаешь мать, отца?

Каин

Но разве
Они меня не прокляли, дерзнувши
Вкусить от древа знания?

Люцифер

Ты прав:
Меж вами обоюдное проклятье.
Но твой Энох, твой брат?

Каин

Они должны
Делить мое проклятие со мною,
Родителем и братом их. Что принял
В наследство сам, то им и завещаю.
О бесконечный и угрюмый мир
Скользящих теней, призраков-гигантов,
То явственных, то смутных, но всегда
Печальных и величественных, – что ты?
Жизнь или смерть?

Люцифер

И жизнь и смерть.

Каин

Но что же
Тогда есть смерть?

Люцифер

А разве не сказал вам
Создатель ваш, что смерть – другая жизнь?

Каин

Мы от него пока одно узнали –
Что мы умрем.

Люцифер

Придет, быть может, день,
Когда он вам раскроет тайну эту.

Каин

Счастливый день!

Люцифер

О да! Ведь эта тайна
Откроется в невыразимых муках,
Соединенных с вечной адской мукой,
Еще не рожденным, что родятся
Лишь для нее – для этой вечной муки.

Каин

Как величавы тени, что витают
Вокруг меня! В них не заметно сходства
Ни с духами, которых видел я
На страже заповедных врат Эдема,

Ни с смертными – с моим отцом и братом,
Со мной самим, с моей сестрой, с женою,
А между тем, отличные от духов
И от людей своим непостижимым,
Невиданным мной обликом, они,
Бесплотным уступая, превышают
Людей и красотой горделивой,
И мощью, и величием. У них
Нет крыльев, как у ангелов, нет лика,
Как у людей, нет мощных форм животных,
Нет ничего подобного тому,
Что видел я; они в себе вмещают
Всю красоту прекраснейших, сильнейших
Земных существ, но так не схожи с ними,
Что я не знаю – были ли они
Когда-нибудь живыми существами?

Люцифер

Когда-то были.

Каин

Были? Где?

Люцифер

Где ты
Живешь.

Каин

Когда?

Люцифер

Когда владели миром,
Который называешь ты землей.

Каин

Но в этом мире первый – мой родитель.

Люцифер

Из вас он, правда, первый, но из них
Он даже недостойн быть последним.

Каин

А кто они?

Люцифер

Они есть то, чем будут

Все смертные.

Каин

А были чем?

Люцифер

Живыми,
Великими, разумными – во всем
Настолько превышавшими Адама,
Насколько сын Адама превышает
Своих потомков будущих.

Каин

Увы!
И все они погибли, все исчезли
С лица земли?

Люцифер

С лица своей земли,
Как некогда и ты с своей исчезнешь.

Каин

Но ты сказал, что прежде их землю
Была моя?

Люцифер

Была.

Каин

Но изменилась.
Моя земля для них была бы слишком
Ничтожна.

Люцифер

Да, она при них была
Прекраснее.

Каин

И почему так пала?

Люцифер

Спроси его.

Каин

Но как он это сделал?

Люцифер

Смешением стихий, преобразивших
Лицо земли. Но дальше, – созерцай
Минувшее.

Каин

Минувшее ужасно!

Люцифер

Но истинно. Смотри на эти тени:
Они когда-то жили и дышали,
Как ты теперь.

Каин

И некогда я буду
Подобен им?

Люцифер

На это пусть ответит
Создатель ваш. Я показал, чем стали
Предшественники ваши. Созерцай их
Иль, если это тяжело для тебя,
Вернись к земле, к своим трудам: ты будешь
Перенесен на землю невредимом.

Каин

Я здесь останусь.

Люцифер

Надолго?

Каин

Навеки.
Я все равно сюда вернуться должен,
Мне тяжело жить на земле: так лучше
Остаться здесь.

Люцифер

Но это невозможно:
Мир призраков – действительность, а ты
Теперь их созерцаешь как виденье.
Чтоб разделить обитель их, ты должен
Войти сюда вратами смерти – так же,
Как и они.

Каин

Какими же вратами
Входили мы?

Люцифер

Моими. Ты на землю
Вернуться должен; в царстве бездыханных
Ты дышишь только мною. Не мечтай же
Остаться в нем, пока твой час не пробил.

Каин

А вот они, – скажи, они не могут
На землю возвратиться?

Люцифер

Их земля
Прошла навеки: бурные стихии
Лицо земли так резко изменили,
Что на ее поверхности теперь
Едва ль найдется атом, им знакомый.
А это был прекрасный, – о, какой
Прекрасный мир!

Каин

Он и теперь прекрасен.
Я не с землей, хотя на ней тружусь я,
Веду вражду, а с тем, что я беру
Все, что она прекрасного приносит
Ценой труда, что, жажда познания,
Не в силах этой жажды утолить,
Что на земле меня приводит в трепет
И жизнь и смерть.

Люцифер

Чем стал твой мир, ты видишь,
Но чем он был – не можешь и постигнуть.

Каин

А это кто? Вот эти исполины,
Которые, мне кажется, похожи
На диких обитателей дремучих
Земных лесов, но только в десять раз
Громадней и страшнее тех, громадней,
Чем стены рая, – эти привиденья,
Чьи очи пламенеют, как мечи
В десницах херувимов, стерегущих
Эдемский сад, и чьи клыки торчат

Как голые деревья?

Люцифер

Это то же,
Что мамонты земные. Мириады
Таких существ лежат в земле.

Каин

И больше
Уж нет таких?

Люцифер

Нет; если б вам пришлось
Вступить в борьбу с такими существами,
То вы могли бы сделать бесполезным
Проклятие, висящее над вами:
Так скоро вы погибли бы.

Каин

Но разве
Борьба необходима?

Люцифер

Ты забыл
Завет того, кто вас изгнал из рая:
«Борьба со всем, что дышит, смерть всему,
И всем болезни, скорби и мученья» –
Плод дерева запрещенного.

Каин

Но звери –
Они ведь не касались древа знания?

Люцифер

Ваш бог сказал, что создал их для смертных,
А смертных – для создавшего. Вы разве
Хотели бы, чтоб участь их была
Счастливее, чем ваша? Грех Адама
Всех погубил.

Каин

Несчастные! Им тоже,
Как и сынам Адама, суждено
Страдать за грех, не ими совершенный,
За райский плод, который не дал знания,
А дал лишь смерть. Он оказался лживым,
Мы ничего не знаем. Он сулил

Нам знание – ужасною ценою,
Но знание; а что же знаем мы?

Люцифер

Быть может, смерть даст высшее познание;
Ведь только смерть для смертных несомненна
И, значит, к несомненному приводит.
Нет, ты не прав, – запретный плод не лжив,
Хотя и смертоносен.

Каин

Непонятный,
Угрюмый мир!

Люцифер

Твой час еще не пробил.
Материя не может в совершенстве
Постигнуть духа. Все же ты узнал,
Что есть миры такие.

Каин

Я и прежде
О смерти знал.

Люцифер

Но не о царстве смерти.

Каин

Оно мне непонятно.

Люцифер

Будет день,
Когда оно тебе понятней станет.

Каин

А это безграничное пространство
Текучей ослепительной лазури,
Которое сравнил бы я с водой,
С рекою, проходящей из Эдема
Близ нашего жилища, если б только
Не эта безграничность, беспредельность,
Не этот цвет небесный, – это что?

Люцифер

И этому лазурному пространству
Есть слабое подобье на земле,

И на его прибрежьях поселятся
Твои потомки: призрак океана.

Каин

Оно горит, как солнце, – целый мир
Лазурных вод! Но в этом ярком блеске
Я различил играющих чудовищ:
Что это?

Люцифер

Призраки левиафанов.

Каин

А этот непомерно длинный змей
С струящеюся гривой, что воздвигнул
Чудовищную голову из бездны
И в десять раз превысил высочайший
Эдемский кедр, – вот этот змей, что мог бы
Обвиться вокруг небесных тел, – похож ли
Он на того, что нежился когда-то
Под деревом в Эдеме?

Люцифер

Еве лучше
Известен змий, ее прельстивший.

Каин

Этот
Ужасен слишком. Верно, искуситель
Красивей был.

Люцифер

А ты его не видел?

Каин

Я гадов много видел, но того,
Что Еве дал запретный плод, – ни разу.

Люцифер

И твой отец его не видел?

Каин

Нет;
Ведь мой отец был соблазнен не змием:
Змий соблазнил лишь Еву.

Люцифер

О невинность!
Когда тебя или сынов твоих
Смущают жены чем-нибудь, что ново
И необычно, знай, что пред тобой –
Сам искуситель.

Каин

Слишком запоздали
Твои советы: змиям больше нечем
Жен искушать.

Люцифер

Но есть еще немало
Таких вещей, которыми и жены
Своих мужей и жен мужья способны
Вводить в соблазн: вам это надо помнить.
Я вам добра желаю, предлагая
Подобные советы, – я даю их
В ущерб себе... хоть правда, что не будут
Им следовать.

Каин

Мне это непонятно.

Люцифер

И к лучшему! Твой мир и ты так юны!
Ты мнишь себя преступным и несчастным –
Не правда ли?

Каин

Преступным – нет, но скорби
Я испытал немало.

Люцифер

Первородный
Сын первого из смертных! Твой удел
Жить во грехе и скорби, но Эдемом
Покажутся тебе твои несчастья
В сравненье с тем, что ты узнаешь вскоре,
А то, что *ты* узнаешь, будет раем
В сравненье с тем, что испытать должны
Твои сыны... Но нам пора на землю.

Каин

Ужели ты привел меня сюда
Лишь для того, чтоб показать мне это?

Люцифер

Не ты ли жаждал знания?

Каин

О да,
Но лишь затем, чтоб знание служило
Дорогой к счастью.

Люцифер

Если счастье в знанье,
То ты уж счастлив.

Каин

Прав же был творец,
Велевший не касаться древа знания!

Люцифер

А если бы губительного древа
Не насаждал, еще бы лучше сделал.
Однако и неведение зла
От зла не ограждает. Зло всеильно.

Каин

Я этому не верю, нет! Я жажду
Душой добра!

Люцифер

А кто его не жаждет?
Кто *любит* зло? Никто, ничто.

Каин

Но в эти
Несметные и дивные миры,
Которые мы видели с тобою,
Пока не погрузились в царство смерти,
Не увидет зло: так все они прекрасны!

Люцифер

Ты видел их лишь издали.

Каин

Но даль
Могла лишь уменьшать их красоту:
Вблизи их красота неизреченна.

Люцифер

Но подойди к прекраснейшему в мире
И приглядишься к нему.

Каин

Я это делал:
Вблизи оно еще прелестней.

Люцифер

Нет,
Тут есть обман. Скажи, о ком ты думал?

Каин

Я думал о сестре моей. Все звезды,
Вся красота ночных небес, вся прелесть
Вечерней тьмы, весь пышный блеск рассвета,
Вся дивная пленительность заката,
Когда, следя за уходящим солнцем,
Я проливаю сладостные слезы
И, мнится, вместе с солнцем утопаю
В раю вечерних легких облаков,
И сень лесов, и зелень их, и голос
Вечерних птиц, поющих про любовь,
Сливающийся с гимном херувимов,
Меж тем как тьма уж реет над Эдемом,
Все, все – ничто пред красотой Ады.
Чтоб созерцать ее, я отвращаю
Глаза свои от неба и земли.

Люцифер

Но если ты владеешь существом
Столь дивной красоты, то почему
Несчастен ты?

Каин

Зачем я существую
И почему несчастен ты, и все,
Что существует в мире, все несчастно?
Ведь даже тот, кто создал всех несчастных,
Не может быть счастливым: созидать,
Чтоб разрушать – печальный труд! Родитель
Нам говорит: Он всемогущ, – зачем же
Есть в мире зло? Об этом много раз
Я спрашивал отца, и он ответил,
Что это зло – лишь путь к добру. Ужасный
И странный путь! Я видел, как ягненка
Ужалил гад: он извивался в муках,
А подле matka жалобно бляла;

Тогда отец нарвал и положил
Каких-то трав на рану, и ягненок,
До этого беспомощный и жалкий,
Стал возвращаться к жизни понемногу
И скоро уж беспечно припадал
К сосцам своей обрадованной матки,
А та, вся трепеща, его лизала.
Смотри, мой сын, сказал Адам, как зло
Родит добро.

Люцифер

Что ж ты ему ответил?

Каин

Я промолчал, – ведь он отец мой, – только
Тогда ж подумал: лучше бы ягненку
Совсем не быть ужаленным змеею,
Чем возвратиться к жизни, столь короткой,
Ценою мук.

Люцифер

Но ты сказал, что ты
Из всех существ, тобой любимых, любишь
Всего сильнее ту, что воспиталась
С тобой одною грудью и питает
Своей – твоих малюток.

Каин

Да, сказал:
Чем был бы я без Ады?

Люцифер

Тем, чем я.

Каин

Ты чужд любви.

Люцифер

А он, твой бог, что любит?

Каин

Все сущее, как говорит отец;
Но, сознаюсь, я этого не вижу.

Люцифер

Поэтому не можешь и судить,

Чужда ли мне любовь иль нет. Есть нечто
Великое и общее, в котором
Все частное, как снег пред солнцем, тает.

Каин

Как снег – что это значит?

Люцифер

Будь доволен
Неведением того, что испытают
Сыны сынов твоих, и наслаждайся
Теплом небес, не знающих зимы.

Каин

Но ты любил существ, тебе подобных?

Люцифер

А ты – ты любишь самого себя?

Каин

Да, но не так, как ту, что украшает
Мне жизнь мою, что мне дороже жизни,
Затем, что я люблю ее.

Люцифер

Ты любишь,
Пленяясь красотой ее, как Ева
Пленилась райским яблоком когда-то;
Но красота поблекнет – и любовь
Угаснет, как и всякое желанье.

Каин

Но отчего ж поблекнет красота?

Люцифер

От времени.

Каин

Но дни идут, проходят,
А Ева и Адам еще прекрасны,
Не так, как серафимы, как сестра,
Но все ж прекрасны.

Люцифер

Время беспощадно

Изменит их.

Каин

Мне это очень больно:
Но все ж я не могу себе представить,
Что разлюблю когда-нибудь сестру,
И если красота ее поблекнет,
То, думаю, создатель красоты,
При гибели прекрасного созданья,
Утратить должен более, чем я.

Люцифер

Мне жаль тебя: ты любишь то, что гибнет.

Каин

Как мне – тебя: ты ничего не любишь.

Люцифер

А брат – ты любишь брата?

Каин

Да, люблю.

Люцифер

Его твой бог и твой отец так любят!

Каин

И я люблю.

Люцифер

Похвально и смиренно!

Каин

Смиренно?

Люцифер

Да, ведь он не первородный
И с детства был любимцем Евы.

Каин

Что ж,
Змий первым был любимцем, он – вторым.

Люцифер

Он и отца любимец.

Каин

И об этом
Я не скорблю. Как будто я не должен
Любить того, кого отец мой любит!

Люцифер

Но и Иего́ва, кроткий ваш владыка,
Всещедрый насадитель райских кущ,
На Авеля с улыбкою взирает.

Каин

Я не видал Иего́вы и не знаю,
Пристойно ли Иего́ве улыбаться.

Люцифер

Так ангелов Иего́вы видишь.

Каин

Редко.

Люцифер

И все-таки ты должен был заметить,
Что Авель им угоден: от *него*
Все жертвы восприемлются.

Каин

И пусть!
Зачем ты говоришь со мной об этом?

Люцифер

Затем, что ты об этом много думал.

Каин

А если бы и думал, – для чего
Будить во мне...

(В волнении останавливается.)

Дух! Мы с тобою в мире,
Далеком от земли; не говори же
Мне о земле. Ты показал мне много
Чудесного; ты показал мне мощных
Предшественников наших, попиравших

Ту землю, от которой уцелел
Один обломок; ты мне показал
Тьмы тем миров, среди которых тускло
Мерцает наш ничтожный мир, теряясь
В воздушной бесконечности; ты тени
В зловещем царстве смерти показал миг;
Ты много показал мне – но не все:
Дай мне узреть обители Иеговы
Или свою обитель: где они?

Люцифер

Здесь и везде – в пространстве бесконечном.

Каин

Но есть же у тебя и у Иеговы
Какой-нибудь приют определенный?
Он есть у всех. Землей владеют люди,
В других мирах свое есть население,
У всех живых созданий есть своя
Особая стихия; ты сказал мне,
Что даже бездыханным есть обитель,
Так, значит, есть и богу и тебе.
Вы вместе обитаете?

Люцифер

Мы вместе
Лишь царствуем; но обитаем порознь.

Каин

О, если б был один из вас! Быть может,
Единство цели создало б согласие
Стихий, теперь враждующих! И что
Вас привело к такой вражде, – вас, мудрых
И бесконечных? Разве вы не братья
По сущности, по естеству и славе?

Люцифер

А вы – вы братья с Авелем?

Каин

Мы братья.
И братьями останемся. Но если б
И не были мы братьями: дух разве
Подобен нам? Как может враждовать
Бессмертный с бесконечным, превращая
Весь мир в обитель скорби? И за что?

Люцифер

За власть.

Каин

За власть? Но ты мне говорил,
Что оба вы бессмертны.

Люцифер

Да, бессмертны.

Каин

А голубая бездна бездн пространства
Не бесконечна разве?

Люцифер

Бесконечна.

Каин

Так царствуйте в ней оба, не враждуя.
Иль тесно вам?

Люцифер

Мы царствуем в ней оба.

Каин

Но зло творит – один из вас.

Люцифер

Который?

Каин

Ты! Разве ты не можешь на земле
Творить добро? Ты можешь, но не хочешь.

Люцифер

Пусть он творит. Вы – не мои создания,
Он создал вас.

Каин

Так предоставь отцу
Его детей, им созданных. Открой мне
Свою или его обитель.

Люцифер

Я
Могу открыть их обе. Но настанет
Великий час, когда одна из них
Откроется навеки пред тобою.

Каин

Но не теперь?

Люцифер

Твой смертный ум не в силах
Постигнуть даже малого – того,
Что видел ты. И ты стремишься к Тайне!
К великой ипостати Двух Начал!
К их сокровенным тронам! Прах! Ты дерзок.
Но зреть хотя одно из них – есть смерть.

Каин

Пусть я умру – но только бы узреть их!

Люцифер

Речь сына той, что обольстилась змием!
Но эта смерть – бесплодной смертью будет.

Каин

Но разве смерть их не откроет?

Люцифер

Смерть –
Преддверие.

Каин

Так, значит, смерть приводит
К чему-нибудь разумному! Теперь
Я менее боюсь ее.

Люцифер

И, значит,
Тебе пора на землю возвратиться,
Где должен ты умножить род Адама,
Есть, пить, любить, дрожать за жизнь, работать,
Смеяться, плакать, спать – и умереть.

Каин

Но если так, скажи, с какою целью
Блуждали мы?

Люцифер

Но ты стремился к знанью;
А все, что я открыл тебе, вещает:
Познай себя.

Каин

Увы! Я познаю,
Что я – ничто.

Люцифер

И это непреложный
Итог людских познаний. Завещай
Свой опыт детям, – это их избавит
От многих мук.

Каин

Высокомерный дух!
Ты властен, да; но есть и над тобою
Владыка.

Люцифер

Нет! Клянуся небом, где
Лишь он царит! Клянуся бездной, сонмом
Миров и жизней, нам подвластных, – нет!
Он победитель мой – но не владыка,
Весь мир пред ним трепещет, – но не я:
Я с ним в борьбе, как был в борьбе и прежде,
На небесах. И не устану вечно
Бороться с ним, и на весах борьбы
За миром мир, светило за светилом,
Вселенная за новою вселенной
Должна дрожать, пока не прекратится
Великая нещадная борьба,
Доколе не погибнет Адонай
Иль враг его! Но разве это будет?
Как угасить бессмертие и нашу
Неугасимую взаимную вражду?
Он победил, и тот, кто побежден им,
Тот назван злом; но благ ли победивший?
Когда бы мне досталась победа,
Злом был бы он. Вот вас, еще недавно
Пришедших в мир, еще столь юных смертных,
Какими одарил он вас дарами?

Каин

Немногими – и горькими.

Люцифер

Вернись же
К своей земле, вкуси и остальных
Его небесных милостей. Деятель
Добра и зла не создал их такими,
Добро и зло суть сами по себе.
Но, если он дает добро, – зовите
Его благим; а если от него
Исходит зло, то изыщите верный
Источник зла, – не говорите: это
Свершил злой дух. Один лишь добрый дар
Дало вам древо знания – ваш разум:
Так пусть он не трепещет грозных слов
Тирана, принуждающего верить
Наперекор и чувству и рассудку.
Терпи и мысли – созидай в себе
Мир внутренний, чтоб внешнего не видеть:
Сломи в себе земное естество
И приобщись духовному началу!

Исчезают.

Акт третий

Сцена первая

Местность близ Эдема.

Каин и Ада.

Ада

Иди тихонько, Каин.

Каин

Хорошо;
Но почему?

Ада

Вон там под кипарисом
Спит на листве наш мальчик.

Каин

Кипарис!
Угрюмый он, зачем ты положила
Под ним дитя? Он смотрит так, как будто
Оплакивает то, что осеняет.

Ада

Но он ветвист, под ним темно, как ночью,
Он точно создан, чтобы охранять
От зноя спящих.

Каин

Спящих сном последним
И вечным. Но веди меня к Эноху.

Подходят к ребенку.

Как он красив! Как разгорелись щечки!
Румянец их не уступает розам,
Рассыпанным под ним.

Ада

А посмотри,
Как хорошо полуоткрыл он губки!
Нет, не целуй; он скоро сам проснется,
Он выспался, но жаль будить!

Каин

Да, правда,
Я удержусь пока от искушенья.
Он спит и улыбается! Спи мирно
И улыбайся, маленький наследник
Земли такой же юной, как ты сам!
Спи, улыбаясь! Ты переживаешь
Часы и дни невинности и счастья.
Ты не срывал запретного плода,
Не знаешь наготы своей. Настанет
И для тебя час кары за какой-то
Тяжелый грех, которого ни ты,
Ни я не совершали; но покуда
Спи безмятежно! Щечки покраснелись,
Из-под ресниц трепещущих и темных,
Как кипарис, колеблемый над ним,
Просвечивает ясною лазурью
Дремотная улыбка... Спит и грезит –
О чем? О рае!.. Грезь о нем, мечтай,
Мой мальчик обездоленный! Он – греза:
Уж никогда и никому из смертных
Не быть в его обители блаженной!

Ада

Не сетуй, милый Каин, не тоскуй
О прошлом над малюткою! Что пользы
Весь век Эдем оплакивать? Ужели
Нельзя создать другого?

Каин

Где?

Ада

Где хочешь:
Раз ты со мной – я счастлива без рая.
Иль у меня нет мужа, нет малюток;
Родителя и брата, кроткой Селлы
И матери, которой мы столь многим
Обязаны – помимо жизни?

Каин

Смертью
Мы тоже ей обязаны.

Ада

О Каин!
Тот гордый дух, с которым ты ходил,
Тебя еще сильнее опечалил.
Я думала, что дивные виденья,
Которые тебе он обещал,
Тьмы тем миров, отживших и живущих,
Которые ты видел, успокоят,
Насытят ум твой знанием; но вижу,
Что дух принес одно лишь зло. И все же
Я благодарна духу и готова
Простить его за то, что ты вернулся
Так скоро к нам.

Каин

Так скоро?

Ада

Да, прошло
Лишь два часа с тех пор, как мы расстались,
Лишь два часа – по солнцу.

Каин

Я вблизи
Смотрел на это солнце, созерцал
Миры, что озарялись им когда-то,
Но никогда не озарятся больше,
И те миры, что солнечного света
Не ведали от века: мне казалось,
Что протекли года.

Ада

Едва часы.

Каин

Так, значит, дух наш время измеряет
Тем, что он видит: радость или скорбь,

Величье иль ничтожество; я видел
Деяния бессмертных, созерцал
Угасшие светила и, взирая
На вечное, участвовал, казалось,
И сам в его величии; теперь
Я снова – прах и снова понимаю,
Что я – ничто: дух истину сказал мне.

Ада

Нет, дух сказал неправду. Сам Иего́ва
Не говорил нам этого.

Каин

Но создал
Ничтожеством; он поманил нас раем,
Бессмертием, но сотворил из праха
И в прах вернет – скажи, за что?

Ада

Ты знаешь,
За грех отца.

Каин

А мы – в чем мы виновны?
Он согрешил, пусть он и умирает.

Ада

Нехорошо сказал ты; это мысли
Того, кто был с тобой, а не твои.
Я умереть готова – лишь бы жили
Отец и мать.

Каин

Да, – если б можно было
Насытить этой жертвой Ненасытность
И если б этот мирно спящий крошка
И те, что от него произойдут,
Не испытали смерти и страданий.

Ада

Как знать, не будет ли когда-нибудь
Такою искупительною жертвой
Спасен весь род Адама?

Каин

Искупленье!
Но в чем мы виноваты? Почему

Я должен пасть за грех, не мной свершенный,
Иль от другого жертвы ждать за этот
Таинственный и безымянный грех,
Весь состоявший только в жажде знания?

Ада

Увы! Ты говоришь, что ты не грешен,
А сам грешишь: твои слова – кощунство.

Каин

Тогда оставь меня.

Ада

О, никогда,
Хотя бы сам творец тебя оставил!

Каин

А это что такое?

Ада

Алтари.
Воздвигнутые Авелем. Он хочет
Свершить с тобою жертву.

Каин

Алтари!
А кто ему сказал, что я согласен
Делить его корыстные молитвы,
В которых вовсе нет благоговенья,
А есть лишь страх? Мне алтаря не нужно,
Мне нечего сжигать на нем.

Ада

Но богу
Всяк дар угоден, если этот дар
Приносится с душевным сокрушеньем
И кротостью: сожги цветы, плоды...

Каин

Я сеял, рыл, я был в поту, согласно
Проклятию; но что еще мне делать?
Смиранным быть – среди борьбы с стихией
За мой насыщенный хлеб? Быть благодарным
За то, что я во прахе пресмыкаюсь,
Зане я прах и возвращусь во прах?
Что я? Ничто. И я за это должен
Ханжою быть и делать вид, что очень

Доволен мукой? Каяться – но в чем?
В грехе отца? Но этот грех давно уж
Искуплен тем, что претерпели мы,
И выше всякой меры искупится
Веками мук, предсказанных в проклятье.
Он сладко спит, мой мальчик, и не знает,
Что в нем *одном* – зачатки вечной скорби
Для *мириад* сынов его! О, лучше б
Схватить его и раздробить о камни,
Чем дать ему...

Ада

Мой бог! Не тронь дитя –
Мое дитя! *Твое* дитя! О Каин!

Каин

Не бойся! За небесные светила,
За власть над ними я не потревожу
Ничем малютку, кроме поцелуя.

Ада

Но речь твоя ужасна!

Каин

Я сказал,
Что лучше умереть, чем жить в мученьях
И завещать их детям! Если ж это
Тебя пугает, скажем мягче: лучше б
Ему совсем на свет не появляться.

Ада

О нет, не говори так! А блаженство
Быть матерью – кормить, любить, лелеять?
Но чу! Он просыпается. Мой милый!

(Подходит к ребенку.)

О, посмотри, как полон жизни он,
Сил, красоты, здоровья! Как похож
Он на меня – и на тебя, но только
Когда ты кроток: мы ведь все тогда
Похожи друг на друга; правда, Каин?
Люби же нас – и самого себя,
Хоть ради нас, – ты нам обоим дорог!
Смотри, он засмеялся, протянул
К тебе ручонки, смотрит ясным взором
В твои глаза... Не говори о муках!
Тебе могли бы сами херувимы
Завидовать, – они детей не знают.
Благослови его.

Каин

Благословляю
Тебя, малютка, если только может
Благословенье смертного отринуть
Проклятие, завещанное змием.

Ада

Аминь. Благословение отца
Сильнее пресмыкающейся твари.

Каин

Я не уверен в этом. Но да будет
Над ним благословение!

Ада

Наш брат
Идет сюда.

Каин

Твой брат.

Авель

(входя)

Брат Каин, здравствуй!
Господний мир с тобою!

Каин

Авель, здравствуй.

Авель

Сестра мне говорила, что с тобою
Беседовал какой-то дух. Он ангел?

Каин

Нет.

Авель

Так зачем общаться с ним? Быть может,
Он враг творца.

Каин

И друг людей. А был ли
Таким творец, как ты назвал его?

Авель

Назвал его! Ты, Каин, нынче странный.
Иди, сестра, – мы совершим сожженье.

Ада

Прости на время, Каин! Поцелуй
Малютку-сына, – пусть его невинность
И Авеля молитвы возвратят
Тебе и мир и веру!

(Уходит с ребенком.)

Авель

Где ты был?

Каин

Не знаю.

Авель

Как? Но, может быть, ты знаешь,
Что видел ты?

Каин

Бессмертие и смерть,
Безмерность и величие пространства,
Тьму тем миров, отживших и живущих,
Вихрь стольких ослепляющих миров,
Солнц, лун и звезд, в их громозвучных сферах,
Что я к беседе с смертным не способен;
Оставь меня.

Авель

Твое лицо пылает,
Твои глаза сверкают странным блеском,
Твои слова звучат необычайно.
Скажи, что это значит?

Каин

Это значит...
Прошу тебя, оставь меня!

Авель

Не прежде,
Чем мы с тобой помолимся творцу
И совершим пред ним сожженье.

Каин

Авель,
Прошу тебя – сверши его один.
Тебя Иего́ва любит.

Авель

Я надеюсь,
Обоих нас.

Каин

Но более тебя.
Я не смущаюсь этим: ты достойный
Слуга творца, – так и служи ему,
Но без меня.

Авель

Я был бы нечестивый
Сын нашего великого отца,
Когда б не почитал тебя, как младший,
И не просил тебя пред алтарем
Главенствовать, как старшего.

Каин

Но я
Главенства никогда не домогался.

Авель

Тем мне грустней. Не откажи хоть нынче
Принять его: твоя душа томится
Под гнетом наваждения; молитва
Тебя бы успокоила.

Каин

Нет, Авель.
Ничто не даст душе моей покоя,
Да я и никогда, со дня рожденья,
Не знал его. Уйди, оставь меня,
Иль я уйду, чтоб не мешать тебе
Идти к своей благочестивой цели.

Авель

Нет, мы должны идти к ней неразлучно.
Молю тебя об этом!

Каин

Я согласен.

Что нужно делать?

Авель

Выбери один
Из алтарей.

Каин

Но я доволен буду
Любым из них: я вижу в них лишь камень
Да свежий дерн.

Авель

И все же нужно выбрать.

Каин

Я выбрал.

Авель

Этот? Он и подобает
Тебе как первородному: он выше.
Теперь готовь дары для всесожженья.

Каин

А где твои?

Авель

Вот первенцы от стад:
Смиренная пастушеская жертва.

Каин

Я не имею стад, я земледелец,
И возложу на жертвенник плоды –
То, чем земля мой труд вознаграждает.

Разводят на алтарях огонь.

Авель

Ты, брат, как старший, должен принести
Хвалу творцу и всесожженье первый.

Каин

Нет, ты начни, – я в этом неискусен;
Я буду подражать тебе.

Авель

(преклоняя колени)

О боже!
Ты, кто вдохнул в нас дуновенье жизни,
Кто создал нас, благословил и не дал
Погибнуть чадам грешного отца,
Которые погибли бы навеки,
Когда бы правосудие твое
Не умерялось благостью твоею
К великим их неправдам! Боже вечный,
Даятель жизни, света и добра,
Единый вождь, ведущий все ко благу
Своею всемогущей, сокровенной,
Но непреложной благостью! Прими
От первого из пастырей смиренных
Сих первенцев от первородных стад,
Дар недостойный господя, ничтожный,
Как все пред ним ничтожно, но несомый
Как дань благодарения того,
Кто, пред лицом твоих небес пресветлых,
Слагая жертву эту, повергает
Свой лик во прах, от коего он создан,
И воздает хвалу тебе – вовеки!

Каин

(не преклоняя колен)

Дух, для меня неведомый! Всесильный
И всеблагой – для тех, кто забывает
Зло дел твоих! Иего́ва на земле!
Бог в небесах, – быть может, и другое
Носящий имя, – ибо бесконечны
Твои дела и свойства! Если нужно
Мольбами ублажать тебя, – прими их!
Прими и жертву, если нужно жертвой
Смягчать твой дух: два существа повергли
Их пред тобою. Если кровь ты любишь,
То вот алтарь дымящийся, облитый,
Тебе в угоду, кровью жертв, что тлеют
В кровавом фимиаме пред тобою.
А если и цветущие плоды,
Взлелеянные солнцем лучезарным,
И мой алтарь бескровный удостоишь
Ты милостью своею, то возри
И на него. Тот, кто его украсил,
Есть только то, что сотворил ты сам,
И ничего не ищет, что дается
Ценой молитвы. Если дурен он,
Рази его, – ведь ты могуч и властен
Над беззащитным! Если же он добр,
То пощади – иль порази, – как хочешь,
Затем что все в твоих руках: ты даже
Зло именуешь благом, благо – злом,
И прав ли ты – кто знает? Я не призван
Судить о всемогуществе: ведь я
Не всемогущ, – я раб твоих велений!

Огонь на жертвеннике Авеля разрастается в столп ослепительного пламени и поднимается к небу; в то же время вихрь опрокидывает жертвенник Каина и далеко раскидывает по земле плоды.

Авель

(коленопреклоненный)

О брат, молись! Ты прогневил Иего́ву:
Он по земле твои плоды рассеял.

Каин

Земля дала, пусть и возьмет земля,
Чтоб возродить их семя к новой жизни.
Ты угодил кровавой жертвой больше:
Смотри, как небо жадно поглощает
Огонь и дым, насыщенные кровью.

Авель

Не думай обо мне; пока не поздно,
Готовь другую жертву для сожженья.

Каин

Я больше жертв не буду приносить
И не стерплю...

Авель

(встает с колен)

Брат! Что ты хочешь делать?

Каин

Низвергнуть в прах угодника небес,
Участника в твоих молитвах низких –
Твой жертвенник, залитый кровью агнцев,
Вскормленных и вспоенных для закланья.

Авель

(удерживая Каина)

Не прибавляй безбожных дел к безбожным
Словам. Не тронь алтарь: он освящен
Божественной отрадою Иего́вы,
Его благоволением.

Каин

Его!
Его отрадой! Так его отрада –
Чад алтарей, дымящихся от крови,
Страдания блеющих маток, муки
Их детищ, умиравших под твоим

Ножом благочестивым! Прочь с дороги!

Авель

Брат, отступись! Ты им не завладеешь
Насильственно; но если ты намерен
Для новой жертвы взять его – возьми.

Каин

Для жертвы? Прочь, иль этой жертвой будет...

Авель

Что ты сказал?

Каин

Пусти! Пусти меня!
Твой бог до крови жаден, – берегись же:
Пусти меня, не то она прольется!

Авель

А я во имя бога становлюсь
Меж алтарем священным и тобою:
Он господу угоден.

Каин

Если жизнью
Ты дорожишь, – уйди и не мешай мне.
Иначе я...

Авель

Бог мне дороже жизни.

Каин

(поражая Авеля в висок головней, которую схватил с жертвенника)

Так пусть она и будет жертвой богу!
Он любит кровь.

Авель

(падая)

Брат! Что ты сделал?!

Каин

Брат!

Авель

О боже сил! Прими мой дух смиренный
И отпусти убийце: он не ведал,
Что делает. Брат Каин, дай мне руку –
Дай руку мне... скажи несчастной Селле...

Каин

(после минутного оцепенения)

Дать руку?.. Руку?.. В чем моя рука?

(Медленно озирается после долгого молчания.)

Где я? Один! Где Авель? Каин, где ты?
Возможно ли, что Каин – я? Проснись,
Встань, брат! Скажи, зачем ты лег на землю?
Теперь не ночь... И отчего ты бледен?
Брат, что с тобой?.. Ты был еще сегодня
Так полон жизни! Авель, не шути, –
Прошу тебя. Удар мой был ужасен,
Но он ведь не смертелен... Ах, зачем
Ты шел ему навстречу? Я ударил,
Но ведь ударил только! О, я знаю, –
Ты хочешь напугать меня! Вздохни,
Пошевелись, – хоть раз пошевелись!
Вот так... вот так... Ты дышишь! Брат! Дыши!
О боже мой!

Авель

(едва слышно)

Кто здесь взывает к богу?

Каин

Убийца твой.

Авель

Пусть бог ему отпустит.
Брат, не забудь о Селле; у нее
Брат – только ты.

(Умирает.)

Каин

А у меня нет брата!..
Но он глядит! Так он не мертв? Ведь смерть
Подобна сну, а сон смыкает очи...
Вот и уста открыты – значит, дышат?
Но нет, они не дышат!.. Сердце, сердце, –
Послушаю, не бьется ль сердце?.. Нет!
Так где же я? Во сне иль наяву,
В каком-то страшном мире? Все кружится
В глазах моих... А это что? Роса?

(Касается рукой лба, потом смотрит на нее.)

Нет, не роса! Нет, это кровь – кровь брата,
И эта кровь – мной пролита! – На что же
Мне жизнь теперь, когда я отнял жизнь,
Исторгнул дух из столь родной мне плоти?
Но он не мертв! Смерть разве есть молчанье?
Нет, встанет он, – я буду ждать, я буду
Стеречь его. Ведь жизнь не столь ничтожна,
Чтоб так легко угаснуть. И давно ли
Он говорил?.. Скажу ему... Но что?
Брат!.. Нет, не так – он мне не отзовется
На этот зов: брат не убил бы брата...
И все-таки... И все-таки – хоть слово!
Хоть только звук из милых уст, чтоб я
Мог выносить звук собственного слова!

Входит Селла.

Селла

Я слышу стон, – кто стонет здесь? Вон Каин,
Вон Авель распростертый... Каин, что ты
Здесь делаешь? Он задремал? О небо!
Он бледен, он... Нет, то не кровь! Откуда
Возьмется кровь? Откуда? Авель, Авель!
Что это значит? Что с тобой?.. Не дышит,
Не движется: рука скользит, как камень,
Из рук моих! О бессердечный Каин!
Как мог ты не поспеть к нему на помощь?
Ты б отразил убийцу, ты могуч,
Ты должен был спасти его... Родитель!
Мать! Ада! где вы? В мире – Смерть!

(Убегает, призывая родителей.)

Каин

Да, смерть!
И это я, который ненавидел
Так страстно смерть, что даже мысль о смерти
Всю жизнь мне отравила, – это я
Смерть в мир призвал, чтоб собственного брата
Толкнуть в ее холодные объятия!
Я наконец проснулся, – обезумил
Меня мой сон, – а он уж не проснется!

Входят Адам, Ева, Ада и Селла.

Адам

Я прихожу на скорбный голос Селлы.
Что вижу я? Так это правда? Сын мой!
Вот, женщина, след змия!

Ева

О, молчи,

Молчи о нем: глубоко зубы змия
Впились мне в грудь! Мой ненаглядный Авель!..
Иего́ва! Наказанье превышает
Мои грехи!

Адам

Кто это сделал, Каин?
Ты был при нем, – скажи, кто это сделал?
Враждебный ли нам ангел отступивший
От господа, иль дикий зверь лесной?

Ева

Ах, в этой тьме, как молния, сверкает
Зловещий свет: вон головня, – смотрите,
Она в крови!

Адам

Скажи хоть слово, Каин,
Скажи и убеди нас, что в несчастье
Мы не вдвойне несчастны.

Ада

Отвечай им,
Скажи, что ты невинен.

Ева

Он виновен,
Теперь я это вижу; он поник
Преступной головой и закрывает
Свирепый взор кровавыми руками.

Ада

Мать, ты несправедлива... Каин, что же
Ты не рассеешь страшных обвинений,
Сорвавшихся с уст матери в минуту
Безумных мук?

Ева

Внемли мне, о Иего́ва!
Будь проклят он проклятьем вечным змия!
Да будет он снедаем вечной скорбью,
Да будет...

Ада

Мать! Остановись, – он сын твой,
Он мой супруг, он брат мой...

Ева

Он лишил
Тебя родного брата, Селлу – мужа,
Меня – родного сына. Будь же он
Навеки скрыт от глаз моих! Все узы
Я разрываю с ним, не пощадившим
Связь братских уз. О смерть! Не я ль ввела
Тебя в наш мир? Зачем же не *меня* ты
Взяла от мира?

Адам

Ева! Ты доводишь
Свою печаль до ропота на бога.
Наш тяжкий рок был нам давно предсказан,
И вот сбылось реченное, – склоним же
Свою главу пред господом: да будет
Его святая воля!

Ева

Не господь –
Нет, это он, вот этот призрак Смерти,
Которого на свет я породила,
Чтоб он усеял землю мертвецами, –
Поверг его! Да будут же над ним
Проклятья всех живущих, и в мученьях
Пусть он бежит в пустыню, как бежали
Из рая мы, пока родные дети
Не умертвят братоубийцу! Пусть
Горящими мечами херувимов
Преследуем он будет дни и ночи!
Пусть все плоды земные превратятся
В его устах во прах и пепел – змеи
Устелют все пути его, – листву,
Где он главу усталую преклонит,
Усеют скорпионы! Пусть он грезит
Во сне своею жертвой, наяву –
Зрит лишь одно – зловещий образ Смерти!
Пусть все ручьи, когда, сгорая жаждой,
Прильнет он к ним нечистыми устами,
Ручьями крови станут! Пусть стихии
Его врагами будут! Пусть живет он
В мучениях, в которых умирают,
А смерть ему пусть будет хуже смерти!
Сгинь с глаз, братоубийца! Этот звук
Отныне мир заменит словом *Каин*,
И будет ненавистен он вовеки
Для мириад сынов твоих. Пусть всюду,
Где ступишь ты, трава иссохнет! Пусть
Зеленый лес тебе откажет в сени,
Земля – в жилище, прах – в могиле, солнце –
В сиянии и небеса – в их боге!

(Уходит.)

Адам

Иди от нас: мы жить не можем вместе.
Иди! Оставь усопшего – отныне
Я одинок – мы не должны встречаться.

Ада

Отец, будь милосерд! Не прибавляй
К проклятьям Евы нового проклятья!

Адам

Я не клянусь. Его проклятье – совесть.
Селла! Идем.

Селла

Мой долг – остаться здесь,
Над телом мужа.

Адам

Мы сюда вернемся,
Дай лишь уйти тому, кто уготовал
Тебе твой долг ужасный.

Селла

Дай хоть раз
Поцеловать мне хладный прах и эти
Уста, навек остывшие. О Авель!

Уходят Адам и Селла.

Ада

Ты слышал, Каин: мы должны идти.
Я в путь уже готова, – остается
Нам взять детей. Я понесу Эноха,
Ты – девочку. Нам надо до заката
Найти ночлег, чтоб не идти пустыней
Под кровом тьмы. Но ты молчишь, не хочешь
Ответить мне – твоей супруге, Аде?

Каин

Оставь меня.

Ада

Но ты оставлен всеми!

Каин

И ты оставь. Ты разве не страшишься
Жить с Каином, с убийцей?

Ада

Я страшусь
Лишь одного – с тобой разлуки. Трепет
Внушает мне твой тяжкий грех, но мне ли
Судить его? Судья – всевышний.

Голос

Каин!

Ада

Ты слышишь голос?

Голос

Каин! Каин!

Ада

Слышишь?
То голос ангела.

Входит ангел господень.

Ангел

Где брат твой, Авель?

Каин

Я разве сторож Авеля?

Ангел

О Каин!
Что сделал ты? Глас неповинной крови
Ко господу взывает. Проклят ты
Отныне всей землею, что отверзла
Свои уста, чтоб эту кровь приять.
За тяжкий труд она тебе отныне
Не даст плода. Скитальцем бесприютным
Ты будешь жить отныне.

Ада

Он не в силах
Перенести такого наказания;
Вот ты изгнал его с лица земли,
И скроется он от лица господня,
Изгнанник и скиталец на земле,
И будет беззащитен: всякий встречный

Убьет его.

Каин

О, если бы! Но кто
Убьет меня? Кто встретит на безлюдной,
Пустой земле?

Ангел

Но ты – убийца брата:
Кто может защитить тебя от сына?

Ада

Будь милосерд, пресветлый! Как помыслить,
Что эта грудь скорбящая питает
Отцеубийцу лютого?

Ангел

Он будет
Тогда лишь тем, чем был его отец.
Грудь Евы не питала ли в дни оны
Того, кто здесь теперь лежит во прахе?
Братоубийца может породить
Отцеубийц. Но, этого не будет:
Мой бог велит мне положить печать
На Каина, чтоб он в своих скитаньях
Был невредим. Тому в семь раз воздастся,
Кто посягнет на Каина. Приблизься.

Каин

Скажи, зачем?

Ангел

Затем, чтоб заклеить
Твое чело, да огражден ты будешь
От рук убийц.

Каин

Нет, лучше смерть!

Ангел

(налагая клеймо на чело Каина)

Ты должен
И будешь жить.

Каин

Мое чело пылает,

Но мозг горит сильнее во сто крат.

Ангел

Строптив ты был и жесток с дня рожденья,
Как почва, над которою отныне
Ты осужден трудиться; он же – кроток,
Как овцы стад, которые он пас.

Каин

Я был зачат в дни первых слез о рае,
Когда отец еще скорбел о нем,
А мать была еще под властью змия.
Я сын греха; я не стремился к жизни,
Не сам создал свой темный дух; но если б
Я мог своею собственною жизнью
Дать жизнь ему... Ужели даже смерть
Не примет этой жертвы? Он восстанет,
Я буду мертв; он был угоден богу,
Так пусть он вновь воспримет жизнь, а я
Лишусь ее томительного ига!

Ангел

Ты должен жить. Твой грех – неизгладимый.
Иди, исполни дни свои – и впредь
Не омрачай их новыми грехами.

(Исчезает.)

Ада

Он отошел. Пойдем и мы. Я слышу
Плач нашего малютки.

Каин

О, малютка
Не знает сам, о чем он плачет; я же,
Проливший кровь, уж не могу лить слез,
Хотя всех рек Эдема не хватило б,
Чтоб смыть мой грех. Уверена ли ты,
Что от меня мой сын не отвернется?

Ада

Когда б не так, то я...

Каин

Оставь угрозы,
Немало мы внимали им; иди,
Бери детей – я буду за тобою.

Ада

Я одного тебя здесь не оставлю.
Уйдем отсюда вместе.

Каин

О безмолвный
И вечный обличитель! Ты, чья кровь
Весь мир мне затемняет! Я не знаю,
Что ты теперь; но если взор твой видит,
Чем стал твой брат, то ты простишь того,
Кому ни бог, ни собственное сердце
Уж не дадут забвения. Прощай!
Я не дерзну, не должен прикасаться
К тому, чем стал ты от руки моей.
Я, кто с тобой рожден одной утробой,
Одною грудью вскормлен, кто так часто
С любовью братской к сердцу прижимал
Тебя в дни нашей юности, – я больше
Тебя уж не увижу и не смею
Исполнить то, что должен был исполнить
Ты для меня – сложить твой прах в могилу,
Изрытую для смертного впервые,
И кем же? Мной!.. Земля! Земля! За все,
Что ты мне даровала, я дарую
Тебе лишь труп!.. Теперь идем в пустыню.

Ада

(припадая к телу Авеля и целуя его)

Ужасною, безвременною смертью
Погиб ты, брат! Из всех, в слезах скорбящих,
Лишь я одна скрываю скорбь. Мой долг
Не проливать, но осушать те слезы,
И все ж никто так не скорбит, как Ада,
Не только о тебе, но и о том,
Кто твой убийца... Каин! Я готова
Делить твои скитания.

Каин

К востоку
Лежит нам путь. Там мертвый край, он больше
Пристоен мне.

Ада

Веди! Ты должен быть
Моим вождем отныне, и да будет
Твоим – наш бог. Идем, возьмем детей.

Каин

А он – он был бездетен. И навеки
Иссяк источник кроткий, что потомством

Украсить мог супружеское ложе
И умягчить сердца моих потомков,
Соединивши чад своих с моими.
О Авель, Авель!

Ада

Мир ему!

Каин

А мне?

Уходят.

1821

**Джордж Гордон Байрон
Манфред**

(Драматическая поэма)

There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.
Shakespeare²⁵

Dramatis personae

Манфред.
Фея Альп.
Охотник за сернами.
Ариман.
Аббат св. Маврикия.
Немезида.
Мануэль.
Парки.
Герман.
Духи.

Действие происходит в Бернских Альпах, частью в замке Манфреда, частью в горах.

Акт первый

Сцена первая

25

Есть на земле и в небе то, что вашей
Не снилось философии, Горацио.

Готическая галерея. – Полночь.

Манфред

(один)

Ночник пора долить, хотя иссякнет
 Он все-таки скорей, чем я усну;
 Ночь не приносит мне успокоенья
 И не дает забыться от тяжелых,
 Неотразимых дум: моя душа
 Не знает сна, и я глаза смыкаю
 Лишь для того, чтоб внутрь души смотреть.
 Не странно ли, что я еще имею
 Подобие и облик человека,
 Что я живу? Но скорбь – наставник мудрых;
 Скорбь – знание, и тот, кто им богаче,
 Тот должен был в страданиях постигнуть,
 Что древо знания – не древо жизни.
 Науки, философию, все тайны
 Чудесного и всю земную мудрость
 Я все познал, и все постиг мой разум,
 Что пользы в том? – Я расточал добро
 И даже сам встречал добро порою;
 Я знал врагов и разрушал их козни,
 И часто враг смирялся предо мной,
 Что пользы в том? – Могущество и страсти,
 Добро и зло – все, что волнует мир,
 Все для меня навеки стало чуждым
 В тот адский миг. Мне даже страх неведом,
 И осужден до гроба я не знать
 Ни трепета надежд или желаний,
 Ни радости, ни счастья, ни любви.
 Но час настал.

Таинственные силы!

Властители вселенной безграничной.
 Кого искал я в свете дня и в тьме!
 Вы, в воздухе сокрытые, – незримо
 Живущие в эфире, – вы, кому
 Доступны гор заоблачные выси,
 И недра скал, и бездны океана,
 Во имя чар, мне давших власть над вами,
 Зову и заклинаю вас: явитесь!

Молчание.

Ответа нет. – Так именем того,
 Кто властвует над вами, – начертаньем,
 Которое вас в трепет повергает,
 Велением бессмертного! – Явитесь!

Молчание.

Ответа нет. – Но, духи тьмы и света,
 Вам не избежать чар моих: той силой,
 Что всех неотразимее, – той властью,

Что рождена на огненном обломке
Разрушенного мира, – на планете,
Погибшей и навеки осужденной
Блуждать среди предвечного пространства,
Проклятием, меня гнетущим, – мыслью,
Живущею во мне и вокруг меня,
Зову и заклинаю вас: явитесь!

В темном конце галереи появляется неподвижная звезда и слышится голос, который поет.

Первый дух

Смертный! На луче звезды
Я спустился с высоты.
Силе чар твоих послушный,
Я покинул мир воздушный,
Мой чертог среди эфира,
Нежно сотканный дыханьем
Туч вечерних и сияньем
Золотистого сафира
В предзакатной тишине.
Смертный! Что велишь ты мне?

Второй дух

Монблан – царь гор, он до небес
Возносится главой
На троне скал, в порфире туч,
В короне снеговой.
Лесами стан его повит.
Громовый гул лавин
В могучей длани держит он
Над синей мглой долин.
Века веков громады льдов
Вдоль скал его ползут,
Но чтоб низвергнуться во прах
Моих велений ждут.
Я грозный повелитель гор,
Единым словом я
До недр их потрясти могу,
Кто ты, чтоб звать меня?

Третий дух

В тишине заповедной,
В синей бездне морей,
Где сирена вплетает
Перлы в зелень кудрей,
Где во мраке таится
Водяная змея,
Гулом бури твой голос
Долетел до меня.
Мой чертог из коралла
Он наполнил собой,
Что ты хочешь, о смертный?

Дух морей пред тобой!

Четвертый дух

Где недра вулканов
Кипят в полусне
И лава клокочет
В гудящем огне,
Где Анды корнями
Ушли в глубину
Вершинами гордо
Стремясь в вышину,
Во мраке подземном
Тебе я внимал,
На зов твой покорно
Из мрака предстал!

Пятый дух

Я дух и повелитель бурь,
Я властелин ветров;
Свой путь к тебе я совершал
Средь молний и громов.
Через океан нес ураган
Меня на голос твой,
Плыл в море флот, но в бездне вод
Он будет пред зарей!

Шестой дух

Дух Ночи пред тобой, дух темноты
Зачем меня терзаешь светом ты?

Седьмой дух

Твоей звездою правил я
В те дни, когда еще земля
Была не создана. То был
Мир дивный, полный юных сил,
Мир, затмевавший красотой,
Теченьем царственным своим
Все звезды, что блистали с ним
В пустыне неба голубой.
Но час настал – и навсегда
Померкла дивная звезда!
Огнистой глыбой без лучей,
Зловещим призраком ночей,
Без цели мчится вдаль она,
Весь век блуждать осуждена.
И ты, родившийся под той
Для неба чуждою звездой,
Ты, червь, пред кем склоняюсь я,
В груди презренье затая,
Ты, властью, данною тебе,
Чтобы предать тебя Судьбе,

Призвавший лишь на краткий миг
Меня в толпу рабов своих,
Скажи, сын праха, для чего
Ты звал владыку своего?

Семь духов

Владыки гор, ветров, земли и бездн морских,
Дух воздуха, дух тьмы и дух твоей судьбы
Все притекли к тебе, как верные рабы,
Что повелишь ты им? Чего ты ждешь от них?

Манфред

Забвения.

Первый дух

Чего – кого – зачем?

Манфред

Вы знаете. Того, что в сердце скрыто.
Прочтите в нем – я сам сказать не в силах.

Дух

Мы можем дать лишь то, что в нашей власти:
Проси короны, подданных, господства
Хотя над целым миром, – пожелай
Повелевать стихиями, в которых
Мы безгранично царствуем, – все будет
Дано тебе.

Манфред

Забвенья – лишь забвенья.
Вы мне сулите многое, – ужели
Не в силах дать лишь одного?

Дух

Не в силах.
Быть может, смерть...

Манфред

Но даст ли смерть забвенью?

Дух

Забвение неведомо бессмертным:
Мы вечны – и прошедшее для нас
Сливается с грядущим в настоящем.
Вот наш ответ.

Манфред

Вы надо мной глумитесь;
Но властью чар, мне давших власть над вами,
Я царь для вас. – Рабы, не забываетесь!
Бессмертный дух, наследье Прометея,
Огонь, во мне зажженный, так же ярок,
Могуч и всеобъемлющ, как и ваш,
Хотя и облечен земною перстью.
Ответствуйте – иль горе вам!

Дух

Мы можем
Лишь повторить ответ: он заключен
В твоих словах.

Манфред

В каких?

Дух

Ты говорил нам,
Что равен нам; а смерть для нас – ничто.

Манфред

Так я напрасно звал вас! Вы не в силах
Иль, не хотите мне помочь.

Дух

Проси:
Мы все дадим, что только в нашей власти.
Проси короны, мощи, долголетия...

Манфред

Проклятие! К чему мне долголетье?
И без того дни долги! Прочь!

Дух

Помедли,
Подумай, прежде чем нас отпустить.
Быть может, есть хоть что-нибудь, что ценно
В твоих глазах?

Манфред

О, нет! Но пред разлукой
Мне хочется увидеть вас. Я слышу
Печальные и сладостные звуки,

Я вижу яркую недвижимую звезду.
Но дальше – мрак. Предстаньте предо мною.
Один иль все, в своем обычном виде.

Дух

Мы не имеем образов – мы души
Своих стихий. Но выбери любую
Из форм земных – и примем мы ее.

Манфред

Нет ничего на всей земле, что б было
Отраднo мне иль ненавистно. Пусть
Сильнейший между вами примет образ,
Какой ему пристойнее.

Седьмой дух

(появляясь в образе прекрасной женщины)

Смотри!

Манфред

О боже! Если ты не наважденье
И не мечта безумная, я мог бы
Опять изведать счастье. О, приди,
Приди ко мне, и снова...

Призрак исчезает.

Я раздавлен!

(Падает без чувств.)

Голос

(произносящий заклинание)

В час, когда молчит волна,
Над волной горит луна,
Под кустами – светляки,
Над могилой огоньки;
В час, когда сова рыдает,
Метеор, скользя, блистает
В глубине ночных небес
И недвижим темный лес,
Властью, силой роковой
Овладею я тобой.
Пусть глубок твой будет сон
Не коснется духа он.
Есть зловещие виденья,
От которых нет спасенья:
Тайной силою пленен,
В круг волшебный заключен,
Ты нигде их не забудешь,
Никогда один не будешь

Ты замрешь навеки в них,
В темных силах чар моих.
И проклятья вещей глас
Уж изрек в полночный час
Над тобой свой приговор:
В ветре будешь ты с тех пор
Слышать только скорбный стон;
Ночью, скорбью удручен,
Будешь солнца жаждать ты;
Но едва из темноты
Выйдет солнце над тобой
Будешь ночи ждать с тоской.
Я в слезах твоих нашла
Яд холодной лжи и зла,
В сердце, полном мук притворных,
Кровь, чернее ядов черных.
Сорвала я с уст твоих
Талисман тлетворный их
Твой коварно-тихий смех,
Как змея, пленявший всех.
Все отравы знаю я,
И сильнее всех – твоя.
Лицемерием твоим,
Сердцем жестким и сухим,
Лживой нежностью очей,
Злобой, скрытою под ней,
Равнодушным безучастьем
К братским горестям, несчастьям
И умением свой яд,
Свой змеино-жадный взгляд
Глубоко сокрыть в себя
Проклинаю я тебя!
Изливаю над тобой
Уготованный судьбой,
Роковой фиал твоих
Мук и горестей земных:
Ни забвенья, ни могилы
Не найдет твой дух унылый;
Заклинанье! – очарован
И беззвучной цепью скован,
Без конца томись, страдай
И в страданьях – увядай!

Сцена вторая

Гора Юнгфрау. – Утро. – Манфред, один на утесах.

Манфред

Сокрылись духи, вызванные мной,
Не принесли мне облегченья чары,
Не помогла наука волшебства.
Я уж не верю в силы неземные,
Они над прошлым власти не имеют,
А что мне до грядущего, покуда

Былое тьмой покрыто? – Мать Земля!
Ты, юная денница, вы, о горы,
Зачем вы так прекрасны? – Не могу
Я вас любить. – И ты, вселенной око,
На целый мир отверстие с любовью.
Ты не даешь отрады только мне!
Вы, груды скал, где я стою над бездной
И в бездне над потоком различаю
Верхи столетних сосен, превращенных
Зияющей стремниною в кустарник,
Скажите мне, зачем над ней я медлю,
Когда одно движенье, лишний шаг
Навеки успокоили бы сердце
В скалистом ложе горного потока?
Оно зовет – но я не внемлю зову.
Оно страшит – но я не отступаю,
Мутит мой ум – и все же я стою:
Есть чья-то власть, что жизнь нам сохраняет,
Что заставляет жить нас, если только
Жить значит пресмыкаться на земле
И быть могилой собственного духа,
Утратив даже горькую отраду
Оправдывать себя в своих глазах!

Пролетает орел.

Могучий царь пернатых, сын эфира,
Превыше туч парящий в поднебесье,
О, если бы мне быть твоей добычей
И пищей для орлят твоих! В лазури
Чернеешь ты, и я тебя чуть вижу,
Меж тем как ты и вниз, и вверх, и вширь
Пронзаешь взором воздух! – Как прекрасен,
Как царственно-прекрасен мир земной,
Как величав во всех своих явлениях!
Лишь мы, что назвались его царями,
Лишь мы, смешенье праха с божеством,
Равно и праху чуждые и небу,
Мрачим своею двойственной природой
Его чело спокойное, волнуясь
То жаждою возвыситься до неба,
То жалкою привязанностью к праху,
Пока не одолеет прах и мы
Не станем тем, чего назвать не смеем,
Что нам внушает ужас. – Чу, свирель!

Вдали слышна свирель пастуха.

Патриархально-сладостные звуки
Далеко раздаются по ущельям,
Сливаясь с колокольчиками стад,
И жадно я внимаю им. – О, если б
Я был незримым духом этих звуков,
Гармонией свободной и живой,
Блаженством бестелесным, что рождается,

Живет и умирает вместе с ними!

Снизу поднимается охотник за сернами.

Охотник

Да, серна здесь промчалась! Но куда?
Как на смех промелькнула и пропала!
Боюсь, что не окупится сегодня
Мой тяжкий труд. – Но кто это вдали?
Он с виду не охотник, а поднялся
На высоту, которой достигают
Лишь лучшие охотники. На нем
Богатый плащ, он мужественно-строен
И горд, как сын свободного народа.
Пойду к нему.

Манфред

(не замечая охотника)

До срока поседеть
От скорбных дум, подобно этим жалким
Обломкам сосен, бурей искривленным,
Погубленным одною зимней вьюгой,
И быть таким, с тоскою вспоминая
Иные дни, и на челе носить
Морщины, что оставили не годы,
А лишь мгновенья, – тяжкие мгновенья,
Ужасные, как вечность! Вы, лавины!
Вы, глыбы льдов! Обруштесь на меня
И поглотите жизнь мою! Я слышу
Ваш непрерывный грохот, но, свергаясь,
Вы губите лишь то, что жаждет жизни:
Цветущий лес иль мирные селенья.

Охотник

С долины поднимаются туманы.
Скажу ему, что нам пора спускаться,
Не то он здесь останется навеки.

Манфред

Вкруг ледников дымится мгла и пахнет
Горящей серой; белыми клубами
К моим ногам вползают облака,
Как пена из пучины преисподней,
С тех жадных волн, что роют берег жизни,
Обремененный грешными, как щебнем.
Я задыхаюсь.

Охотник

Он едва стоит:
Мне нужно подойти к нему тихонько,
Иначе он сорвется.

Манфред

С тяжким гулом
Обрушивались горы, прорывая
Ткань облаков и сотрясая Альпы,
Загромождали горами обломков
Зеленые цветущие долины,
Запруживали реки, низвергаясь,
И в пыль и мглу их воды раздробляли.
Так некогда пал Розенберг. Зачем
Я не стоял тогда в его долинах?

Охотник

Приятель, осторожней! Лишний шаг
И ты простишься с жизнью. Ради бога,
Отдвинься от обрыва.

Манфред

(не слыша охотника)

Как спокойно
Уснул бы я! Мой прах не стал бы жалкой
Игрушкой ветра, не был бы развеян
По скалам и утесам. А теперь
Простите, небеса! О, не смотрите
Вы на меня с такою укоризной
Не для меня вы созданы. – Земля!
Прими меня!

Делает движение броситься со скалы, но охотник внезапно схватывает и удерживает его.

Охотник

Остановись, безумец!
Не оскверняй долин преступной кровью
Иди за мной – я не пущу тебя!

Манфред

Как тяжело мне! – Нет, не держи так крепко
Я изнемог – кружась, мелькают горы
В глазах туман. Зачем ты здесь и кто ты?

Охотник

Скажу, скажу. – Теперь идем – все тонет
В тумане – опирайся на меня
Стань вот сюда – сюда – и придержишь
За этот куст – дай руку и покрепче
Возьми меня за пояс – легче! – так.
Теперь смелей – недалеко до дома
Мы выберемся скоро на тропинку,
Прорытую ручьями. – Прыгай – славно!

Да ты любому горцу не уступишь!

Медленно спускаются по скалам.

Акт второй

Сцена первая

Хижина в Бернских Альпах.

Манфред и охотник.

Охотник

Нет, подожди – тебе еще опасно
Пускаться в путь: ты слишком изнемог,
Ты слаб еще и телом и душою.
Вот отдохнешь – тогда мы и пойдем.
Где ты живешь?

Манфред

Дорога мне известна.
Я в провожатом больше не нуждаюсь.

Охотник

По виду твоему я замечаю,
Что ты из тех, чьи замки так угрюмо
Глядят со скал на хижины в долинах.
Который твой? Я знаю в них лишь входы,
Мне изредка доводится погреться
У очагов их старых темных зал,
За чашей, меж вассалов, но тропинки,
Что с гор ведут к воротам этих замков,
Известны мне с младенчества. Где твой?

Манфред

Не все ль равно?

Охотник

Ну, хорошо, не хмурься,
Прости за спрос. Отведаем вина.
Старинное! Не раз отогревало
Оно меня среди наших ледников
Теперь пускай тебя согреет. – Выпьем!

Манфред

Прочь от меня! – На кубке кровь! – О боже,
Ужели никогда она не сгинет?

Охотник

Какая кровь? Ты бредишь?

Манфред

Наша кровь!

Та, что текла в сердцах отцов и в наших,
Когда мы были юны и любили
Так горячо, как было грех любить,
Та, что встает из праха, обагрят
Мрак, заступивший небо предо мною,
Где нет тебя, а мне не быть – вовеки.

Охотник

Ты странный и несчастный человек;
Но каковы бы ни были страдания,
Каков бы ни был грех твой, есть спасенье:
Терпение, смирение и молитва.

Манфред

Терпение! – Нет, не для хищных птиц
Придуманно терпение: для мулов!
Прибереги его себе подобным,
Я из другой породы.

Охотник

Боже мой!
Да я б не взял бессмертной славы Телля,
Чтоб быть тобой. Но повторяю: в гневе
Спасенья нет; носи свой крест покорно.

Манфред

Я и несу. Ведь я живу – ты видишь.

Охотник

Такая жизнь – болезненные корчи.

Манфред

Я говорю – я прожил много лет,
И долгих лет, но что все это значит
Пред тем, что суждено мне: я столетья,
Я вечность должен жить в неугасимой
И тщетной жажде смерти!

Охотник

Как! Но ты
Совсем не стар: ты средних лет, не больше.

Манфред

Ты думаешь, что наша жизнь зависит
От времени? Скорей – от нас самих.
Жизнь для меня – безмерная пустыня,
Бесплодное и дикое побережье,
Где только волны стонут, оставляя
В нагих песках обломки мачт, да трупы,
Да водоросли горькие, да камни!

Охотник

Увы, он сумасшедший! Без призора
Его нельзя оставить.

Манфред

О, поверь,
Я был бы рад безумию; тогда бы
Все что я вижу, было бы лишь бредом.

Охотник

Что ж видишь ты, иль думаешь, что видишь:

Манфред

Тебя, сын гор, и самого себя,
Твой мирный быт и кров гостеприимный,
Твой дух, свободный, набожный и стойкий,
Исполненный достоинства и гордый,
Затем что он и чист и непорочен,
Твой труд, облагороженный отвагой,
Твое здоровье, бодрость и надежды
На старость безмятежную, на отдых
И тихую могилу под крестом,
В венке из роз. – Вот твой удел. А мой
Но что о нем – во мне уж все убито!

Охотник

И ты б со мною долей поменялся?

Манфред

Нет, друг, я не желаю зла тебе,
Я участью ни с кем не поменяюсь:
Я удручен, но все же выношу
То, что другому было б не под силу
Перенести не только наяву,
Но даже в сновиденье.

Охотник

И с такою
Душой, высокой, нежной, быть злодеем.

Кровавой местию тешиться? – Не верю!

Манфред

О нет – нет – нет! Я только тех губил,
Кем был любим, кого любил всем сердцем,
Врагов я поражал, лишь защищаясь,
Но гибельны мои объятья были.

Охотник

Пусть небо ниспошлет тебе покой
И покаянья сладостные слезы!
Я буду поминать тебя в молитвах.

Манфред

Я не нуждаюсь в них; но состраданья
Отвергнуть не могу. – Я уйду
Пора – прости! Вот золото – ты должен
Его принять. – Не провожай меня
Путь мне знаком, опасность миновала,
Еще раз говорю – не провожай!

Сцена вторая

Нижняя долина в Альпах. – Водопад.

Манфред

Еще не полдень: радуга сияет
В потоке всеми красками небес,
И серебром блистает столп потока,
Свергаясь с высоты и развеваясь
Вдоль скал струями пены светозарной,
Как хвост коня-гиганта, на котором
В виденье Иоанна мчится Смерть.
Один я упиваюсь этой дивной
Игрою вод, и сладость созерцанья
Я разделю в тиши уединенья
Лишь с феей гор. – Я вызову ее.

Зачерпывает на ладонь воды и бросает ее в воздух, вполголоса произнося заклинания. Под радугой водопада появляется Фея Альп.

Прелестный дух, чьи кудри лучезарны,
Чьи очи ослепительны, как солнце,
На чьих ланитах краски так же нежны,
Как цвет ланит уснувшего младенца,
Как алый отблеск летнего заката
На горных льдах, – как девственный румянец
Земли, в объятья неба заключенной!
Прелестный дух, затмивший красотою
Блеск радуги, горящей над потоком,
Дочь Воздуха! Я на твоём челе

В твоём спокойном и безгрешном взоре,
Где светит мир твоей души бессмертной,
С отрадою прочел, что Сын Земли,
Которому таинственные силы
Дозволили вступать в беседы с ними,
Прощен тобой за то, что он дерзнул
Воззвать к тебе и на одно мгновенье
Узреть твой лик.

Фея

Я знаю, Сын Земли,
Тебя и тех, кем награжден ты властью.
Ты человек, свершивший в жизни много
Добра и зла, не ведая в них меры,
И роком на страданья обреченный.
Я этого ждала – чего ты хочешь?

Манфред

Взирать на красоту твою – и только.
Лицо земли мой разум помрачило,
Я в мире тайн убежища искал,
В жилище тех, кто ею управляет,
Но помощи не встретил. Я пытался
Найти в них то, чего они не могут
Мне даровать, – теперь уж не пытаюсь.

Фея

Но что же то, пред чем бессильны даже
Властители незримого?

Манфред

Ты знаешь,
Нет цели повторять.

Фея

Мне непонятны
Твои слова, – я мук твоих не знаю.
Открой мне их.

Манфред

Мне это будет пыткой,
Но все равно, – душа таить устала
Свою тоску. От самых юных лет
Ни в чем с людьми я сердцем не сходилась
И не смотрел на землю их очами;
Их цели жизни я не разделял,
Их жажды честолюбия не ведал,
Мои печали, радости и страсти
Им были непонятны. Я с презреньем

Взирал на жалкий облик человека,
И лишь одно среди созданий праха,
Одно из всех... – но после. Повторяю:
С людьми имел я слабое общенье,
Но у меня была иная радость,
Иная страсть: Пустыня. Я с отрадой
Дышал морозной свежестью на льдистых
Вершинах гор, среди нагих гранитов,
Где даже птицы гнезд свивать не смеют;
Я упивался юною отвагой
В борьбе с волнами шумных горных рек
Иль с бешеным прибоем океана;
Я созерцал с заката до рассвета
Течение звезд, я жадными очами,
До слепоты, ловил блистанье молний
Иль по часам внимал напевам ветра,
В осенний день, под шум поблекших листьев.
Так дни текли, а я был одинок;
Когда же на пути моем встречался
Один из тех, чей ненавистный образ
Ношу и я, – я чувствовал, что свергнут
С небес во прах. И я проник в могилы,
Стремясь постичь загробный мир, и много
Извлек в те дни я дерзких заключений
Из черепов, сухих костей и тлена.
Я предался таинственным наукам,
Что знали только в древности, и годы
Моих трудов и тяжких испытаний
Мне дали власть над духами, открыли
Передо мной лик Вечности, и властен
Я стал, как маг, как чародей, что вызвал
В Гадаре Антэроса и Эроса,
Как я тебя; и знания мои
Во мне будили жажду новых знаний,
И креп я в них, покуда...

Фея

Продолжай.

Манфред

О, я недаром длил рассказ: мне больно
Произнести признание роковое.
Но далее. Я не назвал ни друга,
Ни матери, ни милой – никого
Из тех, с кем нас связуют цепи жизни:
Я их имел, но был им чужд душою,
И лишь одна, одна из всех...

Фея

Мужайся.

Манфред

Она была похожа на меня.
Черты лица, цвет глаз, волос и даже
Тон голоса – все родственно в нас было,
Хотя она была прекрасна. Нас
Сближали одинаковые думы,
Любовь к уединению, стремленья
К таинственным познаниям и жажда
Обнять умом вселенную, весь мир;
Но ей не чуждо было и другое:
Участье к людям, слезы и улыбки,
Которых я не ведаю, – смиренье,
Моей душе не сродное, – и нежность,
Что только к ней имел я; недостатки
Ее натуры были и моими,
Достоинства лишь ей принадлежали.
Я полюбил и погубил ее!

Фея

Своей рукой?

Манфред

Нет, не рукою – сердцем,
Которое ее разбило сердце:
Оно в мое взглянуло и увяло;
Я пролил кровь, кровь не ее, и все же
Была пролита кровь ее.

Фея

И ради
Одной из тех, кого ты презираешь,
Над кем ты мог возвыситься, дерзая
Быть равным нам, ты пренебрег дарами
Властителей незримого и снова
Унизился до жалких смертных! Прочь!

Манфред

Дочь Воздуха! Я говорю: я вынес,
Но что слова? Взгляни, как я измучен!
Я больше одиночества не знаю,
Я окружен толпою фурий; ночью
Я скрежещу зубами, проклиная
Ночную тьму, днем – проклиная день.
Безумия, как милости, молил я,
Но небеса мольбам не внемлют; к смерти
Стремился я, но средь борьбы стихий
Передо мною волны отступают
И прочь бегут; какой-то злобный демон
На волоске меня над бездной держит
И волосок не рвется; в мире грез,
В фантазии, – я был когда-то ею

Богат, как Крез, – пытался я сокрыться,
Но, как волну в отлив, меня уносит
Из мира грез в пучину темной мысли;
С людской толпой сливался я – забвенья
Искал везде, но от меня сокрыты
Пути к нему: все знания, все чары,
Что добыл я столь тяжкими трудами,
Бессильны здесь, и, в безысходной скорби,
Я должен жить, – жить без конца.

Фея

Быть может,
Я помогу тебе.

Манфред

О, помоги!
Заставь ее восстать на миг из гроба
Иль мне открой могилу! Я с отрадой
Перенесу какую хочешь муку,
Но только пусть она последней будет.

Фея

Над мертвыми бессильна я; но если
Ты поклянешься мне в повиновенье

Манфред

Не поклянусь. Повиноваться? Духам,
Которые подвластны мне? Служить
Своим рабам? О, никогда!

Фея

Ужели
Иного нет ответа? – Но подумай,
Не торопись.

Манфред

Я все сказал.

Фея

Довольно!
Могу ль я удалиться?

Манфред

Удались.

Фея исчезает.

Мы все – игрушки времени и страха.
Жизнь – краткий миг, и все же мы живем,
Клянем судьбу, но умереть боимся.
Жизнь нас гнетет, как иго, как ярмо,
Как бремя ненавистное, и сердце
Под тяжестью его изнемогает;
В прошедшем и грядущем (настоящим
Мы не живем) безмерно мало дней,
Когда оно не жаждет втайне смерти,
И все же смерть ему внушает трепет,
Как ледяной поток. Еще одно
Осталось мне – воззвать из гроба мертвых,
Спросить у них: что нас страшит? Ответить
Они должны: волшебнице Эндора
Ответил дух пророка; Клеоника
Ответила спартанскому царю,
Что ждет его – в неведение убил он
Ту, что любил, и умер непощенным,
Хотя взывал к Зевесу и молил
Тень гневную о милости; был темен
Ее ответ, но все же он сбылся.
Когда б я не жил, та, кого люблю я,
Была б жива; когда б я не любил,
Она была бы счастлива и счастье
Другим дарила. Где она теперь?
И что она? Страдалица за грех мой
То, что внушает ужас – иль ничто?
Ночь близится – и ночь мне все откроет
Хоть я страшусь того, на что дерзаю;
До сей поры без трепета взирал я
На демонов и духов – отчего же
Дрожу теперь и чувствую, как в сердце
Какой-то странный холод проникает?
Но нет того, пред чем я отступил бы,
И я сломлю свой ужас. – Ночь идет.

Сцена третья

Вершина горы Юнгфрау.

Первая парка

Луна встает большим багряным шаром.
На высоте, где ни единый смертный
Не запятнал снегов своей стопой,
Слетаемся мы ночью. В диком море,
В хрустальном океане горных льдов,
Мы без следа скользим по их изломам,
По глыбам, взгроможденным друг на друга,
Подобно бурным пенистым волнам,
Застывшим посреди водоворота,
И вот на этой сказочной вершине,
Где отдыхают тучи мимоходом,
Сбираемся на игрища и бденья.
Сегодня в полночь – наш великий праздник,

И, на пути к чертогам Аримана,
Я жду сестер. – Но что они так медлят?

Голос

(поющий вдалеке)

Злодей венценосный,
Низвергнутый в прах,
Томился в изгнанье,
В забвенье, в цепях.
Я цепи разбила,
Расторгла тюрьму,
Я власть и свободу
Вернула ему:
Потоками крови он землю зальет,
Народ свой погубит – и снова падет!

Второй голос

Плыл в море корабль, точно птица летел:
В эту ночь ему горестный выпал удел.
Ни мачт, ни снастей, ни ветрил, ни руля
Ничего от него не оставила я.
Один лишь пловец, – он достоин того,
До побережья достиг, – я щадила его:
Предатель, пират, снова будет он жить,
Чтобы мне своей темною жизнью служить.

Первая парка

(отвечая)

Спокойно спал город,
В слезах и тревоге
Увидит он утро;
Медленно, мрачно
Чума распростерла
Над городом крылья.
Тысячи пали,
И тысячи тысяч
Падут пред всесильной.
Живые погибших,
Любимых и милых,
Покинут, спасаясь
От призрака смерти.
Ужас и злоба,
Скорбь и смятенье
Охватят людей.
Блаженны почившие,
Взор отвратившие
От кары моей!

Входят вторая и третья парки.

Все три

В руках у нас – сердца людей,

Наш след – их темные могилы.
Лишь для того, чтоб отнимать,
Даем мы смертным жизнь и силы.

Первая парка

Привет! – Где Немезида?

Вторая парка

На работе,
Но на какой – не знаю: я сама
Не покладала рук до сей минуты.

Третья парка

Да вот она.

Входит Немезида.

Первая парка

Все нынче опоздали.
Где ты была?

Немезида

Женила дураков,
Восстанавливала падшие престолы
И укрепляла близкие к паденью;
Внушала людям злобу, чтоб потом
Раскаяньем их мучить; превращала
В безумцев мудрых, глупых – в мудрецов,
В оракулов, чтоб люди преклонялись
Пред властью их и чтоб никто из смертных
Не смел решать судьбу своих владык
И толковать спесиво о свободе,
Плоде, для всех запретном. – Но пора!
На облака – и в путь! Мы опоздали.

Сцена четвертая

Чертог Аримана. – Ариман на троне – огненном шаре, окруженном духами.

Гимн духов

Хвала ему, – хвала царю эфира,
Царю земли и всех земных стихий,
Кто повергает целый мир в смятенье
Единым мановением руки!
Дохнет ли он – бушуют океаны,
Заговорит – грохочет в небе гром,
Уронит взор – на небе солнце меркнет,
Восстанет – сотрясается земля.
В пути ему предшествуют кометы,
Вослед ему – вулканы мечут огонь,

И гнев его сжигает звезды в пепел,
И тень его – всеильная Чума.
Война ему, что день, приносит жертвы,
Смерть платит дань, и Жизнь, его раба,
К его стопам смиренно полагает
Весь ужас мук и горестей земных!

Входят парки и Немезида.

Первая парка

Восславьте Аримана! На земле
Растет его могущество – покорно
Исполнили мы волю Аримана!

Вторая парка

Восславьте Аримана! Мы, пред кем
Склоняет выю смертный, преклоняем
Свое чело пред троном Аримана!

Третья парка

Восславьте Аримана! Преклоняясь,
Мы ждем его велений!

Немезида

Царь царей!
Все, что живет, что существует – наше,
А мы – твои. Но, чтобы наша власть
Могла расти, твою усугубляя,
Наш долг быть неустанными в трудах,
И мы свой долг исполнили: мы свято
Свершили все, что повелел ты нам.

Входит Манфред.

Дух

Что вижу я? Безумец, жалкий смертный!
Пади во прах.

Второй дух

Я узнаю его.
Он грозный и могучий чернокнижник.

Третий дух

Повергнись ниц и трепещи, презренный!
Перед тобой – и твой и наш владыка.
Ужели ты не видишь?

Сонм духов

Сын Земли!

Прострись во прах пред троном Аримана,
Иль горе непокорному!

Манфред

Я знаю.
И все ж не гну колен.

Четвертый дух

Тебя научат.

Манфред

Напрасный труд. Не раз во мраке ночи
Во прах я повергал свое чело,
Главу посыпав пеплом. Не однажды
Изведал я всю горечь униженья,
Пред собственным отчаяньем склоняясь,
Пред собственной скорбью.

Первый дух

Ты дерзаешь
Восстать на Аримана? Отказать
Владыке в том, что воздаст покорно
Ему весь мир? Не трепетать – и где же?
Пред ужасом величия и славы,
Пред троном Аримана? Ниц, безумный!

Манфред

Пусть *Ариман* воздаст хвалу творцу,
Кем создан он не ради поклоненья.
Пусть он склонит главу: мы вместе
Склоним тогда.

Духи

Раздавим червяка!
Растопчем!

Первая парка

Прочь! – Владыка сил незримых,
Перед тобою смертный, не похожий
Ни на кого из смертных, как об этом
Свидетельствует вид его и то,
Что он перед тобой. Его страданья
Бессмертны, как и наши; знанья, воля
И власть его, поскольку совместимо
Все это с бранным прахом, таковы,
Что прах ему дивится; он стремился
Душою прочь от мира и постигнул
То, что лишь мы, бессмертные, постигли:

Что в знании нет счастья, что наука
Обмен одних незнаний на другие,
Но я еще не все сказала: страсти,
Всесильные и на земле и в небе
Над всем, что только существует в мире,
Так истерзали грудь его, что я,
Не знающая жалости, прощаю
Того, в чьем сердце жалость он пробудит.
Он мой – иль твой – но ни один из духов
Не равен с ним и им владеть не будет.

Немезида

Зачем он здесь?

Первый дух

Пусть смертный сам ответит

Манфред

Вы знаете, что властен я, – без власти
Я б не был здесь, – но мне не все покорно.
Я помощи прошу у вас.

Немезида

Скажи,
Что хочешь ты?

Манфред

Заставь восстать усопших.

Немезида

Великий Ариман! Что повелишь мне?
Дозволишь ли?

Ариман

Да будет так.

Немезида

Кто должен
На мой призыв покинуть мрак могилы?

Манфред

В земле непогребенная – Астарта.

Немезида

Дух или Призрак!

Ты, что была
Создана прахом
И в прах отошла;
Ты, что утратила
Облик земной,
В облике смертном
Восстань предо мной!
Сердце и очи,
Голос и лик
Вырви из жадной
Могилы на миг!
Восстань! Восстань от сени гробовой!
Тебя зовет убийца твой!

Призрак Астарты появляется среди чертога.

Манфред

И это смерть? Румянец на ланитах!
Но не живой он, – странный и зловещий,
Как тот, что рдеет осенью на листьях.
Астарта! – Нет, я говорить не в силах,
Вели заговорить ей: пусть она
Простит иль проклянет меня.

Немезида

Дух, ответствуй! Заклинаю
Властью неземной,
Тайной силой, что расторгла
Плен могильный твой!

Манфред

Молчанье!
Оно страшней ответа.

Немезида

Я свершила
Все, что могла. Великий Ариман,
Тебе лишь покорится призрак: повели ей
Открыть уста.

Ариман

Дух, говори!

Немезида

Молчанье!
Бессильны мы, – над нею власть имеют
Другие духи. Смертный, покорись
Своей судьбе.

Манфред

Услышь меня, Астарта!
Услышь меня, любимая! Ответь мне!
Я так скорбел, я так скорблю – ты видишь:
Тебя могила меньше изменила.
Чем скорбь меня. Безумною любовью
Любили мы: нам жизнь была дана
Не для того, чтоб мы терзались вечно,
Хотя любить, как мы с тобой любили,
Великий грех. Скажи, что ты меня
Простила за страданья, что терплю я
Мученье за обоих, что за гробом
Гебя ждет рай и что умру и я.
Все силы тьмы против меня восстали,
Чтоб к жизни приковать меня навеки,
Чтоб я перед бессмертьем содрогался,
Пред будущим, что может быть подобно
Прошедшему. Мне нет нигде покоя.
Чего ищу, к чему стремлюсь – не знаю,
Лишь чувствую, что ты и что я сам.
Пред гибелью хоть раз мне дай услышать
Твой голос сладкозвучный, – отзовись!
Я звал тебя среди безмолвья ночи,
Я спящих птиц будил среди ветвей,
Зверей в горах, и темные пещеры
На тщетный зов, на сладкий звук: Астарта!
Мне отвечали эхом – духи, люди
Внимали мне, – лишь ты одна не внемлешь!
О, говори! Я жадными очами
Искал тебя среди небесных звезд.
О, говори! Я исходил всю землю
И не нашел нигде тебе подобной.
Взгляни вокруг – мне бесы сострадают,
Я вижу ад, но полон лишь тобою.
О, говори!.. О, говори хоть в гневе,
Но только дай хоть раз тебя услышать.
Хоть только раз!

Призрак Астарты

Манфред!

Манфред

О, не смолкай!
Вся жизнь моя теперь лишь в этих звуках!

Призрак

Манфред! Заутра ты покинешь землю.
Прости!

Манфред

О нет! Скажи, что ты простила.

Призрак

Прости!

Манфред

Скажи – увидимся ли снова?

Призрак

Прости!

Манфред

О, пощади: скажи, что любишь!

Призрак

Манфред!

(Исчезает.)

Немезида

Ушла – и вновь ее не вызвать.
Вернись к земле. Слова ее свершатся.

Дух

Он потрясен. Кто смертен, тот не должен
Искать того, что за пределом смерти.

Второй дух

Да, но взгляни, как он собой владеет,
Свои мученья воле подчиняя!
Когда б он был одним из нас, он был бы
Могучий дух.

Немезида

Быть может, ты желаешь
Спросить еще о чем-нибудь?

Манфред

О нет.

Немезида

Тогда прости на время.

Манфред

Разве снова

Мы встретимся? И где же? На земле?
Но все равно. Я твой должник. Простите!

Акт третий

Сцена первая

Зала в замке Манфреда.

Манфред и Герман.

Манфред

Который час?

Герман

Час до заката солнца,
И вечер обещает быть прелестным.

Манфред

Скажи, ты все ли приготовил в башне,
Как я велел?

Герман

Все, господин, готово.
Вот ключ и вот шкатулка.

Манфред

Хорошо.
Теперь иди.

Герман уходит.

Мир снизошел мне в душу,
Мир, мне еще неведомый доньше
И непонятный. Если б я не знал,
Что самое обманчивое в мире
Химеры философских измышлений,
Что мудрость их – пустейшая из фраз
В учено-схоластическом жаргоне,
Я, кажется, охотно бы поверил,
Что золотые грезы о Калоне
Уже сбылись, что я его сыскал
В себе самом. Мой мир недолговечен,
Но все же хорошо его изведать
Хотя однажды. Нужно записать,
Что есть такое ощущение... Кто там?

Входит Герман.

Герман

Аббат святого Мориса.

Входит аббат.

Аббат

Мир дому!

Манфред

Благодарю, святой отец! Да будет
Для замка твой приход благословеньем.

Аббат

Дай бог, чтоб было так! Но я желал бы
Поговорить глаз на глаз.

Манфред

Выйди, Герман.
Что скажет мой почтенный гость?

Аббат

Скажу без предисловий: сан, седины,
Желание добра тебе и наше
Давнишнее соседство, хоть знакомы
И не были с тобою мы, дают мне
На это право. Станный и ужасный
Пронесся слух, и этот слух позорит
Твое, граф, имя, – доблестное имя,
Которое ты должен для потомства
Таким же и оставить.

Манфред

Продолжай.
Я слушаю.

Аббат

Ты, говорят, предался
Греховным и таинственным наукам,
Вступил в союз с сынами преисподней,
С нечистой силой демонов и бесов,
Блуждающих в долине сени смертной.
С людьми, своими братьями по духу,
Общаешься ты редко, жизнь проводишь
В уединенье, – свято ли оно?

Манфред

Скажи, кто распускает эти слухи?

Аббат

Мои благочестивые собратья,
Окрестный люд, – твои вассалы даже,
Что на тебя взирают с беспокойством,
Да мы и все за жизнь твою трепещем.

Манфред

Возьми ее.

Аббат

Я прихожу спасать,
А не губить. Я не хочу касаться
Твоей души, но, если справедливы
Все эти слухи, верь, еще не поздно
Очиститься от скверны покаяньем
И примириться с церковью и небом.

Манфред

Я выслушал. И вот что я отвечу:
Кто б ни был я, но я не изберу
Посредником меж мной и небесами
Ни одного из смертных. Если я
Уставы нарушаю – покарайте.

Аббат

Мой сын, я не о каре говорю,
Я только призываю к покаянью.
Пусть наказует небо. "Мне отмщенье",
Сказал господь, и, со смиренным сердцем,
Раб господя, я только повторяю
Его глаголы грозные.

Манфред

Старик!
Ни власть святых, ни скорбь, ни покаянье,
Ни тяжкий пост, ни жаркие молитвы,
Ни даже муки совести, способной,
Без демонов, без страха пред геенной,
Преобразить в геенну даже небо,
Ничто не в состоянии исторгнуть
Из недр души тяжелого сознанья
Ее грехов и сокровенной муки.
Та кара, что преступник налагает
Сам на себя, страшней и тяжелее
Загробных мук.

Аббат

Я рад все это слышать,
Затем что все это должно смениться

Надеждой благодатной, что спокойно
Взирает на блаженную обитель,
Ее же всякий ищущий обрящет,
Коль скоро он покинет путь неправый.
Начало же спасения – сознание
Его необходимости. Покайся
И все грехи, что отпустить я властен,
Я отпущу, – что преподавать сумею,
Все преподам.

Манфред

Когда несчастный Не рон,
Чтобы избежать мук позорной смерти
Перед лицом сенаторов, недавних
Его рабов, ударил в грудь кинжалом,
Какой-то воин, полный сострадания,
Прижал свой плащ к его смертельной ране,
Но Нерон оттолкнул его и молвил
С величием во взоре: "Слишком поздно!"

Аббат

К чему ты клонишь речь?

Манфред

Я отвечаю
На твой призыв к спасенью: слишком поздно!

Аббат

Нет, никогда не поздно примириться
С своей душой, а чрез нее и с небом.
Иль у тебя нет никаких надежд?
Ведь даже те, что в небеса не верят,
Живут какой-нибудь земной мечтой,
Прильнувши к ней, как тонущий к тростинке.

Манфред

О да, отец, и я лелеял грезы,
И я мечтал на утре юных дней:
Мечтал быть просветителем народов,
Достичь небес, – зачем? Бог весть! быть может,
Лишь для того, чтоб снова пасть на землю,
Но пасть могучим горным водопадом,
Что, с высоты заоблачной свергаясь
В дымящуюся бездну, восстает
Из бездны ввысь туманами и снова
С небес стремится ливнем. – Все прошло,
И все это был сон.

Аббат

Но почему же?

Манфред

Я обуздать себя не мог; кто хочет
Повелевать, тот должен быть рабом;
Кто хочет, чтоб ничтожество признало
Его своим властителем, тот должен
Уметь перед ничтожеством смиряться,
Повсюду проникать и попевать
И быть ходячей ложью. Я со стадом
Мешаться не хотел, хотя бы мог
Быть вожаком. Лев одинок – я тоже.

Аббат

Зачем не жить, не действовать иначе?

Манфред

Затем, что я всегда гнушался жизни.
Я не жесток; но я – как жгучий вихрь,
Как пламенный самум, что обитает
Лишь в тишине пустынь и одиноко
Кружит среди ее нагих песков,
В ее бесплодном, диком океане.
Он никого не ищет, но погибель
Грозит всему, что встретит он в пути.
Так жил и я; и тех, кого я встретил
На жизненном пути, – я погубил.

Аббат

Увы! Я начинаю опасаться,
Что я тебе помочь уже не в силах.
Но ты еще так молод, я хотел бы...

Манфред

Святой отец! Есть люди, что стареют
На утре дней, что гибнут, не достигнув
До зрелых лет, – и не случайной смертью,
Иных пороки, иных науки губят,
Иных труды, иных томленья скуки,
Иных болезни, безумье, а иных
Душевные страдания и скорби.
Страшнее нет последнего недуга:
Все имена, все формы принимая,
Он требует гораздо больше жертв,
Чем значится в зловещих списках Рока.
Вглядишься в меня! Душевные недуги
Я все познал, хотя довольно б было
И одного. Так не дивись тому,
Что я таков, дивись тому, чем был я,
Тому, что я еще живу на свете.

Аббат

Но выслушай...

Манфред

Отец, я уважаю
Твои года и звание; я верю,
Что ты пришел ко мне с благою целью,
Но ты предпринял тщетный труд. Быть грубым
Я не хочу, – я лишь тебя щажу,
А не себя, так резко обрывая
Наш разговор – и потому – прости!

(Уходит.)

Аббат

Он мог бы быть возвышенным созданием.
В нем много сил, которые могли бы
Создать прекрасный образ, будь они
Направлены разумнее; теперь же
Царит в нем страшный хаос: свет и мрак,
Возвышенные помыслы – и страсти,
И все в смешенье бурном, все мятется
Без цели и порядка; все иль дремлет,
Иль разрушенья жаждет: он стремится
К гибели, но должен быть спасен,
Затем что он достоин искупленья.
Благая цель оправдывает средства,
И я на все дерзну. Пойду за ним
Настойчиво, хотя и осторожно.

Сцена вторая

Другая комната.

Манфред и Герман.

Герман

Вы, господин, велели мне явиться
К вам на закате: солнце уж заходит.

Манфред

Да? – Я взгляну.

(Подходит к окну.)

Великое светило!
Бог первозданной, девственной природы!
Кумир могучих первенцев земли,
Не ведавших болезней, – исполинов,
Родившихся от ангелов и дев,
Сиявших красотой неизреченной!

Царь меж светил, боготворимый миром
От первых дней творения, вливавший
Восторг в сердца халдейских пастухов
И слышавший их первые молитвы!
Избранник неземного, что явило
В тебе свой светлый образ на земле!
Венец и средоточие вселенной,
Дающее небесную отраду
Всему, что прозябает в дольном мире!
Владыка всех стихий и повелитель
Всех стран земных, повсюду положивший
Свои неизгладимые печати
На дух и облик смертных! Ты, что всходишь,
Свершаешь путь и угасаешь в славе
Ты, видевшее некогда мой первый
Взор, полный изумленья и восторга!
Прости навек, – прими мой взор последний,
В последний раз тебя я созерцаю;
Твои лучи уж больше никогда
Не озарят того, кому дар жизни
Был даром роковым. – Оно сокрылось;
Мой час настал.

Сцена третья

*Горы. – В отдалении замок Манфреда. – Терраса перед башней. – Сумерки.
Герман, Мануэль и другие слуги Манфреда.*

Герман

Дивлюсь я графу: вот уж сколько лет
Все ночи он без сна проводит в башне
И непременно в башне. Я бывал в ней,
Но по тому, что есть в ней, не решишь,
Чем занят он. Наверно, потайная
Есть комната, и сколько бы я отдал,
Чтоб только заглянуть в нее!

Мануэль

Напрасно.
Доволен будь и тем, что ты уж знаешь.

Герман

Ах, Мануэль, ты старше нас и мог бы
Порассказать нам многое о замке.
Когда ты поступил сюда?

Мануэль

Давно.
Я до рожденья графа был слугою
Его отца, с которым никакого
Он не имеет сходства.

Герман

Что ж, не редкость!

Мануэль

Я говорю не о чертах лица.
Граф Сигизмунд был горд, но прост и весел,
Любил пиры и битвы, а не книги,
Любил людей – и ночи превращал
Не в бдения угрюмые, а в праздник,
Да ведь какой! Он не блуждал, как волк,
По дебрям и ущельям, – не чуждался
Земных утех и радостей.

Герман

Проклятье!
Вот были времена! И неужели
Они уж не вернуться в эти стены,
Что смотрят так, как будто и не знали
Счастливых дней?

Мануэль

Пусть прежде переменят
Владельца эти стены. О, я видел
Немало в них диковинного, Герман!

Герман

Будь добр и Расскажи хоть что-нибудь.
Мне помнится, что возле этой башни
Случилось что-то: ты мне намекал.

Мануэль

Был, видишь ли, точь-в-точь такой же вечер,
Как и теперь; на Эйгере краснела
Точь-в-точь такая ж тучка; ветер дул
Порывистый, и снежные вершины
Уж заливала трепетным сияньем
Всходившая луна; граф Манфред,
Как и теперь, был в башне; что он делал,
Бог весть, – но только с ним была
Та, что делила все его скитанья
И бдения полночные: Астарта,
Единственное в мире существо,
Которое любил он, что, конечно,
Родством их объяснялось...
Кто идет?

Аббат

Где граф?

Герман

Вот в этой башне.

Аббат

Постучись
Мне нужно с ним поговорить.

Герман

Не смею
Я нарушать его уединенье.

Аббат

Но мне его необходимо видеть,
Я на себя возьму твою вину.

Герман

Ведь ты его недавно видел.

Аббат

Герман!
Ступай без рассуждений.

Герман

Я не смею.

Аббат

Так я войду без всякого доклада.

Мануэль

Святой отец, постойте! Я прошу вас.

Аббат

Но почему?

Мануэль

Пожалуйте сюда,
Благоволите выслушать.

Сцена четвертая

Внутренность башни.

Манфред*(один)*

Сверкают звезды, – снежные вершины
Сияют в лунном свете. – Дивный вид!
Люблю я ночь, – мне образ ночи ближе,
Чем образ человека; в созерцанье
Ее спокойной, грустной красоты
Я постигаю речь иного мира.
Мне помнится, – когда я молод был
И странствовал, – в такую ночь однажды
Я был среди развалин Колизея,
Среди останков царственного Рима.
Деревья вдоль разрушенных аркад,
На синеве полуночной темнея,
Чуть колыхались по ветру, и звезды
Сияли сквозь руины; из-за Тибра
Был слышен лай собак, а из дворца
Протяжный стон совы и, замирая,
Невнятно доносились с теплым ветром
Далекие напевы часовых.
В проломах стен, разрушенных веками,
Стояли кипарисы – и казалось,
Что их кайма была на горизонте,
А между тем лишь на полет стрелы
Я был от них. – Где Цезарь жил когда-то
И где теперь живут ночные птицы,
Уже не лавр, а дикий плющ растет
И лес встает, корнями укрепляясь
В священном прахе царских очагов,
Среди твердынь, сровнявшихся с землею.
Кровавый цирк стоит еще доньше,
Еще хранит в руинах величавых
Былую мощь, но Цезаря покои
И Августа чертоги уж давно
Поверглись в прах и стали грудой камня.
И ты, луна, на них свой свет лила,
Лишь ты одна смягчала нежным светом
Седую древность, дикость запустенья,
Скрывая всюду тяжкий след времен!
Ты красоты былой не изменяла,
Но осеняла новой красотой
Все, в чем она погибла, и руины
Казались священными, и сердце
Немым благоговеньем наполнялось
Перед немым величьем древней славы,
Пред тем державным прахом, что доньше
Внушает нам невольный трепет. – Странно,
Что вспомнилась мне эта ночь сегодня;
Уже не раз я замечал, как дико
Мягутся наши мысли в те часы,
Когда сосредоточиться должны мы.

*Входит аббат.***Аббат**

Я вновь к тебе непрошеным являюсь,
Но пусть мое смиренное стремленье
Помочь тебе – не прогневит тебя:
Пусть все, что есть в нем темного, дурного,
Падет лишь на меня, а все благое
Да осенит твою главу, – я страстно
Сказать хотел бы: сердце! Если б тронуть
Я мог его молитвой иль словами,
Я спас бы дух, который лишь случайно
Блуждает в тьме.

Манфред

Напрасная надежда!
Мой путь свершен, моя судьба решилась.
Но уходи, – тебе здесь быть опасно.

Аббат

Ты хочешь запугать меня?

Манфред

О нет.
Я говорю лишь, что близка опасность.
Остерегись.

Аббат

Чего?

Манфред

Гляди сюда:
Ты видишь?

Аббат

Нет.

Манфред

Гляди, я повторяю,
И пристально. Теперь скажи, – ты видишь?

Аббат

Я вижу, что встает из-под земли,
Как адский бог, какой-то мрачный призрак;
Его лицо закрыто покрывалом,
Он весь повит тяжелыми клубами
Свинцовой мглы, но он не страшен мне.

Манфред

Я знаю, что тебя он не коснется,
Но взор его убьет тебя на месте,
Ты стар и дряхл, – уйди, прошу тебя!

Аббат

А я в ответ: доколе не сражуся
С исчадьем тьмы, – не сделаю и шагу.
Зачем он здесь?

Манфред

Да, да, зачем он здесь?
Кто звал его? Он гость, никем не званный.

Аббат

Погибший смертный! Страшно и подумать,
Что ждет тебя! С какою целью ходят
К тебе такие гости? Почему
Вы смотрите так зорко друг на друга?
А, он покров свой сбросил: на челе
Следы змеистых молний, взор блистает
Бессмертием геенны – адский призрак,
Исчезни!

Манфред

Дух, зачем ты здесь?

Дух

Идем!

Аббат

Неведомый! Скажи, ответствуй: кто ты?

Дух

Его Судьба. Идем – настало время.

Манфред

О, я на все готов, но презираю
Твой властный зов! Кем прислан ты сюда?

Дух

Узнаешь в срок. Идем!

Манфред

Мне покорялись

И более могучие, чем ты,
Я вел борьбу с владыками твоими,
Сгинь, адский дух!

Дух

Настало время, смертный,
Смирись.

Манфред

Я знал и знаю, что настало.
Но не тебе, рабу, отдам я душу.
Прочь от меня! Умру, как жил, – один.

Дух

Я помощи потребую. – Восстаньте!
Появляются духи.

Аббат

Исчезните, владыки тьмы! Рассейтесь!
Бессильны вы пред силою небесной,
Я закляну вас именем...

Дух

Старик!
Не расточай без пользы слов, – мы знаем,
Что властен ты, но здесь лишь мы владыки.
Напрасен спор: он кары не избегнет.
Вновь говорю: идем, настало время.

Манфред

Я презираю вас, – я с каждым вздохом
Теряю жизнь, но презираю вас!
Я не смирюсь, покуда сердце бьется,
Не отступлю, хотя бы мне пришлось
Бороться с целым адом; вам удастся
Взять не меня, а только труп.

Дух

Безумец!
Как жадно он цепляется за жизнь,
Которая дала ему лишь муки!
И это Маг, стремившийся проникнуть
За грань земных пределов и мечтавший
Быть равным нам?

Манфред

Исчадь тьмы, ты лжешь!

Мой час настал, – я это знал и знаю,
Но не хочу ни на одно мгновенье
Продлить его: тебе с толпою присных
Противлюсь я, а не веленьям смерти.
Я власть имел, но я обязан ею
Был не тебе: своей могучей воле,
Своим трудам, своим ночам бессонным
И знаниям тех дней, когда Земля
Людей и духов в братстве созерцала
И равными считала их. Бессильны
Вы предо мной, – я презираю вас,
Вы жалки мне!

Дух

Ты не избежешь кары:
Твои грехи...

Манфред

Не ты судья грехам!
Карает ли преступника преступник?
Убийцу тать? Сгинь, адский дух! Я знаю,
Что никогда ты мной не овладеешь,
Я чувствую бессилие твое.
Что сделал я, то сделал; ты не можешь
Усилить мук, в моей груди сокрытых:
Бессмертный дух сам суд себе творит
За добрые и злые помышленья.
Меня не искушал ты и не мог
Ни искушать, ни обольщать, – я жертвой
Твоей доньне не был – и не буду.
Сгубив себя, я сам и покараю
Себя за грех. Исчадья тьмы, рассейтесь!
Я покоряюсь смерти, а не вам!

Духи исчезают.

Аббат

Увы, ты страшен – губы посинели
Лицо покрыла мертвенная бледность
В гортани хрип. – Хоть мысленно покайся:
Молись – не умирай без покаянья!

Манфред

Все кончено – глаза застлал туман
Земля плывет – колышется. Дай руку
Прости навек.

Аббат

Как холодна рука!
О, вымолви хоть слово покаянья!

Манфред

Старик! Поверь, смерть вовсе не страшна!

(Умирает.)

Аббат

Он отошел – куда? – страшусь подумать
Но от земли он отошел навеки.

**Альфред Теннисон
Годива**

Я в Ковентри ждал поезда, толкаясь
В толпе народа по мосту, смотрел
На три высоких башни – и в поэму
Облек одну из древних местных былей.

Не мы одни – плод новых дней, последний
Посев Времен, в своем нетерпеливом
Стремленье вдаль злословящий Былое, –
Не мы одни, с чьих праздных уст не сходит
Добро и Зло, сказать имеем право,
Что мы народу преданы: Годива,
Супруга графа Ковентри, что правил
Назад тому почти тысячелетье,
Любила свой народ и претерпела
Не меньше нас. Когда налогом тяжким
Граф обложил свой город и пред замком
С детьми столпились матери, и громко
Звучали вопли: "Подать нам грозит
Голодной смертью!" – в графские покои,
Где граф, с своей аршинной бородой
И полсаженной гривой, по залу
Шагал среди собак, вошла Годива
И, рассказав о воплях, повторила
Мольбу народа: "Подати грозят
Голодной смертью!" Граф от изумленья
Раскрыл глаза. "Но вы за эту сволочь
Мизинца не уколете!" – сказал он.
"Я умереть согласна!" – возразила
Ему Годива. Граф захохотал,
Петром и Павлом громко побожился,
Потом по бриллиантовой сережке
Годиву щелкнул: "Росказни!" – "Но чем же
Мне доказать?" – ответила Годива.
И жесткое, как длань Исава, сердце
Не дрогнуло. "Ступайте, – молвил граф, –
По городу нагая – и налоги
Я отменю", – насмешливо кивнул ей
И зашагал среди собак из залы.

Такой ответ сразил Годиву. Мысли,
Как вихри, закружились в ней и долго
Вели борьбу, пока не победило
Их Состраданье. В Ковентри герольда
Тогда она отправила, чтоб город
Узнал при трубных звуках о позоре,
Назначенном Годиве: только этой
Ценою облегчить могла Годива
Его удел. Годиву любят, – пусть же
До полдня ни единая нога
Не ступит на порог и ни единый
Не взглянет глаз на улицу: пусть все
Затворят двери, спустят в окна ставни
И в час ее проезда будут дома.

Потом она поспешно поднялась
Наверх, в свои покои, расстегнула
Орлов на пряжке пояса – подарок
Сурового супруга – и на миг
Замедлилась, бледна, как летний месяц,
Полузакрытый облачком... Но тотчас
Тряхнула головой и, уронивши
Почти до пят волну волос тяжелых,
Одежду быстро сбросила, прокралась
Вниз по дубовым лестницам – и вышла,
Скользя, как луч, среди колонн, к воротам,
Где уж стоял ее любимый конь,
Весь в пурпуре, с червонными гербами.

На нем она пустилась в путь – как Ева
Как гений целомудрия. И замер,
Едва дыша от страха, даже воздух
В тех улицах, где ехала она.
Разинув пасть, лукаво вслед за нею
Косился желоб. Тявканье дворняжки
Ее кидало в краску. Звук подков
Пугал, как грохот грома. Каждый ставень
Был полон дыр. Причудливой толпою
Шпили домов глазели. Но Годива,
Крепясь, все дальше ехала, пока
В готические арки укреплений
Не засняли цветом белоснежным
Кусты густой цветущей бузины.

Тогда назад поехала Годива –
Как гений целомудрия. Был некто,
Чья низость в этот день дала начало
Пословице: он сделал в ставне щелку
И уж хотел, весь трепеща, прильнуть к ней,
Как у него глаза оделись мраком
И вытекли, – да торжествует вечно
Добро над злом. Годива же достигла
В неведении замка – и лишь только
Вошла в свои покои, как ударил
И загудел со всех несметных башен

Стозвучный полдень. В мантии, в короне
Она супруга встретила, сняла
С народа тяжесть податей – и стала
С тех пор бессмертной в памяти народа.

27. VI.06

Адам Мицкевич
Из "Крымских сонетов"

Аккерманские степи

Выходим на простор степного океана.
Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод,
Меж заводей цветов, в волнах травы плывет,
Минуя острова багряного бурьяна.

Темнеет. Впереди – ни шляха, ни кургана.
Жду путеводных звезд, гляжу на небосвод...
Вон блещет облако, а в нем звезда встает:
То за стальным Днестром маяк у Аккермана.

Как тихо! Постоим. Далеко в стороне
Я слышу журавлей в незримой вышине,
Внемлю, как мотылек в траве цветы колыхет.

А где-то скользкий уж, шурша, в бурьян ползет.
Так ухо звука ждет, что можно бы расслышать
И зов с Литвы... Но в путь! Никто не позовет.

1901

Чатырдаг

Склоняюсь с трепетом к стопам твоей твердыни,
Великий Чатырдаг, Могучий хан Яйлы.
О мачта крымских гор! О минарет аллы!
До туч вознесся ты в лазурные пустыни

И там стоишь один, у врат надзвездных стран,
Как грозный Гавриил у врат святого рая.
Зеленый лес – твой плащ, а тучи – твой тюрбан,
И молнии на нем узоры ткнут, блистая.

Печет ли солнце нас, плывет ли мгла, как дым,
Летит ли саранча, иль жжет гяур селенья, –
Ты, Чатырдаг, всегда и нем и недвижим.

Бесстрастный драгоман всемирного творенья,
Поправ весь дольний мир подножием своим,
Ты внемлешь лишь творца предвечные веленья!

1901

Алушта ночью

Повеял ветерок, прохладною лаская.
Светильник мира пал с небес на Чатырдах,
Разбился, расточил багрянец на скалах
И гаснет. Тьма растет, молчанием пугая.

Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая,
Как будто в полусне журчат ручьи впотьмах;
Ночная песнь цветов – дыханье роз в садах –
Беззвучной музыкой плывет, благоухая.

Дремлю под темными крылами тишины.
Вдруг метеор блеснул – и, ослепляя взоры,
Потопом золота залил леса и горы.

Ночь! одалиска-ночь! Ты навеваешь сны,
Ты гасишь лаской страсть, но лишь она утихнет –
Твой искрометный взор тотчас же снова вспыхнет!

1901